

Тамара Жирмунская



«Я – сын эфира,
Человек...»

Тамара Жирмунская

«Я — сын эфира, Человек»

Спасибо, дорогой Геннадий
Моисеевич,
за Вашу верность русскому
слову и высокому ардуяз-
кетиенцо писателю!

Тамаре
Жирмунская

9.06.09

УДК 27-291

ББК 84(2Рос=Рус)1-5я43+84(2Рос=Рус)6-5я43+86.37-2

Ж73

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Жирмунская, Тамара.

Ж73 Я — сын эфира, Человек / Тамара Жирмунская. — М.: Русский импульс, 2009. — 432 с.: ил. — ISBN 978-5-902525-32-5.
Агентство СІР РГБ

Три века отечественной поэзии и Священное Писание... Книга известного современного поэта обращена не только к ценителям полновесного родного слова, его певучести и гармонии, но прежде всего к душам, ищущим смысла жизни. В наше непростое время, когда так велик дефицит нравственности, автор обращается к ее библейским истокам. Для многих будет открытием, что лучшие русские поэты черпали вдохновение в Книге книг и, каждый на свой лад, преломляли бессмертные истины в своём творчестве. В книге нет ни занудства, ни религиозного фанатизма. Внутренняя свобода движет пером автора. Написана она живо и горячо. Предназначена в первую очередь для молодежи. В равной степени и для тех, кто не стареет сердцем.

На обложке использована фреска Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама».

УДК 27-291

ББК 84(2Рос=Рус)1-5я43+84(2Рос=Рус)6-5я43+86.37-2

ISBN 978-5-902525-32-5

© Т. Жирмунская, текст, 2008

© ООО «Русский импульс», оригинал-макет, 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Вступление</i>	5
-------------------------	---

ЧАСТЬ I

Глава первая

«Боже! Кто я, нища тварь?» (<i>В. Тредиаковский, А. Сумароков, М. Ломоносов</i>)	11
--	----

Глава вторая

«Я царь — я раб — я червь — я Бог!» (<i>Г. Державин</i>)	25
--	----

Глава третья

«Не говори с тоской: их нет...» (<i>В. Жуковский</i>)	45
---	----

Глава четвертая

«Мой дух! Доверенность к Творцу!» (<i>К. Батюшков</i>)	60
--	----

Глава пятая

«Ум ищет Божества...» (<i>А. Пушкин</i>)	72
--	----

Глава шестая

«И в небе земное его не смутит» (<i>Е. Боратынский</i>)	84
---	----

Глава седьмая

«Покров, накинутый над бездной...» (<i>Ф. Тютчев</i>)	93
---	----

Глава восьмая

«Молись, страдай... — и выстрадай прощенье» (<i>М. Лермонтов</i>)	109
--	-----

Глава девятая

«Всю душу вместе с вами слить...» (<i>А.К. Толстой</i>)	126
---	-----

Глава десятая

«Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!» (<i>В. Соловьев</i>)	143
---	-----

Глава одиннадцатая

«Ты победил, Галилеянин!» (<i>К. Р.</i>)	155
--	-----

Глава двенадцатая «Впереди Иисус Христос» (А. Блок)	166
--	-----

ЧАСТЬ II

От автора	191
Глава тринадцатая «Молюсь за тех и за других...» (М. Волошин)	193
Глава четырнадцатая «Никого в подлунной нет,/Только я да Бог...» (И. Бунин)	214
Глава пятнадцатая «Звездой, сорвавшейся в ночи...» (В. Ходасевич).....	234
Глава шестнадцатая «Страшно встретиться с Христом...» (Вяч. Иванов)	252
Глава семнадцатая «Я — сын эфира, Человек...» (А. Белый).....	272
Глава восемнадцатая «Во мне печаль, которой царь Давид/ По-царски одарил тысячелетья...» (Анна Ахматова)	291
Глава девятнадцатая «Во времена евангельские/Была б одной из тех...» (М. Цветаева)	313
Глава двадцатая «Чашу эту мимо пронеси...» (Б. Пастернак)	336
Глава двадцать первая «За всех расплачусь, за всех расплачусь...» (В. Маяковский).....	360
Глава двадцать вторая «Господи!» — сказал я по ошибке...» (О. Мандельштам)	381
Глава двадцать третья «Не расстреливал несчастных по темницам...» (С. Есенин)	409

ВСТУПЛЕНИЕ

— Оправдываться будете на Страшном суде, — насмешливо говорил мой отец, когда кто-нибудь из близких или знакомых начинал занудно и не очень убедительно объяснять причину своего опоздания, или невыполненного обещания, или неблагоприятного поступка.

«Страшный суд»! Я не понимала смысла этих высокаторжественных слов, но они невольно западали в память. И остались там. В восьмом классе, когда ученики в обязательном порядке учили наизусть «Смерть поэта» Лермонтова, отроческое внимание зацепили строки:

*Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный Судия: он ждёт,
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд...*

Так в далёкие и, по общему мнению, атеистические времена смутное представление о чём-то высшем, чем привычное, изредка всплывающее в разговорах взрослых (того-то осудили; я ещё не знала, что имя осуждённым — легион; а того-то оправдали) коснулось моего сознания.

Что знали школьники 50-х о пророках? Если иметь в виду библейских пророков, Амоса, Исайю, Иеремию, вестников Царства Божия, чьи книги включены в Ветхий Завет, то ничего. Но входили же в хрестоматии стихи Пушкина и Лермонтова с одинаковым названием, хотя и противоположным содержанием. Помните у Пушкина:

*Встань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнишь волею моею,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.*

Лермонтовский пророк выглядит иначе. От победоносного глашатая Бога, носителя высшей истины, не осталось и следа. Правда, тварь земная ему покорна, звёзды его слушают, радостно играя лучами. Но венец тварного мира, человек, знать не хочет никакого пророка. Тот он торопливо пробирается через «шумный град». Увы, роль отвергнутого пророка, угаданная Михаилом Юрьевичем, слишком знакома нам по истории отечественной поэзии двадцатого века...

*Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!*

Очень удивились бы мои сверстники, и я вместе с ними, узнай мы вовремя, что великие русские поэты черпают вдохновение в некоем вековечном источнике. Что образ «И уголь, пылающий огнём,/ Во грудь отверстую водвинул» не изобретён гением Пушкина. Вот что написано в 6-й главе Книги пророка Исаяи: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис., 6–6,7).

В годы, когда я училась, не принято было докапываться до истоков, даже если исток — Книга книг: Библия. Как будто Пушкина может умалить то, что он припал к этому первоисточнику!

Судьба сложилась так, что поэзия стала делом моей жизни, моей профессией (впрочем, мне всегда было стыдно на вопрос «кто вы по профессии?» отвечать: «я — поэт!»). Естественно, я заинтересовалась, скорее рано, чем поздно, опытом предшественников. Уже окончив школу и институт, впервые я не «проходила» поэтов, а останавливалась, чтобы всмотреться попристальней хотя бы в любимых. Не «сдавала» их оптом и в розницу, а оставляла «для внутреннего употребления». И так называемые классические поэты сыграли со мной вот какую шутку: они расчистили поле для веры, когда со всех сторон шёл натиск в лучшем случае равнодушия, а чаще безверия.

*Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит,
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры, но о ней не просит, —*

страдал за моих окаменевших современников Тютчев. Оказывается, безверие — мука, смерть при жизни? А я и не догадывалась...

*Царь Небес, успокой
Дух болезненный мой,
Заблуждений земли
Мне забвеньё пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай, —*

вычитала я в старинном издании Боратынского (из моего, карманного, стихи эти были «заботливо» кем-то удалены, чтобы, значит, не гнила советская молодёжь на корню). И снова потрясение: если уж Боратынский так полагается на Царя Небес, то значит ... Он... существует?

Да, с моим идеологическим воспитанием вышла промашка. В железном занавесе, отделившем человеческую особь от религии, обнаружилась прореха. Причём, не одна. Главное орудие всякого пишущего, равно как и говорящего, — язык оказался пронизан выражениями, что стремились и увлекали от земли куда-то ввысь. В неюные уже годы впервые прочитав четыре Евангелия, я больше всего поразилась тому, что язык, которым пользовалась с младенчества, который, действительно, впитала с молоком матери, полон евангельских, библейских фраз и мы нещадно эксплуатируем их, чаще всего не подозревая, откуда они взяты, каков их истинный смысл.

В пору студенчества на меня, как на многих читателей с открытым сознанием, произвела большое впечатление книга В. Дудинцева «Не хлебом единым». Кажется, ни один литератор, участвовавший тогда в шумной дискуссии вокруг романа, не упомянул, что его название взято из Библии, что в «Евангелии от Луки» оно звучит так: «Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Лк. 4,4). А корни этого изречения идут еще глубже. В Ветхом Завете — первой части Священного Писания читаем: «... не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек» (Второзаконие. 8,3). Вспомни об этом хвалящий или хулящий дудинцевский роман, спор мог бы приобрести куда более объемное звучание!

«Глас вопиющего в пустыне», «лукавый раб и ленивый», «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби», «мерзость запустения», «претерпевший же до конца спасётся» — несть числа словосочетаниям из Евангелий, ставшим крылатыми, вошедшим в золотой фонд языка. Иисус, да и все евангелисты широко цитировали книги Ветхого Завета, включая многим, думаю, известное: «оставит человек отца своего и мать свою и прилежится к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Бытие. 2,24).

Меня не раз просили определить жанр этой книги. Что это — лекция, наставления, беседы?..

Учить не люблю. Люблю учиться. И делиться тем, что узнала сама.

В начале 90-х прошлого века заведующая Юношеской библиотекой на Беговой улице Москвы Татьяна Онегина (!) пригласила меня провести перед ее читателями цикл бесед: «Поэзии петлешой свет». Упомянуть о Библии в связи со стихами тогда еще избегали. Я была удивлена и обрадована, когда девятиклассники и десятиклассники

внимали мне в такой тишине, какая редко бывает в классе, разве что во время контрольных. Задавали трудные вопросы – о силах света и тьмы, о времени и вечности, о смерти и бессмертии.

Кто-то решит: какие-то уникамы! Дело тут, думаю, не в особенном уме слушателей, а в их благодатном возрасте. По моему убеждению, в 16 лет человек достигает апогея своего духовного развития. Не всякий, разумеется, а по выбору...как бы выразиться, чтобы никого не обидеть? Скажем: Небес. Но небеса небесами, а тянуться вверх никому не заказано...

Однако вернёмся к теме «Библия и русская поэзия». И без объяснений понятно, как глубоко укоренена поэзия именно в родном языке. «Лучшие слова в лучшем порядке» – сказал кто-то о стихотворстве. Фамилию запомнила. А вот автор другого афоризма: «Прекрасный наш язык способен ко всему» заслужил, чтобы имя его помнили. Сумароков Александр Петрович. Один из троицы поэтов XVIII века, с которой хочу начать нашу беседу.

ЧАСТЬ I

Глава первая

«БОЖЕ! КТО Я, НИЩА ТВАРЬ?»

(В. Тредиаковский, А. Сумароков, М. Ломоносов)

В середине XVIII века вышла книга «Три оды». Авторы од, каждый на свой лад, перелагали 143-й псалом, который любой заинтересованный может найти в Псалтири. Почему Псалтирь, книга Ветхого Завета, повествующая о событиях до рождения Христа, нередко помещается под одной обложкой с Новым Заветом, вместе с Евангелиями, Посланиями Апостола Павла, Откровением Святого Иоанна Богослова (Апокалипсисом)?

Нам трудно даже представить, что значила Псалтирь для наших предков. Самая читаемая на Руси книга! По Псалтири учились грамоте! Начавшая создаваться за тысячу лет до Рождества Христова, она удивительно близка духу Евангелий.

150 молитв, составляющих Псалтирь, приписывают древнееврейскому царю Давиду, хотя известно, что у них были разные авторы. Нередко царя Давида изображают с чем-то вроде арфы. Это «мицмор» на библейском иврите, «псалтерион» по-гречески. Отсюда и Псалтирь.

Псалом — благодарение человека Создателю, твари — Творцу. В житейском обиходе слово «тварь» приобрело чуть ли не унижительное значение. На самом деле, тварь — это всё, что сотворено, «божеское создание, живое существо, от червячка до человека» (словарь Даля). Отсюда и «тварный мир» — выражение философское, богословское, без которого нам не обойтись, хотя обещаю не загружать свои беседы слишком «заумными» словами.

Когда в церкви слышен возглас «Всякое дыхание да хвалит Господа! Аллилуйя», — это наивысшая степень благодарения Создателю от всего тварного мира. Так звучит строка 150-го псалма... За что люди должны благодарить мироздателя? За всё! За то, что Он дал жизнь каждому из нас. За то, что дело его — слава и красота; в славе и красоте создал Он этот мир для любования человека. За то, что Он долготерпелив и многолюбовен, возлагает на нас бремя, но и спасает от него, путеводит нас в правде, хранит простодушных, знает тайны сердца, поражает врагов наших. За то, что для него тысяча лет, как день вчерашний, что правда и суд — основание престола Его, что в конце времён Он будет судить Вселенную по правде и народы — по истине своей.

(Я не ставлю кавычек, но почти все слова взяты из псалмов).

Благодарение, молитва, покаяние — вот другие названия псалма. Тех, кто захочет узнать о псалмах побольше, отсылаю к содержательной книге Г.П. Чистякова «Тебе поём...», вышедшей в издательстве «Знание» в 1992 году.

143-й псалом, переложением, или парафразисом которого занимались 240 лет назад три известнейших поэта, не столь уж знаменит, хотя речь в нём идёт, увы, о жгуче злободневном: псалмопевец просит Господа избавить его «от руки сынов иноплемennых». Он не входит в Шестопсалмие, что читается в церкви во время утренней службы. Но есть в нём одно место, от которого сжимается сердце.

«Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нём, и сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению; дни его — как уклоняющаяся тень. Господи! Приклони небеса Твои, и сойди; коснись гор, и воздымаются. Блесни молнией и рассей их; пусти стрелы Твои и расстрой их. Простири с высоты руку Твою, избавь меня и спаси от вод многих, от руки сынов иноплемennых, которых уста говорят суетное, и которых десница — десница лжи».

Конечно, это поэзия чистой воды, но не только! Это и чёткая философская позиция. Древний мудрец не принижает человека, как, может быть, подумают некоторые, на чьём сознании отпечатались пропагандистские клише недавней поры. Он просто понимает: Творец и тварь несоизмеримы. И ещё: Создатель не безразличен к своему созданию. Он «знает» каждого из нас; на каждого «обращает внимание».

Да, псалмопевец молит Бога о помощи в брани с иноплемennиками, — вероятно, жестокой, до победного конца. Придёт Христос и скажет: «любите врагов ваших» (Мф. 5—44). Не забудьте, однако: до Рождества Христова ещё тысяча лет!

Но вернёмся к сборнику «Три оды».

Интересно, как же перелагали нетленный псалом русские поэты, почти наши современники. Почему «современники»? Да потому, что четверть тысячелетия, отделяющая нас от них, меркнет перед временной толщей, вставшей между ними и автором псалма. Или Время — категория воображаемая и его нет не только по ту сторону, но, по нашему произволению, и по эту?!

Василий Тредиаковский, самый косноязычный из трёх одописцев, создает то, что мы назвали бы «вольным переводом», хотя мысль великого предшественника сохраняет в неприкосновенности и даже усиливает повтором:

*Боже! кто я, нища тварь?
...Как? О! как могу быть царь?*

Александр Сумароков, знаменитый в своё время лирик, сатирик, драматург, держась оригинала, виртуозничает, ибо знает свою власть над словом:

*Правитель бесконечна века!
Кого ты помнишь! человека.
Его весь век как тень преходит:
Все дни его есть суета.
Как ветер пыль в ничто преводит,
Так гибнет наша красота.
Кого ты, Творче, вспоминаешь!
Какой ты прах днесь прославляешь!*

Разожжённый от негаснущей искры, стих Михаила Ломоносова вздымается упругим костром:

*О Боже! что есть человек?
Что Ты ему себя являешь,
От твари больша быть вменяешь.
Которого толь краток век.
Он утро, вечер, ночь и день
Во тщетных помыслах проводит;
И так вся жизнь его преходит,
Подобно как ночная тень.
Склони, Владыко, небеса,
Коснись горам, и воздымятся;
Пусть паки на земле явятся
Твои ужасны чудеса.
И молнию Твою блесни;
Бросай от стран гремящих стрелы;
Рассыть врагов Твоих пределы,
Как плевры бурей разжени.*

Любопытно, что «мои» становятся у Ломоносова и «твоими» врагами, то есть врагами Господа. У псалмопевца этого нет.

Поглощённых неисчерпаемым содержанием псалма и его переложений, нас едва ли особенно заинтересует, что все три оды писались как бы на конкурс: участники сборника доказывали друг другу преимущества разных стихотворных размеров, Тредиаковский — хорея, Сумароков и Ломоносов — ямба (иамба — писалось тогда). Возможно, пииты и выбрали не очень популярный псалом, чтобы с академической невозмутимостью провести свой эксперимент. Прав-

да, невозмутимости не получилось — поэтический темперамент взял своё.

Ещё страстнее и куда более лично звучит у Трелиаковсого «парафразис» псалма 6-го. Как раз шестой входит в Семь псалмов, известных в своё время (во всяком случае на Западе) каждому мирянину, а не только монаху, твердимых наизусть даже теми, кто плохо знал латынь.

Приведу то место из псалма, что, на мой взгляд, особенно удалось перелагателью:

«Утомлён я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие; ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою».

Трелиаковский:

*Очи с плача помутились,
От врагов весь сокрушён;
Пагубно в себе озлились,
К ненависти уклонились;
Я надежды уж лишён.
Отступите от меня, лукавцы:
Богом вопль услышан мой.
Отступите все тщеславцы
И вы, лжи за правду давцы,
Злобе преданны самой.
Бог уж от меня молитву
Милостивым слухом внял;
Презираю вашу битву,
Лестных и сетей ловитву:
Бог моление приял.*

Пожалуй, только слово «ловитва» (ловля, охота, преследование) требует объяснения. Остальное понятно и, главное, понятно, как не терпелось поэту излить душу через псалом.

Было, было, на что и на кого жаловаться Василию Кирилловичу, из-за чего омывать ложе своё слезами. Уроженец Астрахани, попович по происхождению (разночинец задолго до появления исторических «разночинцев»), Трелиаковский свою жизнь превратил в литературный подвиг, возвращая слову его первоначальное, духовное значение. Совершить подвиг — значит подвигнуть себя на большое дело. Он и подвиг. Изучил латынь в школе, основанной монахами-капуцинами,

учился в Славяно-греко-латинской академии, слушал лекции в Сорбонне. Пушкин, отдававший должное главному преобразователю русского стиха, приводит слова Петра Великого, произнесённые, когда представили ему двенадцатилетнего школьника, *Василья Тредьяковского*: вечный труженик! Поразительное пророчество.

Писал стихи — написал многие тысячи строк; трактаты, в том числе «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» — неуываемый гибрид учёности и собственного поэтического опыта, вечно свежий плод, подаренный всем нам, пишущим и читающим стихи, на века вперёд; без конца переводил. На одну «Историю римских императоров» в 30 томах потратил 30 лет жизни. По тому — в год. Выбил в придворные поэты, в профессора элоквенции (красноречия).

Но был постоянным предметом насмешек — двора и... коллег. Ну, двора — ладно! Ещё не установилось то хрупкое равновесие между поэтом вообще и властью предержажими, которое можно выразить графиком, напоминающим американские горки: вверх-вниз, вверх-вниз. Челядь при любом дворе всегда глазаеет на барина, на барыню — что они? Тредиаковскому досталось «бабье царство». При Анне Иоанновне он был бит «палкою по голой спине», сначала 70, а потом для ровного счёта ещё 30 раз. Как можно разглядеть в тумане истории, за некоторую заминку с согласием выполнить «социальный заказ»: написать оду на потешную свадьбу шута и шутихи (не пугать с ракетой и фонтаном!), для коих строился всем известный по роману Лажечникова «ледяной дом». Екатерина II изощряла на нём своё остроумие. При этой просвещённой императрице у входа в Эрмитаж висели правила поведения, как то: «Оставить все чины вне дверей равномерно как и шляпы и наипаче шпаги. Быть весёлым, однако ничего не портить и не ломать и ничего не грызть». Так вот: тем, кто «противу 3-х статей в один вечер поступится», вменялось в обязанность выгучить 6 строк из «Тилемахиды» Тредиаковского наизусть. Имелось в виду поэтическое переложение романа Фенелона «Похождения Телемака, сына Улисса», в которое переводчик вложил все свои недюжинные силы.

«Безбожник и хапжа» — так пазвал его Ломопосов, и, видимо, громгласно назвал, раз до нашего времени докатилась худая слава. А исторический писатель Лажечников в «Ледяном доме» одел на нашего героя «власяницу бездарности» и «вериги для терпения». Не намёк ли на то, что он — сын попа?

Справедливо всё это? Нет, не справедливо!

Тредиаковского я вижу первым в длинном ряду русских поэтов, вечных страдальцев, вечных тружеников, вечных искателей истины. На плечах у него шуба с барского плеча (как ужасно аукнулась она че-

рез полтора с лишним века в судьбе Осипа Манделштама, тоже несчастливенного шубой, но уже не битого, а убитого временщиками), под душным мехом болят и чешутся рубцы от палочных ударов. А в пальцах, заскорузлых от гусиного пера, невидимый миру «псалтерион». Пересказывая на русский лад столь любимые им псалмы, Василий Тредиаковский обретает пронизательность древнего пророка и мужество человека, осознавшего, что он — образ и подобие Божие...

Совсем недавно, уже в начале XXI века, в печати мелькнуло любопытное сообщение. Возможно, в Москве, на Лубянке, под автостоянкой ФСБ, находится захоронение наших знаменитых соотечественников, среди которых и «первый русский поэт», как было сказано в Газете.ru, Василий Тредиаковский. На саркофаг из красного камня наткнулись рабочие, когда 20 лет назад рыли котлован под осветительные опоры для фонарей. Чтобы не срывать план, не лишать бригаду тринадцатой зарплаты, прораб велел засыпать находку землей... Однако место, где когда-то стояла Гребенская церковь и хоронили знать, известно. Жаль, что интересы археологов не совпадают с интересами хозяев автостоянки.

Злоключения Василия Кирилловича продолжаются...

Александр Сумароков, в отличие от предыдущего поэта из нашей троицы, не мог пожаловаться на слишком трудный и крутой путь восхождения. Успех и всегда предупреждаемая им, но далеко не всегда сопровождающая его слава пришли к нему быстро. Чтобы залучить эту капризную чету (в России во всяком случае), потребны таланты, вольнодумство, порядочная образованность. Всё это у Сумарокова было. Начать с последнего: уже в осмысленном детстве, когда оно вот-вот переломится в отрочество, в доме отца, крупного военного петровской закалки, будущего поэта обучал тот же педагог, что и наследника престола.

О широте таланта Александра Петровича говорит простое перечисление литературных жанров, в которых он работал, почти всегда добиваясь зримых положительных результатов: ода, сатира, любовная песня, идиллия, эклога, трагедия, эпиграмма, притча, басня, комедия.

Вольнодумства тоже хватало, пусть на сегодняшний взгляд оно шло рука об руку с законопослушанием. Сумароков — рационалист, хотя как художник никогда не отворачивался от чувств, что бескорыстно одаряют нас разнообразными впечатлениями бытия. «Здравым рассуждением, — пишет он, — приближаемся мы к центру познания, которого смертные никогда не могут коснуться. Кто больше до сего центра доходит и кто меньше его преходит, тот справедливее действует».

«Центр познания» — это, очевидно, псевдоним Бога. Во всяком случае, он противостоит смертным — значит, бессмертен. «Здоровое рассуждение» — разум в его полном развитии, читай: подкованный образованием. Бог, действительно, непознаваем — поэтому «центра» нельзя «коснуться». К нему можно только приблизиться. А кто же «переходит» (переходит) этот центр? Безумцы? Неверы? Грядущие сверхчеловеки?

Сумароков чётко разделял естество и Божество, а естество, в свою очередь, делил на «духи и вещество». «Что духи, я не знаю, — смиренно признавал он ограниченность своего разума, — а вещество имеет меру и вес». Очевидно, в те времена это звучало предерзко. Не пройдёт и двухсот лет, как другой русский поэт, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, вряд ли помнившая о Сумарокове, напишет:

*Ни формулы, ни мера вещества
И ни механика небесной сферы
Навек не уничтожат торжества
Без чисел, без механики, без меры.*

И в наступившую безбожную эпоху это опять-таки будет предерзко...

Я говорила преимущественно о Сумарокове-философе — не терпится сказать о Сумарокове-поэте. Его перу принадлежит «Гимн о премудрости Божией в солнце» — стихотворение, украшающее отечественную поэзию, даже если брать её в полном объёме, более чем за три века.

*...Вострепетала тьма, лишь только луч пустился;
Лишь только в вышине подвигнулся небес,
Горящую стрелой дом смертных осветился,
И мрак перед тобой исчез.
О солнце, ты — живот и красота природы,
Источник вечности и образ Божества!
Тобой жива земля, жив воздух, живы воды,
Душа времён и вещества!
Чистейший бурный огонь, лампада перед вечным,
Пылающе пред ним из темноты густой,
Волнующаяся стремленьем быстротечным,
Висяща в широте пустой!
... Объемля взором всю пространную державу,
Вовеки бодро бдя, не дремя николи,
Великолепствуя, вещаешь Божью славу,
Хвала Творца по всей земли.*

Читатель, знакомый с обиходом православной символики, увидит в «образе Божества» Христа. Как солнце — главное небесное светило, так Христос — источник света для верующего в Него. Мы же, не столь преуспевшие в вере, воспринимаем стихи как гимн Божию величию. К ним, кстати, вплотную примыкают стихи Ломоносова (гораздо более известные), кои так и называются: «Утреннее размышление о Божием величестве», «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния».

Чтобы лучше понять Сумарокова, хочу обратиться к его стихотворению «Из 145-го псалма». Самый псалом, в некотором сокращении, читается так:

«Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, Сотворившего небо и землю, море и всё, что в них, вечно хранящего верность, Творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников; Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбленных; Господь любит праведных. Господь храпит пришельцев, поддерживает сироту и вдову; а путь нечестивых извращает...»

Вот сумароковская интерпретация:

*Не уповайте на князей;
Они рождены от людей,
И всяк по естеству на свете честью равен,
Земля родит, земля пожрёт:
Рождённый всяк, рождён умрёт,
Богат и нищ, презрен и славен.
Когда исчезнут лести те,
Которы данны суете,
И чем гордились бесстыдно человеки,
Скончаться их кратки дни,
И вечно протекут они,
Как гордые, шумя, текущи быстро реки.
Когда из них изыдет дух,
О них пребудет только слух,
Лежащих у земли бесчувственно в утробе:
Лишатся гордостей своих,
Погибнут помышленья их,
И пышны титла все сокроются во гробе.*

Попытаемся пробиться к смыслу через некоторую корявость слога, непривычные усечения слов, затруднённый их порядок и другие

натяжки. Современники Сумарокова и он сам имели дело с необработанным, тяжеловесным языковым материалом, ворочали глыбами грубой породы, где в таинственной глубине посверкивали изумруды и сапфиры истинной поэзии. Их предстояло извлечь оттуда, очистить от пласта, найти естественную ритмическую оправу. Будем благодарны им за это! В сложном слове «труднодоступность» удивимся не первой, а второй части...

Сравнивая переложение псалма с могучим оригиналом, находим много обидных утрат. Где же тут про обиженных, в чью пользу творит Господь свой суд, про алчущих, кому Он даёт хлеб? Где про узников, па выручку которым приходит Высшая сила? А «пришельцы», напоминающие о наших беженцах, тоже, оказывается, угодные Богу, а эти вечные вдовы и сироты, заполняющие все ниши, отданные под милосердие, в каждом столетии, в каждом тысячелетии?.. Преуспевающему и, как видно, богатому Сумарокову не до них?! Нам, выросшим в твердокаменные времена, дороже всего в 145-м псалме именно эта нота глубокого сопереживания.

Но не будем так уж строги к одному из отцов русского литературного языка — все мы ждём с засеянного им поля. У него была своя система взглядов, свои болевые точки, и в духовных одах он заострял внимание на том, что его особенно волновало. Разве не назвал он своё творение «Из 145-го псалма», тем самым подчеркнув, что не претендует на пересказ всего его внутреннего богатства? Здорово ему, видеть, досталось от «князей», от сильных мира сего, если он составил такой желчный обобщённый портрет вельможи («пишки» — сказали бы мы теперь), кто пребывает в лести, в суете, бесстыдно гордится пышными титулами, забыв о краткости земного срока. Судя по всему, эти стихи Александр Петрович написал незадолго до смерти. С блестящей карьерой давно было покончено. Пост директора любимого его детища, Российского театра, занимал другой. Сумарокова «ушли» в отставку. И не оказалось под рукой иного орудия отмщения, кроме Псалтири...

В оде сконцентрированы задушевные мысли поэта. В том, что люди все равны честью, а также равны «по естеству», то есть по природе, он был незыблемо уверен, а это, согласитесь, достаточно крамольная мысль для уроженца крепостнического государства.

*... от баб рождённым и от дам
Без исключения всем прародею Адам, —*

настаивает поэт в одной из своих сатир.

Меньше всего я хочу представить Сумарокова этаким предтечей социалистов. Ничего «социалистического» в его взглядах не было.

Просто это был широкомыслящий талантливый человек, прекрасно знакомый и с дохристианской, и христианской философией, тысячи лет назад задававшей теми же вопросами: о вере и безверии, о равенстве и неравенстве, о законности и беззаконии, чести и бесчестии, жизни и смерти. О перемене государственного строя в России он и не помышлял, убеждённый в том, что

*Порядок естества умеет Бог уставить
И в естестве себя великолепно славить.*

«Неправедных судей» (есть у Сумарокова стихи с таким названием) призывал к порядку, ссылаясь именно на Божию, а не человеческую правду, которую можно выворачивать и так и сяк:

*Иль вы не помните, в ожесточеньи тверды,
Что Вышний справедлив, а вы немилосерды?
Иль вы не верите, что Бог неправду мстит
И вам стенование невинных отплатит?*

Помните, в 145-м псалме говорилось о «пути нечестивых», которые «извращает» Бог? «Извращает» — значит, меняет по своему усмотрению. Рассуждая о «неправедных», или, как мы выразились бы теперь, «несправедливых», «необъективных», «бесчестных» судьях, поэт, в сущности, повторяет ту же мысль. Путь нечестия ведёт в тупик. Божией милостью приводит совсем не туда, куда как будто вёл, — мимо цели.

Хотя, по Сумарокову, господа и простолюдины «равны честью», другими словами, каждый, кто бы он ни был, волен выбирать честную или нечестную стезю, «Сатиру о честности» Сумароков обращает к людям своей среды — дворянству, придворным кругам: им больше дано — с них больше и спрашивается.

«Но что такое честь?» — задаётся вопросом автор. И дивится людской путанице понятий.

*...один победой льстился,
И пьян со пьяным он за честь на смерть пустился;
Другой приятеля за честь поколотил,
Тот шутку лёгкую пощёчиной платил...
...Премежкий суевер шлёт ближнего во ад
И сеет на него во всех беседах яд.
Премежкий атеист Создателя не знает,
Однако тот и тот о чести вспоминает.*

*Безбожник, может ли тебя почитать кто,
Когда ты самого чтишь Бога за ничто?..
А истинная честь – несчастным дать отрады,
Не ожидаячи за то себе награды;
Любители ближнего, Творца благодарить,
И что на мысли, то одно и говорить...*

Современно? Весьма! Даже чересчур... А ведь 200 с хвостиком лет мелькнуло. «Как нам жить? Утрачены все ориентиры!» слышится вперемешку с руганью, проклятиями, матом, криками «караул! помогите! грабят!» (а то и «убивают!»). И вот с Библией в одной руке, с томиками «старомодных» поэтов в другой – пытаешься докопаться до истины, отделить зёрна от плевел, вечные ценности от сиюминутных фальшивок...

С детства мы помним из стихов Некрасова четыре строчки:

*Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.*

Обратите внимание на слово «разумен». У поэтов не бывает пустых слов. На месте данного определения могло стоять другое: известен, прославлен, усерден и т.д. Но у Некрасова: разумен. Стал – значит, раньше не был. Ходил под парусами с отцом-помором в Ледовитый океан, развивал споровку и мощь мускулов, но разумен не был. А стал, когда – чудо-то какое! – добравшись до Москвы с рыбными обозами, ухитрился поступить в Славяно-греко-латинскую академию, единственное в России высшее учебное заведение. Где и с античными поэтами познакомился, и с античными мудрецами, где впитал дух основателя её Симеона Полоцкого, автора «Псалтири рифмовторной», которой восхищался ещё подростком.

Любопытно, что, посланный в числе лучших учеников в Германию пополнить образование, Михаил Васильевич обучался у тогдашнего властителя дум Христиана Вольфа в Марбурге. А лет этак через 175 в том же Марбурге, у философа новых времён Германа Когена появится слушатель из России Борис Пастернак. Ни тот ни другой не станут любомудрами, а станут поэтами. Слава Ломоносова-учёного затмит славу Ломоносова-поэта, но в отечественной словесности ему принадлежит уникальное место. Русский стих в его современном звучании, оперённый мужскими и женскими рифмами, с явно первенствующим ямбом, – это стих Ломоносова. Отдававший ему должное Пушкин не

без иронии писал, что Ломоносов «надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул». И ещё жлеще: «стихосложение шагнуло один раз и стало в пень». Конечно, это говорилось задолго до Маяковского и даже Некрасова, преобразовавших (впрочем, в пределах узнаваемости) ломоносовский стих.

«Ода, выбранная из Иова, главы 38, 39, 40 и 41» — длинно и точно называет одно из своих библейских «преложений» Михаил Васильевич. Об Иове, персонаже Ветхого Завета, размышляют, спорят не последние умы человечества многие сотни лет. Кто же такой Иов? Праведник, которого без вины карает Бог! Всем нам приходилось слышать от людей неверующих или слабоверующих: «Что вы нам пудрите мозги! Нет никакого Бога, поскольку на земле столько зла! Включите телевизионные новости — вот вам лучшая антирелигиозная пропаганда. Войны, Чечня, террористы, крушения поездов, разбившиеся самолёты, землетрясения — если бы был Создатель, он бы этого не допустил!»

Не знаю, у кого хватит бессердечия возразить, что все эти несчастья посылаются на землю за человеческие грехи, за безверие. Может быть, это и так, но лично я не в силах признать такую правду Божией, то есть справедливой и человеческой. Я могу только посочувствовать Иову, у которого Бог отнял детей, богатство, здоровье вовсе без вины, проверяя крепость его веры. И вспомнить, какие аргументы приведены в Библии, дабы пострадавший праведник не разуверился в существовании и непобедимой мощи Творца.

Вот как звучит это место у Ломоносова:

*О ты, что в горести напрасно
На Бога ропщешь, человек,
Внимай, как в ревности ужасно
Он Иову из тучи рек!
Сквозь дождь, сквозь вихрь,
сквозь град блистая
И гласом грома прерывая,
Словами небо колебал,
И так его на распрю звал.
Сбери свои все силы ныне,
Мужайся, стой и дай ответ.
Где был ты, как Я в стройном чине
Прекрасный сей устроил свет?
Когда Я твердь земли поставил
И сонм небесных сил прославил,*

*Величество и власть Мою?
Яви премудрость ты свою!
Где был ты, как передо Мною
Бесчисленны тьмы новых звезд,
Моей возженных вдруг рукою
В обширности безмерных мест,
Моё величество вещали;
Когда от солнца воссияли
Повсюду новые лучи,
Когда возшла луна в ночи?..*

Непостижимость панорамы мироздания, во всей его красоте и чудных закономерностях, невозможность не только для одного смертного, но и для всех миллиардов людей, живших когда-либо на земле, повторить и тем более превзойти Великого Зодчего — вот главное доказательство существования Бога. И если Он так могуч, то нам с нашими частными обидами и бедами не мудрее ли прислушаться к Нему, чем вести пустую распрю? Вольно перелагая Книгу Иова, поэт кое-что добавляет и от себя, но добавляет в духе Писания. А именно:

*Сие, о смертный, рассуждая,
Представь зиждителю власть,
Святую волю почитая,
Имей свою в терпении часть.
Он всё на пользу нашу строит,
Казнит кого или покоит.
В надежде тяготу сноси
И без роптания проси.*

Последние слова приводят на память Евангелие от Матфея: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; Ибо всякий просящий получает, а ищущий находит, и стучащему отворят» (7, 7–8).

Приходилось и Ломоносову выступать в роли просителя. О том, как нелегко это ему давалось, свидетельствует перевод из Анакреонта (или Анакреона), греческого поэта, сочинявшего стихи в лёгком жанре.

*Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкой травой
И наслаждаешься медвяною росой...*

Несколько строк опускаю, а конец таков:

*Что видишь – всё твоё; везде в своём дому,
Не просишь ни о чём, не должен никому.*

Это не Анакреонт. Это автор переложения прибавил к Анакреонту. Вот уж воля великой души, жаждущей независимости от людей и обстоятельств. На зависимость от Создателя он согласен, но только — от Него! Особенно трогает последнее двустишие, когда узнаёшь: стихи сочинены по дороге в Петергоф (императорскую резиденцию), куда поэт-учёный ехал, чтобы попросить привилегий для Академии наук...

Иные исследователи недавнего прошлого зачисляли Ломоносова чуть ли не в материалисты. Их узкий ум отказывается понять, что наука и религия — не враги, что это два инструмента для познания неисчерпаемого мира, который нас окружает. Религиозными людьми были Коперник и Леонардо да Винчи, Ньютон (писал свой комментарий к Библии), Кешлер, Пастер, Лобачевский, Пирогов, Эйнштейн. Из научных светил последних десятилетий — академик Павлов, академик Конрад, «глазной бог» Филатов, академик Вернадский, хирург и священник Войно-Ясенецкий... В этом славном ряду стоит и Михаил Ломоносов.

Глава вторая

«Я ЦАРЬ — Я РАБ — Я ЧЕРВЬ — Я БОГ!»

(Г. Державин)

В 60-е годы нашего века любителям поэзии стало известно следующее стихотворение Давида Самойлова:

*Рукоположения в поэты
мы не знали, и старик Державин
нас не заметил, не благословил.
В эту пору мы держали
оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
с пулеметом я лежал своим.
Это не для самооправданья:
мы в тот день ходили на задание
и потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
ночь не спал и бормотал: «Вот черти!
Некому и лиру передать!»
А ему советовали: «Некому?
Лучше б передали лиру некоему
малому способному. А эти,
может, все убиты наповал!»
Но старик Державин воровато
руки прятал в рукава халата,
только лиру не передавал.
Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал,
что-то молча про себя загадывал.
(Все занятие – по его годам!).
По ночам бродил в своей мурмолочке,
замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!
Пусть пылится лучше. Не отдам!»
Был старик Державин льстец и скаред,
и в чинах. Но разумом велик.
Знал, что лиры просто так не дарят.
Вот какой Державин был старик.*

Я начала с этого стихотворения, потому что Гаврила Романович представлен в нем как живой. Из двухсотлетней дали он не тянет к нам

руки, желая чего-то, прося о чем-то (о чем? ну, хотя бы о внимании), а наоборот, «*руки прячет в рукава халата*», не желая иметь с нами дела. За что такая немилость? Узнав дальнейшее, каждый волен сделать свой вывод... Он и рад бы передать лиру. Но кому? Достойные, «*может, все убиты наповал*», а недостойные менее всего заслуживают именно лиры. Хорош его портрет, и внешний, и внутренний, хотя Д. Самойлов видит его, конечно, по-своему. Лукавство и суровость. Мнимая житейская податливость и бескомпромиссность в том, что называется «гамбургским счетом» в поэзии, когда профессионал судит коллег. Оказывается, для таких понятий, как преемственность в литературе, времени вообще нет. Молодой, пока безвестный поэт-солдат сороковых годов XX века (помните «*сороковые, роковые, свинцовые, пороховые*»?) и великий Державин, рожденный в сороковые века XVIII, существуют одновременно. Из-под набрякших старческих век, глазами, видевшими юного Пушкина, знаменитый автор «Фелицы» и оды «Бог» критически оценивает новое пополнение в поэтическом полку..

Что важно сказать о Державине – не стихотворном образе, а его прототипе? Недоносок – поспешил на этот свет раньше положенного срока. И застал его в том далеком от совершенства, неуравновешенном состоянии, в каком, если верить Библии, он пребывает со времен грехопадения. Смерть рано унесла отца; мать, мелкая помещица, «чтоб какое где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передних у дверей по нескольку часов, дожидаясь их выхода; но когда выходили, то не хотел никто ее выслушать порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо».

Юноша с выдающимися способностями (сначала они сказались в рисовании, потом в геометрии) всего три года проучился в Казанской гимназии. Затем его «присвоил к себе» Преображенский полк. Почему, он и сам не знал. Из-за какой-то бумажной неувязки. Вместо того, чтобы оказаться в Инженерном корпусе, попал сначала в петербургские, потом в московские казармы. Рядовым. Ходил «не токмо в строй» (...), но и во все случающиеся в роте работы, как то: для чищения каналов, для привозки из магазейна провианту, на вести к офицерам и на краулы в полковой двор и во дворцы».

О том, каково было в ту пору его истинное положение, во всяком случае в глазах высших по субординации и родovitости однополчан, рассказывает мелкий как будто, но красноречивый эпизод.

В одной роте с Державиным в чине прапорщика служил «приятный стихотворец», князь Ф. Козловский. Однажды, явившись к нему в качестве вестового, Державин услышал чтение трагедии в стихах. Весь превратившись в слух, он замешкал у двери.

«Поди, братец служивый, с Богом; что тебе попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь», — добродушно выпроводил его князь.

В том самом возрасте, когда создаются шедевры, Державин «находится без всякого призрания и обижен». Не может «удовлетворить склонности своей к наукам». Просится в чужие края, «дабы чему-нибудь там научиться».

Рок, особенно лакомый до русских гениев, и тут не дремал. Солдата, а потом капрала, преследовали мелко-пакостные, чисто отечественного происхождения угрозы здоровью и самой жизни. Однажды, стоя на часах в поле позади двора, он чуть не замерз до смерти — такая жестокая случилась стужа. В другой раз среди великих сугробов на Пресне на него набросились голодные собаки. Тяжело ранил на охоте матерый вепрь, мог бы растерзать в клочья, но Державин чудом убил его — с одного выстрела утипой дробью. Обегая почтым дозором недостроенный Зимний дворец, он едва не сверзся с огромной высоты в пролом, наполненный каменными обломками. Дотошно, с подробностями, пересказывая эти ужасы в своих автобиографических «Записках», откуда я беру все цитаты, кроме специально оговоренных, Гаврила Романович заканчивает каждую историю примерно одинаково: «Он перекрестился, воздал благодарение Богу за спасение жизни и пошел, куда было должно».

Об угрозах достоинству, чести, свободе Державина можно говорить долго. Они не кончались во весь век его. Приведу только один пример. Чужую гульливую девуку, что хаживала в дом, где жил сержант Державин, подучили указать на него как на виновника ее бесчестия. Мнимого виновника будочники схватили на улице и, ничего не объясняя, повезли через всю Москву в полицию. Там он провел с прочими арестантами сутки. «На другой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтоб он признался в зорном с девкой обхождении и на ней женился». Волокита длилась неделю. Наконец, за отсутствием улик, задержанного отпустили, сообщив, однако, обо всем в полковую канцелярию.

Согласитесь, что это — неожиданный для нас Державин. Не тот, приближенный ко двору любимец фортуны, сенатор, дважды губернатор и даже министр, в парадном мундире, в орденах причудливой конфигурации, осыпанный ливнем дарственных золотых табакерок и бриллиантовых перстней, которого мы привыкли зреть на портрете. А живой предтеча «маленького человека» — любимого героя русской литературы, изначально сбитый с панталыку, жертва бюрократической путаницы, жестоких людей и обстоятельств, недоносков, недоучка... чуть не прибавила: «недотыкомка»...

Загулы, картежная игра, шулерство, также неотъемлемые от образа молодого Державина, — не оборотная ли сторона той же медали? Пускался во все тяжкие от невыносимого гнета жизни, непролазных долгов, бедности. Да он и сам говорит: «ездил, так сказать, с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с игроками, или, лучше, с прикрытыми благопристойными постулками и одеждою разбойниками...»

Повествование в третьем лице, выбранное автором «Записок» (не «я», а Державин), может быть, кое-где и позволяет похвалить себя выше меры, оправдать, обелить, но зато с самого начала дает возможность взять объективный тон, сохранять ту дистанцию между описателем и описанием, что внушает доверие.

Настал день, когда тонувший в трясине неблагообразия Гаврила Романович совершил самый отчаянный свой поступок: «возгнушавшись сам собою», занял в бессчетный раз деньги в долг, «бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург». Начинать новую жизнь. Стихи он «марал» давно, иные из них, например, «Христианина в уединении Захария» хвалили его приятели, но, чтобы поскорей проскочить карантинный кордон (с юго-востока распространялось «морное поветрие» — холера? чума?), обрек на сжигание целый сундук с ранними опытами в стихах и прозе. Как это по-русски: начинать, так на пустом, очищенном от всякого балласта месте!

*Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?
Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?
Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?
Чем грудь мою тебе осталось поражати?*

.....
*Невинность разрушал! Я в роскошах забав
Испортил уже мой и непорочный нрав,
Испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился,
Повеса, мот, буйан, картежник очутился;
И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,
Порочной жизнью его я погубил.*

Раскаяние (так и называются эти стихи) — другое имя покаяния. Без него невозможен разрыв с прежней, вдруг ставшей невыносимой, жизнью, неосуществим подъем по духовной, нравственной, творческой лестнице. Допустим, что в случае с Державиным роль проводника сыграл его поэтический дар, но внутреннее перерождение знакомо множеству людей, вовсе далеких от муз, и происходит по одним и тем же законам.

В своей прекрасной книге о Державине Владислав Ходасевич сумел подсмотреть то, что обычно ускользает от взгляда менее искусственного исследователя. Момент обнаружения в поэте поэта, когда «он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков, связанных так, как доколе они не связывались ни в ком. Его будущая поэзия вдруг посылает ему сигнал (...) Эта минута неизъяснима и трепетна, как зачатие».

С Державиным это случилось по окончании пугачевской кампании, в минуту душевного затишья, перед новыми грозowymi перевалами его изменчивой судьбы. Поселившись возле пустынного холма Читалагая, неподалеку от недавнего театра военных действий, Державин пишет оды, названные впоследствии «читалагайскими».

Моя задача и сложнее и проще, чем была у автора «Державина». Я не могу указать тот миг (день, месяц, год), когда мой герой обрел христианскую веру. Он получил ее от рождения, а может быть, еще в утробе матери. Как ни заморочена житейскими неурядицами была Фекла Державина, сына она «старалась пристрастить к чтению книг духовных, поощряя к тому награждением игрушек и конфеток». Совершенное знание славянской Библии и богослужебных песен отмечает у него и Я.К. Грот, самый основательный державиновед.

Но вера, когда речь идет о поэте, не заменяет ни таланта, ни мастерства. «Раскаяние» — искренняя вещь, по-державински пышущая жаром, без малейшего самоупоения, без тени подражательности. Но... стих тяжел, натужен, прорехами зияют приблизительные глагольные рифмы. Говоря образно, поэт, хоть и едет в карете четверней, но по ухабистой валкой дороге.

Иное дело — читалагайская ода «На великость». Невозможно уподобить эти стихи никакому наземному виду передвижения. Сквозь крепко сбитые, ритмически отшлифованные строки брезжит что-то эфирное. Будто на «крыльях холопа» (было же такое в нашей истории) взвивается поэт ввысь. И парит, и не падает, не разбивается, как его крылатый предшественник. Вот она — настоящая державинская поэзия: диалог с «Дщерью мудрости» («Премудрость», согласно Библии, одно из имен Господа), у которой он просит высокого — читай: небесного — духа для себя и для других высших созданий Божиих:

*Живущая в кругах небес
У Существа существ всех сущих,
Кто свет из вечной тьмы вознес
И твердь воздвиг из бездн борющихся,
Дщерь мудрости, душа богов!
На глас мой звенящей лиры*

*Оставь гремящие эфиры
И стань среди моих стихов!*

.....
*Светила красныя небес,
Теперь ко мне не наклоняйтесь;
Дубравы, птицы, звери, лес,
Теперь на глас мой не собирайтесь:
Для вас высок сей песни тон.
Народы! вас к себе собираю,
Великость вам внушать желаю,
И вы, цари! оставьте трон!*

Религиозная струя, орошавшая поэзию Державина и раньше, бьет все выше, обретает все более чистое, звучание, начиная именно с Читалагая...

Внушать царям «великость» в таком неограниченно самодержавном государстве, как Россия, — задача, конечно, богатырская. Не нам решать, чувствовал ли себя Державин, одержавший сразу две победы — над бунтовщиком и над собственным косноязычием, богатырем или нет... Но от той поры, год за годом, среди разных служб и дел, живя в Петербурге или кочуя с места на место, входя в фавор у сильных мира сего или терпя мучительный афронт, не забывает он напоминать Екатерине II, своей могущественной земной музе, и всем властителям на земле орудием Кого они являются.

В оде «Фелица» внушение сделано с помощью изящного поэтического приема: уже свершенным преподносится то, что есть только пожелание:

*Фелицы слава — слава Бога,
Который брани усмирил;
Который сира и убога
Покрыл, одел и накормил...*

Абсолютно другого порядка — переложение 81-го псалма, самим автором переименованное в «Властителям и судиям». Тут перед нами опять новый Державин. И четырехстопный ямб, самый пластичный размер, звучит у него по-новому.

Упорство, с которым он стремился напечатать эту крамольную оду, говорит о многом. О том, что, обласканный Екатериной, поэт не под-

¹ Разумеется, поэт — не противник самодержавия. «Оставьте трон» — имеется в виду: оставьте временно, чтобы послушать глас Божественной мудрости.

дался на приручение. Что любительская литературная деятельность царицы, шаловливо преломленная им в оде «Фелица», ни в коем разе не заслоняла для него Книгу всех книг, хоть и позволил он себе среди других острых шуток подтрунить и над собой, и над близким ко двору вельможей, любителем лубка: «*Полкана и Бову читаю; за Библией, зевая, сплю*». И, главное, что кесарю он отдает кесарево, Богу — Богово...

В Псалтири находим:

«Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицепрятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются. Я сказал: вы — боги и сыны Всевышнего — все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю; ибо Ты наследуешь все народы».

Что же у Державина?

*Восстал всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, докаль вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг: спасти от бед невинных,
Несчастливцам подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Не внемлют! видят — и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с дров увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!
Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:*

*Приди, суди, карай лукавых
И будь один царем земли!*

Двести с лишним лет миновало с момента окончания этой оды, которую автор не раз переделывал, усиливал. А энергия, породившая стихи, никуда не уткла. Не потому ли, что Псалтирь — вечный аккумулятор, единственный возможный в этой области перпетуум мобиле? И подключение к нему сообщает поэзии драгоценнейшее свойство — нетленность.

Никогда нельзя с уверенностью сказать, что способствует полной, несомненной удаче поэта, велик ли он, как Державин, или получил куда более скромное дарование. Но высказать некоторые предположения можно. Мне кажется, 81-й псалом остановил внимание Гаврилы Романовича и запросился в перевод еще и потому, что имел непосредственное отношение к его жизни со всеми ее мытарствами, от первых до зрелых лет. «Сироты и вдовы» — это он с братом, это бедная мать их... «Неправедные и злые» — сонм противников, штатских и военных, придворных и губернских, ставивших ему палки в колеса. «Сохранять законы» — задушевная державинская идея, его раздражающая любое окружение неотступная мечта, его (не может быть, чтобы не сознавал этого) розовая иллюзия, ибо, как сказано в прологе к поставленному однажды в державинском доме, в бытность его Тамбовским губернатором, спектаклю:

*Где грубы головы, сердца не смягчены,
Законы кроткие там тщетно изданы.*

Он и с Пугачевым боролся истово, не зная сомнений, потому что бунтовщик, законоотступник, умышлял на драгоценную жизнь императрицы. А раз преступил закон — значит, изменник и злодей. Вероятно, в колеблемости своей был прав, хотя, памятуя Пушкина, нельзя не признать его не классовую, не временем обусловленную (оба — дворяне, время еще не преломилось глобально), а чисто человеческую ограниченность.

Быльем поросла история печатания-непечатания оды «Властителям и судиям». Первый вариант опубликовали было еще в 1780 году, но в холуйском испуге выдрали из журнала, заменили какой-то прозой. Шесть лет спустя стихи все же увидели свет. Но грянула Французская революция, прошел даже слух, что восставшие сделали себе из 81-го псалма что-то вроде идеологического обеспечения, и из книги уже прославленного поэта стихотворение «о царях» велено было убрать.

Если я заговорила об этом, то не для того, чтобы напомнить: в России цензура не дремала никогда! Это и без меня известно.

Но хотелось бы привести один диалог...

— Что ты, братец, пишешь за яacobинские стихи? — спросил на обеде у некоего графа приятель Державина.

— Какие?

— Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен.

— Царь Давид, — сказал Державин, — не был яacobинец, следовательно, песни его не могут быть никому противными...

В этом подлинном эпизоде, где только знаки препинания мои, проявляется достойнейшее поведение поэта. Яacobинцев он терпеть не мог. С поверхностной точки зрения был скорее ретроградом (что это далеко не так — постараюсь показать ниже). Но защищал Богово от кесарева, а свое выношенное детище — от невежественного политиканства.

Не было у нас другого поэта, так высоко понимавшего свою гражданскую миссию. Некрасовское «*поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан*», думаю, осталось бы Державину совершенно непонятно. Он потому и гражданин, что поэт, что как поэт слышит глас неземной Премудрости и старается передать его смертным. Смертны же и цари, и даже любимая им с незапамятных времен, с той самой минутой, когда в день дворцового переворота, облаченная в мундир Преображенского (его!) полка, подняв шпагу над головой, проскакала мимо Екатерина.

Великую к «великости» Державин звал не только одами в ее честь, но и притязаниями своими, отнюдь не личного характера, когда удостоился звания ее кабинет-секретаря. Заваливал кучами скучных бумаг, требовал вникания, соучастия, справедливого решения. Однажды, полный секретарского пыла, схватил самодержицу за край мантильи, так что она, шутя, правда, кликнула кого-то на помощь.

Лыстцом себя не считал и, пожалуй, разгневался бы на младшего собрата, назвавшего его так два без малого века спустя.

Все стихи Фелице — это исполнение читалагайского обета. В одном из них («Изображение Фелицы») дан высший Идеал, к которому должен стремиться помазанный или помазанная на царство.

*О Ты, Всесильный и Предвечный,
Который волею Своей
Колеса движешь быстротечны
Вращающейся природы всей!
Когда Ты есть душа едина*

*Движенью сих огромных тел,
То Ты ж, конечно, и причина
И нравственных народных дел;
Тобою царства возрастают,
Твое орудие – цари;
Тобой они и померцают,
Как блеск вечерняя зари.*

Недаром Карамзин определил стихи как «молитву Екатерины Великой». Она же призналась, что поэт «уяснил ей самый идеал, который она стремилась осуществить собою». Имя этому идеалу – «нравственные народные дела».

И медно-кимвальная интонация приведенного выше отрывка, и чисто державинские словеса, и еще нечто неуловимое, аура, что ли, присущая самым высоким созданиям поэта, возвращают нас к оде «Бог», написанной в 1780–1784 годах. Напомню ее начало:

*О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени преечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду суций и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем – Бог!*

Стихи эти печатались всегда. Слишком прославленны, чтобы их можно было замолчать. Но комментарий зависел от злобы дня.

Видели в оде стихийно материалистическое изображение круговорота вещества. Называли Державина бунтарем, будто бы провозгласившим, что человек величием своим равен Богу. Раздавались голоса, что державинский Бог – вовсе не христианский, любви и милосердия, а скорее уж ветхозаветный, могущественный зиждитель, Бог небес, Бог сил, на чью любовь к своему созданию автор только намекает.

О «материализме», пусть и стихийном, как легко догадаться, наш герой даже не подозревал. Но некоторые основания для вольных домыслов поверхностным исследователям он, действительно, подкинул, сказав, например, о четвертой строке оды «Бог», что «кроме богословского православного нашей веры понятия («Троицы», – Т. Ж.)

разумел тут три лица метафизические, то есть: бесконечное пространство, непрерывную жизнь в движении вещества и нескончаемое течение времени».

Кто ищет во всем буквы, а не сути, может только пожать плечами: ода крепка, величественна, от алмазного блеска высоких образов, от красоты музыки захватывает дух... Однако где же тут, спрашивал еще Белинский, та любовь, «которая воззвала к человеку: “приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененнии — и Аз упокою вы!”» (Мф. 11, 28).

Давайте вчитаемся и сопоставим:

*Хаоса бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом Ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавший все единым словом,
В твореньи простираясь новым,
Ты был, Ты есть, Ты будешь век!*

Верующим церковным людям хорошо известен Символ веры. Он исполняется в христианских храмах всеми предстоящими каждую утреню и звучит уже более 1600 лет! Вот его начало:

«Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна...»

Значит, вечность, по Державину, это... Иисус Христос, и, не ставя себе задачи охватить всю безмерность понятия Бог, он говорит здесь о Боге Отце и о Боге Сыне, их непостижимой для нас вневременной слиянности, языком свежим и древним, своим и церковным — языком глубоко религиозного поэта...

Напомню еще, что строка «Создавший все единым словом» немедленно приводит на ум первый стих Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1, 1).

И все-таки лучшая и самая известная ода Державина выламывается из любых канонов. Она не повторяет — она просекает свои, подчас дерзновенные пути, а те приводят к новым неожиданным открытиям.

Читаем пятую строфу:

*Светил возжженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампы,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры –
Перед Тобой – как ночь пред днем.*

Не так уж давно в журнале «Дружба народов» было опубликовано фантастическое сочинение Клайва С. Льюиса «За пределы безмолвной планеты». Герой этой философской притчи не по своей воле летит в космос на корабле. Вот его впечатления: «... в ореоле величия проходили планеты и неведомые созвездия, небесные сапфиры, рубины, изумруды и зерна расплавленного золота (...) Ему приходилось читать о космосе, и в глубине его души сложилась мрачная фантазия о черной, безжизненной, скованной морозом пустоте, разделяющей миры (...) Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение пространство вливало в него новую жизнь? Иначе и быть не могло (...) Оно породило все бессчетные пылающие миры, что глядят по ночам на землю...»

Тут есть удивительные совпадения с одой Державина.

*«зерна расплавленного золота» –
«волн златых кипящий сонм»;
«небесные рубины» –
«рдяных кристалей громады»;
«пылающие миры» –
«горящие эфиры».
И главное:
«как можно было говорить о безжизненности» –
«лучи животворящи льют»...*

Ощущение такое, что оба, английский философ XX века и русский поэт века XVIII, видят одну и ту же объективно существующую картину и передают ее – каждый своими средствами.

Далее у К.С. Льюиса: «Теперь он понял (...), что планеты, или “земли” (...) – это просто провалы, разрывы в живой ткани небес. Эти мусорные кучи (...) отторгнуты от мирового сияния. Они – продукт не приумножения, а умаления небесной славы (т.е. Создателя! – Т. Ж.),

возможно, видимый свет — это тоже провал, разрыв, умаление чего-то иного...»

У Державина: «*все светящи миры – перед Тобой – как ночь пред днем*».

В «объяснениях» к стихам, которые престарелый Державин диктовал племяннице своей второй жены (ни собственных детей, ни родных племянников у него не было), рассказано, как писалась ода «Бог»:

«Не dokonчив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом, видит во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и в самом деле, воображение так было разгорячено, что казалось ему, вокруг стен бегают свет, и с ним вместе полились потоки слез из глаз у него...»

Может быть, слово «свет» — это ключ к стихотворению, равно которому нет в нашей поэзии?

Что еще поражает нас, маловеров, в оде «Бог»? Выстраданная в сомнениях, глубоко интимных, мысль о неразрывности Творца и твари, т.е. человека:

*Я емь – конечно, есть и Ты!
Ты есть! – природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть – и я уж не ничто!*

Выше я медлила на биографии Державина, как можно чаще давая слово ему самому, а не позднейшим интерпретаторам, потому что мне хотелось понять, каким душевным опытом должен был обладать поэт, написавший оду «Бог», особенно то ее место, где берутся крайние точки человеческого самочувствия и самостояния в мире:

*Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я Бог!*

Помните вздох-вопль Тредиаковского:

*Боже! кто я, нища тварь?
...Как? О! как могу быть царь?*

Оказывается, и это возможно... «Царь», «раб», «червь» — все это, конечно, духовные понятия. Соблазнительнее всего («соблазн» в смысле искушения): «я Бог!» Тот, кто утверждал, что человек в держа-

винской оде «величием своим равен Богу», как раз и соблазнился. Неужели речь идет о человекобожии, о чреватой страшными бедами подстановке человека, с его всегда спорными мерилami добра и зла, света и тьмы вместо Высшего начала? Рискну утверждать, что нет. Имеется в виду другое... В каждом из нас есть «ветхий Адам» (Адам в переводе с библейского иврита — человек). Христа именуют иногда «новым Адамом». «Я Бог!» у Державина означает, по-моему, «я — новый человек, я могу быть не только грешным, падшим, — одним словом, ветхим созданием, но и, угадав высший замысел о себе, стать вровень с ним, приблизиться к Божеству. Тогда и немощь плоти уступит место бессмертному бытию:

*Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну проходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие Твое.*

Тут Державин, на свой лад, конечно, интерпретирует сказанное в Откровении святого Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежде прошло» (21, 4).

«Отец!» в последней строке — восклицание христианина.

«Авва» — папа — этим детским словом называл Господа Христос. Интонационно выделенное, как бы выросшее между двух пауз, обращение русского поэта звучит так же доверчиво, задушевно и очень просто, без выпренности.

Прежде чем расстаться с одой «Бог», хочу обратить ваше внимание на ее заключительные строки:

*Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почитать,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.*

Богословы говорят о несоизмеримости Творца и твари. Гаврила Романович, с его народным общедоступным языком, говорит о «безмерной разности» между ними. Смысл от этого не меняется, и не понять его может лишь тот, кто почему-либо понимать не желает.

Когда скончалась Екатерина Великая, ее сменил Павел. История сохранила отзыв-пророчество Державина о нелюбимом сыне Екатерины. Раздраженный резкостью императора по отношению к себе, «Ждите, будет от этого царя толк» — в беспамятти довольно громко сказал в зале стоящим». Потом каялся, да уж птичка вылетела...

И от внука императрицы, Александра, царя-либерала, шло «внутреннее неблагорасположение» к Державину. Гвоздь недовольства нового «властителя и судии» хорошо выражает реплика, воспроизведенная в «Записках»: «Ты меня всегда хочешь учить. Я самодержавный государь, и так хочу». Нашла коса на камень! Пик расхождения — вопрос об отмене крепостного права. Державин был против. На наш прогрессистский взгляд, проявил себя замшелым консерватором. Но послушаем самого поэта. «*Царств метафизикой не строя*» (строка из оды «На умеренность»), он настаивал на том, что «в пышешем состоянии народного просвещения не выйдет из того никакого блага государственного, а напротив того вред (...) чернь обратит свободу в своеволие и наделает много бед».

Император-прогрессист не стал церемониться с инакомыслящим.

На лицемерное Александрово «Оставяйся в Совете и Сенате» поэт отвечал искренно: «Мне нечего там делать». И, не уронив чести, удалился на покой, благо имел в числе прочих новгородское имение Званка.

Здесь он все меньше думает о кесаревом, все больше — о Божием. Находится и достойный собеседник: епископ и викарий Евгений Болховитинов, не мракобес какой-нибудь, как привыкли мы думать с атеистической подачи о нашем отечественном духовенстве. Культурнейший человек, составитель словаря русских писателей. Уйдя в Хутынский монастырь, продолжал там свои литературные занятия.

Стихотворение «Евгению. Жизнь Званская» посвящено именно ему. Кроме хрестоматийных «*багряной ветчины*», «*зеленых щей с желтком*» стихи содержат и много других строк. Ветхозаветный Екклесиаст посещает в Званке полудобровольного изгнанника:

*Все суета сует! я, въздыхая, мню,
Но, бросив взор на блеск светила полудневна,
О, как прекрасен мир! Что ж дух мой бременю?
Творцом содержится вселенна.*

Переосмыляется молитва, данная Христом апостолам: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...» (Мф. 6, 9–10).

*Да будет на земли и в небесах Его
Единого во всем вседействующа воля!
Он видит глубину всю сердца моего,
И строится моя им доля.*

«Перуны» Александрова века — война 1805–1807 года — пока шумят далеко, но, старый вояка, хозяин «храмовидного дома» (с куполом и колоннами) уже насторожился, чуя угрозу «спокойству» чело- века:

*Умолкнут ли они? — Сие лишь знает Тот,
Который к одному концу все правит сферы;
Он перстом их своим, как строй какой ведет,
Ко благу общему склоняя меры.
Он корни помыслов, он зрит полет всех мечт
И поглумляется безумству челоуков...*

Здесь, в Званке, написано и «Бессмертие души» — стихи на вечно волнующую человеческий род тему. Угасает ли со смертью наше соз- нание? Остается ли в любой форме зерно нашей личности или все пожирает ненасытная утроба могилы? Тридцатишестилетний Держа- вин в оде «На смерть князя Мещерского» уже нарисовал жуткий об- раз смерти, которая «как молнией, косою блещет и дни мои, как злак, се- чет». Уже тогда он сокрушался, осознавая, какая непроходимая пропасть разделяет тот и этот свет. Может ли утешить мысль об отле- тевшем в пределы иные духе близкого человека, если с ним невоз- можно никакое сообщение, если даже местопребывание его непости- жимо:

*Сын роскоши, прохлада и нег,
Куда, Мещерской! ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился;
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? — Он там. — Где там? —
Не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рожденным в свет!»*

Полтора века спустя Марина Цветаева так же билась головой об стену (ритм передает эти удары), вопрошая пространство: «Где ты? Где сам? Где тот? Где весь? / Там — слишком там. Здесь — слишком здесь».

Державин в свою закатную пору уже не щекочет нам нервы ни видением смерти, ни воздыханиями о безвременно ушедшем приятеле. Он вступает в диалог с «небесной истиной», запросто залучая ее для беседы, как некогда «Дщерь мудрости», задает ей вопросы в лоб:

*Вещай: я буду ли жить вечно?
Бессмертна ли душа моя?*

И слышит достаточно прямолинейный ответ:

*Как можно, чтобы Царь всемирный,
Господь стихий и вещества,
Сей дух, сей ум, сей огонь эфирный,
Сей истый образ Божества,
Являясь славою такою,
Чтоб только миг в сем свете жить,
Потом покрывся б вечной тьмою?
Нет, нет! сего не может быть.*

Как ни успокоителен конечный вывод оды:

*О радость! О восторг любезный!
Сияй, надежда, луч лия,
Да на краю воскликну бездны:
Жив Бог – жива душа моя! –*

неволью говоришь себе, что поэт – уже не тот, что богатство, прихотливость, непредсказуемость поэтических одежд утрачена – то ли с возрастом, то ли с переходом к мирному житью, расхолаживающему прирожденного строитивца и скитальца. Сквозь наработанные мастером строки просвечивает желаемая мысль. Автор словно подгоняет стихи под заранее известный ответ.

Не хочется заканчивать беседу таким Державиным. Ведь он рифмовал свою фамилию с Навином, а, по Библии, Иисус Навин, чтобы обеспечить своим соплеменникам победу над врагом, остановил луну и солнце. И нашего Гаврилу Романовича влекли космические масштабы. В огромной поэме «Целение Саула» (Саул – персонаж Ветхого Завета, чью душевную немощь исцелил музыкальной игрой легендарный создатель Псалтири царь Давид), Державин ни больше ни меньше, как описывает сотворение Неба и Земли, существенно дополняя первую книгу Библии Бытие. И вот с какой мощью словесной и дерзостью ритмической:

*На пустых высотах, на зыбях Божий дух
Искони до веков в тихой тьме возносился,
Как орел над яйцом, над зародышем вокруг
Тварей всех теплотой, так крылами гнезвился.
Огнь, земля и вода, и весь воздух в борьбе
Меж собой, внутрь и вне, беспрестанно сражались,
И лишь жизнь тем они всем являли в себе,
Что там стук, а там треск, а там блеск прорывались;
Гром на гром в вышине,
гул на гул в глубине,
Как катясь, как вращаясь, даль и близь оглушали;
Бездны бездн, хляби хлябь
колебав в тишине,
Без устройств естество, ужас, мрак представляли.*

Косноязычно? Замусорено? Не сразу пробьешься к смыслу? Но это особое косноязычие — от переизбытка, а не от бедности выразительных средств. Это мусор строительной площадки, на коей возводится колоссальное строение — плод бессонницы великого Зодчего. Это, наконец, темноватый тоннель, в конце которого — свет, переходящий в блеск.

Есть у Державина стихи и о «последнем дне природы», снова возвращающие нас к Апокалипсису. Так часто поминаемое ныне, растасканное по газетным статьям Откровение Иоанна, действительно, дает картины конца мира, светопреставления: «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» (16, 18). Вообще гиперболизм Державина, который отмечают единодушно все исследователи, не внушен ли ему Библией, псалмами? Во времена, что кажутся нам тишайшими, потому что мы оглохли от шума своих, поэт макает перо не иначе, как в «бездны бездн», упомянутые выше:

*Представь последний день природы,
Что прагилася звезд река;
На огнь пошли стеною воды,
Бугры взвились за облака;
Что вихри тучи к тучам гнали,
Что мрак лишь молнии освещали,
Что гром потряс всемирну ось...*

И не важно, что стихи эти взяты из оды «На взятие Измаила». Каков полет! Какого титанического пера!.. В книге «Духовные оды»

(Москва. Ключ. 1993) впервые, после длительного промежутка, опубликована ода Державина «Христос» (1814).

Христос — это и есть воплощенная Премудрость Божия. Прав составитель книги Б.Н. Романов, когда пишет, что вопрос-рефрен «*Кто Ты?*», обращенный одописцем к Иисусу Христу, «как бы не требует ответа, поскольку ответ единственно в Евангелиях, на которые поэт чуть ли не через каждую строчку ссылается».

Но при чрезмерности ссылок, щедром использовании церковнославянской лексики, при особенно затрудненном порою синтаксисе, поэт прорывается в этой оде к таким лучезарным лирическим высотам, вдруг переходит на такой естественно-взволнованный слог человека, нет, не начала XIX, а прямо-таки конца XX века, что диву даешься:

*...Но кто же сущий Ты,
Что человеком чтим и Богом?
Лице, как солнца красоты!
Хитон, как снег во блеске многом!
Кто Ты, — которого звезда
Час возвестила в мир явленья,
Казала путь к кому веда
Царям, волхвам для поклоненья...
... Как! — Неба сын Ты? — ужас, мрак
Мои все пробегают кости!
Ты Бог? — но Твой поруган зрак
От человеческия злости!
... Кто Ты? — и как изобразить
Твое величье и ничтожность,
Нетленья с тленьем согласить,
Слить с невозможностью возможность?..*

Думаю, вот такие рвущиеся из души строки непреходящего чекана и закала заставили Адама Мицкевича назвать стихи оды «Христос» удивительными «по простоте и чистосердечности».

За несколько дней до смерти, уже непослушной рукой, Державин написал на аспидной дощечке восемь строк:

*Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Породы, царства и царей.
А если что и остается
Через звуки лиры и трубы,*

*То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.*

Бытует мнение, что это — отрывок, что за ним должны были последовать другие строфы. Но когда речь идет о поэте такого значения, не веришь в случайности. Видимо, смерть знала, на какой строке остановить никогда не знавшую устали сановную чернорабочую руку Гаврилы Романовича. Что ж! Мы вольны выбирать между безнадёжностью последнего восьмистишия и пламенной верой, излившейся в оде «Бог»: «*Чтоб дух мой в смертность облачился и чтоб чрез смерть я возвратился, Отец! — в бессмертие Твое*». Ибо человек задуман и создан как существо свободное.

Глава третья

«НЕ ГОВОРИ С ТОСКОЙ: ИХ НЕТ...»

(В. Жуковский)

Если бы младенец, рождённый 29 января 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии, получил фамилию и отчество своего кровного отца, русская литература знала бы Василия Афанасьевича Бунина, который почти на 50 лет старше другого знаменитого Бунина — Ивана Алексеевича. Но мальчик родился не от законной жены помещика Бунина — от молодой турчанки Сальхи. Шестнадцатилетнюю вдову — ее муж был убит под Бендерами — привез в барский дом из похода против турок крепостной Буниных. Сальха, по своим мусульманским понятиям, была младшей женой барина, уважала старшую жену и слушалась ее. Восхищения заслуживает поведение именно законной супруги. Она стала доброй матерью Васе, защищала и опекала Сальху. Зоркий современник нашел, что полу-восточное происхождение Жуковского сказывалось во всем его облике... У нас теперь появились блюстители чистоты крови. Не знаю, право, каким клиническим анализом можно ее удостоверить. Новые ортодоксы забывают, что как на зло у многих выдающихся русских поэтов кровь смешанная.

Пожалуй, нет другого крупного русского поэта, расхожее мнение о котором было бы так предвзято, упрощено, несправедливо занижено, как о Василии Андреевиче. В неблагородстве Жуковского никто еще, кажется, не заподозрил. Потому что благородство било из него, как фонтан. Невозможно не заметить фонтана, если у вас есть глаза. Но что до остального...

Более четверти века назад один литературовед¹ печатно упрекнул крупнейшего знатока биографии и творчества поэта А.Н. Веселовского за то, что он считал Василия Андреевича более наивным, чем тот был на самом деле. И тут же сам назвал его наивным... за веру в бессмертие души. Ну, тогда наивными надо объявить всех учителей церкви, и апостолов, и самого Христа! Непонятно только, почему их Евангелие (в переводе с греческого «Благая весть») держится 2 тысяч лет, в то время как износились, отмерли, замятали себя куда более здравые учения, теории и системы. Мало того, нас, прожженных практиков и позитивистов, эта «наивная», «детская» вера притягивает все

¹ И. Семенко. Жизнь и поэзия Жуковского. Вступительная статья к «Избранному». 1973, С. 7.

больше и больше. Да полно, наивна ли она? Или наивны наши попытки свести ее и все, что из нее проистекает, к наивности?

Многолетняя связь Жуковского с царской семьей (он учил сначала мать великого князя Николая Павловича, потом его жену, потом наследника) еще полтора десятка лет назад в лучшем случае не осуждалась. Как так? Русские поэты всегда были тираноборцами, а тут... Прощали, потому что знали как ходатая перед государем по чужим сложным, а то и безнадежным делам. Добивался и добился облегчения участи декабристов, политических страстей которых не разделял. Вызволил из ссылки Гёргена, из солдатчины — Боратынского, помог освободиться из крепостной неволи Тарасу Шевченко. Перечень можно длить и длить.

Ставили ему в вину, что исправил строки в «Памятнике» и «Медном всаднике» Пушкина. А что с первого взгляда разглядел в молодом повесе гордость нашу, спасал от царева гнева, до конца поддерживал, оставил возвышенные воспоминания в прозе и стихах о последних часах его и сказал высоко о высокой смерти, что чрезвычайно оперативно выпустил посмертное собрание сочинений, — забывалось.

Отлилась некая восковая фигура: округлый, апоплексического сложения, с женственными чертами лица... Молодой портрет мало кто помнит. Под стать форме и содержимое: мягкость, доходящая до расплывчатости, примиренчество, покорность судьбе. Да вот еще: прекраснотушие. Если бы это означало только то, что поэт имел прекрасную душу, — я обеими руками «за». Но давно уже такое определение отдает полуманиловщиной, полубломовщиной. Ничего маниловского, равно как и обломовского, в Жуковском не было! Был он человеком необыкновенно организованным. Все начатое — стихи, дела, отношения с людьми — старался довести до совершенного результата. Порывы прекрасной своей души неизменно воплощал в поступки, не щадя себя, не трусая, не отступая. Его письма Николаю I и Бенкендорфу с требованием справедливости (не по отношению к себе — чего не было, того не было, — только к другим) выявляют натуру граждански мужественную, характер с крепким стержнем, бесстрашие, готовность идти на риск... «Христосиком» никогда не был — был христианином. А так как мир, где мы живем, даже вначале третьего тысячелетия от Рождества Христова христианизирован в основном внешне, а внутренне очень слабо, то и жизнь свою Василий Андреевич прожил, как всякий настоящий христианин, не благодаря, а вопреки темной стихии, разлитой вокруг. И в памяти потомков пусть останется пловцом, не убоявшимся смертельно высоких, седьмых валов своей судьбы. Но послушаем самого поэта:

*Со светлой главой, на тяжких свинцовых ногах
 между нами
 Ходит судьба! Человек, прямо и смело иди!
 Если, ее повстречав, не потушишь очей
 и спокойным
 Оком ей взглянешь в лицо – сам просветлеешь лицом;
 Если ж, испуганный ею, пред нею падешь ты – наступит
 Тяжкой ногой на тебя, будешь затоптан в грязи!*

Стихотворение «Судьба» выдержано в стиле греческой антологической поэзии. Жуковский написал его, когда ему было 54 года. Оно — итоговое, после него лирика почти не писалась... Известные нам события жизни поэта, как в прокрустово ложе, укладываются в судьбину со «светлой главой» и «тяжкими свинцовыми ногами».

Из Благородного пансиона при Московском университете, куда его помещает вдова Бунина, Василий выходит с несколькими напечатанными стихами, друзьями-приятелями на всю жизнь да книгой Руссо в руках. Какая удача, что в раннем младенчестве его усыновил отцовский приживал дворянин Жуковский! У него не будет тех испытаний, какие подстергали, много позже, конечно, незаконнорожденного Фета-Шеншина. Его ждут испытания иные...

Три основных перевала вижу я в жизни поэта. Вал... перевал... как ни называй, всякий вырастает навстречу движению по воде ли, по суше. Всякий требует сил для преодоления и не разовой смелости, а мужества, растянутого на долгие годы.

Удача улыбается молодому Жуковскому. В Белеве строится двухэтажный деревянный дом (кстати, по его проекту), куда можно перевезти родную мать, пригласить друга-поэта Батюшкова. В лучшем столичном журнале «Вестник Европы» печатается его вольный перевод «Сельского кладбища» англичанина Грея, и стихи имеют успех. Уже в этом истинном дебюте (первые публикации не в счет!) угадывается непокорство Жуковского силам, которые мешают человеку стать самим собой. Вместе с Томасом Греем он размышляет на сельском кладбище о несбывшихся судьбах тех, кто, подобно всем нам, был вызван из ничтожества. Но зачем, для какой цели, раз они почилы вечным сном раньше, чем угадали свое назначение, чем свершили что-то значительное? И это — в век расцвета интеллекта:

*Но просвещения храм, воздвигнутый веками,
 Угрюмою судьбой для них был затворен,
 Их рок обременил убожества цепями,
 Их гений строгою нуждою умерщвлен.*

*... Отечество хранить державною рукою,
Сражаться с бурей бед, фортуны презирать,
Дары обилия на смертных лить рекою,
В слезах признательных дела свои читать —
Того им не дал рок...*

«Да тут изложена программа-максимум! — удивленно пожмем мы плечами. — В стихах же, судя по всему, речь идет об обыкновенных смертных». Да, поэты шьют человеку костюм на вырост, или, другими словами, предполагают такой Замысел о человеке, что почти всегда краше, чем осуществление. Это относится не только к гревским усопшим — это относится и к нам, живым...

Глубоко заблуждаются те, кто думает, что вера нивелирует человеческую личность. Личность — это осуществленная во всей полноте душа, а душа для Жуковского — ключевое понятие мироздания. «Мир существует только для души человеческой, — писал он. — Бог и душа — вот два существа; все прочее — печатное объявление, приклеенное на минуту».

Но фраза эта — гостья из будущего. Поэт только приближается к своему первому валу-перевалу... Итак, он входит в известность. Его любит, им гордится, даже восхищается многочисленная бунинская родня, в основном женского пола.

И вдруг удар. Оттуда, откуда меньше всего его ждешь, единокровная, но не единоутробная сестра Екатерина Афанасьевна, по мужу Протасова, бесповоротно отказывает Василию Андреевичу, когда он просит руки ее дочери, горячо любимой Машеньки. Почему? — Родственный брак. Церковь запрещает. — Но ведь по документам он им не родня, он не Бунин — Жуковский... Можно представить себе, как возмущенно вскипела в ее жилах голубая кровь, каким ледяным взглядом погасила она притязания полубратца!.. Машу не позволено видеть, говорить с ней, посвящать ей стихи.

На празднике у соседей, последнем мирном празднике перед наступлением Наполеона, среди благожелательно настроенных гостей Жуковский спел романс на свои стихи: как раз о борьбе плывца с «ревущими валами» и «грозящими скалами»:

*Мощный вел меня хранитель.
Вдруг — все тихо! мрак исчез;
Вижу райскую обитель...
В ней трех ангелов небес.*

.....

*О! Кто прелесть их опишет?
Кто их силу над душой?
Все окрест их небом дышит
И невинностью святой.*

Услышав кульминационный заключительный аккорд, музыкальный и словесный:

*О судьба! Одно желанье:
Дай все блага им вкусить;
Пусть им радость – мне страданье;
Но... не дай их пережить, –*

гости устроили овацию, а старший неумолимый «ангел» – сестра выразила нежелание впредь принимать его в своем таком раньше гостеприимном доме. Он уехал, записался в московское ополчение.

Не созданный для воинской службы, нес ее тяготы наравне со всеми. Участвовал в Бородинском сражении, в резерве. Зато поэма «Певец во стане русских воинов» вывела его в авангард. Поэзии. Духовной жизни общества. И теперь уже навсегда...

Прочитую лишь ту часть этой хорошо известной вещи, подробного разбора которой мне читать не приходилось:

*О братья, взоры к небесам!
Там жизни сей награда!
Оттоль Отец незримый нам
Гласит: мужайтесь, чада!
Бессмертье... тихий, светлый брег;
Наш путь – к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!
Вы, странники, терпенье!
Блажен, кого постигнул бой!
Пусть долго, с жизнью хилой,
Старик трепещущей ногой
Влачится над могилой;
Сын брани мигом ношу в прах
С могучих плеч свергает
И, бодр, на молнийных крылах
В мир лучший улетает...*

Как ни относиться к тому, что в энергических стихах утверждает автор, нельзя не признать: в его призыве куда больше убедительности,

красоты и человечности, чем, скажем, в популярной песне времен Второй мировой войны:

*А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз!*

«Бессмертье... тихий, светлый брег...» — вариации на эту тему повторялись Жуковским не раз. Упорство повторения свидетельствует и о вере, и о тревоге, заставляющей эту веру испытывать и укреплять. Перевод стихотворения Шиллера по-русски называется «Голос с того света»:

*Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг, я все земное совершила;
Я на земле любила и жила.*
.....
*Друг, на з е м л е великое не тщетно;
Будь тверд, а з д е с ь тебе не
изменят;
О милый, з д е с ь не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.
Не унывай: минувшее с тобою;
Незрима я, но в мире мы одном;
Будь верен мне прекрасною душою;
Сверши о д и н начатое в д в о е м.*

(Здесь и дальше выделено В. Жуковским, — Т.Ж.)

Знал ли поэт, что, выбрав для перевода шиллеровское творение в таком роде, заменив по неясной нам причине бывшее в оригинале обращение к матери обращением к возлюбленному, он на несколько лет упреждает трагические события своей судьбы, проливает поэтический елей на собственную рану, еще не нанесенную роком?

Часто спрашивают, почему христиане так уверены в бессмертии души и настолько самоуверенны, что рисуют формы этого бессмертия? Ведь сам Христос, говоря о жизни вечной, хранит целомудренное молчание о том, что же это такое.

Тайну бессмертия в христианском понимании приоткрывает апостол Павел, который, в свою очередь, цитирует ветхозаветных пророков:

«... не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а

мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглочена смерть победою»¹. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»² (1 Кор. 15, 51–55).

Кого интересует православная точка зрения на эту столь животрепещущую тему, тот пусть прочтет книгу епископа Игнатия Брянчанинова «Душа после смерти» — вышла недавно. Автор — фигура бесспорная, причислен к лику святых.

Мы же продолжаем путешествие по поэтической вотчине Жуковского. Поэт потому и поэт, что все сущее называет своими именами, на свой страх и риск переводит с Небесного на земное. Не уличая его в некоторых несовпадениях с великим подлинником, будем благодарны за искреннюю интерпретацию.

Закончу повесть о любовной пытке поэта. Это ему принадлежат слова, давно утратившие авторство: *«Я знал в любви одну лишь муку»*. Какую усталость и грешное для христианина уныние передает четырежды повторенный звук ю-у-у-у! Но стихи так хороши, так естественно и горестно слово цепляется за слово, что молодой Пушкин с восторгом переписал их себе и мы тоже откуда-то их знаем.

Василий Жуковский и Маша Протасова никогда не будут вместе. Ее родная сестра, Саша, третий «ангел» и адресат баллады «Светлана», выйдет замуж за литератора Воейкова, вместе с матерью и сестрой переедет в Дерпт (нынешний Тарту), где их не раз и не два навестит неизлечимо влюбленный Жуковский. С его согласия, данного через силу, Маша выйдет замуж за положительного немца-профессора и скоро умрет родами. Саша намучается с мужем-истериком и тоже умрет молодая, от чахотки...

Они были ему не только племянницами. Четыре года он назывался их домашним учителем. Себя не жалел, переливая в их умные головки впитанное всем его существом блестящее знание истории, философии, изящной словесности, теологии. Он заразил их своим интересом к чужеземным языкам. Учил их добру, учил быть счастливыми. И не его вина, что жизнь разметала их мечты, что многие чудесные намерения свершениями так и не стали. А может быть, и его?!

Обеим Жуковский поставит одинаковые памятники. Маше — в Дерпте, Саше — в Ливорно, где она безуспешно лечилась. Под чугунным крестом с распятием будут выбиты на бронзе уже знакомые нам

¹ «Поглощена будет смерть навеки» (Ис. 25, 8).

² Осия, 13, 14.

слова. Именно эти: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененнии» (Мф. 11, 28). И другие, из четвертого Евангелия: «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в Меня веруйте; иду приготовить место вам, чтобы и вы были там, где Я буду» (Ин. 14, 1–3).

*О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской и х н е т,
Но с благодарностью: б ы л и.*

В своем «Дневнике» поэт дает комментарий к этим стихам: «н е т и б ы л и , какая разница! В первом — потеря, в последнем — воспоминание. Н е т — значит исчезли; б ы — значит оставили с л е д свой. Прекрасная жизнь тех, которых мы лишились, освещает для нас и землю, и жизнь нашу!»

Но светлое настроение все время норовит ускользнуть от него. После Сашиной смерти он пишет другу: «Я точно теперь в таком положении, как бы сам готовился оставить землю и перейти в другую жизнь... Наш здешний мир переходит на ту сторону... Все отделяется от жизни. Остается одна строгая должность». («Должность» — в смысле «долг». — Т. Ж.)

...70 ступенек вели в кабинет Жуковского в Зимнем дворце. Тяжеловато и для более молодых ног и сердца... Когда в 1826 году царь Николай I предложил поэту заниматься с восьмилетним наследником, он не тотчас принял это предложение. Знал за собой: с полной отдачей умеет делать только одно дело. Педагогический опыт у него уже был; не секрет: время поглощают не только уроки, но и подготовка к ним: книги, выписки, составление схем, таблиц, диаграмм. И обязательная втянутость в придворную жизнь. А стихи? А переводы, которые те же стихи — потоки, зажатые в гранит еще больших ограничений?

Но, монархист по убеждениям, Василий Андреевич считал, что сможет подготовить для России христианского государя. Его увлекала мысль о ваянии царской души. Он пропускал мимо ушей язвительные шуточки князя Вяземского, вроде той, что «ищет души там, где они никогда не водились, — в Аничковом дворце». Как сам поднимается по этим 70 ступеням, будет день за днем, год за годом поднимать все выше своего подопечного. Главный сан на земле — человек, человек — вместилище души, а душа поддается обработке. Значит, за дело!

Для цесаревича он не делал никаких поблажек. Вот расписание дня будущего Александра II:

6 часов утра — подъем;

7–9; 10–12; 1–3; 4–5 — занятия с учителями;

5–6 — чтение;

6–8 вечера — собственные занятия;

8–9 вечера — гимнастика;

9 часов вечера — отход ко сну.

Отношения поэта с Николаем I отнюдь не были идиллическими. Когда, устав от бесконечных просьб поэта за жертв попорченной справедливости, царь спросил, надо думать, не очень вежливым тоном, «А за тебя кто поручится?» — оскорбленный Жуковский на некоторое время прекратил занятия с наследником престола.

Он выполнил свой долг. Говоря по-нашему, даже перевыполнил. Незадолго до совершеннолетия своего ученика организовал его путешествие по России с заездом в города, где жили декабристы. И летом 37-го года написал царю прямым текстом: «... даруйте всепрощение несчастным...» Амнистии не последовало, но послабление вышло. Царь откликнулся не столько на просьбу учителя, сколько на подсказанное им письмо своего сына... Минуту, когда Жуковский узнал об этом, он назвал одной из лучших в жизни.

Если со стороны императора это был акт принудительного милосердия, то Жуковским руководило исключительно чувство сострадания. Взгляды декабристов оставались ему глубоко чужды. В промышленную силу политических переворотов он не верил. Желал России поступательного, без взрывов и скачков исторического развития. «Существует для всех одна общая нравственность, — писал он, — основанная на христианстве». Отсюда его отрицательное отношение к Французской революции, которая, по его словам, «хотела всем дать вдруг иную схожую внешность и вздумала намазать ее на лицах насильно кровавою кистию».

А как злободневны мысли «наивного» обитателя горных сфер об общих для всех времен принципах исторического развития: «Разрушать существующее, жертвуя справедливостью, жертвуя настоящим для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслию, что можно вдруг бесплодную землю, на которой стоят они, заменить другою, более плодородною...»

Совершеннолетний воспитанник не оправдал многих его надежд. С царской семьей, от которой получил немало «оплеух» (его слово), он расстался только что без явного конфликта. Однако многолетним страдальцам стало полегче. Не того ли ради все это было затеяно на небесах, а он явился земным проводником...

*Кто слёз на хлеб свой не фоял,
Кто близ одра, как близ могилы,*

*В ночи, бессонный, не рыдал, –
Тот вас не знает, вышние силы!*

Хотя это перевод, а вернее, вольное переложение стихов Iète, их уже не оторвешь от родной поэзии. Действительно, источником веры часто становится страдание, потрясение, смерть близкого человека или любой другой удар из-за угла. Это разделенное не только с Iète – многим знакомое чувство. Порой, правда, оно остается втуне, и знакомство с «вышними» силами ничего не меняет в поведении человека. Проходит беда, мы «выздоровливаем» и забываем данный нам свыше опыт богообщения.

Куда уникальнее и тем интереснее для нас очень сильная у Жуковского, никем, как мне кажется, не превзойденная способность проникать взглядом под внешний покров мира видимого, под корой вещества прозревать его душу. Вслед за апостолом Павлом поэт мог бы сказать о своих мистических переживаниях, что он «слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 4).

*Я на берегу один... окрестность вся молчит...
Как привидение, в тумане предо мною
Семья младых берез недвижимо стоит
Над усыпленную водою.
Вхожу с волнением под их священный кров;
Мой слух в сей тишине приветный голос слышит;
Как бы эфирное там веет меж листов,
Как бы невидимое дышит;
Как бы сокрытая под юных дров корою,
С сей очарованной мешаясь тишиною,
Душа незримая подьемлет голос свой
С моей беседовать душою.*

.....
*О! кто ты, тайный вождь? душа тебе вослед!
Скажи: бессмертный ли пределов сих хранитель
Иль гость минутный их? Скажи: земной ли свет
Иль небеса твоя обитель?..
И ангел от земли в сиянье предо мной
Взлетает; на лице величие смиренья;
Взор к небу устремлен; над юною главою
Горит звезда Преображенья...*

Когда 19 августа Церковь отмечает праздник Преображения Господня, она напоминает людям о явлении на горе Фавор Силы и Сла-

вы во всем Его блеске, во всем Его могуществе. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» слышали ученики, которые были там вместе с преобразившимся на их глазах Христом. Об этом событии рассказано не только в трех Евангелиях: от Матфея, Марка и Луки, но и во Втором Послании Петра: «... мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших...» (1 Кор. 18–19).

Сила и Слава присутствует в творении постоянно. Неким избранныкам дано это уловить и передать нам, ослепленным ежедневной мишурой этого мира и невежественно полагающим, что «звезда Преображенья» — всего-навсего свежий поэтический образ.

Величие Жуковского-поэта в том, что искал и находил адекватные для «неизреченных слов» выражения. Не потому ли так богат его словарный запас, так до неисчерпаемости разнообразна ритмика, будто, и вправду, вычлененная им из мировой гармонии. Воистину: музыка сфер не укладывается в семь нот!

За Жуковским прочно закрепилось высказывание: «*Поэзия есть Бог в святых мечтах земли*». На самом деле это строки не из оригинального стихотворения, а из перевода драматической поэмы «Камозэнс» австрийского поэта Фридриха фон Хальма (1839). Что ж, у него всё чужое становится своим. А потом — и нашим. Редкостное свойство переводчика!

Из большого наследия поэта популярнее всего, без сомнения, его баллады: «Светлана», «Шильонский узник», «Ивиковы журавли», «Лесной царь», «Перчатка» и другие. Мне могут сказать, что в этих балладах мало христианского. В них, напротив, всякие гадания, нечистая сила и вообще чертовщина. Но, во-первых, автор, пусть на свой лад, почти всегда пересказывает сюжеты других — античные, средневековые, фольклорные. Во-вторых, как премудрый сказочник он сам же и разбивает недобрые чары. Вспомним конец «Светланы»:

*О! не знай сих страшных слов
Ты, моя Светлана.
Будь, Создатель, ей покров!
Ни печали фана,
Ни минутной грусти тень
К ней да не коснется;
В ней душа — как ясный день;
Ах, да пронесется
Мимо бедствия рука...*

Есть у меня и собственное предположение насчет интереса поэта к «нечистой силе», которое я никому не навязываю. И святые, как известно из житий, знали искушения. Дело не в том, чтобы не знать соблазнов, а в том, чтобы овладеть ими, преодолеть их... Может быть, мастерски, с большим искусством пересказывая страшные сюжеты, Жуковский ощущал, что одерживает некую духовную победу над тем слепым и темным, что обуревает многие души, особенно из самых утонченных. Бесы, как писал один мудрый священник, — тоже духи и предпочитают тонкую материю грубой и непроницаемой для них телесности.

Христианин до мозга костей, Василий Андреевич оставил нам, сверх всего сказанного, несколько стихотворений, писем, мыслей, характеризующих его именно в этом качестве. Они не потеряли интереса и в наши дни. Наоборот, обнаружили свою неувядаемость.

Так немного в отечественной поэзии стихов о Пасхе, тем более не православной, а религиозных меньшинств, проживающих на территории России, что не могу не привести хотя бы отрывка из послания «К Воейкову», где описана Пасха немцев-евангелистов:

*В Сарепте зрелище иное:
Там братство христиан простое
Бесстрашием ограждено
От вредных сердцу заблуждений,
От милых сердцу наслаждений.
Там вечно то же и одно;
Всему свой час: труду, безделью;
И легкокрылому веселью
Порядок крылья там сковал...
Ты зрел, как, вшедши в Божий храм,
Они смиренно к Небесам
Возводят взор с мольбой хвалебной
И служат сердцем Божеству,
Отфинув мрак предрассужденья...
Что уподобим торжеству,
Которым чудо искупленья
Они в восторге веры чтут?..
Все тихо... полночь... нет движенья...
И в трепете благоговенья
Все братья той минуты ждут,
Когда им звон-благовеститель
Провозгласит: воскрес Спаситель!..*

Замечательная по точности и выразительности строка: «*Порядок крылья там сковал*» не отрицает заинтересованного и уважительного отношения автора к чужому обряду, к необычному празднеству. Религиозная непримиримость и нетерпимость существовали всегда. Еще Блаженный Августин почти полторы тысячи лет назад боролся с ними, выдвинув мудрый принцип: «В главном — единство, в спорном — свобода, во всем — любовь». Довольно часто цитируются теперь эти слова, но я позволила себе повторить их еще раз. Любимый Жуковским Гете, с которым он был знаком, которому посвятил стихи, говорил, что истину надо твердить постоянно, потому что кругом так же постоянно повторяются ошибки...

Как христианин относился Василий Андреевич к самоубийству. Поэт Кюхельбекер, всем известный нескладный Кюхля, будущий декабрист, как-то попал в тяжелое положение и решил наложить на себя руки. К счастью, намерением своим он поделился с Жуковским. Вот какую отповедь получил Вильгельм Карлович от «мягкого» старшего друга:

«По какому праву браните вы жизнь и почитаете себе дозволенным с нею расстаться! Этому нет никакого другого имени, кроме унижительного: сумасшествия! Вы можете быть деятельны с пользою, а вы бросаетесь в область теней и с какою-то гордостью смотрите отсюда на существенное, могущее для вас быть прекрасным. Составьте себе характер, составьте себе твердые правила, понятия ясные; если вы несчастны, боритесь твердо с несчастьем, не падайте, — вот в чем достоинство человека!

Сделать из себя кусок мертвечины... весьма легко... оригинальности же нет в этом никакой... Как ваш духовный отец, требую, чтоб вы покались и перестали находить высокое в унижительном. Вы созданы быть добрым, следовательно, должны любить и уважать жизнь, как бы она в иные минуты ни терзала...»

Зная, сколько пришлось пережить самому Жуковскому, спрашиваешь себя, откуда он черпал силы, чтобы свершать свой литературный и гражданский долг, чтобы просто жить дальше... В его дневнике есть такая запись: «Как мало дает утешения мысль в несчастьи, говорит Тютчев, очень справедливо и глубоко. Мысль должна обратиться в чувство, и чувство христианское, тогда она будет не утешением, а силою. Смирение».

Полагаю, тут речь идет о так называемом «смирennemудрии», как называют одну из главных человеческих добродетелей проповедники. Ведь просто «смирение» может быть разным. Озлобленным. Притворным. Бывает и «смирение паче гордости», в котором затаились и притворство, и озлобление, и бессознательное желание отыграться

ся на ком-то или на чем-то. «Смиренномудрие», т.е. истинное смирение, надежно и неизменно.

Я говорила о трех этапах жизни поэта — трех перевалах, вверху каждого из которых свой крест, с мужественной готовностью принятый на плечи Жуковским... Который из крестов тяжелее? Трудно сказать. Я думаю: третий.

Только что он стал свободен от царской службы, уехал в Германию, полный творческих замыслов. И вдруг в него, пожилого русского холостяка, влюбляется 18-летняя восторженная немочка, дочь знакомого художника. Лиза жаждет стать женой добрейшего друга отца, родители ее тоже хотят этого брака... Василий Андреевич берет в руки часы и вместе с часами, неутомимо отсчитывающими время, предлагает Лизе остаток своей жизни. Она бросается ему в объятия...

Брак не принес им чаемого блаженства. Юная супруга скоро заболела: депрессивный психоз. Вытащить ее из мрачной бездны психического недуга, — даже на короткое время, — каторжный труд, но Жуковский при ней неотлучно, всегда во всеоружии, всегда готовый на схватку с невидимым чудищем, превосходящим воображение балладных поэтов.

«Молите за нас Бога!.. более всего просите, чтобы Он дал мне терпение...» — пишет он в одном письме.

Дочь и сын рождаются здоровыми. Это — счастье. Счастье — его работа: над переводом гомеровской «Одиссеи», над поэмой «Агасвер»... Не ищите имя Агасвера, или Агасфера, что для нас привычнее, в Библии — его там нет. Сюжет об Агасвере, Вечном Жиде, вошел в литературный и художественный обиход гораздо позднее, в 13-м веке. По новейшим апокрифам, тот, кто отказал в помощи Спасителю, когда он следовал на Голгофу, получил в наказание... дар вечного бытия.

Христовы муки перед распятием стали особенно понятны Жуковскому в последние годы его жизни:

*Он нес свой крест тяжелый на Голгофу;
Он, Всемогущий, Вседержитель, был
Как человек измучен; пот и кровь
По бледному лицу его бежали;
Под бременем своим Он часто падал,
Вставал с усилием, переводил
Дыхание, потом, шагов немного
Переступив, под ношей снова падал...*

Но и страдания Агасвера, который устал жить, но не может умереть, тоже до ужаса понятны поэту:

*...меня моя могила
Не удержала; я из-под обломков,
Меня погребших, вышел снова жив
И невредим...*

Привычнее читать, что могила не удержала Христа. Его Воскресение — победа жизни над смертью, Бога над сатаной — есть величайшая надежда, поданная Новым Заветом человечеству... Бессмертие Агасвера, человека падшего, дурная бесконечность его пребывания на земле, оказывается, худшая кара, какая только может быть уготована смертному!

Семейные обстоятельства и надвигающаяся слепота не позволили Жуковскому закончить поэму. Но и написанного достаточно для серьезных размышлений над его судьбой и всякой судьбой вообще...

Поэт умер на чужбине, до самого конца порываясь душой на Родину. России посвящена одна из последних его записей в «Дневнике» от 15 июня 1846 года: «Разговор, приводящий в трепет, о состоянии бедной России. И помощи никакой. Одна верная, небесная. Но, может быть, нам за наше всеобщее развращение посылается наказание. Нет другой опоры, как в слове: да будет Твоя воля».

«Твоя», разумеется, с прописной буквы.

Глава четвертая

«МОЙ ДУХ! ДОВЕРЕННОСТЬ К ТВОРЦУ!»

(К. Батюшков)

На небосклоне отечественной поэзии Константин Батюшков сверкнул необычайно яркой кометой, оставив длинный хвост своих учеников и подражателей. Из строк Батюшкова, пожалуй, самые знаменитые вот эти:

*О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной.*

Стих его — стройный, гибкий, плавный. Называю те качества, которые он сам более всего ценил в поэзии. Строки Батюшкова расхватаны на эпитафии другими авторами, а это удел поэтического совершенства. Порою мы сами не знаем, откуда прицепилось к нам то или иное стихотворное выражение. Как стрела попадает точно в цель и торжествующе дрожит своим оперением, так в памяти нашей живут и трепещут батюшковские шедевры в несколько слов: «Я берег покидал туманный Альбиона», «Средь ужасов земли и ужасов морей», «Я видел красоту, достойную венца», «Я чувствую, мой дар в поэзии угас», «И гордый ум не победит Любви холодными словами»...

А любовное признание из элегии Батюшкова:

*Хранитель ангел мой, оставленный мне Богом!..
Твой образ я таил в душе моей залогом
Всего прекрасного... и благодати Творца, —*

как вы, наверное, помните, повторил, правда, в сослагательном наклонении, опустив и Бога, и Творца, Евгений Онегин, праотец многих неверующих и слабоверующих интеллигентов:

*Я, верно б, вас одну избрал
В подруги дней моих печальных
Всего прекрасного в залог
И был бы счастлив, сколько мог...*

Библия и Батюшков — не натянуто ли такое сопоставление? У него нет переложений псалмов, книг Ветхого Завета, как у его предшественников, нет и прямой или косвенной переклички с Евангелиями.

Достаточно полистать любое издание его стихов, чтобы убедиться: античная мифология на всех фронтах теснит библейскую символику. Он вольно переводит Тибулла, пишет элегию «Гезиод и Омир, соперники» (Гесиод и Гомер. — Т. Ж.), упоминает Овидия, Вергилия, Сафу (Сафо) и многих других. Снисходя к нашему невежеству, составители дают словари собственных и мифологических имен, малоизвестных слов — среди них много греческих и латинских.

Был ли Батюшков верующим? «Я — афей!» — объявил молодой Пушкин (что по-теперешнему звучало бы «атеист») и написал «Гавриилиаду». За Константином Николаевичем таких откровенных высказываний не числится. Но его религиозные переживания легко укладываются в любое подходящее для них поэтическое русло, никакого отношения ни к Библии, ни к христианству не имеющее. Например:

*Но Ты, держащий гром и молнию в руках!
Будь мирному певцу Тибуллу благосклонен.
Ни словом, ни душой я не был вероломен,
Я с трепетом богов отчизны обожал...*

(«Элегия из Тибулла»)

Оттуда же — мрачное видение Эреба, преисподней, как она представлялась древним:

*А там, внутри земли, во пропастях ужасных
Жилище вечное преступников несчастных.*

Потеряв в Лейнцигской «битве народов» двадцатипятилетнего товарища, Батюшков пишет сильное стихотворение «Тень друга». «Я берег покидал туманный Альбиона» — как раз первая его строка. Тут ему очень пригodiлось свойственное только замечательному творческому дару умение лепить из воздуха прочные осязаемые формы. Невозможно не поверить в подлинность пережитого поэтом, читая такие строки:

*И я летел к нему... Но горный дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,
Исчез, — и сон покинул очи.*

(«То был ли сон?» — спрашивает он себя).

«Тень друга» имеет эпитафию также из античного автора — Проперция: «Души усопших — не призраки; смертью не все оканчивается; бледная тень ускользает, победив костер».

Кто-нибудь обязательно скажет мне, что вера — тут налицо. И добавит: «Ну конечно, Батюшков «афеем» никогда не был, как можно в сем сомневаться?! А посредством какой религии выражена эта вера, не так уж и важно...»

Мне придется просто напомнить тему моей книги: «Библия и.....» Нет спору, все религии так или иначе связаны между собой, потому что отвечают на самые жгучие вопросы бытия (и небытия). Но не надо все их валить в одну кучу, как это часто делается с «русским размахом», когда христианство не может выпростаться из-под наслоений буддизма, индуизма, зороастризма и т.д. Такая мешанина, как правило, к укреплению духа не приводит — наоборот, расслабляет его.

К тому же мне еще не приходилось слышать или читать о человеке, который в нашем ли, в прошлом ли столетии или даже десять веков назад имел бы веру в Зевса (он же Юпитер), Геру (она же Юнона), Афродиту (она же Венера) и весь пантеон мраморно-гипсовых музейных богов. Наверняка Античность была для Батюшкова, как и для других поэтов, роскошной условностью, благодарной сценой, где в декорациях, понятных любому цивилизованному зрителю, разыгрываются драмы и трагедии всех времен и народов. Поиски же высшего начала, упование на него, вечная загадка смерти и посмертного воздаяния — это пьеса, которая, можно ручаться, никогда не сойдет с мировых подмостков...

Так был или не был верующим Батюшков? Не нормально выполняющим обрядовые обязанности христианина, — это делали почти все; общество строго следило за внешним послушанием, — веровал ли он сердцем?

О том, что Батюшков — любимец муз, певец любви и дружества, эпикуреец, не чуждый эротике, знает каждый, кто сколько-нибудь интересуется русской поэзией. Такая односторонняя оценка ранила поэта. Он считал себя «обруганным хвалами». А хвалили его больше всего за грациозное изображение рискованных (с тогдашней точки зрения) картинок, вроде следующей:

*Стойкий стан, кругом обвитый
Хмелья желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрянцем.*

.....

*Я за ней... она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан над головой!
Жрицы Вахховы промчались
С грозным воплем мимо нас;
И по роце раздавались
Эвоз! и неги глас!*

В наше время грубого секса, слишком откровенной телесности, выползающей отовсюду, как тесто из квашни, не худо бы поучиться нам у изящного мастера соблазнительной недоговоренности – Константина Батюшкова. Свои увлечения такого рода он прошел навывлет и в записной книжке дал иронический штрих к своему автопортрету: «Сегодня беспечен, ветрен как дитя; посмотришь завтра – ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока».

Многое предшествовало этой записи... Простой ратник, поэт видел падение Москвы, участвовал в войне 1812, 13-го и 14-го годов. Был тяжело ранен. Как остался жив, «Богу известно» (из письма Гнедичу). Идеи просветительства, если и держали его в своих розовых цепях, то очень недолго. Может быть, и несправедливо в высшем смысле, но по-человечески понятно, спрашивает он с французской армии за... вольтерьянство, которое еще недавно с пафосом разделял: «Варвары, вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны».

У каждого поэта есть тайна. Нет тайны – нет и поэта.

Под тайной Батюшкова я разумею не любовные страсти, не амурные грешки, – эротоманом он никогда не был. Современники упоминают несколько его увлечений – и все! Вполне вероятно, что эпикурейскими стихами он, как это водится у пишущей братии, возмещал недоданное Небом.

Тайна была другого рода. Безумие нависало над поэтом. Психической болезнью страдала его рано умершая мать. Неблагополучная наследственность грозила и со стороны отца. Близкие знали об его опасениях.

«С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло, росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли – не знаю», – писал он Жуковскому.

«Белый» и «черный» человек, – развивает эту мысль в своем автопортрете Батюшков, – живут в одном теле. С «черным», как мы можем догадаться, он связывает опасность сумасшествия, творче-

ского бесплодия, беспросветного одиночества... С «белым» — здоровье, духовное и физическое, плоды вдохновения, дружбу и любовь. «Белый, — цитирую поэта, — спасает черного слезами перед Творцом, слезами живого раскаяния и добрыми поступками перед людьми».

Так что «поправел» и «ударился в религию» вольтерьянец и либерал не только потому, что разочаровался в «венчанном революцией» Наполеоне, как утверждают исследователи, но и по причине глубоко внутренней, чисто психологической. Вера была главным условием его дальнейшего полноценного существования.

Задам себе вопрос, несколько странный с обычной точки зрения, но понятный, думаю, современникам и соотечественникам: можно ли у нас в России, став горячо верующим христианином, не оказаться против своей воли в лагере крайне консервативном, реакционном?

«Конечно! — отвечает даже скромная эрудиция. — Тому примером поздний Пушкин, Чаадаев, Владимир Соловьев, философы-богословы Серебряного века, Александр Мень...»

Батюшков — один из первых в этом не столь уж длинном ряду. «Вираво» он двигался очень своеобразно. Славянофилом, в позднейшем понимании этого слова, не стал. Интересно, что сам неологизм «славенофил» с разницей в одну букву («е» вместо «я») придуман Батюшковым, и вон какая у него оказалась долгая история! Официозного патриотизма на дух не выносил, писал другу: «...любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество?.. Глинка¹ называет «Вестник» свой Русским, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское... а я потерял вовсе терпение!» К Западу, не обольщаясь, правда, буржуазным самодовольством, относился со страстным сочувствием. Уже расставшись со многими либеральными иллюзиями, в том числе и «свободой» на французский манер, написал стихотворение к Александру I, где желал освободителю Европы обессмертить свое царствование освобождением русского народа (стихи не сохранились).

Он не был «извергом» — следовательно, был патриотом. Однако любовь к своему не означала для него ненависти к чужому. Понятное ему «повсеместное гражданство» (позднейший космополитизм) не разложило, но утончило его душу настолько, что он смог понять чувства небольшого, внутренне самостоятельного народа, которому не всегда уютно в медвежьих объятиях старшего брата богатыря:

¹ Глинка Сергей Николаевич, писатель и журналист.

*Там финна бедного сума
С усталых плеч валится;
Несчастный к уголку садится
И, слезы утерев раздранным рукавом,
Догладывает хлеб мякинный и голодной...
Несчастный сын страны холодной!
Он с голодом, войной и русскими знаком!*

Поверхностная вера часто замкнута в самой себе. Не то у Батюшкова! Свою жизнь он хочет строить по Евангелию: любить врагов своих, не судить ближних, мерить людей той мерою, какой и для себя желал бы...

Разгорается литературная борьба. Староверы от словесности воюют с реформаторами, «Беседа любителей русского слова» — с «Арзамасом», Шишков — с Карамзиным. Поле битвы — язык, но вокруг простираются необозримые пространства противоположных умонастроений, общественных, нравственных, религиозных идей... Воинственный арзамасец в недавнем прошлом, Батюшков пытается сгладить противоречия, видит не только «вину», но и «правоту» супротивников, признается, что «охота спорить... укротилась от времени».

Батюшкова не понимает до конца даже такой родственник по взглядам поэт, как Николай Гнедич, переводчик «Илиады». Гнедич не богат, но хочет помочь другу и коллеге: издать его двухтомник. Автор с радостью соглашается на скромные условия, только бы ему ни во что не «вступаться» и ни за что самому не отвечать. Больше издателя волнует, будут ли подписчики на его «Опыты в стихах и прозе». Да, нашлось в России 183 человека, пожелавших заранее закрепить свое право на приобретение двухтомника. Это к ним обратится впоследствии уже полубольной поэт, выразив признательность тем немногим, что «единственно в надежде лучшего, удостоили ободрить» его «слабые начинания».

«Вступиться» в спор все-таки пришлось. Батюшков категорически возражал против включения в «Опыты» самого известного своего опуса: «Видение на берегах Леты». В нем высмеивался русский литературный Парнас, в первую голову, шишковисты обоего пола, что, согласитесь, неожиданно для нас, привыкших относить появление поэтов в юбке к значительно более позднему времени.

Почти все помянутые в «Видении» пииты, пресмешно к тому же обрисованные, тонут по произволу автора в античной реке забвения — Лете. Испытание выдерживает только баснописец Крылов! И вот эту вещь, сделавшую его имя популярным в обществе, многократно переписанную от руки (прошлоековий самиздат!), Батюшков печա-

тать отказался. Удивленному Гнедичу свою несговорчивость он объясняет так: «Лету ни за миллион не напечатаю. В этом стою непоколебимо, пока у меня будет совесть, рассудок и сердце. Глинка умирает с голоду; Мерзляков мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов в нужде; Языков питается пылью, а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть!»

Гнедич не счел возможным не посчитаться с этим *юродивым* письмом. «Видение» появилось в печати впервые только 24 года спустя!

В «Опыты» вошли два важных для нашей темы стихотворных произведения: «Надежда» и «К другу». Начнем с последнего. Стихи обращены к Вяземскому и, как всякое дружеское послание, начинаются очень лично, неторопливо:

*Скажи, мудрец молодой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?
Мы область призраков обманчивых прошли,
Мы пили чашу сладострастья.
Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?
Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой Фалерн¹ и розы наши?
Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез.
И место поросло крапивой;
Но я узнал его; я сердца дань принес
На прах его красноречивый...*

Из примечаний мы узнаем, что московский дом поэта Вяземского, где часто бывал Батюшков, сгорел в пожаре 1812-го года. Но разве это так уж важно? У каждого, кто перешел минное поле юности, а то и не достиг его, мог исчезнуть в буре бед дом счастья, или (выразимся по-батюшковски) то, что мы зовем домом счастья. У каждого из нас за спиной хотя бы одно святое место поросло крапивой, — порой же это не место, а целая местность, занятая бурьяном. Таково уж свойство нетленных строк: они выговариваются для нас и за нас...

Но главными для автора мне кажутся другие слова из приведенных выше: «мудрость светская сияющих умов». В самом деле, много ли она может, «светская мудрость» даже избранных умников? Какие «плачевные времена», какие «развалины столиц», «развалины общего порядка» (все выражения принадлежат Батюшкову) она предотвратила? Какой зажгла свет, чтобы он не обратился на глазах текущего

¹ Вино, излюбленное римскими поэтами.

или последующих поколений в тьму кромешную? Поэт горячо убежден, что выход в другом:

*Так все здесь суетно в обители сует!
Приязнь и дружество непрочно! –
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
Что вечно чисто, непорочно?*

.....
*Я с страхом спросил глас совести моей...
И мрак исчез, прозрели вежды?
И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую надежды.
Ко гробу путь мой весь, как солнцем, озарен:
Ногой надежную ступаю
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.*

Итак, вера... Поэт не уточняет, какая. Быть может, совсем простая, без интеллектуальных изысканий, — так веруют старушки в церкви, не знаю, право, чем: сердцем, мозговой подкоркой, всем своим существом? Или его вера — плод мучительных раздумий, борений с самой собой, в противовес «светской» — духовной мудрости?

Стихотворение «Надежда» как будто говорит о том, что обе веры совмещены в его сознании:

*Мой дух! доверенность к Творцу!
Мужайся; будь в терпении камень.
Не он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?
На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала
И жадный крови меч врага
И град свинцовый отражала?*

.....
*Кто вел меня от юных дней
К добру стезею потаенной
И в буре пламенных страстей
Мой был вожатый неизменный?
Он! Он! Его все дар благой!
Он есть источник чувств высоких,
Любви к изящному прямой
И мыслей чистых и глубоких!..*

Придравшись к совпадению интонации и буквально нескольких слов у Батюшкова и Жуковского («А мы?... Доверенность к Творцу!» – «Певец во стане...»), критик 50-х раздражается гневной филиппикой: «Ища нравственной опоры, он (т.е. Батюшков, — Т. Ж), пытается ее найти в религии. Отсюда призыв к самому себе, к мятущемуся и смущенному духу: «Мой дух! доверенность к Творцу». И не случайно подобное самоутешение, своеобразное гипнотическое заклинание вылилось в стихе, не выстраданном и не выношенном в сердце, а позаимствованном на стороне, вспомнившемся вовремя и механически перенесенном из стихотворения Жуковского¹».

Беспардонность советской критики во всем, что касается религии, известна. Рассуждения «стиховеда» о «не выстраданном и не выношенном в сердце» стихе блестящего поэта достойны горького смеха. Однако что-то уловлено верно. Есть тут элемент самовнушения, а вернее, самообуздания. То «белый» человек в поэте спорит с «черным», сегодняшний христианин — с вчерашним вольтерьянцем, трезвомыслящий — с дремлющим (в каждом из нас!) безумцем.

Как-то раз мне довелось присутствовать на церковной проповеди, посвященной... человеческому безумию. Священник говорил о том, что все смертные, без исключения, бывают в пограничных состояниях, что ум может помутиться у любого сверхнормального человека. Кто слишком полагается на себя, считает себя, любимого, последней инстанцией истины, ощущает свою самодостаточность, не имеет и не желает иметь выхода к ценностям высшего порядка, пусть помнит: это чревато...

Константин Батюшков, как никто, понимает хрупкость нашего сознания.

«Боже великий! что же такое ум человеческий — в полной силе, в совершенном сиянии, исполненный опытности и науки? Что такое все наши познания, опытность и самые правила нравственности без веры, без сего путеводаителя и зоркого, и строгого и снисходительного?» («Нечто о морали, основанной на философии и религии».)

Вся мудрость, по Батюшкову, принадлежит веку и обстоятельствам. Меняются времена — меняются и нравственные оценки. Только мораль, основанная на небесном Откровении, на истинах Евангелия, «есть щит и копьё доброго человека, которые не ржавеют от времени».

Вершина творчества нашего героя — элегия «Умиравший Тасс», на мой взгляд, один из перлов русской поэзии. Нет сомнения, что

¹ Г. Макогоненко. Поэзия Константина Батюшкова. Вступительная статья к третьему изданию Малой серии Б-ки поэта. 1959.

Батюшков чувствовал свое родство с великим итальянцем, чьи жизненные злоключения — драма и поэма, слитые воедино.

Автор «Побежденного Иерусалима», бродяга, гений, безумец, из тех, что расплачиваются своей брэнной плотью и слишком уязвимой душой за приобщение к вечности, притягивал его как собрат, как жестоко гонимый «*божественный певец*». Легенда рассказывает, что Торквато Тассо, или Тасс, как произносили тогда, был заключен герцогом-покровителем за любовь к его сестре в сумасшедший дом, где провел 7 лет, 2 месяца и несколько дней. Недуг, который терзал итальянского поэта, надвигался и на Батюшкова: мания преследования. «Тасс, — пишет в примечании к элегии Константин Николаевич, — к дополнению несчастья, не был совершенно сумасшедший и в ясные минуты рассудка чувствовал всю горечь своего положения».

Не будем давать тут историческую оценку Крестовым походам, освобождению Гроба Господня от неверных — это увело бы нас сильно в сторону... Насладимся великолепным батюшковским стихом, приводим на память Державина:

*Я пел величие и славу прежних дней,
И в узах я душой не изменился.
Муз сладостный восторг не гас в душе моей,
И гений мой в страданиях укрепился.
Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион,
На берегах цветущих Иордана;
Он вопрошал тебя, мутящийся Кедрон,
Вас, мирные убежища Ливана!
Пред ним воскресли вы, герои древних дней,
В величии и блеске грозной славы...*

Тасс, от имени которого написана большая часть элегии, ведет речь не только о своем «гении», что укрепился в страданиях, не только о рыцарях, стремившихся к христианским святыням, но и о вещах глобальных: низложении Тартара, кресте как знаке любви, приобщении искусств и муз к неземной Славе.

«И Тартар низложен сияющим крестом!» — ликует Тасс устами Батюшкова. В Тартар, ад, как известно из Нового Завета, совершилось сошествие Христа, избавившего грешников от мук, вырвавшего жало у смерти... Не потому ли и страдалец-поэт смотрит в будущее с надеждой и отрадой — так, во всяком случае, видит его на смертном ложе Батюшков:

*«Смотрите, – он сказал рыдающим друзьям, –
Как царь светил на западе пылает!
Он, он зовет меня к безоблачным странам,
Где вечное светило засияет...
Уж ангел предо мной, вожатый оных мест;
Он осенил меня лазурными крилами...
Приблизьте знак любви, сей таинственный крест...
Молитесь с надеждой и слезами...
Земное гибнет все... и слава и венец...
Искусств и муз творенья величавы,
Но там все вечное, как вечен сам Творец,
Податель нам венца небренной славы!..*

Иисус Христос умер на кресте. Бывший орудием казни, крест становится знаком любви, символом спасения. Батюшков не забывает напомнить об этом. Тому свидетельство – приведенные выше строки. И не только они. В одном из лучших своих стихотворений, «Переход через Рейн», поэт двумя строчками передает случившееся с варварским миром после крещения:

*Века мелькнули: мир крестом преображен,
Любовь и честь в душах суровых пробудились...*

И одновременно дает многозначный образ рядового воина:

*Там всадник, опершись на светлу сталь копья,
Задумчив и один, на берегу высоком
Стоит и жадным ловит оком
Реки излучистой последние края.
Быть может, он вспоминает
Реку своих родимых мест –
И на груди свой медный крест
Невольню к сердцу прижимает...*

Итак, на вопрос, был ли Батюшков верующим христианином, можно было бы с уверенностью ответить «да», если бы... если бы в 1821 году он не написал свое известное стихотворение:

*Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?
Рабом рождается человек,
Рабом в могилу ляжет,*

*И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.*

Слова ветхозаветного персонажа Мелхиседека, царя-первосвященника, кстати, придуманные русским поэтом, вроде бы не оставляют человеку никаких надежд. Дата под стихами — спорная, но я принимаю ее, потому что именно в 1821 году прогрессирующая душевная болезнь взяла поэта за горло. «Черный» человек победил. Более 30 последних лет из 68 Константин Николаевич и жил, и не жил, ибо для поэта творческая немота — смерть. Хуже, чем смерть. Однако предшествующие болезни годы он прожил чрезвычайно активно и прошел, опираясь на посох веры, свой крутой путь поэтического восхождения.

Есть некоторое утешение в том, что 1821-м годом датировано и шестое из «Подражаний древним», которое противоречит изречению Мелхиседека.

В примитивном представлении о вере коренится довольно распространенная ошибка. Верующие, мол, — люди пассивные. Не могут шагу ступить без своего боженьки. Сидят у моря и ждут погоды... «На Бога надейся, а сам не плошай» — возражает на это народная мудрость. Стихи Батюшкова — о том же. Давайте возьмем их с собой в жизненную дорогу. И детям своим предложим. Ведь эти строки обращены к сыну — к сыну, которого не было у поэта:

*Ты хочешь меду, сын? — так жала не страшись:
Венца победы? — смело к бою!
Ты перлов жаждешь? — так спустись
На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец.
Лишь смелым перлы, мед иль гибель...
иль венец.*

Глава пятая

♦ УМ ИЩЕТ БОЖЕСТВА... ♦

(А. Пушкин)

Со страхом и трепетом, как верующий к чаше со Святыми дарами, приступаю я к этой теме.

«Евхаристия» — греческое «благодарение» — одно из церковных таинств, когда исповедующие Христа, приняв освященные хлеб и вино, соединяются с Его плотью и кровью. В таинстве причащения оживает Вечеря Господня, Богу приносится бескровная жертва.

Хрестоматийное послание Пушкина к декабристу В.Л. Давыдову заканчивается четверостишием:

*Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся —
Кровавой чаши причастимся —
И я скажу: Христос воскрес.*

Написать так мог не просто «афей», т.е. атеист, — как правило, атеисты равнодушны к вопросам веры, к церкви и ее установлениям, — а безбожник, закосневший в своем неверии. Тут налицо сознательное выворачивание евангельского завета, известного всем современникам автора, впитанного ими с молоком матери.

Справедливо считают, что творчество Пушкина — вечно плодоносящее лоно нашей культуры. Из него произростало и произрастает едва ли не все значительное, что есть в словесности русской. Мы привыкли говорить об этом только в положительном контексте. Но есть особые случаи. Христос поэмы «Двенадцать», возглавляющий отряд красногвардейцев, которые «ко всему готовы», и прежде всего пальнуть «пулей в Святую Русь», может быть, берет начало от пушкинского Христа, сопряженного с «кровавой чашей» причащения.

В послании к В.Л. Давыдову немало и других хульных (от слова «хула») строк. Например: «*Митрополит, седой обжора, / Перед обедом невзначай / Велел жить долго всей России / И с сыном птички и Марии / Пошел христосоваться в рай...*»

Сын «птички» и Марии это, конечно, Христос. «Птичкой» тут небрежно, с намерением осмеять и унизить, назван Дух Святой, одна из ипостасей Троицы, наряду с Отцом и Сыном. На разных языках («руах» по-древнееврейски, «пневма» по-гречески, «спиритус» по-латыни) слово «дух» совпадает с «ветром» и «дыханием». Оно передает космический образ божественного дуновения.

Стихи Пушкина, обращенные к декабристу Давыдову, показательны. Они погружают нас в духовный антимир, где бескровная жертва Богу оказывается кровавой. Дух Святой оборачивается птичкой, «кровь Христова» разочаровывает тем, что это «с водой молдавское вино», а не вожденный лафит, и т.д. Все это сказано вроде бы в шутку. Но приведенное выше четверостишие звучит даже слишком серьезно.

В том же 1821 году Пушкин пишет поэму «Гавриилиада». Позволю себе привести сценку из жизни. Училась я тогда в шестом классе. Пушкина первоначально проходили в пятом. Няня Арина Родионовна, святая лицейская дружба, злой царь и страдалец-поэт — все это вошло в сознание очень рано. Как и волшебные стихи: «*Буря мглою...*», «*Узник*», «*У Лукоморья...*» Я была заворожена судьбою Пушкина и его стихами.

И вдруг... Приходит ко мне одноклассница.

— Пушкин у тебя есть?

Родители мои были далековаты от литературы, но собрание сочинений Пушкина дома имелось.

— Четвертый том есть?

Нашли и четвертый том.

— Открой «Гавриилиаду»! — Открыла. — Читай вслух!..

Каюсь, но многие строфы этого богопротивного произведения осели в моей памяти после того первого знакомства — так чудесны, легки и изящны были сами стихи:

*Два яблока, висят на ветке дивной
(Счастливым знаком, любви символ призывный),
Открыли ей неясную мечту.
Проснулись неясные желанья;
Она свою познала красоту,
И негу чувств, и сердца трепетанье,
И юного супруга наготу!
Я видел их! любви — моей науки —
Прекрасное начало видел я.
В глухой лесок ушла чета моя...
Там быстро их блуждали взгляды, руки...*

Сейчас, когда соединение мужчины и женщины часто происходит обыденно до ужаса, а то и жестоко, бесчеловечно и потому безрезультатно (в высшем смысле) для обоих партнеров, особенно же для женской половины, ловишь себя на грешной мысли: пусть бы такие стихи как запретный плод заинтересовали зеленых юнцов и они, посягнув

на тайну тайн, существующую в мире, осознали, что это тоже таинство, не церковное, не все же у нас венчаются, — но душевно-физическое...

Но продолжим разговор о «Гавриилиаде». Споры нет: поэма кощунственна по отношению к библейским, особенно же евангельским святыням. Как сказали бы люди набожные, тут не обошлось без бесовского вмешательства. Высказывалось предположение, что поэма была задумана Пушкиным в праздник Благовещения, во время обедни, за которой читается Евангелие от Луки. Известно, что план «Гавриилиады» Пушкин набросал в среду на Страстной неделе, перед Великим четвергом, когда, по словам другого великого поэта, «*Сады выходят из оград, / Колеблется земли уклад: / Они хоронят Бога*» (Б. Пастернак).

Двадцатидвухлетний Пушкин, женолюб, озорник, «сущий бес в проказах» (по собственному признанию), сплел прихотливый узор из двух библейских текстов.

В Евангелии от Луки (1, 26–31, 34, 35) говорится: «...послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус (...) Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; почему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим...»

В том невидимом мире с обратным знаком, где пребывала душа поэта, произошла неизбежная подмена: «честнейшая Херувим», «славнейшая без сравнения Серафим», как поется за каждой литургией в «Песни¹ Богородицы», воплощенная чистота, готовая исполнить предопределенное свыше, превратилась в обычную земную женщину, нежную, томную, легко преодолевающую стыдливость... Остальное слишком известно.

Второй библейский текст, использованный в поэме, ветхозаветный. Он повествует о грехопадении Адама и Евы. Откушать плодов с райского запретного дерева подбил любопытную Еву, как известно, змий, он же Сатана. Пушкина не занимает философский аспект Первоначального греха: желание первых людей «быть как боги, знающие

¹ От слова ««песнь»».

добро и зло» (Быт. 3,5), их притязание поставить свою волю выше воли Творца (за что и были изгнаны из Рая). Поэта влечет другое: «наука любви», преподанная пращурам Сатаной, об этом-то знают все, даже неверующие.

В южной ссылке, где поэт назвал ханжеству двора и занудному морализаторству цензуры (так нас учили; это — правда, но не вся правда) сочинил «Гавриилиаду», он еще раз обращается к Евангелию, пишет стихотворение «Свободы сеятель пустынный...» (1823 г.) В эпитафье ставит начальный стих из Христовой притчи: «Изыде сеятель сеяти семена своя».

Продолжу притчу в русском переводе: «И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; Иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло; Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Мф. 13, 4–8).

Что у Пушкина?

*Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В поработенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремящими да бичи.*

«Я... написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа», иронизируя над собой, сообщает поэт приятелю.

«Басня» не оставляет от политических надежд камня на камне. Живительные семена свободы от зла внешнего — тирании, бесчестия — обречены сгнить, не дав плода. Христов работник сеял нечто совсем иное: «... если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31–32) завещал Учитель; «...где Дух Господень, там свобода» — про-

яснил сомневающимся Апостол Павел (2 Кор. 3, 17). Итак, в божественном смысле речь может идти только о свободе внутренней, сокровенной, о той, что отзовется в позднем пушкинском стихотворении «Из Пиндемонти»: *«Иная, лучшая потребна мне свобода: / Зависеть от властей, зависеть от народа – / Не все ли нам равно?..»*

Но до этого стихотворения должно пройти 13 лет!

Африканский темперамент поэта жаждет бурь, борьбы. У современных ему читателей в памяти свежа его вольнолюбивая лирика; многие молодые либералы, будущие декабристы — его товарищи; отказать от юношеских идеалов — значит, отказать от себя. Для Пушкина середины 20-х годов по-прежнему «гроза — символ свободы». Так — в природе; не то же ли и в жизни общества, в истории, которая творится на глазах? Безмерно далеки от смирения стихи Пушкина «Недвижный страж...» (1824 г.), где Александр I предстает как презренный укротитель Европы («*Целуйте жезл России / И вас поправшую железную стопу*»), где все симпатии автора на стороне мятежного Наполеона.

Стихи Пушкина о сеятеле я назвала бы опережающими — события, собственное его мировоззрение.

Возможно, для него самого (с гениями это случается!) были неожиданны выводы этого стихотворения, и он поначалу приписал их... внушению «*лукавого демона*». Убедиться в этом можно, прочитав набросок «*Мое беспечное незнание...*» (1823 г.)

Наградив поэта своим ясновидением, но и крайним скептицизмом в придачу, беспощадным знанием людей («*Пред боязливой их толпой, / Жесточкой, суетной, холодной, / Смешон глас правды благородный, / Напрасен опыт вековой*»), первый демон исчезает. Исчезает, чтобы уступить место второму, еще злейшему, — тот отравит поэту самый вкус жизни:

*Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветой
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.*

Это уже не лукавый демон — это «злбный гений». Он посягает на то святое, что еще осталось «пустынному сеятелю»: красоту, вдохновение, любовь, свободу.

Хотя современники упорно называли прообразом процитированного выше стихотворения «Демон» Александра Раевского и последний, действительно, более всего проявлял себя «в резком и язвительном отрицании», Пушкин не соглашался с такой плоской трактовкой. Из черновой заметки можно узнать, что он хотел «в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения» и «печальное влияние оного на нравственность нашего века».

В 1827 году Александр Сергеевич пишет стихотворение «Ангел»:

«В дверях эдема ангел нежный/ Главой поникшею сиял,/ А демон мрачный и мятежный/ Над адской бездною летал./ Дух отрицающа, дух сомнеюща/ На духа чистого взирал,/ И жар невольный умиленья/ Впервые смутно познавал./ Прости, он рек, тебя я видел,/ И ты недаром мне сиял;/ Не все я в мире ненавижу,/ Не все я в мире презираю.»

Можно удовольствоваться поверхностным объяснением: демон — опять же А. Раевский, ангел — Воронцова, чью поникшую головку так любил изображать Пушкин. Но смысл стихов, я думаю, глубже. Два духа, по религиозным представлениям, сопровождают душу человеческую и ведут за нее борьбу: дух добра и дух зла. Тут они оторваны от своего подопечного, как бы выведены в иностранство. Один из них «в дверях эдема», т.е. рая. Другой — в полете «над адской бездною». В привычном нам измерении бытия диалог их вообще вряд ли возможен. Но... духовные сущности общаются неизвестным нам путем. Ухватимся с облегчением за знакомый термин: передача мысли на расстоянии. Так что же это за мысль? Демон признается ангелу в своем поражении, пусть частичном... Смеею предположить, что это имеет непосредственное отношение к душе поэта.

Между «Демоном» и «Ангелом» Пушкин создает программное, как выразились бы теперь, стихотворение «Пророк».

Еще в 1817 году, на выпускном экзамене по российской словесности, восемнадцатилетний Пушкин прочел свое стихотворение «Безверие». Сколь многим, думаю, знакомо то состояние холодной отчужденности, что сопутствует человеку, случайно, по внешней необходимости, или в результате насилия над собой попавшему на церковную службу:

*Во храм ли Вышнего с толпой народа входит,
Там умножает он тоску души своей.*

*При пышном торжестве священных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,
Тревожится его безверия мученье;
Он Бога тайного нигде, нигде не зрит,
С померкшею душой святыне предстоит...*

Безверие может быть легким, спокойным, удовлетворенным, торжествующим, наглым. Пушкинское безверие горестно. Почему? С непосредственностью ребенка автор стихов отвечает от лица неверы: «он первого лишился утешенья!» О том, что вера не только утешенье, но и труд, что «Царство Небесное силою берется» (Мф.11,12), он, видимо, даже не догадывается.

*Лишенный всех опор, отпавший веры сын
Уж видит с ужасом, что в свете он один...
Напрасно вокруг себя печальный взор он водит:
Ум ищет Божества, а сердце не находит...*

Парадокс гения! Мысль идет не исхоженным путем: мозг мне говорит, что Бога нет, а сердце хочет во что-то верить. Тут как раз в сердце пустота, а ум продолжает поиски... Через несколько лет, пораженный беседой с Пестелем, Пушкин занесет в дневник (по-французски): «Сердцем я материалист, но ум противится этому». Современный нам поэт переведет фразу чуть иначе; «*Я душой/ Матерьялист, но протестует разум*»¹.

«Разум» тут, пожалуй, даже уместнее. Вспомним «Вакхическую песню»: «*Подъемем стаканы, содвинем их разом!/ Да здравствуют музы, да здравствует разум!*» Стоящее в конце строки, увенчанное восклицательным знаком, щедро, во всю звуковую длину, рифмующееся со словом-эхом «разом», это слово навсегда врезается в память, остается с нами как «пушкинское».

Итак, его ум смолоду «ищет божества»; его светлый, трезвый, несколько не склонный к самообольщению разум протестует против безверия. Что последует за этим?

Через год после «Вакхической песни» (1826) пишется «Пророк».

Мы думаем, что досконально знаем «Пророка», потому что его в школе учили. На самом деле это одно из таинственных произведений Александра Сергеевича. Начать с того, что оно единственно уцелевшее из целого стихотворного цикла (остались свидетельства). К тому же нынешний «Пророк» имел непосредственного предтечу. Старый

¹ Д. Самойлов. Стихотворение «Пестель, поэт и Анна».

пушкинист Н. Лернер в книге¹, которая сегодня раритет, приводит интересные факты из разных мемуаров. Отправляясь на свидание к Николаю I, не зная своей участи, думая, что его везут «не на добро», Пушкин имел в своем бумажнике стихи возмутительного содержания, а именно «Пророка». Окончание стихов по одной версии читалось так: «*Встань, встань, пророк России, / В позорны фizes облекись, / Иди и с верием вокругъ выи / К У. Г. явись*». «Уж не к Убийце ли Гнусному?» — не без оснований предположил другой пушкинист, горюя о судьбе пяти декабристов.

Император, как известно, протянул поэту царственную руку, — и Пушкин отказался от «Пророка России» во имя общеизвестного «Пророка». Было ли то его поражением? Кто-то скажет: да. Не могу с этим согласиться.

Откуда взялись раскаленные гипертрофированные образы этого стихотворения? Властная, победительная интонация Того, кто может командовать самим поэтом (или, скромнее, его лирическим героем)? Что это вообще такое — «пророк»? Вспышка гениального сознания? Или использование так называемого «бродячего сюжета»? Существует некий прообраз, и творцы разных времен, разных стран перетолковывают его по-своему, дают собственную интерпретацию.

В Ветхом Завете книги пророков занимают большое место, около четверти всего текста. Они не только прорицатели будущего, они свидетели истины, посланники Неба. Кто не поленится прочитать или хотя бы просмотреть эту часть Библии, будет потрясен: как живо, страстно, злободневно звучит написанное две с половиной тысячи лет назад!

Но вернемся к пушкинскому «Пророку». В любом добросовестном комментарии сказано про «серафима» и «горящий уголь», взятых поэтом из книги Исаяи и переплавленных в ключевые образы стихотворения. Можно сопоставить «духовную жажду», которой, помните, был томим поэт, с той, что у пророка Амоса названа «жаждой слышания слов Господних» (8,11). Глаголы повелительной формы из книги Ионы: «встань», «иди», «проповедуй» (3,2) перекликаются с концовкой «*Встань, пророк...*» Дело, однако, не в совпадении отдельных деталей. А в том духе подлинной свободы, готовности служить божественной истине, и только ей одной, которыми отныне пропитается творчество лучшего поэта России. «*Веленью Божию, о муза, будь послушна*» — подтвердит он через десять лет в стихотворении без названия, впрочем, прославившемся как «Памятник».

В свое время все мы зубрили одно из посланий «К Чаадаеву»: «*Любови, надежды, тихой славы...*» Не раз и не два, не в одних лишь *серых*

¹ Рассказы о Пушкине. «Прибой», 1929.

аудиториях, я сталкивалась с абсолютным непониманием личности П.Я. Чаадаева, характера его влияния на Пушкина — всегда благотворного. Втемяшилось многим в голову: гусар царскосельского полка подбивал молодого впечатлительного поэта на бунт прямо под боком у царя, и подопечный старался соответствовать, заверял: мол, «*на обломках самовластъя/ Напишут наши имена!*»

Сам Петр Яковлевич спустя десять лет после гибели друга так переделал свое участие в пушкинской судьбе: «спас его и его чувства... воспламенял в нем любовь к высокому». Это — скрытая цитата из Пушкина. Действительно, спас и от Соловков, и от недооценки отпущенного ему великого дара. Что же касается любви к высокому... Весной 29-го года Чаадаев писал поэту: «Самое пламенное мое желание, мой друг, видеть вас посвященным в тайну времен. Нет более прискорбного зрелища в нравственном мире, как гениальный человек, не постигший своего века и своего предназначения (...) Если у вас не хватает терпения ознакомиться с тем, что совершается в мире, уйдите в себя и из собственных недр вынесите тот свет, который неизбежно есть во всякой душе, подобной вашей (...) Киньте крик к небу — оно вам ответит».

Еще в 1824 году Чаадаев пишет из-за границы письмо брату с характерной для мистического умонастроения «потусторонней» тревогой. Ему стало известно о многочисленных жертвах петербургского наводнения. «Страшно подумать, из этих тысяч людей, которых более нет, сколько погибло в минуту преступных мыслей и дел! Как явятся они перед Богом!» — вот его непосредственная реакция.

То же и мы могли бы сказать, видя кто по ТВ, а кто и в натуре, как скопом и поодиночке отправляют на тот свет легион смятенных, озлобленных, не готовых к испепеляющему грех свету вечности несбывшихся душ! Да, могли бы, если бы... верили по-чаадаевски...

Совпадение или нет, но в том же 29-м году, когда Чаадаев просил его кинуть «крик к небу», Пушкин сочиняет «*Жил на свете рыцарь бедный...*», где легкая, как бы шутовская интонация маскирует вещи нешуточные:

*Между тем как он кончался,
Дух лукавый подоспел,
Душу рыцаря сбирался
Бес тащить уж в свой предел:
Он-де Богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путём-де волочился
Он за матушкой Христа.*

(Как тут не вспомнить «Гавриилиаду»!)

*Но Пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.*

Напомню, что «рыцарь бедный» был «странный» человек, верный «набожной мечте», поклонявшийся не Отцу, не Сыну, не Святому Духу, а лишь Матери господа Христа.

Все, что пишет поэт лирического склада, — а это определение верно не только в отношении «тихих лириков», но и поэтов иного масштаба, — он пишет в какой-то степени и о себе.

Часто говорят (и упрекают в этом Пушкина), что черты Мадонны, т.е. Богоматери, он видел в женщинах, его окружающих, и прежде всего в жене. Да, красота была для него божеством. Многих смущают ножницы между словами «гений чистой красоты» и реальной Анной Керн — небесное никак не состыкуется с земным. Но как это по-пушкински: что именно заступница небесная, вечная Красота и Чистота, не дала пропасть душе его героя и взяла его в свое Царство.

Интересно, что через несколько лет поэт снова употребит глагол «заступить», и в сходном контексте. Я говорю о стихотворении «На Испанию родную...», переложении из английского поэта Саути:

*Хочет он молиться Богу
И не может: бес ему
Шепчет в уши звуки битвы
Или страстные слова.
Но отшельник, чьи останки
Он усердно схоронил,
За него перед Всевышним
Заступился в небесах...*

Не будем выхолащивать Пушкина! Во многом он остается прежним, «неправильным», многокрасочным, как сама жизнь. Но тревога, так прекрасно выраженная в чаадаевском «как явятся они перед Богом», уже никогда не покидает его.

В 35–36 гг. поэт перелагает с других языков стихи совершенно определенной направленности. Вносит в переложения немало своего. «Отсебятины» сказали бы теперь. Но это пушкинская золотая отсебятина.

В «Страннике» из английского проповедника Д. Беньяна герой бежит от жены и детей, одержимый священным безумием:

*Я встретил юношу, читающего книгу.
Он тихо поднял взор – и попросил меня,
О чем, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд загробный –
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит...»*

В чем же цель странника?

*...узреть – оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.*

«Спасение» — важнейшее слово библейского языка. Оно часто встречается и в Ветхом Завете. Христос — Спаситель, потому что послан к грешникам спасти их не по делам их, а по милости Божьей. Но и от человека требуется встречное стремление. «Тесные врата», ведущие к спасению, — евангельское понятие. Есть оно и у Матфея (7,13–14), и у Луки (13,24).

Иногда новоначальные христиане и просто мыслящие люди спрашивают, что такое грехи не плоти, а духа. В пушкинском переложении великопостной молитвы поэта Ефрема Сирина, жившего в IV веке в Месопотамии, грехи духа поименованы так: «*Владыка дней моих! дух праздности унылой, / Любоначала¹, змеи сокрытой сей, / И празднословия не даждь душе моей...*» В оригинале: «Дух праздности, уныния, любоначала и празднословия не дай мне...»

На все лады — страстно, скрупулезно, пронзительно, стилем судебного обвинения, стилем задушевного письма — рассказаны последние дни Александра Сергеевича... Ныне не секрет уже и рассчитанная на потомков словесная чеканка Николая I: «Пушкина мы насилу довели до смерти христианской». Под этими словами разумелось: исповедь умирающего поэта и приобщение Святых тайн. Сохранились свидетельства о беспримерном мужестве смертельно раненного гения, об его терпении и любви к близким и друзьям. Исповедь? Но разве такое покаянное стихотворение, как «Воспоминание» («*Когда для смертного умолкнет шумный день...*»), разве все творчество поэта не исповедь его? Прав ли царь: точно ли Пушкин хотел умереть, подобно своему «ры-

¹ *Любоначалие* — властолюбие, желание командовать.

царю бедному», «без причастия»? Не будем допытываться. Прежде чем задернуть занавес, дадим слово еще одному поэту: В.А. Жуковскому. Стихи горячо верующего Василия Андреевича — нет, не о бессмертии души младшего друга, — скорее о готовности ее принять бессмертия.

Сам Пушкин избегал распространяться на эту тему. А то и шутил: «Ах! Ведает мой добрый гений, / Что предпочел бы я скорей / Бессмертию души моей / Бессмертие своих творений».

Правда, есть у него чудесная эпитафия умершему в младенчестве сыну Сергея Волконского и Марии, в девичестве Раевской:

*В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.*

Но это, скажут скептики, только метафора: попытка поэтически-ми средствами смягчить горе безутешных родителей... Сдержанность Пушкина по этой части побуждает и сострадающего, сопереживающего другу Жуковского не договаривать. Отчего стихи от начала февраля 1837 года только выигрывают, становятся свидетельством неоспоримым:

*Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выразилось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: Что видишь?*

Глава шестая

«И В НЕБЕ ЗЕМНОЕ ЕГО НЕ СМУТИТ»

(Е. Боратынский)

Пожалуй, как никто из русских поэтов, он оправдал свою фамилию. Польскую по происхождению. Бора тын. Божий тын. Божия оборона. Не мое изыскание — В.Кожинава, — но с благодарностью принимаю.

И ведь был обороняем Богом, был... Любая жизнь — не идиллия, тем более жизнь выходящего из ряда вон таланта. Но кто знает биографию поэта, надеюсь, согласится со мной: судьба, не раз ополчавшаяся на Боратынского, складывала оружие как раз тогда, когда казалось, что силы его иссякают, еще немного и терпению придет конец. Столкновения с фатумом разрешались в его пользу. Военная служба — унижительная солдатчина за отроческую зловредную шалость — высвободила душу для творчества, косвенно помогла войти в пушкинскую среду, снискала ему особое расположение разных людей, от поэтического мэтра Жуковского до бивачных сослуживцев, иные из которых стали его друзьями навсегда. Любовная отверженность, рано отплывший в крови темный «огонь желанья» подтолкнули к браку по рассудку, на редкость удачному и многодетному. Разрыв с литературными единомышленниками, все растущий холодок со стороны читающей публики заставили еще больше углубиться в себя, в одиночку продолжать поиски истины, создать великую книгу «Сумерки». И даже преждевременная смерть все-таки случилась в лучшую пору лета, в день апостолов Петра и Павла, в роскошной Италии и была скоропостижной.

Прямо по слову апостола: «... если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу...» (2 Кор. 4, 16-17)

Размышляя на тему, заявленную выше, испытываешь соблазн: вырвать из творческого наследия поэта как наиболее веский аргумент отдельные строфы и строки с библейским наполнителем. А таких немало.

*С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!*

Даже непосвященные знают, что одна из десяти заповедей, данных Богом человеку через пророка Моисея, гласит: «Не сотвори себе

кумира». В привычном переводе: «Не делай себе кумира...» (Исход 20, 4).

В стихотворении «*Не подражай: своеобразен гений...*», откуда взята цитата, поэт далек и от богословских, и от житейских соображений по поводу Божьих заповедей. Он ведет мысленный диалог с Мицкевичем, а возможно, и с самим собой. Не забудем: ему выпала счастливо-мучительная доля быть современником Пушкина! Стихи заканчиваются чуть ли не крамольной с ортодоксальной точки зрения фразой: «*Встань, встань и вспомни: сам ты бог!*»

Разумеется, Боратынский не собирался творить кумира из поэтического гения. Под «богом» не подразумевал Творца неба и земли. К Тому обращены совсем другие строки. Но, необычайно высоко ставя миссию поэта, именно поэта самостоятельного, победившего все влияния, очевидно, считал себя вправе распространить вторую по порядку заповедь на работу поэтическую, уподобить творца стихов Создателю Вселенной. Еще одна выдержка:

*Спасибо вам, я не в утрате!
Как богоизбранный еврей,
Остановили на закате
Вы солнце юности моей.*

«*Богоизбранный еврей*» — Иисус Навин, чья книга входит в Ветхий Завет. Это он сказал солнцу «стой», чтобы оно светило его соплеменникам до победы над врагами. Это с его немеркнущим именем рифмовал свою фамилию Гаврила Державин.

Но Боратынского и в данном случае не занимают чисто религиозные материи. Это только поэтический образ! Близясь к своему раннему закату, он спешил размежеваться с литературными недругами, недавними приятелями. Почему — это особый разговор. Причина размежевания, считают некоторые исследователи, до конца не ясна до сих пор. Но форма, в которой брошен вызов «злобе хлопотливой», я думаю, не случайна. Не потому ли сравнение заимствовано поэтом из Библии, что его оппоненты — любомудры и иже с ними внешне весьма и весьма чтили Книгу книг, цепко держась за букву Писания, но далеко не всегда за суть?!

Резко отталкивается поэт от братающихся ничтожностей в эпиграмме, обращенной к «Коттерии» (т. е. сомнительному кружку заговорщиков), опять-таки прибегая к цитате из Библии:

*«Аминь, аминь, — вещал он вам, — где трое
Вы будете — не буду с вами я».*

Христос, сказавший ученикам Своим: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20), как видим, с «коттерией» ничего общего иметь не хочет.

Занятно, что концовка послужила причиной цензурного запрещения эпиграммы. Боратынскому, поэту, вроде бы, «аполитичному», вообще не везло с цензорами. У них был безошибочный нюх на все нетривиальное, если оно с какого-то бока касалось церковных догматов. Цензура потребовала убрать Магдалину («*Как Магдалина, плачешь ты/ И, как русалка, ты хохочешь*»), не допуская мысли, что земную женщину можно сравнить с Марией из Магдалы, переродившейся грешницей, той, что сопровождала Иисуса до конца и, по Евангелию от Марка, первая приняла весть о Воскресении. Цензура встала против гениальной концовки «Недоноска». Но об этом речь впереди.

И все-таки тема «Библия и Боратынский» решительно не исчерпывается ни цитатами из Писания, ни употреблением слов «культурного назначения», например: «*И чистоту поэзия святая, / И мир отдаст причастице своей*». Мы уже говорили о причастии (см. начало беседы о Пушкине). Здесь отсыл к религиозному понятию куда более уместен, чем в пушкинском послании декабристу В.Л. Давыдову.

Как и у Батюшкова, Пушкина, Тютчева и др., у Боратынского чаще встречаются античные атрибуты, чем библейские. Было бы непростительной натяжкой объявлять его христианским поэтом, ссылаясь на использование в стихах нескольких отправных мест из Ветхого или Нового Заветов.

Но осмеливаюсь предположить, что связь русского поэта-философа № 1 с Библией и шире, и глубже, чем это может показаться на первый взгляд.

«*Блистательных туманов царь*», — сказал о себе в «Осени» сам Евгений Абрамович. А не походит ли он еще на одного царя, «царя в Иерусалиме», чья книга вошла в Ветхий Завет и среди других его жемчужин не утратила и никогда не утратит только ей присущего мрачного сияния?

В том, что Екклесиаст (так в синодальном переводе) произведение великого мыслителя, сомнений ни у кого нет. «Время разбрасывать камни, и время собирать камни», «Во многот мудрости много печали», «Притесняя других, мудрый делается глупым», «При печали лица сердце делается лучше» — все это «Екклесиаст». Ну а рефрен, относящийся к нашей каждодневности: «суета и томление духа!» был и есть чуть ли не у каждого на устах.

Почему же такая, с позволения сказать, пессимистическая книга вошла в Библию? Не противоречит ли она уюванию на конечную

справедливость Верховного начала, пронизывающему не только Новый, но и Ветхий Завет?

Очевидно, древние составители Библии были куда менее ортодоксальны, чем апологеты более близких времен. Серьезные богословы и христианские подвижники ценили в Екклесиасте то поистине не оцененное качество, что на языке аскетов называется «трезвением»: бесстрашный, объективный взгляд на вещи, не замутненный утопическими мечтаниями. Напоминая о неизбывной суете преходящего, Проповедник (другое имя автора) звал в сферы высшие, за пределы ограниченного земным опытом мира.

Чрезвычайно любопытно проследить, как в нескольких точках пересекаются мысли ветхозаветного мудреца и одного из самых трезвомыслящих представителей золотого века русской поэзии.

Речь, конечно, идет не о подражании и даже не о родстве душ, а, скорее, о столь же нечаянных, сколь и закономерных соприкосновениях духовного порядка.

«И предал я сердце мое тому, чтоб *исследовать* и *испытать* мудростию все, что делается под небом...» (Екк. 1, 13)

«*Две области, сияния и тьмы, / Исследовать равно стремимся мы...*» (Боратынский). «*Пока человек естества не пытал / Горнилом, весами и мерой...*» так начинается стихотворение «Приметы».

«*Чем испытует небо вас?*» — внезапно возникает обратная связь. «Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается на круги свои» (Екк. 1, 6)

«*И, тесный круг подлунных впечатлений / Сомкнувшая давно, / Под веяньем возвратных сновидений / Ты дремлешь...*» — нишет поэт о душе человеческой. И «веянье» перекликается с «ветром», по смыслу и фонетически.

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уж нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению...» (Екк. 9, 5).

*Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное созданье,
О человек! уверься, наконец,
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!*

Вывод абсолютно еклесиастовский!..

Параллели можно продолжать, ибо и слово «суета» излюбленно Боратынским. И, как в книге Проповедника, строго разграничены в его поэзии, да и жизни, жепщина и жепа. И одипочество, в его метафизическом плане, стучится к обоим, и сладкий «сон трудящегося» (Екк. 5, 11) — не для них...

22 века разделяют Евгения Боратынского и легендарного Екклесиаста. Неужели и поэтический гений, и трезвый ум идут все по тому же замкнутому кругу «и нет ничего нового под солнцем»? Неужели мощные излучения Нового Завета не прошли насквозь, а лишь тронули по касательной творчество одного из создателей нашей поэзии?

К счастью, это не так! Я уже говорила, что еkkлесиастовское умонастроение, по неведомым нам духовным законам, сквозь мрак разуберения и разочарования ведет иные души туда, где нет тлена, нет бренности, где все вечно, абсолютно.

У Боратынского мотивы «несрочной» весны» (т.е. не имеющей срока, бесконечной), «неосязаемых властей» (духов), «заочного мира» (мира незримого) рождаются в середине и крепнут к концу творческого пути. Говоря о «беспредельном» предельными словами общеупотребительного языка, он не мог не сознавать, что его поэзию неходового толка поймут и оценят немногие.

*«Но не найдет отзыва тот глагол, / Что страстное земное перешел...»,
«Там, быть может, в горнем клире, / Звучен будет голос твой...»* (т. е. в небесах, а не на земле) — это не жалоба, а констатация факта.

Даже мы, любящие родную поэзию и верящие ей порой больше, чем философии, не отталкиваемся ли внутренне от этих странных стихов? «Земное попрание» — это нам понятно, а вот «земное» в качестве дополнения, да еще с прилагательным «страстное» в том же винительном падеже, заставляет, поди, не одну меня запинаться. Но вслушаемся:

*Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:
Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою —
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата.*

Нет, дохристианский мир не знал такой благодатной «заочности». «В доме Отца Моего обителей много!» — невольно приходят на ум слова из Евангелия (Ин. 14, 2). Если «в сладостной тени невянущих дубров, / У нескудеющих ручьев» можно встретить тень давно почившего в Бозе отца, значит... смерти нет?! Память смертная, осознание того, что ты — недолгий гость на земле и должен сделать из этого неотложные выводы, сильна и у авторов Ветхого Завета. В Псалтири слышна и другая нота: Псалмопевец молит о самом сокровенном, чаёт бессмертия: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни...» (Пс. 15, 10–11).

Но только в Новом Завете обещается победа вечной жизни над силами распада и разложения.

Можно сказать, что в стихах Боратынского эта уверенность выражена в целомудренной форме надежды. Да и может ли смертный без муки сомнения утверждать то, что открыто одному Вышнему?!

В душе поэта идет спор, вечный спор, знакомый каждому из нас. Бессмертна ли душа наша? Ждет ли нас что-нибудь за гробом или уже ничего? В «Отрывке» (в прежние издания он не входил — так пеклись о нашем материалистическом мировоззрении идеологи-невидимки) спорят два голоса, мужской и женский, он и она. Думать, что это все непременно поэт и его дражайшая половина Анастасия Львовна, урожденная Энгельгардт, наивно. Скорее оппонируют друг другу мужское и женское начало в душе поэта, скептик и оптимист, новый Екклесиаст и христианин.

Он:

*...сегодня зреньё
Пленяет свет веселый дня...
...А завтра... завтра... как ужасно!
Мертвец незрячий и глухой,
Мертвец холодный!.. Луч дневной
В глаза ударит мне напрасно!*
.....

Она:

*Что же, милый?
Есть бытие и за могилой,
Нам обещал его Творец.*

Та же альтернатива — в стихах «На смерть Гете». Если... Если... Великий немецкий поэт умер 22 марта 1832 года. Уже в мае, в письме к другу, Боратынский сообщил, что в последнее время писал «мелкие пьесы» и одной, на смерть Гете, «более доволен, чем другими». Подытоживая титанические труды мирового поэта и ученого, он употребляет уже знакомое нам слово — «испытан»: «Изведен, испытан им весь человек!» Дальше идут столь важные для нашей темы строки:

*... И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век,
И нас за могильной доскою,*

*За миром явлений, не ждет ничего, —
Творца оправдает могила его.*

«Что ни век, то век железный», — распеваем мы вслед за популярным дуэтом Татьяны и Сергея Никитиных романс на слова Кушнера. Это он Боратынского повторил, разумеется, в новом качестве. Прав был Евгений Абрамович, может быть, несколько неожиданно назвав «железным» свой, такой благополучный, по нашему непросвещенному мнению, XIX век. Ведь все вирусы большого века двадцатого уже резвились в его благодатной среде. А раз «век шествует путем своим железным», то и его железные воззрения на все, вплоть до таинства смерти, не могут сбрасываться со счетов чутким мыслителем. Но эта мнимая уступка деизму¹ (Творец-то признается!) только уточняет почву для финала стиха:

*И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах сполен
Все дальное далю отдавший,
К Предвечному легкой душой возлетит,
И в Небе земное его не смутит.*

Удивительна последняя строка! Не хочет ли поэт сказать, что между земным и небесным, между дольным и горним, нет непроходимой грани? На небесных пажитях мы увидим то, что посеяли на земле, часто кое-как, неряшливо, неразумно, не думая, что придется когда-нибудь собирать невеселый урожай. Да, такое может смутить кого угодно, но только не свершившего блистательно свой земной путь Iete!

Увы, столь высокий удел ждет не все души... Загадочный «Недоносок» толкуют по-разному. Одни видят в нем чистую аллегорию, сегования человека и гражданина, выпавшего из своего времени. Другие (и такая точка зрения мне гораздо ближе) не боятся заглянуть за грань, вторгнуться в заповедную область религии. По Боратынскому, недовоплощённое земное создание, недочеловек, осознающий, что он жил как не жил и вот уже волей рока скоротечно выбыл из жизни, неразвитое семя духа, выброшенное, подобно недоноску, в инопространство, не в силах воспользоваться свободой и другими благами, что предоставляет вечность.

¹ Учение, приемлющее Бога как Создателя, но отрицающее его дальнейшее вмешательство в дела Творения.

*Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!*

Даже вечность для него бессмысленна! Цензор-догматик обиделся за «вечность», не уловив парящей мысли поэта, и принудил его к уплощающей смысл правке: «*В тягость твой простор, о вечность!*»

«Недоносок» написан от первого лица. Мы можем только гадать, был ли то поэтический прием? Или страх перед собственным посмертным уделом? Его моделирование? Его предвосхищение?.. Поэту оставалось жить еще девять лет!

«Смерть моего незабвенного Ангела — Евгения...» — обронил в частном письме сослуживец поэта. Не припомню, чтобы еще хоть один выдающийся лирик удостоился такого уподобления.

Сам Евгений Абрамович судил о себе иначе. В стихах к жене, созданных незадолго до смерти, он писал: «*Ты, смелая и кроткая со мною/
В мой дикий ад сошла рука с рукою...*»

Нет, ангелы в аду не водятся. Разве что темные духи? Продолжим, однако, цитату:

Рай зрел в нем чудесная любовь...

Одному-единственному чувству в мире возможно переделать ад в рай. Любви. Полемизируя с не названным в стихах Декартом, Боратынский воскликнул когда-то: «*Нет! любишь ты, и потому/ Ты существешь, — я пойму/ Скорее истину такую*».

Итак, любовь для него сильнее философии, а ведь, по общему мнению, он поэт-философ, поэт-мыслитель. Какова же должна быть мощь его любви, чтобы перевесить силу мысли!

В стихотворении «*Своейравное прозванье...*» Боратынский писал, имея в виду то интимное имя, которое дал при жизни любимой женщине:

*Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милый,
Здесьних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
К безднам им воскликну я,
Да душе моей навстречу
Полетит душа твоя.*

Любовь, перешедшая «страстное земное», на языке нашей культуры, — это христианская любовь. Она — залог полнокровного существования здесь. И надежда на бессмертие в том мире, где «нет образов». По слову поэта: в мире заочном.

Глава седьмая

«ПОКРОВ, НАКИНУТЫЙ НАД БЕЗДНОЙ»

(Ф. Тютчев)

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует,
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не п р о с и т...
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью !..»*

Стихотворение «Наш век» написано Тютчевым в 1851 году. Мы почему-то думаем, что безверие мыслящих слоев нашего отечества — болезнь более позднего времени. Относим ее чуть ли не к концу XIX — началу XX века. Кое-кто предполагает уже совершенно нелепое: с христианской верой в русском обществе было покончено после 1917 года путем жесточайших репрессий. Нет, это не так. Диагноз «безверия», поставленный великим поэтом своему кругу и прежде всего самому себе, оказался провидческим, распространился на все слои населения, ибо рыба портится с головы.

Поэт тем и велик, что видит сквозь пелену временного. Пророчествует. Предостерегает. Отягощенный опытом веков минувших и предчувствием грядущих катаклизмов, горит, как свеча с обоих концов, а мы еще удивляемся, что срок поэта на земле отмерен скупю.

Для нас существенно, что последние две строки «Нашего века» перекликаются с Евангелием от Марка (9, 24). Вот это место:

«Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым. Где ни схватывает его, повергает его на землю и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенет (...) Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию».

Обратим внимание на странное определение: «дух немой». Судя по тому воздействию, которое он оказывает на отрока, — это злой дух.

Кому, как не Христу, дана власть над злыми духами?! Но даже Он, как следует из приведенной цитаты, нуждается во встречной вере того, кому хочет помочь...

Далее в Евангелии Христос говорит: «... дух немой и глухой! Я повеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Чудо свершается. «Сильно сотрясши» юношу, злой дух покидает свою жертву. Юноша становится «как мертвый». «Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал» (Мк. 9, 26–27).

Безгранична мощь веры!

Эта евангельская притча отозвалась в одном из чисто тютчевских образов (стихотворение «*Почное небо так угрюмо...*»).

*Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухотемные,
Ведут беседу меж собой.*

Спустя много десятилетий другой русский поэт, Максимилиан Волошин, подхватит этот образ и назовет «Демоны глухонемые» одну из своих трагических книг о революции. Чудные круги делает высокая поэзия!

Вспомним стихотворение Пушкина о том же самом: о мучении — неотвязной тени осознанного личностью безверия. По те стихи писал мальчик-лицеист. Все у него было впереди: и падения, и ушибы от падений, и медленное выпрямление души, угадавшей высокий Замысел Творца о себе.

«Наш век» написан Тютчевым под пятьдесят. Судьба его была исключительно по насыщенности событиями. К моменту создания стихов более двадцати лет он провел за границей — не в приятной праздности и не по причине романтической прикованности к предмету своей страсти... «Чиповник при дипломатической миссии» — это звучало бы приговором для свободного художника, если бы служба забирала его целиком. К счастью, этого не было. Выпускник Московского университета, он за границей много занимался самообразованием. Следил за европейской литературой. Естественно вошел в культурную атмосферу Мюнхена, духовного средоточия Германии. Он общался с выдающимися умами своего времени: философом Шеллингом, Генрихом Гейне. «Это весьма выдающийся, очень образованный человек, с которым всегда приятно беседовать», — передает современник мнение властителя дум Шеллинга о молодом Тютчеве. Долго ли, коротко ли, но Федор Иванович побывал в Дрездене, Турине, Гёнеу, во многих городах Швейцарии, Франции. Да где он только не был! Точно в него вселился дух пращур-итальянца, спутника Марко Поло...

Вообразим лазурную ночь Рима или Женевское озеро с плывущим по глади вод лебедем... Он созерцал красоту постоянно: обе жены, немки по происхождению, красавицы. Черно-белое воспроизведение их портретов в книгах и само по себе волнует, и таит нераскрытое: как-то же они в красках!

Вернувшись в Россию, Тютчев был своим человеком при дворе, имел репутацию «льва», остряка, «прелестного говоруна». Он возглавлял Комитет цензуры иностранной литературы, от него в немалой степени зависело просвещение русской читающей публики... И вдруг — сознание такой опустошенности, такого ничем неизлечимого внутреннего недуга!

«Его безверие — наша вера!» — хочется мрачно пошутить, пробежав мысленным взором некоторые узловые моменты жизни Федора Ивановича, восстановив в памяти его стихи, напоенные евангельскими и ветхозаветными образами. «Внутренняя» человека (это слово в духовной литературе обозначает наш душевный мир) формируется в юности. Вот пятнадцатилетний Тютчев в Кремле, в келье Чудова монастыря, «тихой и смиренной», беседует с Василием Андреевичем Жуковским, первым поэтом последержавинского времени, христианнейшим из писателей России. Нет сомнения в содержании этой беседы, возвышенном и богодухновенном, а оно « всю жизнь так верно сопровождало » его.

Вот двумя годами позже в подмосковном Троицком он вместе с ровесником, будущим известным литератором, пускается в рассуждения « о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом... » (из дневника М.П. Погодина). А вот и первый « богоборческий » мотив у Тютчева-поэта:

*« Не дай нам духу празднословья! »
Итак, от нынешнего дня
Ты в силу нашего условия
Молитв не требуй от меня.*

Можно только снисходительно пожать плечами, узнав, что эта стихотворная шутка юноши была напечатана впервые примерно через 40 лет (!), в сборнике « Русская потаенная литература XIX столетия » (!), в Лондоне (!). Ах, сберегали, сберегали невинность христоролюбивого народа господа цензоры, а главного насильника проглядели. Растлевающийся дух!..

« Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дай мне... » — автор уже вспомянутой нами молитвы Ефрем Сирин, конеч-

но, не знал, что пятнадцать веков спустя один из Тютчевых (так именовался родоначальник) изящно подшутит над ним...

Несколько слов о молитве вообще. Как известно, Христос дал своим ученикам одну молитву: «Отче наш» (Мф. 6, 9–13). Ее знают почти все, но, произнося первый стих по-старославянски, часто делают ошибку: «Иже еси на небеси...» Надо: «на небесех», т.е. «на небесах», во множественном числе... Но всегда ли мы внемлем наказу Христа: «молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны...» (Мф. 6–7).

Так что автор «крамольного» четверостишия был не так уж не прав...

Евангельские мотивы в стихах Тютчева встречаются не раз. И не всегда требуют ссылок на первоисточник, потому что он дает не поэтические параллели — он мыслит библейскими образами. Однако в некоторых случаях «расшифровка» позволяет глубже воспринять его многомерные сравнения, метафоры и прочее.

Удивительно емкое стихотворение «О вещая душа моя...» становится еще объемнее, когда постигаешь по-настоящему его концовку:

*О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги —
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так ты — жилища двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов...
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.*

В Евангелии от Луки (10, 38) упомянута Марфа, пригласившая Христа «в дом свой». Дальше по тексту: «У ней была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и подошедши сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.

Иисус сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом.

А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (39–42).

Мне приходилось слышать, как этими словами нерадивые хозяйки прикрывают свою лень, оправдывают свое иное предназначение — выше ложек и плошек. В стихах речь, действительно, идет о высшем, но в другом смысле. «*Веющая*» душа поэта посылает нам весть: мирские страсти сродни болезням (вспомним, что «страсть» и «страдание» — слова однокоренные), сны (мечты, иллюзии) — чаще всего самообман. Остается одно, «единое на потребу». В стихах это выражено недвусмысленно и просто. Прильнуть к ногам Христа — не это ли высшее предназначение души человеческой?

О тютчевском «двойном бытии», двоимирии мы поговорим отдельно. А сейчас небольшой экскурс в недавнее прошлое...

Для Тютчева, чье существо пропитано живительными соками Писания, славянофила, поэта в политике и философии, Россия и православие были неразрывны. Он даже видел Россию во главе будущей «всеславянской» империи, разумеется, христианской, православной, — иного он не допускал. Поэтому самые патриотические его стихи одновременно и самые религиозные... Нелегко приходилось атеистам-пропагандистам на Брянщине, откуда поэт родом и где волею судеб дважды довелось мне побывать на тютчевских праздниках. Одни строки, освященные великим именем, годились для художественной пропаганды, кропили живой водой вялые идейные клише. Другие — не лезли ни в какие ворота. Тогда, в 70-х — начале 80-х годов, не раз приходилось видеть на столбиках и памятных листовках хитроумно усеченные поэтические тексты. Сотни паломников читают:

*Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..
Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...*

Тут — конец цитаты. Подразумевалось, что луч уже блеснул, уже оживил — и это луч Октября. Праздники-то литературные проводил обком КПСС. И только посвященным память подсказывала заключительное: «*Но старые, гнилые раны, / Рубцы насилий и обид, / Растление души и пустота, / Что гложет ум и в сердце ноет, — / Кто их излечит, кто прикроет?.. / Ты, риза чистая Христа...*»

Подобная же операция производилась и над другим известным стихотворением: «Эти бедные селенья...» Там срезанной оказывалась последняя строфа:

*Удрученный пошей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.*

А в нем такая сладкая боль, такая безнадежная надежда! Осуждая брянских цензоров Тютчева, я вовсе не имела в виду местных энтузиастов, которые и в родном его Овстуге, и в областном центре чтят и чтут его память, устраивают выставки, содержат музей... Впрочем, и бывшие цензоры теперь наверняка перестроились, отсекают от земляка иные части или не отсекают ничего. Вы только подумайте: религию разрешили, Христа разрешили, и многим даже скучно стало, оттого что только запретный плод сладок. Кое-кто к тому же считает: двухтысячелетнее христианство устарело. Какое отношение имеет оно к современности?

Самое непосредственное.

Мать потеряла сына, — он ушел во цвете лет. Можно ли отыскать слова утешения? Поэт их находит, но они действительны только в свете веры:

*«Все решено, и он спокоен, / Он, претерпевший до конца, — / Знать, он
пред Богом был достоин / Другого, лучшего венца(...) Но между ним и между
нами / Есть связи естества сильней: / Со всеми русскими сердцами / Теперь
он молится о ней, — / О ней, чью горечь испытанья / поймет, измерит толь-
ко Ты, / Кто, освятив собой страданья, / Стояла, плача у креста...»*

Когда мы читаем эти строки, мы можем и не знать, что стихи обращены к царице, жене Александра II. Мы видим на ее месте, рядом с Богородицей, нынешних солдатских матерей, которым остается одно упование — на Бога.

О славянофильстве Тютчева я уже говорила. Можно соглашаться или не соглашаться с Тургеневым, писавшим Фету после смерти Федора Ивановича: «Глубоко сожалею о Тютчеве; он был славянофил, но не в своих стихах, а те стихи, в которых он был им, те-го и скверны...» Но нельзя в наше время бурь и потрясений не прислушаться к словам самого поэта, вместившего в четыре строчки два полемических и, как видно, вечных взгляда на достижение общественной гармонии:

*«Единство, — возвестил оракул наших дней —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...»*

«Оракул наших дней» — это Бисмарк. Стихи написаны в 1870 году, во время Франко-прусской войны, и прочитаны на празднестве по случаю перехода в православие группы чехов.

Но их христианнейший смысл, пробивая временные и племенные преграды, конечно же, восходит к Евангелию. Тут уместно будет вспомнить и Христово завещание ученикам Его: «да любите друг друга; как Я возлюбил вас...» (Ин. 13, 34), и Христову молитву за оставляемых учеников, что произнес он на Тайной вечере; «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Ин. 17, 21), и неслыханные в Древнем мире, как, впрочем, и в куда более поздние времена, вплоть до сего дня, слова Христа об отношении к врагам: «любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, Благословляйте проклинаящих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6, 27–28). Оговорюсь сразу: сам поэт врагам не благотворил, отнюдь, однако в стихах своих он часто ближе ко Христу, чем в житейском поведении.

Все приведенные мной выше цитаты — из Нового Завета, но и Ветхий Завет притягивает Тютчева (недаром его называли «московским Исайей!»), волнует своей бездонной глубиной, своими предназначениями грядущего.

*Вот царство русское... и не преидет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек —*

так заканчивается стихотворение «Русская география».

Что же предрек, по Тютчеву, ветхозаветный пророк нашей Родине, о которой он знать не знал, ведать не ведал? В Книге Даниила (2, 44) речь идет о «царствах будущего», когда «Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Понимаю, что прогноз этот не всем по вкусу (и мне — тоже), но стыдливо сокращать библейский текст в комментариях, как это недавно еще делалось, — не значит ли исказить взгляды поэта?

В 1865 году отмечалась столетняя годовщина со дня смерти М.В. Ломоносова. Федор Иванович откликнулся на это событие стихотворением («Он, умирая, сомневался...»). Две строки из него могли бы служить эпитафией не только адресату, но и автору. Они великолепны: «Но Бог недаром в нем сказался — / Бог верен избранным своим». Для нас особенно интересно заключительное восьмистишие:

*Да, велико его значение —
Он, верный Русскому уму,*

*Завоевал нам Просвещение,
Не нас поработил ему, –
Как тот борец ветхозаветный,
Который с Силой неземной
Боролся до звезды рассветной
И устоял в борьбе ночной.*

В Книге Бытие (32, 24–29) находим стихи, проливающие свет на эту загадочную сцену:

«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари; И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним.

И сказал: отпусти Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.

И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.

И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь.

Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моём? И благословил его там».

Два коротких разъяснения. Иаков – один из древнееврейских патриархов. Народное истолкование слова «Израиль» – «он боролся с Богом» (Словарь библейского богословия). Итак, поэт уподобляет просветителя России патриарху израильского народа. Иаков вышел из борьбы с «силой неземной» с поврежденным бедром, хромым. Ломоносов умирал, «*злоещей думою томим*», мучимый сомнениями. Не следует ли из этого, что просвещение, свет, добро («завоевал нам просвещение», – стало быть, оно во благо) даром не даются, требуют борьбы, влекут за собой неизбежные жертвы? Вспомним страшную судьбу Прометея, давшего людям огонь!

Ветхозаветная точка зрения смыкается с античной.

Обе явно созвучны мятежному духу «московского Исаяи»... «Эллинское, дохристианское чувство Рока» прозревало у Тютчева Александр Блок. Он же высоко ставил и очень любил тютчевское стихотворение «Два голоса»:

*Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы – молчат и опе.
Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.*

*Мужайтесь, боритесь, о храбрые друзья,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.
Пусть алимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто ратуя пал, побежденный лишь Рокон,
Тот вырвал из рук их победный венец.*

Первый голос, несомненно, заглушается вторым, еще более суровым, но и более пропикновенным, при всем своем стоицизме. Не правда ли, пафос борьбы до победы, вырванный с мукой «победный венец», который скорее зачтется на небесах, чем на земле, — напоминают нам о подвиге Иакова? Только патриарх удачливее обыкновенных «смертных сердец»: отделался увечьем, а не пал, ратуя... Есть и коренное различие. Там речь шла о Боге, тут — о богах, олимпийцах, всеблагих, — короче, о всех тех, кто пишется со строчной, а не с прописной буквы. Мы так долго снижали в печатных изданиях имя Господа, что теперь готовы поднять всякую нежить, вплоть до русалок и водяных. Делать этого не надо. Античные божества пишутся с большой буквы, когда называются их имена: Марс, Венера. В остальных случаях — начальная буква маленькая.

Говоря об античности и всеблагих, не могу не остановиться, хотя бы мимоходом, на известнейшем стихотворении Тютчева «Цицерон». Обычно из него помнят лишь четыре, от силы восемь строк:

*Счастливы, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призывали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!*

Сначала поэт вместо «счастливы» поставил «блажен». Многие так и читают наизусть, и мне это больше нравится, еще и потому, что перекликается с «заповедями блаженства», данными Христом в Нагорной проповеди (Мф. 5, 3–11). Но в окончательном варианте — «счастливы». Может быть, автора смутило житейское значение слова «блаженный»: не вполне нормальный, не в себе? А может быть, прекрасно ориентируясь в обеих средах, античной и христианской, он не захотел их смешивать?..

По мнению исследователей, стихотворение «Цицерон» — прямой отклик на июльскую революцию 1830 г. во Франции. Тютчев отнесся к ней резко отрицательно. Для него всякое насильственное свержение законной власти или попытка такового были неприемлемы... Чем же так захватывают эти зацитированные, многожды перелицованные — всякий раз на новый лад — строки? По времени написания они предшествуют «Двум голосам», по настрою — превосходят их. Они утверждают — в обход Рока — богочеловеческое предназначение «смертных сердец». Пусть богословы разбираются, хорошо это или плохо. Я как читатель благодарна поэту за столь высокую и чистую ноту.

В стихотворении «Silentium!» («Молчание!») античное (латинское) только название. Первые две строчки знают все, — настолько часто их берут напрокат, по делу и без дела.

*Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмалвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи...*

Редко кого из великих творцов переписывали другие — поэты, прозаики, редакторы, какая разница! С Тютчевым это случилось; своевольная правка была внесена именно в «Молчание». В процессе правки (тут приложил руку сам И.С. Тургенев) неблагозвучные строки — в нашем отрывке IV и V были заменены гладкими... Но почему же блестящий стихослагатель, далеко не новичок в поэзии, написал столь коряво, как будто нарочито сбиваясь с ритмического шага? Вывод напрашивается один: так, а не иначе слышал он внутренним слухом. Как слышал — так и передал...

В том же 1830 году, когда написано «Silentium!», Федор Иванович создает куда менее известные стихи: «Через ливонские я проезжал поля...» Средневековая Ливония — это нынешние Латвия и Эстония. По пути из Петербурга за границу поэт вспоминает «о былом печальной сей земли — / Кровавую и мрачную ту пору, / Когда сыны ее, простертые в пыли, /

Лобзали рыцарскую шпору. Рядом с ним один собеседник, один свидетель былого — природа, а какая она в неяркой Ливонии? *«Пустынная река...» «Прибрежная дуброва...»*

Стихи заканчиваются загадочно:

*Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной, —
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,
Про них и днем молчание хранит.*

Комментаторы предполагают, что тютчевский «отрок» — это будущий судья (царь) Самуил из Ветхого Завета, вымоленное у небес бесплодной матерью дитя, в благодарность посвященное Господу. Обратившись к первоисточнику, находим, что древнееврейский царь-прорицатель ребенком слышал скорбные пророчества посещавшего его по ночам Бога и долго не смел передать их своему духовному наставнику. (I Книга Царств, 3)

Значит, молчание природы, как и молчание посвященного человека, — вынужденная мера? Слишком страшна жизнь, чтобы откровение о ней доверять кому бы то ни было... Но, хотя *«природа — сфинкс»*, иногда ей дано утешить нас, потому что *«В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней есть любовь, в ней есть язык»*.

Кто, как не Тютчев, постиг душу природы?! Вспомним знакомое с детства: *«Зима недаром злится...»*, *«Люблю грозу в начале мая...»*, *«Есть в осени первоначальной...»* Каждый знает хоть несколько строчек наизусть и потому льстит себя надеждой, что пейзажная лирика поэта перед ним как на ладони. Между тем в ней-то и скрыта одна из тютчевских тайн. Нам не дано проникнуть в тончайший механизм его ассоциаций, до конца уяснить устройство того серебряного шнура, который он полагает между миром вещественным и нематериальным. Порой мы принимаем за чистую монету какой-нибудь лирический этюд, — и вдруг оказывается, что это только рисунок на занавесе, а за ним приоткрывается нечто непостижимое, пугающее своей абсолютной независимостью от человека.

*Как сладко дремлет сад темно-зеленый,
Объятый негой ночи голубой!
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой!..
Таинственно, как в первый день созданья,
В бездонном небе звездный сонм горит,
Музыки дальней слышны восклицанья,*

*Соседний ключ слышнее говорит...
На мир дневной спустилась завеса,
Изнемогло движение, труд уснул...
Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный еженощный гул...
Откуда он, сей гул непостижимый?..
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, слышимый, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?..*

Эта оглядка на «первый день создания» опять возвращает нас к Библии, с которой наши пути надолго не расходятся.

Глубокий исследователь русского стиха, поэт и переводчик Лев Озеров, в своей несколько не устаревшей книге «Поэзия Тютчева» (М.: Худ. лит., 1975) отталкивается именно от этого стихотворения, чтобы сказать о темах хаоса и сна, неба и бездны, пронизывающих все его творчество. Действительно, хаос у него «проступает как изначальная стихия бытия», а небо — «голубая воздушная бездна с ударением на слове «бездна».

Античный хаос отождествляется с ночью. То же у поэта: ночь — разоблачение хаоса, с нее сорван «златотканый» покров дня, при свете которого возможно «души болящей исцеленье». Другое дело — бездна. Она может быть не только «роковой», но и «миротворной».

В задачу Л. Озерова не входит сопоставление стихотворного опыта Тютчева с Книгой книг; нам же естественно продолжить его наблюдение.

Кажется, первым в нашей поэзии громогласно произнес слово «бездна» Михайло Ломоносов: «Открылась бездна, звезд полна. / Звездам числа нет, бездне — дна». Бездна часто встречается в Библии, особенно в Псалтири. Всемирный хаос в Первой главе книги Бытие обозначен словами «тьма над бездною». Перелистаем Псалтирь. «Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои — бездна великая» (35, 7), «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною» (41, 8), «напоил их, как из великой бездны» (77, 15), «бездною, как одеянием, покрыл Ты ее» (103, 6), «Господь творит во всех безднах» (134, 6), «хвалите Господа, все бездны» (148, 7). Так пишет Псалмопевец.

Несколько примеров из Тютчева: «В ночи греха, на дне ужасной бездны, / Сей чистый огонь, как пламень адский жжет», человек у него, «как сирота бездомный», «В душе своей, как в бездне погружен». Поэт идет еще дальше: «Кто смеет молвить: до свиданья! / Чрез бездну двух или трех дней?» И вообще «внешний мир» — «Покров, накинутый над бездною...»

Не надо искать буквальных совпадений — поэтический дух, масштабность представления и переживания и тут, и там сродственны.

А вот и скрытая полемика с Псалмоневцем и еще более с Евангелием, считающим Христа «первенцем из мертвых». По новозаветному обетованию, все мы пойдем Его путем, то есть получим жизнь вечную. Не то у Тютчева:

*Все вместе – малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все – безразличны, как стихия, –
Сольются с бездной роковой...
О, нашей мысли оболыщенье,
Ты, человеческое Я!
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?*

Однако можно найти у поэта и совершенно другие стихи, например «Памяти М.К. Политковской», где прямо-таки утверждается бессмертие души, а стало быть, и существование мира иного.

*В наш век отчаянных сомнений,
В наш век, неверием больной,
Когда все гуще сходят тени
На одичалый мир земной, –
О, если в страшном раздвоенье,
В котором жить нам суждено,
Еще одно есть откровенье,
Есть уцелевшее звено
С великой тайною загробной,
Так это – видим, верим мы –
Исход души, тебе подобной,
Ее исход из нашей тьмы.*

Мало того, оказывается, «мир иной» незримо окружает каждого из нас, — чтобы увидеть его, надо только открыть внутренние очи.

*Мы видим: с голубого свода
Нездешним светом веет нам,
Другую видим мы природу,
И без заката, без восходу
Другое солнце светит там...
Все лучше там, светлее, шире,*

*Так от земного далеко...
Так розно с тем, что в нашем мире, —
И в чистом пламенном эфире
Душе так родственно-легко...*

Поэт изначально принадлежит двум мирам: миру грубо материальному и миру неосязаемому, астральному, но такому же несомненному для него, как данная в привычных ощущениях реальность.

С религиозной точки зрения оба мира созданы Господом. В христианском Символе веры говорится: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым...» Мало кто из русских поэтов с такой убедительностью живописал средостение между миром видимым и невидимым, как полнокровный, преданный злобе дня, до гроба живший политическими и любовными страстями Федор Иванович.

*Как дымный столб светлеет в вышине! —
Как тень внизу скользит неуловима!..
«Вот наша жизнь, — промолвила ты мне, —
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма...»*

О двоemiрии поэта писали много. Двоemiрие и «как бы двойное бытие», на пороге которого, как мы помним, бьется его «вещая душа», — понятия близкие, но это не одно и то же. Если свойственное ему ощущение двоemiрия особо выделяет Тютчева даже среди первоклассных поэтов, то двойственность бытия, настоящая или кажущаяся (не случайно же это «как бы») погружает его в глубины без дна. Да, он — избранник богов, но какой ценой! Вера и безверие, разум и безумие, гармония и хаос — все это равноценные составляющие жизни поэта. Вмещающая в себя несовместимое, он чувствует разлад с самим собой и не меньше, чем веры, жаждет цельности. В стихотворении «Памяти В.А. Жуковского» Тютчев пишет о «целом духе» как о Божественном даре.

*В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он все в себе мирил и совмещал...
Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.*

Тут непосредственная переключка со словами Христа: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16).

Естественна после этого и евангельская концовка стихотворения: *«Поймет ли мир, оценит ли его?/ Достойны ль мы священного залога?/ Иль не про нас сказал Божество:/ «Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!»* Сравните с Нагорной проповедью: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).

Теперь, когда мы вернулись непосредственно к Евангелию, грех было бы не вспомнить «выпавшее» стараниями цензоров из многих изданий Тютчева стихотворение «При посылке Нового Завета». Горячий отец, в 1861 году поэт обратился с этими стихами к старшей дочери Анне, женщине незаурядной, оставившей потомкам свою книгу «При дворе двух императоров». Как ни ласкает слух верующей христианки, к каким смею себя причислить, концовка стиха: *«Вот в эти часы с любовью/ О книге сей ты вспомяни –/ И всей душой, как к изголовью,/ К ней припади и отдохни»*, – само послание кажется мне несколько умозрительным.

Другое дело – неожиданное для такого ортодоксального православного, каким всю жизнь оставался Федор Иванович, стихотворение *«Я лютеран люблю богослуженье...»* Радует сам факт обращения к другой христианской конфессии, любовное уважение к чужому обряду. Преодолевая конфессиональную узость, поэт словно следует собственному призыву: *«И жизни божеско-всемирной/ Хотя на миг причастен будь!»* («Весна»).

*Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой –
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.
Не видите ль? Собравшись в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит, –
Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь.*

В стихах есть предчувствие какой-то роковой черты, предвосхищение грядущих катаклизмов. *«Молитесь Богу,/ В последний раз вы молитесь теперь»* – звучит очень знакомо. «Бодрствуйте и молитесь» – этот призыв мы найдем в Евангелии и у Матфея, и у Марка, и у Луки. «... Ибо не

знаете, когда наступит это время», — говорит евангелист (Мк. 13,33), имея в виду конец нашего эона, когда «Небо и земля прейдут...» (Мк.13,31) Не то же ли эсхатологическое¹ чувство питало Тютчева, когда он создавал свой четырехстрочный шедевр:

*Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных;
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!*

Стихотворение так и называется «Последний катаклизм».

«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» — хочется словами Христа закончить извлечение из Марка. Тютчев, с его могучим духом и безграничными возможностями поэтического воображения, увидел это обетование воплощенным. И, если дано земному созданию космическое, планетарное зрение — взгляд вглубь, над и вне, — тут оно налицо.

¹ Эсхатология – наука о конечных судьбах мира.

Глава восьмая

«МОЛИСЬ, СТРАДАЙ... — И ВЫСТРАДАЙ ПРОЩЕНИЕ»

(М. Лермонтов)

До сих пор не утихают страсти вокруг Лермонтова. Спорят не об его поэтическом достоинстве. Что он — поэт Божьей милостью, великий поэт, непостижимо рано развившаяся личность, согласны, кажется, все. Дискутируют на другие темы: какому небесному воинству принадлежал его гений — темному или светлому. Что такое лермонтовский Демон и его многочисленные подобию в стихах и прозе, — дань литературной моде, прихоть возбужденной фантазии или же то, что называют «иде фикс» — властное наваждение, от которого невозможно избавиться?

Вкус к подобным дискуссиям у нас проявился недавно. Но и в былые времена феномен автора поэмы «Демон» кое-кому не давал покоя. Например... членам царской семьи. В своей популярной книге «Судьба Лермонтова» (второе издание: М.: Худ. лит., 1986) Эмма Герштейн достаточно подробно освещает этот вопрос. Вот насмешливо-ядовитый отзыв о поэме родного брата царя Михаила Павловича: «Был у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло. Только я никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли духа зла или же дух зла — Лермонтова».

Великий князь высказал вслух то, что у одних вертелось на кончике языка, у других возникало в виде расплывчатой мысли. И сделал это броско, лаконично, обнаружив недюжинный ум и культурную эрудицию. Известная истовой религиозностью императрица Александра Федоровна, признавая «сатанинские» искушения Лермонтова, видела залог спасения от них в таких стихах, как «Молитва».

Одна из прижизненных редакций поэмы о Демоне предназначалась автором для двора и прозвучала там в исполнении умелого чтеца, «что придавало еще большее очарование этой поэзии» (закавыченная фраза — из частной записки царицы). Значит, чуяли «духа зла», но хотели его приручить.

«Собаке — собачья смерть!» — сказал император при известии о гибели поэта в разговоре со своей старшей сестрой. И получил немедленный отпор с ее стороны. В школе мы узнавали только слова императора, наша пропаганда радостно взяла их на вооружение. Оправдать такое нельзя, согласна, и все же попытаемся понять причину гнева самодержца. Причины личного недружелюбия царя к поэту нас

в данном случае не интересуют. Куда любопытнее реакция Николая I на «Гёроя нашего времени»: «Такими романами портят нравы и ожесточают характер (...) Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности!..»

Царь, как сказочный дракон у клада, стоял на страже христианско-этических догм, желая, безусловно искренно, добра своему народу. У поэта же — своя судьба, свой рок, свои счеты с адом и раем, свои цели и устремления. Приношения поэтов, драгоценные, как дары волхвов, часто принимаются за дары данайцев.

Некрасивый, малорослый, хромой (упал с лошади), Мишель был неотразим. Рисуя его словесный портрет, мемуаристы отмечают прямо противоположные черты, взаимоисключающие состояния. Одни говорят о больших, выразительных «неподвижно-темных» глазах. Другие видят «щели, полные злости и ума». По словам современников, в нем соединялись веселая общительность и мрачная сосредоточенность, бесшабашность с товарищами и образцовая изысканность манер в присутствии дам, подкупающая открытость и женское какое-то вероломство. Этаким позитив и негатив. Чем сложнее живые структуры, тем они многовариантнее, — об этом в частности, писал богослов и философ XX столетия Тейяр де Шарден.

В случае с Лермонтовым было и еще что-то, что, как отдаленный раскат грома, докатилось до нас через полтора века и до сих пор озадачивает пристальные умы. Через этого гвардейского офицера, чья служба на Кавказе состояла из «сплошных гонений», чья беспримерная храбрость, достойная золотого оружия, не увенчалась ничем, через этого поэта-«непрофессионала», ибо жизнь его протекала в сражениях и странствиях, в гостиных беспощадного света и маскарадах, похожих на сражения, — говорило Небо. Он рано услышал его звуки.

*По небу полночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи талпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его нефритворна была.
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;*

*И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.*

Была еще одна строфа, предпоследняя:

*Душа поселилась в творенье земном,
Но чужд был ей мир. Об одном
Она все мечтала, о звуках святых,
Не помня значения их.*

Принято считать, что стихотворение «Ангел» навеяно воспоминаниями поэта о рано умершей матери, о ее песнях, петых ему во младенчестве. Но смысл этих строф неизмеримо шире. Семнадцатилетний Лермонтов словно вспоминает тот небесный ландшафт, который душа видит до рождения. Точно ли это стихи о душе самого поэта? А может, о всякой певческой душе? О душе человека вообще? Земля и небо, «и месяц, и звезды, и тучи толпой», «кущи райских садов», «безгрешные духи» — все влечет раскрыть 1 Книгу Библии Бытие и окунуться в доисторию человечества, когда «... сотворил Бог небо и землю (...) И стал свет». (1, 1–3).

Этот первозданный пейзаж, как бы вид из кабины космического корабля, летящего вне времени и пространства, никогда уже не покинет его поэзию. И, возможно, даст основания такому мистическому поэту и философу, как Дмитрий Мережковский, считать, что Лермонтов был наделен «опытом вечности» и стремился не от земли к небу, а от неба к земле.

«Звук песни», «звуки небес», «святые звуки» — все это душа потеряет, когда поселится «в творенье земном». Прежде «скучных песен земли» ей еще предстоит услышать какофонию «диких звуков», отголосков природы, как об этом сказано в белом, не стесненном рифмами, тоже юношеском стихотворении «Ночь».

*Я зрел во сне, что будто умер я;
Душа, не слыша на себе оков
Телесных, рассмотреть могла б яснее
Весь мир – но было ей не до того...
И встретился мне светозарный ангел;
И так, сверкнувши взором, мне сказал:*

*«Сын праха – ты грешил – и наказание
Должно тебя постигнуть как других;
Спустишь на землю – где твой труп
Зарыт; ступай и там живи, и жди,
Пока придет Спаситель – и молись...
Молись – страдай... и выстрадай прощенье...»*

В стихотворении «Смерть», написанном чуть позже (хронологически «Ангел» – между ними) есть заимствования из «Ночи. I». Но здесь появляется новый мотив, как раз по интересующей нас теме:

*Вдруг предо мной в пространстве бесконечном
С великим шумом развернулась книга
Под неизвестною рукой. И много
Написано в ней было. Но лишь мой
Ужасный жребий ясно для меня
Начертан был кровавыми словами...*

Запесбесная книга, где записаны судьбы пародов и личные судьбы, упомянута не только в Откровении Иоанна (10, 1–2, 9–11). Она перешла в Апокалипсис из Ветхого Завета (см. Книгу пророка Иезекииля. 2, 9–10, 3, 1–3). У тайновидца Иезекииля речь идет о богодухновенной Книге, которую ему, прежде чем пророчествовать, надлежит... съесть: «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней – книжный свиток. И Он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «плач, и стон, и горе». (...) И сказал мне: «сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе»; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед».

Перед своей безвременной кончиной в стихотворении «Пророк» Лермонтов переосмыслит горько-сладкий дар всеведенья, врученный ему Вечным Судией...

Однако вернемся к последнему стихотворению.

*...Вдруг пред мной исчезли книга,
И опустело небо голубое;
Ни ангел, ни печальный демон ада
Не рассекал крылом полей воздушных,
Лишь тусклые планеты, пробегая,
Едва кидали искру на пути...*

С лермонтовским «ангелом» мы уже знакомы. Предстоит поближе узнать «печального демона ада».

Восьмилетний Мишель в грозу увидел небольшое облако, похожее на «оторванный клочок черного плаща». «Оно быстро несло по небу». Запись, сделанная через годы, позволяет думать, что это воспоминание никогда не оставляло поэта. Некоторые исследователи связывают с ним начало внутренней работы над образом Демона.

Кто смотрел американский фильм «Дракула» (еще одно имя полпреда нечистой силы), должен был запомнить: натворив кучу бесчинств на земле, Дракула улетает на небо. Все уменьшается в глазах зрителей его черный плащ, пока не становится похожим на клочок облака. Обратный, так сказать, ход поэтической мысли.

Думаю, читателям небезынтересно будет узнать, что согласно ЛЭ¹ слово «ангел» встречается у Лермонтова 164 раза. «Демон» — 110 раз. Бог — 589 раз! Многовато для «демонического» поэта...

Даже до тех, кто никогда не открывал Библии, древний миф о падшем ангеле, антиподе Бога, долетел хотя бы в виде осколков — через другие книги, живопись, музыку. Что же поведало о силе, противостоящей Творцу, Священное Писание?

Ветхий Завет говорит о главном враге Творца весьма сдержанно. Само слово «сатана» происходит от «шатан». На библейском иврите оно означает противника. По-гречески «диавол» — клеветник. В Книге Бытия этот противник-клеветник назван «змеем». Вот какая характеристика дается ему в первом стихе третьей главы: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Как видим, это очень далеко от завораживающего образа Демона и его литературных собратьев. Все же не забудем, что именно змей подбил Адама и Еву отведать плодов с запретного райского древа, чтобы они стали, «как боги, знающие добро и зло» (3, 5).

В Книге Иова на вопрос Господа «откуда ты пришел?» Сатана отвечает многозначительно: «...я ходил по земле, и обошел ее» (1,7). Если помните, говоря о ломоносовском переложении Книги Иова, мы уже упоминали о Сатане, который не верит в бескорыстную любовь человека к Богу и радуется несчастьям страдальца.

Есть в Библии мотивы, еще более близкие к интересующей нас теме. В Откровении Иоанна повествуется о войне на небесах, говорится о том, что «низвержен был великий дракон, древний змий, называемый Дьяволом и Сатанюю, обольщающий всю Вселенную...» (12, 9). Правда, это произойдет, по Апокалипсису, в конце времен.

В поисках источника лермонтовского демонизма исследователи обращались к 1-й Книге Царств, где в стихе 14-м шестнадцатой главы есть такие слова: «От Саула отступил Дух Господень, и возмутил его

¹Лермонтовская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981.

злой дух от Господа», посланный царю за грехи. Лермонтов, считают специалисты, мог сопоставить его со своим «личным» демоном. Что ж, им виднее...

Еще в 1829 году Мишель написал стихотворение «Мой Демон» (вторая, зрелая редакция 1830–31 гг.). Есть у этих стихов и другие источники, кроме Библии. И в первую очередь – пушкинский «Демон». Как я говорила в беседе о Пушкине, тот ненадолго поддался обольщениям «злого гения». Нашел внутри себя противоядие от «астрального нападения» и Евгений Боратынский. Со свойственным ему изяществом говоря о «превратном гении», Евгений Абрамович не таит от нас своего оружия: «Он жар восторгов несогласных / Во мне питал и раздувал / Но соразмерностей прекрасных / В душе носил я идеал» (стихи 1831 года).

Не то у молодого Лермонтова:

1.

*Собрание зал его стихия;
Носясь меж темных облаков,
Он любит бури роковые
И пену рек и шум дубров;
Он любит пасмурные ночи,
Туманы, бледную луну,
Улыбки горькие и очи
Безвестные слезам и сну.*

2.

*К ничтожным хладным толкам света
Привык прислушиваться он,
Ему смешны слова привета
И всякий верящий смешон;
Он чужд любви и сожаленья,
Живет он пищею земной,
Глохнет жадно дым сраженья
И пар от крови пролитой.*

.....

4.

*И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня*

*И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда,
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.*

Поразительные стихи! Юноша 15–17 лет живет не иллюзиями молодости, как положено от века и как можно было бы предположить, зная его поглощенность творчеством, первенство в дружбе, успехи в учении, безумную любовь к нему богатой бабушки Елизаветы Алексеевны, ничего не жалевшей для единственного внука, а весь пребывает в некоем антимире, прямо указывая на присутствие виновника своего внутреннего неблагополучия в настоящем и рокового будущего. Мало того: он осознает, что «личный демон» приставлен к его душе не случайно. Ведь она забыла небесные звуки, обмирщилась и стала открыта для темных сил. Понятнее становятся слова из «Ночи. I»: *«Молись – страдай... – и выстрадай прощенье»*.

Конечно, все это можно считать игрой воображения, просто игрой, объявить, что избалованный вниманием московских барышень, и не только их, Мишель интересничает. Друг юности и родственник поэта Аким Шан-Гирей так и писал: «Никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзания в действительности не было ... все стихотворения Лермонтова в Москве... только детские шалости». Измен и лобзаний, возможно, и не было, а вот что до «мрачных мучений». Нет, для игры все это слишком трагично, слишком навязчиво. Каждый судит о таких вещах в меру своей искушенности.

Стихотворение «Мой демон» можно назвать кратким конспектом, лихорадочным наброском знаменитой в будущем поэмы. Да и создавались они одновременно, первая редакция стиха и начальный вариант «Демона». Уже в нем, первом из восьми, дошедших до нас вариантов, есть всем памятная строка: *«Печальный Демон, дух изгнания...»* Это как бы камертон, по которому настраивается грандиозное произведение. Перо четырнадцатилетнего мальчика не всегда рождает ослепительные слова и образы, — кристаллизация впереди, — зато конфликт главного героя с Высшим Началом изложен более простодушно:

*Печальный Демон, дух изгнания,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним,*

*Тех дней, когда он не был злым,
Когда глядел на славу Бога,
Не отвращаясь от Него;
Когда сердечная тревога
Чуждалась души его...*

«Собраньем зал», как в «Моем Демоне», должен быть Демон и в поэме. Надлежало ему соблазнить монахиню, невесту Христову, что, ясное дело, акт богопротивный, богомерзкий. Да и в последующих редакциях «от зависти и ненависти» к ангелу-хранителю избранницы тот, кому не давала покоя «слава Бога», продолжал вынашивать черные замыслы. «Ты был любим, а не любил.../ Ты мог спастись, а погубил», – шепчет искустителю несчастная жертва.

Шли годы. Менялся сам поэт, менялось создание гения. Монахию вытеснила прекрасная Тамара, и речь шла уже не о хладном соблазне, а о любви-страсти, о жаркой, но, увы, тщетной надежде героя через нее излечиться от мироотрицания, от противостояния всему сущему:

*О! выслушай – из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там
Как новый ангел в блеске новом...*

Если его мечте не суждено сбыться и он, как его библейский предтеча, на сердце «имеет рану от меча и жив» (Ин. 13, 9), то на тонком плане бытия происходит чудо: ангел уносит душу Тамары – чистой, незапятнанной, и уносит в «сиянье неба», в иные сферы. В жизнь вечную, хочется добавить. Оказывается, смерть не самое худшее, что может случиться со смертным на земле. Есть возлюбленные Богом души, «которых жизнь – одно мгновенье»:

*Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила –
И рай открылся для любви!*

Да не та ли это «младая душа», какую, помните, ангел нес «для мира печали и слез»? Она выполнила на земле свое предназначение и, грешная, возвращена Небу безгрешной, а с ней, — такова природа лирической поэзии, — и частица души автора «Демона». Так, во всяком случае, можно истолковать эту, пожалуй, самую необозримую и таинственную «повесть», как определил ее Лермонтов, в русской литературе.

Вообще каждый находил в «Демоне» то, что искал. Белинский и его круг, борцы от рождения, — «с небом гордую вражду». Ницшеанцы — сверхсущество, почти сверхчеловека. Блок и символисты — «новую красоту»: фатальное блуждание души, созданной для «добра и света», в холоде и мраке нравственного опустошения. «Демон сидящий» и «Демон поверженный» — назовет свои картины брат Михаила Юрьевича по духу художник Михаил Врубель. Невозможно забыть этот планетарный пейзаж, эти заоблачные скалы, эту кристаллическую первооснову земного вещества и безнадежную фигуру колосса на переднем плане. Выдающийся кинорежиссер Сергей Параджанов в 1971 году создал сценарий «Демона», где молодой гусар (Лермонтов) пишет поэму пером... оброненным пролетевшей птицей. Там есть настоящие поэтические перлы, достойные оригинала.

«Кровавые следы на облаках, следы пораженного Демона» — дает ся подсказка постановщику. Жаль, что этот сценарий не был поставлен.

Услышать в поэме ноту преодоленного богоборчества, выстраданного приятия универсума и земли как, может быть, одного из атомов Вселенной, дано далеко не каждому. Так, Ирина Роднянская, автор статьи о «Демоне» в ЛЭ, пишет: «...везде повествователь свидетельствует против губительного демонического своеволия, против смертоносной прививки демонического опыта и противопоставляет опозитивированной «муке демонизма» («Что люди? Что их жизнь и труд?.. / Мая ж печаль бессменно тут») поэзию доброжелательного обживания мира и сочувственной человечности». Заключение — чисто христианское и по сути, вероятно, справедливое, но уж очень не вяжется с мятежным духом Лермонтова, — а «повествователь» он, — все эти «свидетельствует против», «противопоставляет опозитивированной муке...» У поэта прорыв к свету происходит как-то по-другому — через катарсис, через великую муку, граничащую с гибелью, и только поэтому мы ему верим.

Одному из вариантов «Демона» юный автор предпослал обескураживающее признание: «Как демон мой, я зла избратник». Наивно? Но зато откровенно. Зачем поправлять его?.. Сохранилось свидетельство недоброжелателя: «В своем обществе это был настоящий дьявол,

воплощение шума, буйства, разгула, насмешки»... С этими словами вступает в некую игру переданное персонажу, не авторское, но очень лично звучащее в данном контексте: «Бог! Бог! во мне отныне к тебе нет ни любви, ни веры!» («Странный человек»).

Существует особый лермонтовский мир, со своим изрезанным вдоль и поперек рельефом, со своими туманными морями и свищущим ветром, со своим отчужденным от человека звездным небом, и, честно говоря, я не знаю, кто еще из русских поэтов, кроме автора «Демона», рискнул бы там поселиться. Многое из того, чем болели и от чего выздоравливали другие, приобретает у него характер хронического недуга.

Улование на гармонию и упорядоченность мироздания?

Вот ответ Лермонтова: «Друг мой! нет другого света... есть хаос... он поглощает племена... и мы в нем исчезнем... нет рая — нет ада... люди — брошенные, бесприютные создания».

Благодатное воздействие веры? И это не более чем самоутешение: «Престолы природы, с которой как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает...»

Надежда на бессмертие души? Поэт не скрывал своих чаяний, столь знакомых христианскому обиходу: «*Боюсь не смерти я, о нет!/ Боюсь исчезнуть совершенно*»... Но если что-то и ждет нас за гробом, это дар не для всех. Начинаящий гений (странное словосочетание!) от него отказывается:

*Тому ль пускаться в бесконечность,
Кого измучил краткий путь?
Меня раздавит эта вечность,
И страшно мне не отдохнуть!
Я сохранил навек былое,
И нет о будущем забот,
Земля взяла свое земное,
Она назад не отдает!..*

Земной «образ совершенства», воплощенный в женщине, как и было предсказано поэтом, от него ускользает. «*Иль женщин уважать возможно,/ Когда мне ангел изменил?*» — не только упрек, адресованный Н.Ф.И., — это столкновение лоб в лоб «священного» с «порочным», от которого никуда не уйти; ключевое слово «ангел» поднимает эти стихи над всей юношеской лирикой.

Еще в 1831 году, «июня 11 дня» (название стихотворения составлено из числа, месяца и года) Лермонтов писал:

*Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнью иной,
И о земле забывал. Не раз,
Встревоженный печальной мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! все было ад иль небо в них.*

Это настойчивое обращение к одним и тем же понятиям — зло, добро, ангел, демон, небо, ад — могло бы показаться хождением по кругу, если бы поэт каждый раз не пристраивал к ним лестницу или тоннель в беспредельность.

«Кто близ небес, тот не сражен земным!» — восклицает он, имея в виду вовсе не себя, раненного любовью, а уже знакомые нам вечные пейзажи: пустыни, «степей безбрежный океан», «вершины диких гор». Туда бы! Быть там, а не здесь...

Жажда бытия вопреки всему, кипящая мысль, тесноты собственной души, стремящейся в иные пределы, мужественное понимание, что «корень мук в себе самом, / И небо обвинить нельзя ни в чем», — все это уже есть в стихах шестнадцатилетнего юноши. Естественно, что окружение не понимало его. Одним он казался странным, другим — возмутительно дерзким и злым («мнимая злоба» — подчеркнуто в стихах). Оставалась единственная область свободы — творчество.

Молитва поэта — его стихи, и стихи эти недвусмысленны:

*Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.*

Нам уже известны эти мотивы: страданием выкупить у земли небесные звуки, отречься от вещественных благ ради высшего творче-

ского блаженства. Если это молитва, то молитва наоборот. Не будем повторять поднадоевший эпитет: «демоническая». Но ведь и не божественная... Для нас привычнее другое. (*«Дай же Ты всем понемногу / И не забудь про меня!»* — за всех нас попросил Булат Окуджава. Вот с ним мы солидарны...)

Не будем упускать из виду, что автору «антимолитвы» нет и 18 лет...

В случае с Лермонтовым периодизация творчества, деление его на «раннее» и «нераннее» — произвол и удар в сердце: поэт ушел таким молодым! Но, несомненно, в середине 30-х годов наступает совершенно новый этап в работе и жизни поэта. «О, я ведь очень изменился!» — пишет он в 1835 году Марии Лопухиной. Сестра нежной Вареньки, двенадцатью годами старше Мишеля, Мария была его наперсницей. Ей посылались письма и стихи, часто адресованные любимой Варваре. Имя Варвары фигурирует в озорной поэме «Сашка», где поэт осмеивает то весело, то горько и свою былую привязанность. (В. Лопухина в 1835 г. вышла замуж) И собственный литературный стиль, и окружающее его ханжество, и крайние философские выкладки, вроде обожествления человека. Адептам человекобожия он бросает, как перчатку, шуточный вызов: *«Что станет делать гордый царь природы, / Который, верно, создан всех умней, / Чтоб пожирать растенья и зверей, / Хоть между тем (пожалуй, клясться стану) / Ужасно сам похож на обезьяну».*

В «Сашке» в ироническом ключе упоминается и «злой дух» который «бежал, как от креста» при звуке арфы от библейского царя Саула (46-я строфа) и «Аббадона грозный, новым адом / Испуганный, но помнящий эдем» (95-я строфа), т.е. опять-таки Падший Ангел, он же Демон...

Окончательное прощание с образом Демона состоится в «Сказке для детей» в 1840 году. Тут тоже издевка, ирония: *«То был ли сам великий Сатана / Иль мелкий бес из самых нечиновных (...) Не знаю! Если б им была дана / Земная форма, по рогам и платью / Я мог бы сволоочь различить со знатью...»* И вдруг ёрнический стиль резко меняется, и опять всплывает «кумир поверженный», который, как в юношеском стихотворении, «всё бог», пусть и с малой буквы:

*Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ; меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебной-сладкой красотой,*

*Что было страшно... и душа тоскою
Сжималась – и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет.
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался – стихами!*

Последние строки часто приводятся в доказательство того, как лихо Лермонтов расквитался с демонизмом. Но это не так, что подтверждают предыдущие семь с половиной строк.

Борис Эйхенбаум сказал, что после Демона Лермонтов сводит (спускает, – Т. Ж.) проблему добра и зла с неба на землю.

Я бы кое-что добавила к этому. Земля как основной плацдарм борьбы двух начал в творчестве поэта была всегда. Кто такие Вадим, Арбе-нин (в «Странном человеке» и «Маскараде»), Боярин Орша и, наконец, Печорин, как не раздираемые противоположными силами живые люди, мини-демоны? Все эти образы в разной степени автобиографичны, хотя Лермонтов не любил, когда его отождествляли с его героями, Печориным, например. Это понятно. Дело даже не в том, что он был «шире и глубже» (М. Горький) изделий пера своего. Писатель, а тем более поэт лирического склада слишком много сокровенного, не предназначенного для чужих глаз вкладывает в своих персонажей. В сущности исповедуется через них. А кому охота, чтобы его исповедь звучала через динамики? Лермонтов был скрытен: *«Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную повесть; / Как я любил, за что страдал, / Тому судья лишь Бог да совесть»*. «Бог да совесть», а не прижизненные критики и посмертные исследователи. Как он выжимал, выдавливал из себя демонизм, исторгая его в мир внешний вместе со своими героями, – это тоже «таинственная повесть». И нам не дано знать, почему у нее такой захватывающий сюжет и такой печальный эпилог...

Между годом душевного перелома, 1835-м, и годом гибели, 1841-м, Лермонтов написал много замечательных стихотворений. Но тема главы велит нам остановиться лишь на нескольких из них.

Во вступлении к этой книге я уже говорила, что лермонтовская «Смерть поэта» в далекие времена потрясла меня. Не только страстным заступничеством за убиенного Пушкина, не только своим «звуком», что «опережает смысл и сам становится смыслом» («А вы, надменные потомки...» и т.д.), как определил поэт Владимир Корнилов. Но и оглушающе громогласным, бесспорным свидетельством о Боже-м Суде, о грозном Судии. Впервые задумалась я тогда о вещах, превышавших тогдашний уровень школьного образования. Да что школа! Палец, приложенный к губам, был бы ответом на все вопросы

религиозного толка, — поэтому их и не задавали, даже дома. Напомню этот крамольный отрывок:

*Но есть и божий Суд, наперсники разврата!
Есть грозный Судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!*

Совсем недавно в «Дневнике» К.И. Чуковского я прочла запись от 31 мая 1960 г. о смерти Бориса Пастернака: «Он был создан для триумфов, он расцветал среди восторженных приветствий аудиторий (...) Когда же его сделали пугалом, изгоем, мрачным преступником — он переродился, стал чуждаться людей (...)

*И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!*

Вот еще одно доказательство вечной правды и жгучей современности лермонтовских строк. И нетленность этих слов уходит корнями в Библию.

Вера в справедливый Суд Божий никогда не подвергалась сомнению в Ветхом Завете. В 1 Книге Царств — черным по белому: «Господь сотрет пренеирающих с Ним; с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли (2,10). Псалом 81, переложенный, в частности, Державиным, говорит о несправедливости человеческого суда, призывает Господа судить землю. Само выражение «Судия земли» взято из Библии. В Откровении Иоанна (20, 12) прямо сказано: «Судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Да и Символ веры говорит о втором пришествии Христа как Судьи живых и мертвых...

Эта тема тесно связана с другой, не менее животрепещущей: темой лермонтовского Пророка и пророчества вообще. Помню, как взволновало меня еще в школе «Предсказание», — на него не упирали в ранние пятидесятые по понятной причине, но прочла и задумалась наверняка не я одна:

*Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;*

*Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон...*

Я знала о расстрелянных, о сосланных не понаслышке. Жены и дети «врагов народа» были моими соседями, родственниками. Стихи моего ровесника Лермонтова ранили в сердце...

И собственный конец поэт предсказал с беспощадностью древнего оракула: «Смерть моя /Ужасна будет; чуждые края /Ей удивятся, а в родной стране /Все проклянут и память обо мне...» (слава Богу, не все, но достаточно трех слов Царя Всея Руси!) И дальше, в том же стихотворении «1831-го, июня 11 дня»:

*Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста...*

Именно так: пятигорский священник отказался отпевать погибшего на дуэли. Даже место дуэли точно не известно...

Лермонтовский «Пророк» скрыто полемизирует с пушкинским «Пророком»:

*С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злости и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено камня.
Посытал теплом я главу,
Из городов бежал я живу,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы даром божьей пищи...*

Приходится признать: герой Лермонтова ближе к библейским пророкам именно погибельной опасностью своей миссии. Так, Иеремия словно предвосхищает «Пророка», говоря: «Вотще поражал Я детей ваших: они не приняли вразумления; пророков ваших поядал меч ваш, как истребляющий лев» (2, 30). Будь у братьев Иеремии другая судьба, Иисус Христос не сказал бы: «Иерусалим, убивающий пророков». (Мф. 23, 37)

Надо лишний раз напоминать судьбы тех писателей и мыслителей, что в XX веке, особенно в России после 17-го года, вздумали «провозглашать» «любви и правды чистые ученья»?..

И все-таки венчать главу о Лермонтове должно что-то другое. В сокровенных глубинах нашей темы пребывающее. Что же это? Молитва.

Известно три стихотворения с одноименным названием, но я чувствую потребность остановиться на одном из них, самом воздушном. «Молитва», посвященная Вареньке Лопухиной, писалась, когда Лермонтов сидел под арестом за «Смерть поэта», «с помощью вина, печной сажи и спички». Можно уличить ее в некоторой ритмической корявости, но, не сомневаюсь, именно так прозвучала она внутри его души. Как природный камень рядом с тщательной огранкой дает особый эффект, так и строки «Молитвы», выбиваясь из ритмической схемы (четырёхстопный дактиль с дактилическими рифмами), действительно, передают некое медитативное бормотание, нередкое при произнесении молитвенного текста «про себя»:

*Я, Мать Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою малю душу пустынную,
За душу странника, в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.
Окружи счастьем душу достойную;
Дай ей спутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты воспринять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.*

...После гибели бесценного Мишеля самый близкий ему на свете человек — бабушка Елизавета Алексеевна распорядилась особым образом расписать купол «усыпальницы семейственной» в Тарханах, поместив в центре композиции лик Михаила Архангела, списанного ... с портрета внука.

Архангел Михаил — предводитель небесного воинства в окончательной битве против сил зла: «И произошла на небе война: Михаил

и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». (Откр. 12, 7–8)

Кто-то скажет: хозяин — барин, что взбрело на ум старухе, спятившей от горя, то она и сделала.

Я придерживаюсь другой точки зрения. Пусть наивно, с явным перебором, но зримо и окончательно Елизавета Алексеевна ответила на вопрос, какому воинству принадлежит гений Лермонтова. Даже удивительно, как тонко она поняла своего внука. На такое проникновение в суть вещей способна только любовь.

Глава девятая

♦ ВСЮ ДУШУ ВМЕСТЕ С ВАМИ СЛИТЬ... ♦

(А.К. Толстой)

Мы знаем наизусть десятки его строк. Начни: «*Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...*», – кто-нибудь, в ком сильна школьно-хрестоматийная память, непременно продолжит: «*Листья пожелтелые по ветру летят*». Скажи: «*Средь шумного бала, случайно...*», – тут же откликнутся: «*В тревоге мирской суеты...*»

«*Колокольчики мои...*», «*Ты не спрашивай, не распытывай...*», «*Не ветер, вея с высоты...*», «*Звонче жаворонка пенье...*», «*То было раннею весной...*» – начальные строки незабываемых стихов, пусть и ставших романсами. Счастливо найденный «первым» Толстым ключ к загадке русской души или русской истории, что, может быть, одно и то же: «*Земля наша богата, / Порядка в ней лишь нет...*» – в разных вариациях знает вся читающая русская публика без изъятия.

Иногда популярность – враг славе. Столь известный поэт не прочитан по-настоящему. Спроси влюбленных в поэзию про «Крымские очерки» (четырнадцать благоуханных стихотворений о любви, о божественной красоте мира поднебесного), – почти наверняка не читали, не слышали, не подозревали даже, что мы богаты еще и таким лирическим наследством. Что уж говорить о поэмах «Грешница», «Иоанн Дамаскин» – они ведомы разве специалистам. В связи с нашей темой мы о них обязательно поговорим, но прежде – об их творце.

Он сочетал в себе сразу два могучих генетических потока: по отцу граф Толстой, по матери принадлежал к побочной линии Разумовских. Вельможа при Екатерине II, граф А.К. Разумовский, был его дедом. Дед остался в истории не только как основатель Царскосельского лицея, но и как податель совета будущему солнцу русской поэзии. Прослушав на экзамене «Воспоминания в Царском Селе», сказал отцу Пушкина: «Я бы желал, однако, образовать вашего сына в прозе». «Оставьте его поэтом!» – возразил Державин.

Красавец, европейски образованный, приближенный ко двору, в 28 лет – камер-юнкер, в 39 – флигель-адъютант, Толстой рвется из своей золоченой клетки на волю, чувствует себя все больше и больше художником, а не чиновником, хозяином своей судьбы, а не придворным фаворитом. Зимой с 1850 на 1851 год на петербургском маскараде он встречает Софью Андреевну Миллер. Люди часто бывают злы, мемуаристы не составляют исключения. С отроческих лет мне запом-

нилось одно печатное замечание, поданное как острый соус к стихотворению «Средь шумного бала». Маска, мол, была снята, и под ней обнаружилось... «лицо чухонского солдата в юбке».

Ложь это или правда — не имеет значения. Какова бы ни была внешность Софьи Андреевны, этой женщине мы обязаны очень многим. Все лирические всплески вызваны ею, в ее руках — инструмент его души. Религиозное мироощущение Алексея Константиновича, пройдя через горнило любви к его земной музе, становится всеобъемлющей философией жизни. Оно наполняет ветром движения давно поднятый, но бессильный в безлюбном затишье парус его судьбы.

*Меня, во мраке и пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова.
И просветлел мой темный взор,
И стал мне виден мир незримый,
И слышит ухо с этих пор
Что для других неуловимо.
И с горней выси я сошел,
Проникнут весь ее лучами,
И на волнующийся дол
Взираю новыми очами...*

Пусть обманчивая простота этих строк, их литературная знакомость не отвратят нас от главного: от мысли поэта, ставшей чувством (и наоборот), от исповеднической интонации, от редкого свойства лирического героя — умения фиксировать в стихе все этапы собственной любви, как если бы он был ее сторонним исследователем. Середину стихотворения опускаю, хотя и она хороша. К концу же стихи набирают особую силу. Напомню, что латинское «religio» означает «связь», и тут она налицо — связь с другим человеком и через него с природой, с мирозданием, с Богом.

*И вещим сердцем понял я,
Что все рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова;
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к Божью лону;*

*И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.*

Помимо того, что это замечательные стихи, это и своеобразный, вероятно, невольный, художественный коллаж из двух текстов евангелиста Иоанна. Евангелие от Иоанна начинается широко известным: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В Первом же послании Иоанна (4, 7) говорится: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

— Авторы Священного Писания не о той любви пекутся! — возможно, возразят мне наиболее дотошные читатели. И будут одновременно правы и не правы. Слово «любовь» в русском языке очень емкое, оно несет много значений, как духовных, так и плотских; впрочем, в Библии, — и это перешло в настоящую поэзию, — любовь телесная естественно одухотворяется.

В Ветхом Завете идет напряженный диалог любви между Богом и человеком. В Новом Завете он достигает своего апогея: «... так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3,16). А чем люди ответили? Тем, что распяли Его.

Книга Песни Песней Соломона — каноническая библейская книга, а ведь это гимн любви между мужчиной и женщиной, «...знамя его надо мною — любовь»; «Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам»; «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!»; «Как лента алая, губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими»; «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его, и не находила его; звала его, и он не отзывался мне»; «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня»; «... крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность»; «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее» (П.П. 2,4; 2,8; 2,13; 4,3; 5,6; 6,5; 8,6; 8,7). Чего тут больше — плоти, души, духа? Все вместе образует неразрушаемый узел, все будто спаяно свыше.

Православный священник Александр Ельчанинов (см. его «Записи») открывает нам глаза на, казалось бы, алогичную связь равных видов любви: «Познание через любовь. Любовь к миру, любовь к людям, любовь эротическая — как лучшая возможность познания».

Любовь эротическая?! Но, согласно Библии, засело у многих в мозгу, любовь мужчины и женщины греховна по сути своей; именно за

плотское соитие Творец изгнал Адама и Еву из рая... Так ли это? Великие умы бились над библейской загадкой и пришли к выводу, который хочется донести и до читателя... Первые люди были наказаны за желание «стать как боги», за знакомое каждому нетерпеливому ребенку стремление схватить с пылу с жару румяный пирожок, не думая, что больно обожжешься. Устами Создателя сказано: «... плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...» (Быт. 1,28) Где же тут запрет на телесную любовь?

Однако мы живем во времена, неординарные и в этом отношении. Из психофизического таинства любви сейчас склонны делать непотребное шоу и бесстыдно демонстрировать его миллионам людей. Примитивные агитки за очищение от бытовой и прочей грязи самого возвышенного чувства надоели. Хочется мнения авторитетного. Не потому ли так часто цитируют теперь апостола Павла с его панегириком «проявлениям любви»? Да простят меня Софья Андреевна и Алексей Константинович, что я пользуюсь их частным случаем, чтобы одним — напомнить, другим — преподнести как новость эту дважды тысячелетнюю истину.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине; Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1е Кор, 13, 4–7).

Все было в их любви, все апостольские утверждения и отрицания были ей ведомы. Встреченная «среди шумного бала» незнакомка внесла в жизнь Алексея Константиновича и близких его бурю переживаний и сомнений. Дело даже не в том, что Софья Андреевна была несвободна, а ее муж, конногвардейский полковник, не спешил с разводом. Она давно уже не жила с ним, да и брак их, скорее всего, был заключен, чтобы удержать ее над пропастью. У избранницы поэта была «история». Первый возлюбленный обманул ее, родной брат за нее вступился, состоялась дуэль, брат был убит. Семья не могла простить ей этой утраты... Можно представить себе, какие сплетни доходили до матери Толстого, любившей его эгоистично, без меры.

Толстой не обманывает ни женщину, ни себя, понимая, что им предстоит длительная борьба за счастье. Будет ли она союзником в этой борьбе, поможет ли ему собрать самого себя для победы над внешними обстоятельствами: его растерзанное существо может быть исцелено только любовью. «... У меня столько противоречивых особенностей, которые приходят в столкновение, столько желаний, столько потребностей сердца, которые я силюсь примирить, но стоит только

слегка прикоснуться, как все это приходит в движение, вступает в борьбу; от тебя я жду гармонии и примирения всех этих потребностей (...) Клянусь тебе, как я поклялся бы перед Судилищем Господним, что люблю тебя всеми способностями, всеми мыслями, всеми движениями, всеми страданиями и радостями моей души...» (письма 1851г.)

В том же 1851 году написано и стихотворение «С ружьем за плечами...», где «неведомый спутник» говорит поэту то, что он слышать не хочет:

*«Смеюсь я, товарищ, мечтаньям твоим,
Смеюсь, что ты будущность губишь;
Ты мыслишь, что вправду ты ею любишь?
Что вправду ты сам ее любишь?
Смешно мне, смешно, что, так пылко любя,
Ее ты не любишь, а любишь себя.
Опомнись! Порывы твои уж не те,
Она для тебя уж не тайна,
Случайно сошлись вы в мирской суете,
Вы с ней разойдетесь случайно...»*

С увлечением работает Толстой над поэмой «Грешница». Кто видел картину Г.И. Семирадского «Христос и грешница», вряд ли догадывался, что у нее есть литературный прообраз: забытая ныне поэма. Популярность ее была велика; на вечере у чеховской Раневской, в пьесе «Вишневый сад» ее читает... начальник станции. Несколько штрихов к портрету «надшей девы»:

*Глаза насмешливы и смелы,
Как снег Ливана, зубы белы,
Как зной, улыбка горяча;
Вкруг стана падая широко,
Сквозные ткани дразнят око,
С нагого спущены плеча.
Ее и серьги и запястья,
Звенья, к восторгам сладострастья,
К утехам пламенным зовут,
Алмазы блещут там и тут,
И, тень бросая на ланиты,
Во всем обилии красы,
Жемчужной нитью перевиты
Падут роскошные власы...*

Как знать, возможно, не будь встречи с Софьей Андреевной, не была бы написана и эта поэма. Или для изображения искусительницы использовались бы другие краски. Мемуаристы пишут о пышных волосах С.А., об ее белозубой улыбке, грациозной фигуре. На дальнейшем сходстве я не настаиваю. Сюжет поэмы прост. Молодая блудница, «самохвальная» дева бросает вызов «необычному мужу», «что появился в их стране»; приняв за Христа его любимого ученика Иоанна из Галилеи, «с дерзкою улыбкой» подает ему шипящий фиал вина.

Встреча же с Христом и ее, закоренелую бесстыдницу, повергает ниц.

Сюжета, подобного толстовскому, в Евангелии нет. Но слова «грешница», «блудница» повторяются не раз. Так, в Евангелии от Луки (7, 36–50) рассказывается: Иисус пришел по приглашению в дом фарисея «вкусить с ним пищи». «И вот, женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея (...) начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром». Христос прочел брезгливые мысли хозяина о грешнице и горячо взял ее под защиту. Многим памятен образ неверной супруги, которую привели к Иисусу, чтобы при Нем сурово покарать; Он остановил карателей: «... кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8,7). А кто такая жена-мироносица Мария Магдалина, первая принявшая, по Евангелию от Марка, весть о Воскресении Христа, как не бывшая блудница, раскаявшаяся грешница?.. Становятся понятны слова Учителя, переданные Матфеем: «... истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (21, 31).

В литературной среде поэма «Грешница» была встречена без энтузиазма. Автору делали два упрека. Первый: мгновенное перерождение героини, когда Иисус остановил на ней Свой взор: «И был тот взор как луч денницы, / И все открылось ему, / И в сердце сумрачном блудницы / Он разогнал ночную тьму /.../ Внезапно стала ей понятна / Неправда жизни святотатной, / Вся ложь ее порочных дел, / И ужас ею овладел». Тут можно поспорить: из Евангелия известно: «... слепые прозревают, хромы ходят, прокаженные очищаются...» (Лк. 7, 2) А что такое грех, как не нравственная слепота, хромота, проказа?.. В том-то и состоит чудо, что перерождение свершается внезапно.

Второй упрек касается эстетической стороны. Так изысканно, как описано в поэме, в начале нашей эры не одевались даже заядлые блудницы. Так-то оно так, но тогда надо поставить под сомнение все картинные галереи мира, где персонажи священной истории, как правило, предстают в одеяниях, соответствующих «высокой моде» эпохи и страны художника.

Жаль, критики поэмы не заметили, с какой любовной тщательностью написан Толстым портрет Христа:

*То не пророка взгляд орлиный,
Не прелесть ангельской красоты,
Делятся на две половины
Его волнистые волосы;
Поверх хитона упадая,
Одела риза шерстяная
Простую тканью стройный рост,
В движениях скромн он и прост;
Ложась вокруг уст его прекрасных,
Слегка раздвоена брада,
Таких очей благих и ясных
Никто не видел никогда.*

Уж если мы собираем как в кошилку все живые черточки Его непостижимой натуры, с той или иной степенью приближения угаданные отечественными поэтами, нельзя пройти мимо следующей строфы:

*«...Теперь пришел Он, благодушный,
На эту сторону реки,
Толпой прилежной и послушной
За Ним идут ученики».*

Кавычки говорят о том, что это мнение не автора — народа. Точно ли Христос был благодушен? Называть благим Он себя запретил, ибо «Никто не благ, как только один Бог». (Мф. 19, 17) Так что «благие очи» (см. выше) — это поэтическая вольность. Но вот что касается благодушия... В той же 19-й главе Евангелия от Матфея, — а в ней описываются события, произошедшие, когда Иисус вышел из Галилеи и оказался за Иорданом, т. е. «пришел... На эту сторону реки», — Он произносит широко известные слова: «...удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное» (19, 24).

Мы привыкли представлять себе Христа только серьезным. А это — шутка. Иисус шутит перед своими учениками. Не потому ли он и назван «благодушным»?

Закончу сагу о любви Алексея Константиновича и Софьи Андреевны. Она, их любовь, воистину «долготерпела». Церковный брак был заключен только через 12 лет после знакомства. Все испытания выдержало их чувство, но печаль стала постоянным спутником лириче-

ской героини, а лирический герой узнал «горе-гореваньице» не по чужим стихам...

Следующая за «Грешницей» — поэма «Иоанн Дамаскин». Даже те, кто впервые слышит о ней, наверняка знают строки:

*Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду...*

Не отнимая у музыки Чайковского мощи ее воздействия, согласимся с тем, что и слова особенные. Бессмертные. Проникнутые религиозным чувством, переходящим в экстаз:

*О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!*

Кто из нас не испытывал, хотя бы урывками, необъяснимого блаженства — просто от того, что ты жив, что ты — малая, но необходимая частичка огромного, прекрасного, дышащего и тоже — страшно предположить — одухотворенного организма? «Всё во мне, и я во всем» — кратко определил это Тютчев. Устами своего героя, византийского богослова и поэта 7–8 вв. Иоанна Дамаскина Толстой благословляет этот Организм — необъятный мир Божий.

Жаждет любовью ответить на любовь. Но откуда же тогда сослагательное наклонение? «О, если б мог...»?

Самый глагол «благословляю» (или «благословлю») обращает нас к Псалтири, где псалмопевец неоднократно благим словом поминает Творца: «Благословлю Господа, вразумившего меня...» (Пс. 15, 7); «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих» (33, 2); «Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое воз-

несу руки мои» (62, 5). В других Книгах Ветхого Завета человека благословлял Бог, а вот Псалтирь — ответный клик, брошенный с земли к Небу.

Вместе с Создателем автор псалмов благословляет и его Создание: «Да веселятся небеса, и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все деревья дубравные...» — звучит здравица природе в 95-м псалме (11–12).

Алексей Константинович не перекладывает псалмов, как его предшественники в поэзии, но их мажорный тон словно передается ему, вернее, его герою.

«О, если б мог всю жизнь смешать я, / Всю душу вместе с вами слить!» — эти полные воздухом странствий строки, идущие сразу за панорамой благословенной земли, будто запинаятся о какую-то преграду. Какую же? Псалом 23-й приоткрывает эту тайну: «Господню — земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней (...) Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно...» (1, 3–4)

Любовь к Творению во всех его ипостасях, внимание ко всему существу, вплоть до былинки в поле, жажда очищения как условие «взойти на гору Господню» выделяют Алексея Константиновича даже из ряда лучших русских поэтов.

Снова и снова его предтеча Иоанн, а с ним и автор, обращаются к образу Христа:

Зачем не в то рожден я время, / Когда меж нами, во плоти, / Неся мучительное бремя, / Он шел на жизненном пути! / Зачем я не могу нести, / О мой Господь, Твои оковы, / Твоим страданием страдать, / И крест на плечи Твой принять, / И на главу венец терновый!

Не хочу впадать в грех отождествления героя и автора, но толстоведами давно замечено: в поэме много автобиографического. Иоанн, поставленный властелином Дамаска «и суд рядить, и править градом», рвется прочь от почетной службы; то же стремление владеет Толстым. Он пишет товарищу своих детских игр, ныне императору Александру II: «Служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей «природе»... Я надеялся... победить мою природу художника, но опыт доказал мне, что я боролся с ней напрасно...» Почти то же самое говорит халифу Дамаскин:

*О государь, внемли! мой сан,
Величье, пышность, власть и сила,*

*Все мне несносно, все постыло.
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным Бога славить!*

Автобиографический крен, исказивший, по мнению педантов, взятое из Четьи-Миней житие святого, был одной из причин временного запрещения поэмы. Толстой терпеливо переждал запрет. Он не собирался класть на стихи биографию подлинного Иоанна Дамаскина. Его волновало другое. Может ли поэт-христианин, в чьей душе «пылает жар, / Которым зиждется создание», признать право на ограничение и даже запрещение своей небесной миссии, от кого бы они ни исходили?

Автор поэмы ставит своего предтечу в экстремальные условия. Покинув государственный пост, он удаляется в монастырь, где суровый старец дает ему послушание: «... *отложить/ Ненужных дум бесплодное брожение; / Дух праздности и прелесть песнопенья/ Постом, певец, ты должен победить!*»

Есть множество ухищрений, дабы наложить на уста поющего «молчания печать»; уставная строгость духовного наставника — не худшее из них. Так же, как последовавшая за ней епитимья за своеволие (один раз сорвался, запел) — чистить с лопатой и метлою черный двор лавры, читай: отхожие места.

XX век, как, пожалуй, никакой другой, поднаторел в этом. Мы — свидетели. И прорабатывали, и затыкали рот, и заставляли наступать на горло собственной песне, и бросали первостатейные таланты рядом с тюремной парашей — что там чистка нужника! Вот почему так дорога, так современна у Толстого нота противостояния певца и фанатика-запретителя. Она звучит все громче и завершается победой Иоанна. Сама Богоматерь становится на его сторону! Парадокс: в религиозной поэме славится непокорство монастырскому уставу, установлениям Церкви? Нет-нет, это не пресловутое «будем как боги». Речь идет о Божием даре, который нужно вернуть Дарителю, по возможности, полнее использовав. Творя, художник выполняет волю Творца и, пусть в неизмеримо меньших масштабах, но уподобляется Ему. «Дарование есть поручение» — вспоминаются слова Боратынского.

Насилие же над Творцом, носителем в идеале небесной миссии, приравнивается автором к распятию. Снова возникает образ Христа:

*Тот, кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром —*

*Избиен, покрытый кровию,
Венчан терновым венцом –
Всех, с собой страдаьем сближенных,
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных,
Осенил Своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремления
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавление –
К Божью свету мы грядем!
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом!*

Хочется отметить такой факт. Как мы помним, Толстому пеняли за то, что образ Иоанна слишком автобиографичен: поэт в нем и тяга к художеству перевешивают церковные заслуги и христианские добродетели. Действительно, Иоанн Дамаскин написал десятки канонов, его гимны исполнялись на Пасху, Рождество, Вознесение и дожили до наших дней. Он обновил литургию, вновь введя в нее античную просодию. О его святости свидетельствует житие... Но есть такие тексты, которые известны не только людям церковным, а неизмеримо более широкому кругу, такие духовные перлы, которые вошли в мировую сокровищницу. «*Аз емь земля и пепел (...) кости обнаженны, и (...) кто есть царь, или воин, или праведник, или грешник? Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту (...) бесславу, не имущу вида...*» Тысячу двести лет живут эти слова Дамаскина именно потому, что он — поэт, художник высокой пробы. А поэт поэта, как рыбак рыбака, видит издали...

Поэт, как мы уже знаем, всегда пророк. Что же напроорочил Алексей Константинович? В отечественной истории он жил, как в родном доме, и видел дальше и зорче, чем признанные дальновидцы.

Баллада не очень привилась к древу русской поэзии. После Жуковского выдающихся «балладников», вроде, не было. Толстой обновил этот жанр. Лучшей считал балладу «Змей Тугарин». Образ, или, скорее, образина Змея, отсылает нас к былинам и опять-таки Библии. Автор не скупится на краски: «*Глаза словно щели, растянутый рот, / Лицо на лицо не похоже, / И выдались скулы углами вперед, / И ахнул от ужаса русский народ: / “Ой рожа, ой страшная рожа!”*» Оказывается, и «рожа» может быть певцом, и через нее говорят небеса, если посредником выступает поэт. Каково же предсказание, произнесенное «близ столь-

ного Киева-града», на пиршестве великого князя Владимира (не забудем, что он-то и крестил Русь)? Змей предсказывает татаро-монгольское иго, чему, понятно, никто не верит. После же него утвердится... как привычнее выразиться нам, живущим почти через полтора века после создания баллады? Культ личности, что ли? Судите сами:

*Певец продолжает: «И время придет,
Уступит наш хан христианам,
И снова подымется русский народ,
И землю единый из вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом!
И в тереме будет сидеть он своим,
Подобен кумиру средь храма,
И будет он спины вам бить батожьем,
А вы ему стучать да стучать челом –
Ой, срама, ой горького срама!»*

«Кумир», «кумир средь храма» — как древни эти понятия! «Не делай [не сотвори] себе кумира...» — предостерегает четвертый стих 20-й главы Исхода, где предлагаются человечеству заповеди Моисея, данные ему Господом на горе Синай, как считается, за две тысячи лет до Христа! В Ветхом Завете, во Второй книге Паралипоменон, некий прозорливец ставит в заслугу царю, что он «истребил кумиры в земле Иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы разыскать Бога» (19, 3). «Истреблю истуканы твои и кумиры из среды твоей, — и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих» — через пророка обращается Сущий к непокорному народу (Михей, 5, 13).

«Зыскать», то есть искать и найти Бога, и творить кумиры из смертных — стремления прямо противоположные, вытесняющие друг друга. Кто владыки наши, кто держатели батогов-палок, как не «изделия рук наших»?

«Татарщина»¹, внешняя и особенно внутренняя, всегда имела в лице Алексея Константиновича непримиримого врага. Ну, а царь? Деспотия, освященная традицией, законная, или, как у нас любят выражаться, легитимная власть? «Несть власти, аще не от Бога» — это тоже Библия.

Толстой, конечно, не был «борцом с самодержавием», это настолько очевидно, что даже советские исследователи не приписывали ему этой почти общей для тогдашнего литературоведения доблести. Но к своей знаменитой трагедии «Смерть Иоанна Грозного» он берет эпи-

¹ К народу, проживающему в России, это не имеет никакого отношения. — Т. Ж.

графом слова из Книги пророка Даниила (4, 27–29), — при желании их можно считать антимонархическими. Переложённые с церковнославянского, они читаются так: «Царь сказал: “это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!” Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат тебя от людей и будет обитание твое с полевыми зверями...» Навуходоносор — реальное лицо, вавилонский царь, живший в VI веке до н. э. Имя его стало нарицательным для обозначения неограниченного самовластителя, тирана на троне. По преданию, он сошел с ума, вообразил себя быком и жил среди четвероногих.

Что бы ни питало образ самодержца, — сильный характер, высшие государственные соображения, якобы угодные Богу (Иоанн Грозный), субъективная порядочность, искренняя религиозность с оттенком юродивости (царь Федор Иоаннович), хитрость, тороватость, толкнувшие на хорошо продуманное преступление, — не убил бы чужими руками царевича Димитрия, не стал бы царем (Борис Годунов), — все варианты власти обречены. Так было в России, и не только в XVI–XVII веках.

Эпиграф к «Смерти Иоанна Грозного» можно отнести ко всей драматической трилогии Толстого. Так же, как и последние слова благодарного царедворца Захарьина:

*О царь Иван! Прости тебя Господь!
Прости нас всех! вот самовласть кара!
Вот распаденья нашего исход!*

По мысли автора, в них «должны звучать глубокая горесть и предвиденье будущих несчастий». Они, как мы знаем из истории, не замедлили последовать.

Человек, близкий к двору, Алексей Константинович знал о тлетворном дыхании единовластия больше, чем кто бы то ни было, потому что сам дышал его испарениями. Вот его аттестация народного любимца Захарьина: «Он в полном смысле честный и прямой человек, готовый всегда идти на плаху скорее, чем покривить душой или промолчать там, где совесть велит ему говорить. Но он живет в эпоху Иоанна, в такую эпоху, где злоупотребление власти, раболепство, отсутствие человеческого достоинства сделались нормальным состоянием общества. На все это он посмотрелся вдоволь, и его способность негодовать притушилась...»

Может быть, не только из любви к художеству покинул наш герой магнетическое тронное пространство?..

Если он не монархист, то кто же? Социал-демократ? Поборник лозунгов Французской революции «Свобода. Равенство. Братство»? Никак нет! Сквозь невидимые гоголевские слезы потешается Толстой над проектами «самомнительных неучей» в одной из своих баллад. Первоначально она называлась «Баллада с тенденцией». Сейчас — по первой строке — «*Порой веселой мая...*»

Автору не важно, кто они, эта гуляющая «по лугу вертограда», напоминающая ряженных парочка. Важно, о чем их зловецкий лепет: «*Есть много места, лада, / Но наш приют тенистый / Затем изгадить надо, / Что в нем свежо и чисто!*» / «*Но кто же люди эти, — / Воскликнула невеста, — / Хотящие, как дети, / Чужое гадить место?*» / «*Чужим они, о лада, / Не многое считают: / Когда чего им надо, / То тащут и хватают*»... / *Весь мир желают сгладить / И тем ввести равенство, / Что все хотят загадить / Для общего блаженства!*» Естественно, автору досталось от «Отечественных записок» Некрасова и «Искры» Курочкина. Хотя она была напечатана без заключительной ударной строфы: «*Служите ж делу, струны! / Уймите праздный ропот! / Российская коммуна, / Прими мой первый опыт!*»

Не менее решительно отмежевывается наш сатирик от нигилистов и тех либералов, которые готовы их усыновить: «*От скотов нас Дарвин хочет / До людской возвесть середины — / Нигилисты же хлопочут, / Чтоб мы сделали скотины... / Грязны, неучи, бесстыдны, / Самомнительны и едки, / Эти люди очевидно / Норовят в свои же предки...*» (Послание к М.Н. Лонгинову о дарвинизме).

Слишком сгущено? Но сатира и есть сгущение, возведение характерных признаков в энную степень. Это ведомо Толстому со дня рождения коллективного детища (вместе с братьями Жемчужниковыми) — Козьмы Пруткова. «Кусательные словеса» (выражение А.К. Т.) отлично уживались в нем с лирическим пафосом. Сатиру никто не любит. Из тех, разумеется, в кого она метит. Лучший способ защититься — назвать мелким, не стоящим внимания объект сатиры. Так было и во времена Толстого. Он писал одному из адвокатов нигилизма: «Он вовсе не дрянность, он глубокая язва. Отрицание религии, семейства, государства, собственности, искусства — это не только нечистота, — это чума, по крайней мере по моему убеждению».

Прогрессисты негодовали — консерваторы торжествовали бы, но... Тем же пером, тем же стихотворным размером, что и «Послание», чуть раньше написаны три строфы, полемизирующие с Тютчевым, с одним из самых христианских его стихотворений, где «*Удрученный ношей крестной, / Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь небесный / Исходил, благословляя*».

В эпитафие — тютчевское: «*Эти бедные селенья, / Эта скудная природа!*»

*Одарив весьма обильно
Нашу землю, Царь небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.
Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали –
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!
Мы беспечны, мы ленивы,
Все у нас из рук валится,
И к тому ж мы терпеливы –
Этим нечего хвалиться!*

Так и слышу свистящее: рус–с–софоб! Тогда не было в ходу такого обвинения, но подобные были, и Алексей Константинович мужественно держал удар. Желая славянам и всем нам «побольше смирения, только не того смирения, примеры которого мы явили в переизбытке и которое состоит в том, чтобы сложить все десять пальцев на животе и вздыхать, возводя глаза к небу: «Божья воля! Поделом нам, г....ам, за грехи наши! Несть батогов аще не от Бога!» и т.д., а иного смирения, полезного, которое заключается в признании своего несовершенства, дабы покончить с ним».

Со славянофилами он все больше расходился, писал: «Я западник с головы до пят», раздражал ординарность мыслью, что Россия должна вернуться в «ее первобытное европейское русло», то есть к своим историческим и культурным истокам. Но «людей передовых» в лучшем случае удивляла его горячая религиозность. Свободная личность, созданная по образу и подобию Божию и неотрывная от своего Творца, была его идеалом.

*Двух станю не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами –
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы честь!*

Это стихотворение называлось сначала «Галифакс» по имени английского политика XVII века, который умел видеть текущие события с точки зрения вечности и, вероятно, поэтому был строг к своим со-

юзникам, а противникам умел отдать должное. Но для нас это стихотворение особенно важно, потому что его лирический герой отверз свой слух для самой, может быть, трудно выполнимой заповеди Христа: «...любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...» (Мф. 5, 44). Мы уже размышляли о ней в беседах наших, но сколько ни размышляй, всё будет мало... Толстой всегда помнил эту заповедь, — ведь и в «Дамаскине», желая вместе со своим предтечей обнять всех братьев по земной юдоли, он ставит врагов на первое место.

Иоанн Дамаскин, если помните, как и все, грядущие «к Божью свету», переживал «сопогребение» и «совоскресение» с Христом. Еще явственнее эта параллель в стихах «Против течения».

*Други, вы слышите ль крик оглушительный:
Сдайтесь, певцы и художники! Кстатили
Вымыслы ваши в наш век положительный?
Много ли вас остается, мечтатели?
Сдайтесь натиску нового времени,
Мир отрезвился, прошли увлечения —
Где ж устоять вам, отжившему племени,
Против течения?*

Ныне, в начале третьего тысячелетия от Рождества Христова, эти стихи страшно злободневны, особенно для русской культуры. Кругом твердят об ее упадке — закономерном, порой добавляют недоброжелатели, после книжного и художественного бумов. Творцам не доверяют. Если раньше советовали переквалифицироваться в дворники, то теперь — в ларечники. Чтобы пользу приносили. Кроме узкой прослойки ветеранов-любителей и молодых фанатов художниками и певцами (поэтами) никто в компьютеризованном обществе всерьез не интересуется. Это и называется «натиском Нового времени». Но послушаем Алексея Константиновича:

*В оные ж дни, после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово Учителя,
Книжники так говорили надменные:
«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли убогим идти галилеянам
Против течения?»*

Насчет «безумия» христиан есть новозаветное изречение: «...если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым» (1 Кор. 3, 18).

Разделим же «безумие» одного из самых мудрых и современных поэтов, пославшего нам из позапрошлого века среди прочих и эти стихи, тяжеловесные, писанные четырехстопным дактилем, с длинными дактилическими рифмами под стать упорным веслам:

*Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею –
На́ берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!*

Тяжело? А на утлой лодчонке четырехстопного хорea против течения не выгребешь!

Глава десятая

♦БЕССИЛЬНО ЗЛО; МЫ ВЕЧНЫ; С НАМИ БОГ!♦

(В. Соловьев)

Сейчас его, наверное, приняли бы за инопланетянина.

Не из тех зеленых человечков, которые якобы не раз посещали на своих алюминиевых тарелках нашу несовершенную Землю. За инопланетянина как представителя высшей внеземной цивилизации, где давно покончили с братоубийственными войнами. Где Восток и Запад осознали, что они — две стороны одного и того же света; можно уюодобить его вечно колеблемой доске: не будет равновесия — все полетит в тартарары. Где, возможно, остаются расовые, религиозные и прочие различия, но никто никому за это не грозит перегрызть глотку...

Неизвестно, как выглядел бы рядом с нами посланец иных миров. Можно предположить, что он походил бы на Владимира Соловьева. Разница между красотой привычной нормы и тем, что он увидел на Земле, запечатлелась в его чертах резко до болезненности. Лицо аскета обрамляют черная борода и угольно-дымчатые волосы, словно взметенные невидимыми вихрями. Горящий взгляд притушен самоиронией; когда такой огонь проникает внутрь, как же он жжется, испепеляет человека!.. Русский по происхождению, сын известного историка Сергея Соловьева и чадородной, чадолюбивой Поликсены Романовой, Владимир Сергеевич удался то ли в патриарха Моисея, то ли в апостола Павла, какими изобразил их Гюстав Доре.

Философ и поэт не чуждался земного: часто пребывал в состоянии отчаянной влюбленности, любил дружеское застолье. Вино, считал он, прекрасный реактив: пьяный скот становится совершенной скотиной, а кто человек — тот станет ангелом. У него был необыкновенный смех, детски заразительный, но и страшноватый, видимо, пугавший несоответствием погаенной грусти души.

Мы будем говорить преимущественно о поэзии Соловьева. Но совершенно избежать того главного, что прославило его на весь мир, невозможно. Он был прежде всего философом, христианским богословом, а к своим стихам относился, как относятся к незаконным детям: любовно-стыдливо. Время же распорядилось так, что именно стихи были подняты на щит зачинателями Серебряного века в русской поэзии: В. Брюсовым, А. Блоком, А. Белым. Через стихи постигали они его философию. Попробуем пойти по их следам...

Владимиру было девять лет, когда за воскресной обедней в церкви ему явилось божество в виде прекрасной девушки. Не девушка, похо-

жая на богиню, не какая-нибудь античная богиня в девичьем образе — сама Мировая душа пожаловала к ребенку на первое свидание. Серьезность, с которой он воспринял это видение, обличала в нем будущего мистика... Шли годы. Юноша вращался в так называемой передовой среде; вступив в сознательную жизнь, вместе с другими вольнодумцами отвергал Бога, изучал биологию, резал лягушек. Но какой-то жизненно важный отсек его сердца был пронзен тем, стародавним «лучом чудесного огня». Причем луч этот был не столь неумолимым, как в стихах его предшественника Лермонтова. Наоборот, он согревал, поднимал над обыденностью, обещал невероятные встречи в будущем, сулил вечное свидание за гробом.

Вторая встреча с Ней состоялась, если можно так выразиться, в Англии, в Британском музее, когда, выказав необыкновенные разносторонние способности, он уже защитил диссертацию, направленную против позитивистов, то есть материалистов, стал магистром философии, доцентом Московского университета и был поглощен взрослыми солидными занятиями. Третью встречу Она назначила ему в египетской пустыне, чей ландшафт так похож на библейский; да почему же «похож» — он и есть библейский, достаточно вспомнить, как ветхозаветного Моисея, младенцем, в тростниковой плывучей корзине выловила из реки фараонова дочь (Исх. 2).

Этим странным свиданием под Каиром навеяно несколько соловьевских стихотворений середины 70-х годов. Даже наш алмазный, ограниченный корифеями поэтический язык недостаточно изощрен, чтобы с максимальным приближением передать видения автора. Позитивистский ум увидит здесь нечто условное, неживое, надуманное. Но кто изначально верит поэту, постарается «по бледным заревым искусства» (Блок) узнать, какой же мистический опыт стоит за «книжными» словами.

Иногда мистику путают с оккультизмом. Это далеко не одно и то же. Говоря образно, оккультист всеми дозволенными и недозволенными способами пытается попасть в величественное здание веры с черного хода. Мистик не химичит: ему дано влететь в это здание на невидимом ковре-самолете. Христианские мистики неведомыми путями постигали то, что никакому логическому знанию, никакой выучке недоступно.

Вот стихотворение конца ноября 1875 года, под которым стоит место написания: Каир.

*Вся в лазури сегодня явилась
Передо мною царица моя, —
Сердце сладким восторгом забилось,
И в лучах восходящего дня*

*Тихим светом душа засветилась,
А вдали, догорая, дымилось
Злое пламя земного огня.*

Запомним это: «*в лазури*». Потому что и в других каирских стихах поэт повторяет: «*лазурные очи*», «*лучезарный покров*», «*в эфирных лучах*». Воистину: «*Как беден наш язык! – Хочу и не могу...*» Признание вырвалось у виртуоза поэтического слова Афанасия Фета.

Поэму «Три свидания» (а их и было три) Владимир Соловьев написал спустя годы. Поэма – как будто ироническая, не по отношению к своим чувствам («*ах, какой я был тогда глупый!*» – этого в ней нет), а скорее с учетом реакции среды, не верящей в чудеса, да и по глубинной потребности стыдливой души отстраниться, отмежеваться таким образом от своих слишком интимных переживаний.

Детская встреча с Ней, как мы говорили, происходит в храме. Душа ребенка уже замутнена влюбленностью, ревностью... к девятилетней сверстнице. Но все это мигом пройдет, улетучится, когда появится неожиданная гостя:

*Алтарь открыт... Но где священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток, – бесследно вдруг иссяк он.
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.
Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман...*

Другое патетическое место – последнее свидание с «лучезарной» в египетской пустыне, пока по сю сторону бытия, но как пролог к потустороннему, вечному:

*И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
Что есть, что было, что грядет вовеки –
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.
Все видел я, и все одно лишь было –
Один лишь образ женской красоты...*

*Безмерное в его размер входило, –
Передо мной, во мне – одна лишь ты...*

Умеющий смеяться надо всем, а пуще — над собой, автор намеренно вводит в поэму резонера генерала с его солдафонской прямоотой: «Конечно, ум дает права на глупость, / Но лучше сим не злоупотреблять... / А потому, коль вам прослыть обидно / Помешанным иль просто дураком, – / Об этом происшествии постыдном / Не говорите больше ни при ком». Но к финалу автор забывает об иронии.

*Еще невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье Божества.
Предчувствием над смертью торжествуя
И цепь времен мечтою одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
А ты прости нетвердый мой напев!*

Кто же Она, способная слить воедино все впечатления бытия, разомкнуть цепь времен и перенести нас в безвременность (не путать с безвременьем!). Еще в беседе о Державине мы говорили о Премудрости Божией как одном из имен Создателя, основе основ всего существующего. Соловьев увидел Ее в женской ипостаси, в образе Софии, Вечной Подруги, Вечной Женственности. Та ностальгия по идеальному, что никогда не оставляла поэтов-романтиков, что знакома и простым смертным, особенно в юношеском возрасте, была не только испытана им, но получила насыщение, удостоилась ответа Небес.

Для нашей темы важно, что мысль о Софии всегда присутствовала в Библии. Только там Она не под греческим своим именем, а под русским: Премудрость. Откроем каноническую библейскую Книгу Притчей Соломоновых и прочтем в главе восьмой: «Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях; Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери: «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческого голос мой! Научитесь, неразумные, благоразумию, и глухие — разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда...» (1–6).

Премудрость, оказывается, живое, совершенно самостоятельное существо, и если она показывается людям «при входе в город, при входе в двери», то почему бы ей не показаться в храме, мальчику, будущему мыслителю и поэту?

Соловьев пишет о том, что над Ней не властно время, что Она вечна, то есть была, есть и будет. Мы и это найдем в первоисточнике: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони: От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. Когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной... (может быть, атомов? — Т. Ж.) Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время...» (Притчи, 8, 22–30)

Невольно вздрагиваешь, когда в тексте, превосходящем обыденное сознание, встречаешь такое знакомое, такое родное слово: художница. Теперь понятно, почему, описывая Её, поэт не скупится на краски, почему у него лазурь не сходит с пера, почему радость разлита кругом. Нет-нет, он не фантазирует, не сочиняет — он так видит.

Все, что любовно поименовано при третьем свидании: «*моря и реки, / И дальний лес, и выси снежных гор*», — вступает в переключку с Притчами; ведь красоту поднебесную творил Господь при Котором Премудрость была художницей.

Начальная строфа второго стихотворения каирского цикла, написанного, как и «*Вся в лазури сегодня явилась...*», еще в 1875 году:

*У царицы моей есть высокий дворец,
О семи он столбах золотых,
У царицы моей семигранный венец,
В нем без счету камней дорогих... —*

имеет прямую параллель в Притчах: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его...» (9, 1) Остальное довершил философский и поэтический гений Владимира Сергеевича.

Многих, вероятно, удивит, а кого-то и оттолкнет слишком личная интонация соловьевских стихов о Вечной Подруге. Не будем спешить с оценкой — постараемся понять поэта.

«Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня», — сказано в Притчах (8, 17). Следовало бы гордиться, что в нашей поэзии, нашей философии нашелся такой избранник.

Не надо притворяться, что нам тут все ясно. Чем скромнее мы будем в своих догадках, тем лучше. Прежде чем расстаться с этой слож-

ной темой, хочу сказать еще вот о чем. Для Соловьева было чрезвычайно дорого, что София «есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства» («Чтения о богочеловечестве». Чтение седьмое). Создание едино, потому что един Создатель. Божие дело на земле, согласно Соловьеву, в том и заключается, чтобы все человечество стало едино в Боге, стало богочеловечеством. Я уже цитировала евангельское: «Да будут все едино...» (Ин., 17, 21). Это обращение Христа к ученикам распространяется на всех нас, считающих себя христианами. Когда апостол Павел «умоляет» (именно так!) ефесян снисходить «друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4,2-3), он, в сущности, предвосхищает Соловьева.

Глубоко ошибется тот, кто примет образ Софии за какой-то инородный, чуть ли не еретический (у нас обожают это словечко!). Владимир Сергеевич всегда тяготел к древнерусскому благочестию, а в нем Премудрость Божия занимала большое место. Недаром предки наши воздвигали дивной красоты Софийские соборы, чувствовали в Софии существо божеское и одновременно человеческое; уставшие от распрей и междоусобиц, тянулись к ней как началу объединяющему...

Когда звук, исторгнутый его лирой, слишком отрывался от земли, летел куда-то за облака, где, по мнению обывателя, парит душа всякого поэта, Соловьев одергивал себя — шуткой, автопародией, эпитафией самому себе, вроде: *«Ласкается небо к цветущей земле, / Грачи прилетели, а я — на столе».*

И к стихам о Вечной Женственности есть такой необременительный прицеп, где беседа о высоких материях ведется... с морскими чертями. Какие-никакие, а тоже демонические силы! Впрочем, «Слово увещательное к морским чертям» и шутивно и философично, потому что касается предмета серьезного.

*Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мною они по следам:
В Финском поморье недавно ловили,
В Архипелаг я — они уже там!
Ясно, что черти хотят моей смерти,
Как и по чину прилично чертям.
Бог с вами, черти! Однако, поверьте,
Вам я себя на съеденье не дам.*

«Бог с вами, черти!» — это, действительно, смешно. Но только ли смешно? Ведь и черти, исходя из сказанного раньше, есть часть тво-

рения, и на них, как на всякую тварь, падает свет вышней любви. Видно, не от хорошей жизни творят они свои пакости. В Евангелии сказано, что «... вся тварь совокупно стонет и мучится доныне», но обещано, что «...тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 22–21). Очевидно, это имеет в виду В. С., когда пишет:

*Лучше вы сами послушайтесь слова, –
Доброе слово для вас я припас:
Божьей скотинкою сделаться снова,
Милые черти, зависит от вас.*

Античным богам, античной красоте не дано было покорить морскую нечисть. Но и на них найдется великая сила: необоримая ничем «красота неземная».

*Знайте же: Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилось с пучиною вод.
...К ней не ищите напрасно подхода!
Умные черти, зачем же шуметь?
То, чего ждет и томится природа,
Вам не замедлит и не одолеть...*

В то, что вся природа ждет Преображения, Соловьев верил свято. Наслаждаясь видимой красотой, как все мы, он прозревал за ней еще большую, непостижимую, в лучах небесной славы.

*Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет,
И ты машинами не вынудишь у ней,
Чего твой дух не угадает –*

первое из известных нам стихотворений поэта (Две последние строки выделены автором. — Т. Ж.).

О финском озере Сайма он писал так восторженно и проникновенно, что кое-кто из читателей вообразил: у него роман с молодой финкой! Вот одно из этих стихотворений:

*Вся ты закуталась шубой пушистой,
В сне безмятежном, затихнув, лежишь.*

*Веет не смертью здесь воздух лучистый,
Эта прозрачная, белая тишь.
В невозмутимом покое глубоко,
Нет, не напрасно тебя я искал,
Образ твой тот же пред внутренним оком,
Фея – владычица сосен и скал!
Ты непорочна, как снег за горами,
Ты многодумна, как зимняя ночь,
Вся ты в лучах, как полярное пламя,
Темного хаоса светлая дочь!*

Природа и была для него светлой дочерью темного хаоса, вызванной к жизни из небытия вечными, не дремлющими никогда духовными силами. Он легко вступал с ними в контакт. Он ожидал от них сверхприродных чудес.

Слыша повсеместный трепет мировой гармонии, он ни на миг не забывал о средоточии всех творящих сил – о Центре Вселенной, который верующие и неверующие называют Богом. После Державина, пожалуй, никто в русской поэзии не создал таких пламенных гимнов Высшему Началу, как Соловьев. Проводником в эту сияющую, таинственную область веры и знания для него всегда оставалась Библия.

Так, сюжет стихотворения «В землю обетованную» излагает историю патриарха Авраама, родом из Ура Халдейского (Быт. 12–13). В преклонном возрасте вышел он, по повелению свыше, из родных мест, чтобы после долгих приключений достигнуть земли Ханаанской и жить на ней.

Почему в 1886 году признанный философ, но не очень уверенный в себе поэт написал эти стихи? Может быть, хотел еще раз напомнить расслабленным в смысле веры современникам, какова она бывает в идеале? Не отделяя себя от русской интеллигенции, он судил о ней трезво и сурово, предостерегая, подстегивая: «Мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая вместо образа и подобия Божия все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, — мы должны же наконец увидеть свое жалкое положение, должны постараться восстановить в себе русский народный характер, перестать творить себе кумира изо всякой узкой ничтожной идеи, должны стать равнодушнее к ограниченным интересам этой жизни, свободно и разумно уверовать в другую высшую действительность» (Публичная речь «Три силы»).

Богу нужно от человека одно: то самое, что потребовал Он от Авраама:

*Мой завет сохрани:
Чистым сердцем и крепкой душой.
Будь Мне верен в ненастье и в ясные дни,
Ты ходи предо Мною
И назад не гляди,
А что ждет впереди –
То откроется верой одной...*

Семнадцатая глава Первой Книги Моисеевой Бытие, перефразированная автором, начинается так: «Аврам был девяносто девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен...»

Не исключено, что у поэта был еще один побудительный мотив. Соловьев, за которым прочно закрепилось имя юдофила, в отличие от не менее распространенного в истории имени юдофоба¹, стремился напомнить забывчивым соотечественникам, где исток их национального благочестия:

*Се, Я клялся собой,
Обещал Я, любя,
Что воздвигну всемирный Мой дом из тебя,
Что прославят тебя все земные края,
Что из рода потомков твоих
Выйдет мир и спасенье народов земных.*

«Мир и спасенье народов земных» – это Иисус Христос. Евангелие называет Его «Сыном Давидовым», «Сыном Авраамовым» (Мф. 1, 1). Но у Него есть еще одно имя: Имману-Эль, или Еммануил. Произнесенное ветхозаветным пророком Исайей (7, 14), это имя через несколько столетий отозвалось в первой же главе Нового Завета. В Евангелии от Матфея, после рассказа об обручении Девы Марии и Иосифа, узнавшего вскоре, что Она «имеет во чреве от Духа Святого» и пожелавшего отпустить ее без огласки, читаем: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог».

Менее всего стихотворение Соловьева «Имману-эль» походит на невозмутимое переложение двух библейских мотивов. В нем такой внутренний жар, такой подъем, такая уверенность в присутствии Бо-

¹ Для нас привычнее «антисемит».

жием всегда, везде, и в сей миг, и рядом с нами, маловерами, что, по моему, оно способно заразить верой и последнего скептика, и закоренелого атеиста, и унылого агностика¹.

*Да! С нами Бог, – не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, – средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!*

Стихотворение под латинским названием «Ex Oriente lux» — «С Востока свет» — тоже восходит к Евангелию, к волхвам, которые пришли в Иерусалим, чтобы узнать, «Где родившийся Царь Иудейский?» Ибо «видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2, 2).

Поэт остро болел разобщенностью Востока и Запада и считал, что «свет христианства» в силах упразднить их взаимное непонимание. Но каким образом, если исторически Восток — это «один господин и мертвая масса рабов», а Запад с его «разумом и правом» столетиями бряцает оружием?

*Чего ж еще недоставало?
Зачем весь мир опять в крови?
Душа вселенной тосковала
О духе веры и любви!
И слово вещее – не ложно,
И свет с Востока засиял,
И то, что было невозможно,
Он возвестил и обещал...*

Участие Души Вселенной в этом чаемом событии не вызывает вопросов. Ведь в Софии, Божией Премудрости, заключен центр всеединства!.. Но, как любит повторять наш фольклор, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». В 1890 году, когда родились эти стихи, В. С. еще надеялся, что роль мирового посредника возьмет на себя Россия, Высшим Провидением назначенная на эту роль, даже чисто географически. Однако и тогда не было ему покоя, не было в

¹ Тот, кто не признает и не отрицает существования Творца, по принципу «мое дело – сторона».

нем убежденности, что так все и будет, что свет с Востока, христианство, возьмет верх в самой России:

*О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса или Христа?*

Увы, Ксеркс, древнеиранский царь, символ безграничной власти и жестокости, на весах истории перевесил Того, Кому были вручены изначально, «прежде всех век», как явствует из православного Символа веры «мир и спасенье народов земных».

Тень Ксеркса витает над миром и сейчас, диктуя свои правила и обычаи, противные евангельскому духу.

В статье о поэзии А.К. Толстого, которого Соловьев очень любил, он снова возвращается к противобогу Ксерксу. Размышляя о патриотизме, истинном, как у А.К. Т., и ложном, он пишет: «Что может быть сильнее того патриотизма, который заставлял персидских вельмож чинными рядами бросаться в море, чтобы спасти корабль Ксеркса? Но такой патриотизм, будучи сопряжен с рабским духом, не спас, а погубил Персидское царство».

Свобода духа как Божий дар, которым грех не воспользоваться, губительность для человека и человечества рабской психологии — мы уже говорили об этом, в частности в предыдущей беседе. Соловьева связывало с Алексеем Константиновичем не только духовное родство. Судьба распорядилась так, что толстовские имения Красный Рог на Брянщине и Пустынька под Петербургом на протяжении ряда лет как магнитом притягивали его к себе. Хозяин к тому времени уже покинул наш бренный мир, и к его пенатам влекли философа две женщины, две Софии, одну из которых он чтит, а в другую был влюблен.

Можно представить себе, как трепетало мистическим восторгом его сердце при одном лишь звучании их имен. Не иначе как София-Премудрость направила его на этот путь. Софья Андреевна Толстая оставалась гостеприимной хозяйкой, интереснейшей собеседницей. Племянница ее, Софья Петровна Хитрово, была замужем, имела детей; башмачок ее сына Владимир Сергеевич одно время носил на груди как ладанку. Его многолетняя очарованность земной женщиной, как всегда, кончилась ничем, точно Та, небесная, так и не захотела им делиться...

Софье Хитрово посвящено много стихов. Ее «бумаги» — ценный источник для изучающих поэзию Соловьева. Одно из антологических соловьевских стихотворений «Бедный друг, истомил тебя путь...» тоже,

вероятно, связано с ней; впрочем, у поэта было немало увлечений. Состояние, когда «Серебряные нити / Идут из сердца в область грез», было ему хорошо знакомо.

*Бедный друг, истомил тебя путь,
Темен взор, и венок твой измят.
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Потускнел, догорая, закат.
Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я, любя;
Только имя мое назовешь –
Молча к сердцу прижму я тебя.
Смерть и Время царят на земле, –
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.*

Владимир Соловьев умер в 1900 году, сорока семи лет отроду, как раз на пороге кровавого XX века. Теперь уже не суть важно, какие именно исторические силы представлялись ему главным источником неотразимых бед. «Ближайшее будущее готовит нам такие испытания, каких не знала история», – пророчествовал он. Все, что грозит роду человеческому расчеловечиванием, расхристианизацией, собрано им в образе Противобога. Небольшая «Краткая повесть об Антихристе» входит в последнее его сочинение «Три разговора».

Но знаменательная концовка приведенных выше стихов может служить ключом ко всему творчеству Владимира Сергеевича, к его светлому, особенно на фоне туманного третьего тысячелетия, благородному облику.

Глава одиннадцатая

«ТЫ ПОБЕДИЛ, ГАЛИЛЕЯНИН!»

(К. Р.)

Мне было лет тринадцать, когда по радио прозвучал романс, почему-то остановивший внимание моего отца.

*Растворил я окно, – стало грустно невмочь, –
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей;
Об отчизне я вспомнил далекой,
Где родной соловей песнь родную поет
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролет
Над душистою веткой сирени.*

– Знаешь, чьи это стихи? – спросил отец.

– Пушкина? Майкова? Никитина? – гадала я, называя имена известных мне в ту пору поэтов.

– Нет, это К. Р., Константин Романов, дядя последнего русского царя.

«Последний царь» жил для меня во «времена Веспасиана», как выразилась Ахматова, а «дядя царя» вообще был абстракцией. Но стихи понравились, запомнились; круг любимых поэтов разомкнулся, чтобы выпустить еще одно имя, странное имя из двух букв... Кончилось мое отрочество, прошла юность, перевалила через пик зрелость – понадобилось много времени, чтобы имя К. Р. было возвращено русской культуре.

Он жил на берегу Невы, в Мраморном дворце, рядом с Зимним дворцом. Потомственный моряк, участник Русско-турецкой войны, кавалер ордена Св. Георгия (за храбрость), в молодости объехал множество стран: посетил Италию, Грецию, Палестину, побывал в Африке и США. Его невестой стала принцесса Саксен-Альтенбургская, герцогиня Саксонская Елизавета. В 1883 году, когда состоялась их помолвка, а вскоре и бракосочетание, великий князь Константин Константинович написал стихотворение, определившее весь его последующий путь – человека, поэта, гражданина:

*Я баловень судьбы... Уж с колыбели
Богатство, почести, высокий сан
К возвышенной меня манили цели, —
Рождением к величью я призван. —
Но что мне роскошь, злато, власть и сила?
Не та же ль беспристрастная могила
Поглотит весь мишурный этот блеск,
И все, что здесь лишь внешностью нам льстило,
Исчезнет, как волны мгновенный плеск.
Есть дар иной, божественный, бесценный,
Он в жизни для меня всего святей,
И ни одно сокровище вселенной
Не заменит его душе моей:
То песнь моя!..*

Стихи К. Р. стали выходить в печать, а потом и в свет с 1882 года, когда автору не исполнилось и двадцати пяти. И, вероятно, не столь уж многих читателей увлекла их открыто религиозная направленность. Впрочем, Ветхий и Новый Заветы для молодого Романова — это прежде всего авторитетный источник для осмысления собственной судьбы, указующий перст, дабы утвердиться в призвании, укрепиться в вере. Ну, а разве мы, смертные нецарского происхождения, не решаем те же проблемы?

Царь Давид, необъятная библейская фигура, интересует К. Р. с определенной стороны: как певец псалмов, поэт, коллега. В Первой Книге Царств юный Давид успокаивает игрой на гусях («псалтерионе») духовно занедужившего царя Саула: («...и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» — читаем в 23-м стихе 16-й главы. У Романова: «*О царь! ни звучный лязг мечей, / Ни юных дев лобзання / Не заглушат тоски твоей / И жгучего страданья! / Но лишь души твоей больной / Святая песнь коснется, — / Мгновенно скорбь от песни той / Слезами изальется*». Такова сила поэзии! Может быть, никто из русских поэтов так не чувствовал свое поэтическое недостоинство, ограниченность своих сил, как герой этой беседы. Ведь он судил себя по высшей мерке, брал за образец царя Давида! Вот откуда: «Что же, наконец, есть во мне хорошего? Я талантливый поэт? Но и с этой стороны прорех немало; не хватает мне глубины мысли, воображения, силы. Иногда просто руки опускаются, как вдумаясь в свою несостоятельность...» (Дневниковая запись от 5 ноября 1888 года.)

Но даже литературное призвание, одно из многих призваний Константина Романова, — он успешно командовал двумя полками, Измайловским и Преображенским, был президентом Императорской Ака-

демии наук, играл в любительских спектаклях и пр. и пр., — меркло в его глазах перед требованиями веры. Вере придавал он главенствующее значение, отличаясь этим от всей писавшей стихи братии, кроме, пожалуй, Василия Андреевича Жуковского.

Итак, требования веры... К своему стихотворению «Из Апокалипсиса» К. Р. ставит эпиграфом 20-й стих из третьей главы этой заключительной книги Библии: «Се стою при дверех и толку...» На современном русском он звучит так: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною». А вот и сами стихи:

*Стучася, у двери твоей Я стою:
Впусти Меня в келью свою!
Я немощен, наг, утомлен и убог,
И труден мой путь и далек.
Скитаюсь я по миру беден и нищ,
Стучуся у многих жилищ:
Кто глас Мой услышит, кто дверь отперет,
К себе кто Меня призовет, —
К тому Я войду и того возлюблю,
И вечерю с ним разделю.
Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, —
Я силы прибавлю тебе;
Ты плачешь, — последние слезы с очей
Сотру Я рукою Моей,
И буду в печали тебя утешать,
И сяду с тобой вечерять...
Стучася, у двери твоей Я стою,
Впусти Меня в келью свою!*

Не будь прописных букв, можно было бы подумать, что это поэт или его лирический герой жаждет иметь приют телу и душе, бредит теплом человеческого общения... Со слуха, особенно между делом, стихи так и воспринимаются, я пробовала их на двух-трех знакомых. Ничего похожего не вкладывал в эти слова автор! Потому что они принадлежат Христу. Апокалипсис, или Откровение, и есть Откровение Христа. Это Он через любимого ученика Иоанна обращается к ангелам разных Церквей, к самим Церквам, к сообществам верующих каждой Церкви — в конечном счете, к нам с вами. Разве не касается нас упрек, высказанный Христом «Ангелу Лаодикийской церкви»: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15,16).

Слова, выбранные К. Р. для эпитафии, стоят лишь несколькими стихами ниже. Но, верный гуманной традиции родной литературы, поэт остановился не на Христе взыскующем, а на Том, уже знакомом нам по Тютчеву, что «в рабском виде» исходил всю родную нам землю, что стучится в каждое сердце, да редко Ему отворяют. Вот и чувствует Он Себя изгоем...

Как бесприютный странник, «*немощен, наг, утомлен и убог*» — слова те же самые или близкие им по смыслу находим в Евангелии: «*Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне*» (Мф. 25, 36). Говоря это, Христос предвидит удивление «праведников»: «*Когда мы видели Тебя страпником, и приняли? или нагим, и одели?*» (25, 38). И отвечает им замечательно — две тысячи лет Его слова не стареют, не увядают: «... истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (25, 40)

Пусть все это остается «за скобками» стихотворения К. Р. «Из Апокалипсиса», — это его этический фон, хорошо знакомый читателям поэта. Обращение к Библии дает возможность такой расшифровки стихов, которая открывает все смыслы, сознательно или бессознательно вложенные автором в его детище.

Сам Константин Романов стремился жить, следуя евангельскому завету: «... как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» (Мф. 7, 12) Люди! — без различия чинов, званий, происхождения. Не потому ли среди поэтов, оказавших на него сильное влияние, не только служитель Красоты Фет, но и плакальщик народный Некрасов. Будучи полковым командиром, К. Р. не понаслышке знал, какова она, солдатская доля. Недаром его стихи на эту вековечную тему «*Умер, бедняга!..*» стали народной песней.

А вот еще одно поэтическое «посещение» «брата меньшего»:

*Уволен! Отслужена служба солдата,
Пять лет пронеслись, словно день;
По-прежнему примет родимая хата
Его под радушную сень.
Там ждет не дождется жена молодая,
Там ждут и сынишка, и мать...*

«Уволен» — печальный рассказ о возвращении солдата в дом, которого нет. Читая его, невольно вспоминаешь песню послевоенных лет на слова Исаковского «*Враги сожгли родную хату...*»

У К. Р. «хата» на месте, но остальное пугающе похоже, хотя никакими врагами не пахнет, хотя более полувека миновало и огненный смерч революций и войн взметнулся между этими двумя картинами.

*...И все с каждым шагом растет нетерпенье...
Вот, вот она, хата его!
Но что это значит? В каком разрушение:
Дверь настезь, внутри – никого;
Повыбиты стекла, свалились ворота...
Но что же жены не видать?
Иль, может, нашлась ей какая работа,
А с ней и сынишка, и мать?*

Помните, как заканчивает свою скорбную солдатскую повесть советский поэт: «*Хмелел солдат, слеза катилась, / Слеза несбывшихся надежд, / И на груди его светилась / Медаль за город Будапешт*». Я не умаляю значения великой песни с трудной судьбой. Поэтически это очень сильно. Ну а этически? Без-на-де-га!

У горячего верующего, каким всю жизнь оставался К. Р., есть мощный аргумент:

*Смеркалось... Ударили в церкви к вечерне,
И тихий послышался звон.
Лились, замирая вдали, эти звуки,
Как зов милосердный Того,
Кто дал человеку душевные муки
И в горе утешит его.*

«Царю Небесный, Утешителю. Душе истины...» — произносим мы в молитве. В Евангелии от Иоанна (14, 16) Христос говорит «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек...» Загадочное место Библии. Другого Утешителя мы не знаем. Царь Небесный у нас один. И Утешитель он еще и потому, что Им обещана жизнь вечная.

«Что вы нам сказочки рассказываете?!» — голос то ли со стороны, то ли из собственного подполья. Трудно поверить в обетование бессмертия. Слишком назойлива, попросту нагла смерть: во все щели лезет. Слишком зыбка наша вера. Даже имея ее, охраняя ее, как горящий огонек от порывов ветра, как полезешь с утешением к другому человеку, недавно пережившему жуткую утрату? «*И только верой в Воскресенье / Какой-то указатель дан...*» — за многих сказал целомудренно, как всегда, но с неоспоримо-убедительной интонацией Борис Пастернак.

Теперь, когда незнакомец К. Р. хоть сколько-то приблизился к нам, пора перейти к главному его произведению — стихотворной драме «Царь Иудейский». Поэт взялся за этот неподъемный труд, напутст-

вумый Петром Ильичом Чайковским; тот советовал ему «с евангельской простотой и почти буквально придерживаясь текста», рассказать стихами о последних земных днях Христа.

Наказ композитора он выполнил. Трудно назвать другое литературное произведение, где так бережно сохранен первоисточник, так естественно вливаются в речи персонажей прямые или скрытые цитаты из Писания. Вместе с тем это не «цитатник» — упаси Бог! Это и не средневековая, сугубо религиозная мистерия, какие представлялись на сцене по большим праздникам. На библейской закваске всходит живое, дышащее, современное автору театральное действие.

Само название «Царь Иудейский» взято из Книги книг. В Евангелии от Матфея оно звучит горько-иронически. Повествуется о том, как «воины правителя», то есть Пилата, «сплетши венец из терна», возложили его на голову плененного Иисуса и, становясь перед ним на колени, разумеется, в насмешку, издевательски говорили: «...радуйся, Царь Иудейский!» (27. 29).

В Евангелии от Марка с некоторой долей иронии, но не зло называет так Христа сам прокуратор: («Пилат спросил Его: «Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь» (15,2). Когда настал момент отпустить ради праздника иудейской Пасхи одного узника, тот же Пилат на полном серьезе обращается к толпе: «... хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» (15, 9). Я, мол, знаю, кто есть кто, а вы со своим «царем» сами разбирайтесь. Но чернь, как всем памятно, Иисусу предпочла разбойника Варавву.

И в Евангелии от Иоанна возникает это драматическое словосочетание. Действие происходит уже на Голгофе: «Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. (...) Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: «Царь Иудейский», но что Он говорил: «Я Царь Иудейский». Пилат отвечал: что я написал, то написал» (19, 19–22).

Так ставит он точку в конце этой неприятной истории, не подозревая, что у нее, как у Вселенной, нет ни конца, ни края...

В драме «Царь Иудейский» Христос не присутствует. Он, как сказали бы мы теперь, остается «за кадром». Но дух Христов здесь, с нами, читателями и зрителями начала XXI столетия от Рождества Его... О Христе страстно спорят Его ученики, разноречиво толкует народ, в божественность Христа жаждет уверовать жена Понтия Пилата, знатная римлянка Прокула, а сам он, слабый человек, чья с трудом устроенная карьера может рухнуть в провинциальной Иудее, предает на казнь не Бога, — его изощренный радио Христа — Истину не приемлет, — но невинного, чего делать ему, очевидно, не хотелось бы. Да и жена с презрением отдаляется от него, а это всего большее...

Известное в христианской традиции имя Прокулы в Новом Завете отсутствует. Однако в Евангелии от Матфея сказано: «Между тем, как сидел он (Пилат, — Т. Ж.) на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (27, 19).

Для христианки «пострадать во сне» и делать из этого далеко идущие выводы — не значит ли предаваться суеверию? Для Прокулы это — естественный ход вещей. Она — язычница, дочь блестящей, хотя и с духовной ущербинкой цивилизации, где гаданиям, снам придается колоссальное значение. Плотью она на земле, говорит о скачках в Риме, о модах, прикидывается веселой, беззаботной. А вот душа не сыта, душа «ищет божества» и, кажется, находит: это — Христос.

Многобожнице уверовать в Него непросто: об этом Прокула говорит своей наперснице, тайной приверженице Иисуса еврейке Иоанне:

*Я от тебя слыхала, Иоанна,
О чудесах Его; но чудесами
Меня не убедишь. И в Риме также
Мы о чудесных слышим исцеленьях
При храмах Эскулапа иль Изиды.
Мне доводы нужны сильнее этих,
Чтобы уверовать могла я смело
В Его божественность...*

Внутренний путь от безверия, через маловерие, к вере, пережитый Прокулой, и есть психологическая пружина действия драмы. Только ли ей суждено пройти этот путь? Многие ли приходят в мир готовыми христианами? Популярная актриса Виктория Лепко (пани Каролинка из «Кабачка 13 стульев»), сыгравшая Прокулу в московском театре «Вернисаж», признает: роль ее переродила, укрепила в вере предков. И, наверное, не ее одну — так заразительно звучал в исполнении актрисы заключительный монолог супруги Пилата:

*Ужели вы не поняли еще?
Ужель сердца у вас окаменели?
О, Понтий! Боязливо, малодушно
Ты неповинного послал на смерть.
...Он, праведник, Он, посланный нам с неба,
Он, солнце истины и Божий Сын,
Повис, простертый на кресте позорном.
И вы дивитесь, что померкло солнце,*

*Что молнии во мраке заблистали,
Что разразился грозный гром небес,
Что в ужасе тряслись земные недра. –
Я верую!..*

В Евангелии находим прообразы: «...и земля потряслась; и камни расселись» (Мф. 27, 51), «В шестом же часу настала тьма по всей земле...» (Мк. 15, 33), о том же у Луки (23, 44), где прямо сказано (45):

«И померкло солнце...»

Два персонажа выделяются в драме из сонма действующих лиц: Иосиф и Пикодим. Оба взяты из Евангелия, сохранена основа характеров, взглядов, отношений с Учителем. Но многое и домыслено автором. Иосиф из Аримафеи – воплощенная любовь к Христу, бесстрашная верность Ему. Это он попросит у Пилата тело Иисусово, и получит, и положит в свое склепе, «где еще никто не был положен», о чем подробно сообщают евангелисты: и Матфей (27, 57–59), и Марк (15, 43–46), и Лука (23, 50–53). У Луки подчеркнута, что Иосиф – человек «добрый и правдивый», «ожидавший также Царствия Божия».

Образ Пикодима в Евангелии от Иоанна очень важен и весьма сложен. Он весь в сомнениях. Вопросает Христа, «как это может быть?» (Ин. 3, 9), когда что-то ему неясно. Желает сам докопаться до истины. Ничего не берет на веру. Один из фарисеев, «один из начальников иудейских», Пикодим приходит к Учителю ночью, чтоб его не увидели, не «засекли», как сказали бы теперь. Это в разговоре с Никодимом Христос произносит слова, давно ставшие крылатыми: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух», «Дух дышит, где хочет»; «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». (Ин. 3, 6, 8, 19)

У К. Р. спор идет прежде всего между Иосифом и Никодимом, – такую вольность он себе позволяет, – и суть его выражается следующим диалогом:

*И о с и ф : Ты чудотворца видишь в Иисусе
И все ж Мессию в Нем не признаешь?*

*Н и к о д и м : В том глубина страданья моего,
Что сердцем я давно Его признал,
По ум и знание не допускают
Уверовать в любимую мечту...*

Можно без преувеличения сказать: этим дебатам две тысячи лет! Но спор идет еще дальше: в него вовлекаются Пилат, Прокула, другие

люди, толпа. Однако, как бы ни разыгрывалась фантазия поэта-драматурга, слова пьесы вновь и вновь возвращают нас к Библии. Никодим: *«Но в мире тьма была милее людям, / Чем свет, затем, что злы дела их были. / Творящий зло ненавидит свет.»* (сравните с тем, что я приводила несколькими абзацами выше!). Иосиф Никодиму после казни Христа: *«Раскрой же свиток. / К чему Мне множество всех ваших / Кровавых жертв? Так говорит Господь. / Я всеожжеянными овнов и туком / Отжормленных пресытился тельцов. / Не нужно Мне всей этой крови агнцев...»* (сравните с Книгой Исаяи. 1. 11).

Недаром у Распятия звучат слова из Ветхого Завета. Веками, тысячелетиями обоим Заветам — неразрывно — суждено быть под одной обложкой!

Исключительно мастерству автора обязаны мы тем, что почти буквальные заимствования из Библии не выглядят в тексте заплатами, — скорее их можно сравнить со стрелками указателей: в каком направлении двигаться. Да и в мастерстве ли тут дело? Автор настолько вжил-ся в Священную книгу, что уже и мыслит ее категориями, чувствует себя в языковой среде синодального перевода как у себя дома...

Толпа в драме «Царь Иудейский», как и в Евангелии, как и в истории человеческой, нестра, противоречива, непредсказуема. Тут много искренних людей, иудеев преимущественно, которые преклоняются перед Христом; хватает и его недругов. Толпа, как известно, не народ, но некоторое представление о народе дать может. О лучшей части еврейского народа с уважением говорит своей наперснице Прокула: *«Я ехала со страхом в Иудею; / Здесь думала лишь варваров найти я, / Непримиримых мрачных изуверов. / Но вот Иосиф встретился мне здесь, / Сошлась я и с тобою, Иоанна...»*

Диалог Пилата с Префектом также служит выяснению истины:

П и л а т: ...Здесь народ

*Строптивый, мстительный, упорный, сложный
К раздорам, проискам и мятежу.*

П р е ф е к т: Не каждый ли народ имеет свойства

*Хорошие с дурными вместе? Должно
Из первых пальцу выжимать, вторые ж
С терпением умело подавлять...*

Вспоминаются слова Апостола Павла из Послания Римлянам: «Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак (...) Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал...» (11. 1–2).

Уличного, ширпотребного «Евреи (а чаще — жида) Христа распяли» у К. Р. нет и в помине! Ведь он верен духу Евангелия! Что происхо-

дит сейчас, когда Константин Романов издается, ставится на сцене, когда громогласно называется имя автора романсов, долго бывших безымянными? Время от времени славное имя великого князя становится предметом спекуляций политического и шовинистического толка. Сам он никаких оснований для этого не давал и не дает.

«Царь Иудейский» в целом был закончен, как следует из записи поэта, на Святой неделе, 6 апреля 1912 года. У пьесы оказалась непростая, в чем-то парадоксальная судьба. Синод не разрешил ее постановку, считая, что смерть и Воскресение Бога не предназначены для «лицедейства». Сыграна она была только в Царском Селе, причем роль Иосифа Аримафейского исполнял сам К. Р. Драма была переведена на несколько языков и поставлена... в Англии. В большое отечественное искусство прорвалась... после Октября. Ее играли в Малом театре, она шла в провинции, а в наши дни получила новую жизнь.

Перед Первой мировой войной вышел роскошный том с полным текстом драмы, эскизами декораций, костюмов, с фотографиями участников царскосельского спектакля. Книга давно стала раритетом, но иногда ее можно купить в букинистических магазинах.

К. Р. умер в 1915 году, вскоре после того, как его сын Олег погиб на фронте. Страшные предчувствия мучили Константина Романова. Он записывал в дневнике: «Временами нападает на меня тоска, и я легко плачу. Ужас и трепет берут, когда подумаешь, что с четырьмя сыновьями, которым вскоре нужно вернуться в действующую армию, может случиться то же, что с Олегом. Вспоминается миф о Ниобее, которая должна была лишиться всех своих детей. Ужели и нам суждено это? И я стану твердить: «Да будет воля Твоя».

Немецкая пуля пощадила сыновей поэта, но в июле 1918 года трое из них, Константин, Иоанн и Игорь, были заживо сброшены в глубокую угольную шахту под Алапаевском вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной и другими несчастными, голубой и не голубой крови.

Из интервью Феликса Медведева с не так давно еще жившей под Нью-Йорком, в доме престарелых, Верой Константиновной Романовой («Аргументы и факты» № 1 за 1998 г.), дочерью поэта К. Р., приводятся неизвестные мне ранее факты. 92-летняя, но памятливая, здравомыслящая Вера Константиновна, осколок большой и дружной семьи, рассказывала: «...в гнилой воде они еще три дня оставались в живых. У Константина во рту нашли землю — он грыз ее то ли от жажды, то ли от страшной боли...»

Тут я умолкаю. Тут только молитва поможет. Да еще, может быть, стихотворение К. Р., написанное «впрок», в доказательство правоты

не сразу и не всем понятных слов Христа: «В мире будете иметь скорбы; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16. 33).

*Сраженный стрелой ассирийскою, пал
Кесарь, отступник Христова ученья;
В смертной тоске к небесам он воззвал:
Ты победил, Галилеянин!
Погиб Юлиан, враг Христова креста,
Церковь свободна от злого гоненья.
Снова воскликнули верных уста:
Ты победил, Галилеянин!
Расторгнем же сети порока и зла,
К свету воспрянем из тьмы усыпления;
Вновь да раздастся и наша хвала:
Ты победил, Галилеянин!*

Глава двенадцатая

«ВПЕРЕДИ ИСУС ХРИСТОС»

(А. Блок)

Своему другу-недругу, тоже поэту, Андрею Белому Блок писал:

«В Бога я не верю и не смею верить...» Известны его негативные высказывания о Христе, вере, церкви и даже церковных праздниках: Рождестве и Пасхе.

Вместе с тем по всему его творчеству, начиная со «Стихов о Прекрасной Даме» и кончая поэмой «Двенадцать», разлито сильное религиозное чувство. Изучаются пометы Блока, сделанные им в Библии, — ныне она хранится в Пушкинском доме. Судя по ним, из евангелистов его больше всего волнует Иоанн, автор IV Евангелия, трех Посланий и Откровения (Апокалипсиса). К драматической поэме «Песня судьбы» (1908 г.) Блок ставит эпитафией слова именно Иоанна Богослова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение» (1 Ин. 4,18). Апокалипсический настрой с его неотвязной тревогой за судьбы мира и мистической надеждой на «новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21.1) — вечный спутник блоковской поэзии. Цитаты из Священного Писания, обычно слегка видоизмененные, властно входят в его тексты.

Современники задавали себе вопрос: так с кем же он, Александр Блок, с Христом или с Антихристом? Потом десятилетиями такой вопрос вообще не возникал, во всяком случае, по эту сторону российских границ, — только вокруг образа Христа из поэмы «Двенадцать» велись вялые споры. Этот вопрос задаем себе и мы, заканчивая межвековой фигурой Блока первую часть книги. Только любовь к поэту, взятая в проводники, может помочь нам взглянуть на рискованный предмет без страха ошибиться. Ибо «совершенная любовь изгоняет страх», как сказал евангелист и счел необходимым повторить за ним наш великий поэт.

От «бекетовского» Шахматова Клинского уезда Московской губернии до «менделеевского» Боблова — рукой подать. Менделеевы и Бекетовы (материнская семья Блока) давно соседствуют, дружат.

У выдающегося химика Д.И.Менделеева и замечательного ботаника А.Н. Бекетова множество общих интересов, один и тот же круг общения. К тому же у первого подрастает дочь, у второго — внук... Однажды летом в Боблово приезжает на белой лошади семнадцатилетний Александр Блок, он же любимец своей семьи Сашура. На студенте

юридического факультета белый китель, в руках у него стек. В березовой роще его занимает разговором ровесница Любовь Дмитриевна Менделеева. «Я был — франт, говорил изрядные пошлости», — много лет спустя признается Блок. Начинается любовь. Робкой поначалу, да и потом тоже, юношеской любви потребны хотя бы окольные пути выражения. Один из них, испытанный, — любительские спектакли. Дачный сарай приспособливается под театр. Ставятся сцены из «Горя от ума» (он — Чацкий, она — Софья), «Гамлет». Костюм Гамлета шьет Сашуре бабушка, сама писательница и переводчица. Любовь Дмитриевна, разумеется, Офелия... Молодые люди разыгрывают перед родными и приятелями вечную мистерию неутолимой любви. Они еще не знают, что с дачных подмостков она перейдет в их быт и бытие, перекорежит их судьбы, но зажжет на небосклоне русской поэзии новую ярчайшую звезду.

Петербург охлаждает юношеский пыл. После счастливого подмосковного лета, когда Блок был «страшно влюблен», наступает отдаление. И он, и она учатся, изредка встречаются то в театре, то на улице. Следующим летом, из-за «суровости» девушки, Блок вообще перестает ездить в Боблово. Влюбленность, загнанная внутрь, растет, принимает причудливые, мистические формы. Вероятно, суровость Любви Дмитриевны, по закону возмещения в творчестве недостающего в жизни, и породит образ Ласковой Жены, что скоро явится Блоку «в лучах божественного света». Ее недоступность, ее молчаливость, ее уклончивость, особенно когда речь заходит об их будущем, вызывают ощущение великой тайны. Земная любовь, не получая утolenия здесь и теперь, устремляется в иные пределы.

Мне было столько же лет, сколько нашим героям, когда я впервые прочла:

*Я, отрок, зажигаю свечи,
Огонь кадилный берегу.
Она без мысли и без речи
На том смеется берегу.*

«Почему «без мысли и без речи»? — мучилась я в догадках. — Что в этом хорошего?..»

Комментария в книге не было. Некому было разъяснить мне, что героиня стихов, предмет обожания и обожения, не нуждается в качествах отличницы, что вечно-женственное начало, которое в ней воплощено (и которое до Блока так заразительно воспел поэт и религиозный философ Владимир Соловьев), превыше ума и тем более бедных человеческих слов. Она, вероятно, потому и «смеется на том

берегу», то есть за гранью житейского, что в ней одной заключена вся мудрость мира, все начала и концы.

У современного читателя есть уникальная возможность: взять в руки толстый том¹, куда встроено первое издание «Стихов о Прекрасной Даме», вышедшее на пороге 1905 года в книгоиздательстве «Гриф». Даже бумага такая же — кремово-желтоватая, цвета старинных почтовых «секреток».

Нельзя было распечатать такую «секретку», не порвав трех ее склеенных сторон. Распечатаем же и мы одну из таинственных книг русской поэзии.

Молодой поэт творит сказку. Героиня стихов «*фосла за дальними горами*», живет в тереме, рассыпает «*кругом жемчуга*». «*Словно белая лебедь*», за ней плывет «*живая ладья*». Все это образы именно русской сказки. Не тут ли верховье будущего могучего потока блоковской лирики, который можно окрестить одним словом: «Родина»? Впоследствии, болея о России, Блок почти повторит тютчевские картины «бедных селений» и «скудной природы» (Тютчева он очень любил): «*Избы серые твои*», «*а ты все та же — лес да поле*»... Но тютчевского Христа, который «в рабском виде» исходил, благословляя, родную землю, почувствует всего раз или два. Иного Христа увидит он...

Да, только в сказках девушка оборачивается лебедью, лягушка — царевной и т.п. Возлюбленная поэта оборачивается Прекрасной Дамой. Помните стихотворение «*Жил на свете рыцарь бедный*», подробно разобранным нами в беседе о Пушкине? Принято считать, что романтический пафос первой книги Блока — поклонение Идеалу, служение Чистоте и Красоте в образе Прекрасной Дамы — восходит к пушкинским стихам. Но едва ли можно ставить на одну доску единственное стихотворение и огромный цикл. К тому же у Пушкина «*матушка Христа*», «*Пречистая*» названа впрямую, без извилин, на читателя веет духом Средневековья, невольно думаешь, что бедный рыцарь — католик (почему и стихи эти иногда называют «католическими» — неправомерно, по-моему).

У Блока ничего подобного нет.

Религиозные мотивы в «Стихах о Прекрасной Даме» превалируют над сказочными: «*Люблю вечернее моление / У белой церкви над рекой*»; «*Слышу колокол. В поле весна*»; «*Мой монастырь, где я томлюсь безбожно*»; «*Я — меч, заостренный с обеих сторон; / Я правлю Архангел, Ее Судьбой*»; «*Крыльцо Ее, словно паперть*» и т.п. Однако все эти образы скорее декоративны, чем религиозны по сути своей. Это — видения, игра оплодотворенной христианской культурой богатой фантазии.

¹Собрание сочинений в 12 т. Т. 1. М.: Литера, 1995.

*Я, измученный и премудрый,
Востав от тягостного сна,
Перед Тобою, златокудрой,
Склоняю долу знамена.
Конец всеведущей гордыне, –
Прошедший сумрак разлюбя,
Навеки преданный Святыне,
Во всем послушаюсь Тебя.*

О том, что Блок, поэт истинный, не всегда вел стих, а чаще был им ведом, он сам говорил неоднократно. Вот признание из письма Любови Дмитриевне (от 13 VI 1903 г.), когда она уже стала его невестой: «Пока все еще поет одна мелодия, слов нет. Но я уже открываю глаза, понимаю небо и землю, встаю из праха, исполняюсь гордостью о Тебе».

«Гордость о тебе» – это вроде бы и не грех даже. Это не та гордыня, торжествующая «самость», про которую все мы теперь знаем, что Христу она неугодна, Богу – отвратна. Но и «гордость о другом», то есть превозношение другого, может иметь, оказывается, роковые последствия.

Та «Светлая Жена», судьбой которой правит поэт, от которой ждет, что она, «поднявшись выше тлена», откроет свой «Лучезарный лик», – кто же она? Для земной женщины, пусть даже возлюбленной юного гения, такие слова, такие уподобления чрезмерны. Мы чувствуем это инстинктивно. Значит, в ней сокрыто надмирное начало?.. Соловьевы (поклонники недавно скончавшегося Владимира Соловьева) прозревали в ней Божественную Мудрость, Святую Софию. Если помните, «Дщерь мудрости, душа богов» была когда-то объектом лиры Державина. Но у Соловьева она приобрела черты неоторимой женственности, что воспринял и развил Блок. Кое-кто из современников по простоте душевной отождествлял блоковскую героиню с... Богоматерью. Но были и такие, что увидели в Прекрасной Даме некий перевертыш, максимально далеко отстоящий от своего прообраза.

В середине 80-х самиздат принес мне «Введение в творчество поэта», написанное хоть и с уважением к Блоку, но и с изрядной степенью нетерпимости, вызванной демоническими мотивами его ранней лирики. Вот что я извлекла оттуда: «Одна из основных тем Блока – о видении Прекрасной Дамы» – это искажение подлинного восприятия Богоматери святыми. «Хула на Богоматерь – существенный признак блоковского демоизма». При этом автор «Введения» не забывает напомнить: «Литературно – это от “Тавриилады”». В самиздате статья приписывалась Павлу Флоренскому. Тогда, честно говоря, я усомни-

лась в его авторстве: такой авторитет в богословии, в искусстве и такая односторонность! Журнал «Литературная учеба» (№6 за 1990 г.) подтвердил его. Последние же исследования авторство Флоренского опровергают...

Блок точно провидит суровый суд мудреца, хотя прозвучал он уже после его смерти:

*Я к людям не выйду навстречу,
Испугаюсь хулы и похвал.
Пред Тобою одною отвечаю
За то, что всю жизнь молчал.*

Не странно ли: поэта обвиняют в хуле на святыню, а он, как явствует из стихов, сам как чумы бежит хулителей (и хвалителей). «Характерная особенность блоковских тем о Прекрасной Даме, — развивает автор свою мысль, — изменчивость ее лика, встречи с нею не в храме только, но в «кабаках, в переулках, в извивах», перевоплощаемость Ее, Святой, в блудницу, Владычицы Вселенной, Красоты неизреченной, Девы Зари Кушины — в ресторанныю девку...»

В своих воспоминаниях о Блоке Надежда Павлович, поэт, работавшая в Пролеткульте, Наркомпросе и пр., передает интересный для нас разговор с Блоком: «... неожиданно спросил меня: “Что же, и вы думаете, что Прекрасная Дама превратилась в Незнакомку, а потом в Россию?” Я сказала: “Когда-то, давно — да. А когда поняла, — конечно, нет”. А. А. улыбнулся: “Ну, конечно, я знаю, что вы так не думаете...”

А то я, как услышу от кого-нибудь о превращениях, так махаю рукой и отхожу... Значит, ничего не поняли!”

Так поэт сам снимает вопрос о хуле на одну из главных христианских святынь. По-моему, автор «Стихов о Прекрасной Даме» впадает в другой грех — грех, знакомый и самым мелким, и самым возвышенным душам: творит себе кумира. Из соседки по имению, златокудрой девушки, с чудесным цветом лица, полнотелой, полнокровной, этакой рубенсовской красавицы. «Не сотвори себе кумира» — библейская заповедь, ведомая и тем, кто ни разу не открывал Библию. И не поклоняйся ему, как божеству — естественно вытекает из этого.

К чести Любови Дмитриевны, она, как может, противится своему обожению. Ищет Бога, ищет исхода для своих и Сашиных религиозных чувств. Созидание в душе высших ценностей помогает нам лучше понять тщету подмены.

Подкупает своей достоверностью ее рассказ о том, как однажды забрела она в петербургский Казанский собор (очевидно, семья великого химика не злоупотребляла церковностью): «Я не подошла к бо-

гатой и нарядной, в брильянтах, чудотворной иконе, залитой светом, а дальше — за колоннами — остановилась у другой Казанской, в полутьме с двумя-тремя свечами, перед которой всегда было тихо и пусто. Я опустила на колени, еще плохо умея молиться. Но потом это стала моя и наша Казанская...»

Нам не просто представить «демонического» Блока на «каменной скамье» под окном, около Казанской иконы Божьей матери, рядом с той, кому он приписывал некоторые ее черты. Но он там сидел. Более того: у него родились прозрачные стихи о посещении храма — только не им самим, а девушкой, вероятно, Любой. Стихи написаны от женского имени: «*Медленно в двери церковные/ Шла я, душой несвободная.../ Слышала песни любовные,/ Толпы молились народные./ Или в минуту безверия/ Он мне послал облегчение?/ Часто в церковные двери я/ Ныне захожу без сомнения...*»

Среди привычно-надзвездных строк той поры вдруг мелькнет:

*Не бойся умереть в пути.
Не бойся ни вражды, ни дружбы.
Внимай словам церковной службы,
Чтоб грани страха перейти.*

Мы начали с того, что страх изгоняется любовью. Но вот назван еще один гонитель страха: вера. И вера воцерковленная.

Получив согласие Любове Дмитриевны на брак с ним (ждал его четыре года), Блок пишет стихотворение «*Все кричали у круглых столов...*» и сообщает невесте: «Написал хорошие стихи, но теперь не пошлю их Тебе. Они совсем другого типа — из Достоевского, и такие христианские, какие я только мог написать под твоим влиянием. Часто я хочу теперь всех простить...»

Стихи неожиданны для молодого Блока. Вакханалию сборища среди «винных паров» нарушает «девушка в углу», которую «кто-то» вызывающе нарекает «моя невеста». Ничего условно-иоэтического. Реальная, даже грубая картина жизни. Невеста, сменив заглавную букву на строчную, оказалась среди тех, земных и грешных, кого хочется простить.

«Нужно писать стихи и молиться Твоему Богу. А здесь нет Бога, его не видели здешние люди», — запальчиво напишет поэт своей невесте с немецкого курорта.

«Твой Бог» — так он, очевидно, именует Христа. Боясь замутить их возвышенную любовь земными страстями, полугодием раньше Любовь Дмитриевна писала: «...лучше этой любви нет ничего на свете; победил бы свет, Христос, Соловьев (...) реши беспристрастно, объ-

ективно, что должно победить: свет или тьма, христианство или язычество, трагедия или комедия...» Девушка парит высоко: предлагает своему избраннику вопросы, на которые до сих пор ищут ответы блокведы разных масштабов.

Интересно сравнить два стихотворения Блока, рожденные им в одно и то же время, с разницей в несколько дней. То, что я цитирую первым, помечено 8 ноября, днем, когда Любовь Дмитриевна согласилась стать его женой:

*Я их хранил в приделе Иоанна,
Недвижный страж, – хранил огонь лампад.
И вот – Она, и к ней моя Осанна –
Венец трудов – превыше всех наград.
Я скрыл лицо, и проходили годы.
Я пребывал в Служеньи много лет.
И вот зажглись лучом вечерним своды,
Она дала мне Царственный Ответ...*

Культ Прекрасной Дамы пока остается в силе: прописные начальные буквы, молитвенный возглас «Осанна», пребывание «в Служеньи» – все заимствовано из религиозного обихода. «Придел Иоанна» – в данном случае скорее всего образ послушания и преданности: евангелист Иоанн, как известно, вернейший ученик Христа.

«Царственный Ответ» получен, но... В ожидании ответа, с тем же словом «Осанна» создается другое стихотворение с убийственно трезвыми строчками: «Ты святá, но я тебе не верю, / И давно все знаю наперед...» Невозможно избавиться от ощущения, что влюбленный – «сумасшедший, распостертый ниц», как охарактеризован он в стихах, действительно, все знал наперед. Знал, что мечта обманет, «как всякая мечта», что кумир его рухнет с высот на землю, а земля отомстит своим неразумным детям за слишком своенравный и дерзкий полет.

Что же случилось с молодыми в реальном плане бытия? Не будем копаться в чужих тайнах. «Похоть любознательности» – христианскому аскетизму знакомо и такое понятие. Поэт сам поставил границы нашему любопытству. Предназначенное для глаз и сердца читателей – в его стихах.

Я как раз работала над этой главой книги, когда почта принесла свежий номер газеты «Сегодня», где автор статьи «Смерть поэтов» (о Блоке и Гумилеве) ничтоже сумняшеся утверждает: «... построение жизни, как произведения искусства, на практике оборачивалось увесистым мистическим блюдом. История с Прекрасной Дамой, ипостасью Св. Софии и ликом Пречистой Девы, являвшейся в быту крупно-

костной бабищей Менделеевой — Блок (...) — это тоже плата за абсолютизацию священной жертвы».

Умничающему автору сей тирады невдомек, что, говоря о вдохновительнице Поэта словами подворотной тусовки, он сам впадает в блуд, не мистический, но словесный.

Через полгода после свадьбы Блок напишет несколько стихотворений-молитв. Самой замечательной из них мне представляется вторая «Ночная» (их две):

*Спи. Да будет твой сон спокоен.
Я молюсь. Я дыханьем внемлю.
Я гряду, как заоблачный воин,
Уронивший панцирь на землю.
Бесконечно легко мое бремя.
Тяжелы только эти миги.
Все снесет золотое время:
Мои цепи, думы и книги.
Кто бунтует, — в том сердце щедро,
Но безмерно прав молчаливый.
Я томлюсь у Ливанского кедра,
Ты — в тени под мирной оливой.
Я безумец! Мне в сердце вонзили
Красноватый уголь пророка.
Ветви мира тебя осенили...
Непробудная... Спи до знока.*

Это и молитва на сон грядущий, и колыбельная любимой. Поэт отдает ей благую часть: мирную ветку оливы. Таковую же ветку после потопа принес в клюве Ною выпущенный им голубь (Бытие. 8, 11) Себе же он оставляет томление «у Ливанского кедра». Мы еще не встречались с этим образом, — он также восходит к Ветхому Завету. Так в книге пророка Иезекииля сказано: «Он красовался высотой роста своего, длиною ветвей своих; ибо корень его был у великих вод»; «все дерева Едемские в саду Божиим завидовали ему». «За беззаконие его Я отверг его», — говорит Господь Бог устами пророка (Иез. 31. 3, 7, 9, 10). Теперь понятно, почему тот, кто томится в тени неугодного Богу кедра, — безумец. «Красноватый уголь пророка» в сердце поэта — уже известен нам по пушкинскому «Пророку», — еще одна, уже традиционная оглядка на Библию... Главное же в стихотворении — нота сурового примирения с действительностью. Но что думает о себе этот беззащитный «заоблачный воин», вооруженный лишь одним молчанием («тютчевским» — хочется добавить)? Переживая «тяжелые миги»,

в чем видит выход отбунтовавший «безумец»? «Бесконечно легко мое бремя...» — Блок чуть перефразировал слова Христа из Евангелия от Матфея (11.30): «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Те же слова, но в более широком евангельском объеме: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененнии — и Аз упокою вы. Ибо бремя мое легко» — именно так, на старославянском, приводил он в письме к Менделеевой, еще невесте. Сколько было передумано, перечувствовано с тех пор! А это — осталось.

Родственник и друг Александра Александровича, поэт, а в будущем священник и новомученик Сергей Соловьев писал, правда, по поводу других стихов («*Вот он — ряд гробовых ступеней*»): «Одного этого стихотворения довольно для принятия Блока «в лоно христианской церкви». Да, это так. Но одна ласточка еще не делает весны.

За два с половиной года до первой русской революции Блок написал стихотворение «Экклесиаст». Об этой книге Ветхого Завета мы подробно говорили в беседе о Боратынском. «Бысть Экклесиаст мудр» — блоковский эниграф к стиху стоит в ряде публикаций. Что же привлекает поэта в его мудрости? Более чем вольно перекладывая 11-ю и 12-ю главы, Блок берет от библейского проповедника, может быть, самое главное: мысль об ужасе грядущего и неотвратимости ответа для каждого из землян. «Веселись, юноша, в юности твоей (...) только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд», — сказано в 9-м стихе 11-й главы. «*Благословляя свет и тень / И веселясь игрою лирной, / Смотри туда — в хаос безмирный, / Куда склоняется твой день*», — рвется из-под пера поэта. Как и в Книге Экклесиаста, у Блока «*миндаль цветет*» и красота вокруг. Но все это недолговечно. Вещая тревога пронизывает и ветхозаветный текст, и стихи новейшего интерпретатора.

Смерть человека — не есть ли его частное светопреставление?

Давайте сравним! У Экклесиаста: «И запираются будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова (...) И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы» (12. 4,5). У Блока:

*Зачахли каперса цветы
И вот кузнечик тяжелеет,
И на дороге ужас веет,
И помрачились высоты.
Малость устали жернова.
Бегут испуганные стражи,
И всех объемлет призрак вражий,
И долу гнутся деревья.
Все диким страхом смятено.
Сталтились в кучу люди, звери.*

*И тщетно замыкают двери
Досель смотревшие в окно.*

Эта эсхатологическая тревога никогда уже не покинет Блока. Когда-то он принес на отзыв почтенному редактору, другу семьи, стихи, навеянные живописью В. Васнецова, где ожили вещице птицы древних русских поверий — Гамаюн, Сирин, Алконост. И услышал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься э т и м, когда в университете Бог знает что творится!» Редактор высказал недовольство, которое в той или иной форме приходится выслушивать от людей «мига сего» людям, ориентированным на вечность: мыслителям, философам, поэтам. Блок предчувствовал не только то, что будет через пятнадцать, пятьдесят, сто лет, но заглядывал и за грань времен.

Еще до первой русской революции Блок написал странное стихотворение с такими строками:

*– Все ли спокойно в народе?
– Нет. – Император убит.
– Кто-то о новой свободе
На площадях говорит.
– Кто же поставлен у власти?
– Власти не хочет народ.
Дремлют гражданские страсти:
Слышно, что кто-то идет...
– Кто ж он, народный смиритель?
– Темен и зол и свиреп:
Инок у входа в обитель
Видел его – и ослеп.
Он к неизведанным безднам
Гонит людей, как стада...
Посохом гонит железным...
– Боже! Бежим от Суда!*

Сразу вспоминается Лермонтов: «*Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...*» Но у предшественника Блока, брата по духу, хоть и названа провидчески страна события, — Россия, байронический флер («*плащ его с возвышенным челом*») все же окутывает образ «*смирителя*», «*мощного человека*», а стихам придает оттенок условности, книжности. У Блока все взаправду. Характеристика властителя однозначна: «*темен и зол и свиреп*». Обратим внимание: выражение «*Посохом гонит железным*» заимствовано из Апокалипсиса (Откр. 12, 15). Оно встречается у поэта неоднократно. Напоминание о неизбежном Суде

Божьем — одна из основных тем обоих Заветов. Новый Завет связывает его со вторым пришествием Христа. Все люди, живые и мертвые, предстанут перед Ним, чтобы дать отчет в своих поступках и даже мыслях. Не случайно в церкви на каждой утренней службе священник от лица своей паствы просит «доброто ответа на Страшном судилище Христовом». Восклицание «*Боже! Бежим от Суда!*» звучит очень сильно именно потому, что от Высшего Суда убежать невозможно...

Наступает 1905 год. Смятение на улицах, смятение дома, в Семёновских казармах, где живут молодые Блоки (отчим поэта — военный), страшное Кровавое воскресенье. Блок пишет несколько стихов открытого гражданского звучания, в том числе злободневный «Митинг», но глядит, как всегда, в корень. Вот портрет оратора:

*Он говорил умно и резко,
И тусклые зрачки
Метали прямо и без блеска
Слепые огоньки.
Его движенья были верны,
И голос был суров,
И борода качалась мерно
В такт запыленных слов.
...И серый, как ночные своды,
Он знал всему предел.
Цепями тягостной свободы
Уверенно гремел...*

Тут нет ни одного случайного слова, ни одной проходной фразы, все работает на образ героя и стихотворения в целом, и все вызывает вопросы. Знает ли оратор истину? Куда он способен повести поверивших ему людей? Не из тех ли он лжепророков, о которых Христос говорил: «Оставьте их, они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15, 14).

Но вот оратора убивает кто-то из толпы, и сразу меняется интонация стихов, смягчает, теплеет:

*И в тишине, внезапно вставшей,
Был светел круг лица,
Был тихий ангел пролетающий
И радость без конца.
...Как будто, спрятанный у входа
За черной пастью дул,*

*Ночным дыханием свободы
Уверенно вздохнул.*

Человек убит — почему же «радость без конца»? Каждый может строить свои предположения. Мое таково: как бы немощен ни был оратор, он не о своем пекся, он душу свою готов был положить за друзей своих (Ин. 15, 13) и в свете посмертного воздаяния заслуживал высокого удела, что и позволило ангелу — пролететь, а поэту — возрадоваться.

Трижды возникало в последних цитатах слово «свобода». Сначала она «новая», потом «тягостная», потом ей даровано «ночное дыхание», но уже по ту сторону жизни.

В том же 1905-м году Блок пишет еще одно стихотворение, где возникает «лик свободы»:

«Виsia над городом всемирным, / В пыли прошедшей заточен, / Еще монарха в утре лирном / Самодержавный клонит сон. / И предок царственночужуный / Все так же бредит на змее, / И голос черни многострунный / Еще не властен на Неве. / Уже на думах веют флаги, / Готовы новые птенцы, / Но тихи струи невской влаги, / И слепы темные дворцы. / И если лик свободы явлен, / То прежде явлен лик змеи, / И ни один сустав не сдавлен / Сверкнувших колец чешуи».

Прав Андрей Турков, автор одной из первых глубоких иобъективных книг о Блоке (ЖЗЛ. 1969 г.): «...ощущение исторической исчерпанности самодержавия определяет всю структуру образов стихотворения...» Но ведь и свобода, по Блоку, разумеется, политическая свобода, недостижима. «Лик змеи», явленный прежде «лика свободы», — очень емкий и грозный символ. Поэт не любил, когда на него навешивали ярлычок: «символист», но иные поэтические символы его стихов стоят трактатов и диссертаций.

Первое значение образа понятно, думаю всем: это та змея, на которую наступил «Медный всадник» Фальконета, слитый в единое существо, точно кентавр, со своим конем. Далее многое зависит от читательского воображения. «Лик змеи» — это страшно; представляешь себе застывшую плоскую головку с глазами, что смотрят не мигая, гипнотизируют. Ничто не сдерживает эту ползучую тварь. Кольца чешуи уже сверкнули — значит, она или бросилась на врага или собирается это сделать. Возникает и знакомая ассоциация: дракон, стерегущий клад. То — в сказке. А в стихах (и в жизни) — змея стражницей у свободы.

В беседе о Пушкине я уже приводила слова Христа: «...познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). Кажется, ниче-

го не стоит эти слова оспорить, встать в позу Пилата: «Что есть истина?» Оспаривали их и ученики Христа. Две тысячи лет назад. Цитирую по Евангелию от Иоанна, любимому Блоком: «Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»? Иисус отвечал им: «истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха; Но раб не пребывает в доме вечно: сын пребывает вечно; Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете...» (8. 33, 34, 35, 36).

Рабство у греха — это коротенькое словосочетание можно, наверное, отнести ко всей истории человечества. Но грех ширится, растет, выходит из берегов, собирает кровавую жатву особенно в эпохи смут, войн, революций, братоубийства, насилия человека над человеком. Не потому ли так сгущена атмосфера в поэме «Двенадцать», что вестники «новой свободы», кому «*на спине б надо бубновый туз*» — значит, каторжники — преданы рабству греха откровенно до бесстыдства, едва ли не радостно, с полным ощущением безнаказанности, — революция все спишет.

*Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..
Тра-та-та!*

Это «Тра-та-та!», с которым дважды в поэме рифмуется «свобода без креста» (безбожная свобода), убийственно просто переходит в «Трах-тах-тах!» — треск выстрелов. Не забудем, что «двенадцать» хотят пальнуть пулей «в Святую Русь», другими словами, в душу души России. Быть может, величие поэта в том и заключается, что в капле мутной воды он видит будущий разлив человеконенавистничества и безбожия, патологической подозрительности, вечных поисков незримого врага. Все это скоро войдет в жизнь страны на десятилетия. Жертва удвенадцати пока одна: «*талстаморденькая*» Катька с «*огневьими*» очами, блудница, неждавшаяся Христа. Но кровь зовет новую кровь. Решлики типа: «*Уж я ножичком/ Полосну, полосну!..*», «*Эх, эх!/ Позабавиться не грех!*», «*Неугомонный не дремлет враг*» — предвестие того, что жертв будет много...

Не только школьники, но и вполне взрослые люди, кому еще недавно внушали, что двенадцать красногвардейцев — «рабочий народ», передовой отряд Октябрьской революции, — жаждут узнать наконец, с поправкой на сегодняшний день, «хорошие они или плохие». А если «плохие», о чем нетрудно догадаться, то почему их любил Блок, почему, выдохнув свою последнюю поэму в колючий, морозный, клубящий-

ся воздух Петрограда 18-го года, записал с несвойственной ему высокой самоаттестацией: «Сегодня я — гений»? К поэме мы еще вернемся в связи с образом Христа. А пока постараемся заключить тему свободы у Блока.

*Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество! —*

Блок хотел бы, чтобы в грядущем так сказал о нем «юноша веселый». О торжестве какой свободы идет речь, спрашиваем мы себя. Так много было в его поэзии разных «свобод»!

Подсказку дает Блок в одном из последних стихов: «Пушкин, тайную свободу/ Пели мы вослед тебе» («Пушкинскому Дому»).

Подробнее он сказал об этом в статье «О назначении поэта». В 1921 году. В год своей смерти. Все, наверное, помнят первую строку пушкинского стихотворения: «Пока не требует поэта/ К священной жертве Аполлон...» Так вот, по мнению Блока, античное божество, покровитель поэзии и искусств, от поэта требует, во-первых, «бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину». Во-вторых, мастерства: поднятые из глубины звуки заключаются в форму слова, образуют единую гармонию. Для того и другого потребна творческая, или тайная, свобода.

В той же статье он говорит, — уже имея в виду себя, но не только себя, — что эту «тайную свободу» у художника отнимают чиновники от искусства. «И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». Да, Блок умер, когда перестал слышать превращенную в звуки гармонию, еще до слов, — музыку бытия...

— Но при чем же тут Христос? — спросите вы меня.

Я понимаю, насколько условно это противопоставление: Христос и Аполлон. Но для Блока оно существует, как, вероятно, для каждого крупного поэта, «любимца богов». В беседе о Тютчеве, а еще раньше о Батюшкове, мы уже касались непростых переплетений христианских и античных мотивов в поэзии. Известно: Блок очень ценил стихотворение Тютчева «Два голоса». Вероятно, соотносил со своей судьбой финальную строфу: «Пушкай Олимпийцы завистливым оком/ Глядят на борьбу непреклонных сердец:/ Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,/ Тот вырвал из рук их победный венец». Так под чьей же эгидой творит поэт — Бога или богов?

Христианские богословы не устают повторять: человек — как творец — соучастник Божьего творчества. В минуту вдохновения он бли-

же к Небу, чем когда бы то ни было. Поэт потому и пророк, что Господь говорит его устами... С другой стороны, даже такой авторитет в области православия и литературоведения, как Никита Струве, пишет в статье «Трагическое неверие» (о Марине Цветаевой): «Говорить о религиозном мире поэта всегда опасно и даже двусмысленно. Поэзия — прямое наитие, поэт “естественный пророк, взыскуемый таинственной музой, божеством, а не Богом, Аполлоном, а не Христом”»¹.

Книгу стихов Блока 1909–1916 гг. открывает стихотворение «К Музе».

*Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастья есть.
И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.
...Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил.
Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Все проклятье твоей красоты?*

Стихи эти знамениты, многими любимы и, конечно, прекрасны как стихи. Но если следовать терминологии самого Блока, который, помните, в письме к невесте назвал одно свое стихотворение «христианским», то это скорее «антихристианские» стихи. Современный поэт (Н. Коржавин) сказал о них еще резче: «игра с дьяволом». Приходилось мне читать и о «злом духе прелести», посещавшем поэта. «Злой дух прелести» — это властный соблазн, овладевающий именно обессиленным человеком. Если Блок осознавал себя игрой независимых от него роковых сил, тогда становится понятна загадочная строка: «Я хотел, чтоб мы были врагами». А ведь с античных времен предшественники просили милостей Музы, олицетворяющей вдохновение, присягали ей на верность, объяснялись в любви.

¹ П. Струве. Православие и культура. М.: Христианское издательство, 1992.

Кончатся стихи незабываемо:

*И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада –
Эта горькая страсть, как полынь!*

Да это же перекличка со словами Дмитрия Карамазова: «...попирание всякой святыни, насмешка и безверие». «Попиранье святыни» тут присутствует, а вот насмешка – нет. Тут скорее боль, неизбывная мука – от горечи ли безверия, от сладости ли его, возмещенного «сокровенными напевами» о гибели. «Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви», – признавался Блок в письме к А. Белому...

Однако и насмешка не заставила себя долго ждать. В тот же день, что и «К Музе», поэт пишет еще одно стихотворение:

*Зачем в моей стесненной груди
Так много боли и тоски?
И так ненужны маяки,
И так давно постыли люди,
Уныло ждущие Христа...
Лишь дьявола они находят...*

О «демонизме» Блока (а поэт – сверхчувствительный радар современности) можно говорить много. В «Лермонтовской энциклопедии», в статье о Блоке, перечислены многие стихи и циклы стихов, которые роднят двух поэтов и с этой стороны: «И я любил. И я изведал...», «Песнь Ада», «Жизнь моего приятеля», два стихотворения «Демон» и др. Широко известен космический, пророческий образ, которым осенил Блок все наше столетие, в самом его начале:

*Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).*

Но в сторону это! Блок всегда искал противоядия от тех незримых облучений, каким подвергается любой живущий на земле, а поэт – десятикратно, от той смертельной дозы духовной радиации, что, может быть, предвосхитила радиацию вещественную. И самое сильное противоядие, которое он нашел, был... Но пусть поэт сам скажет об этом:

*Люблю высокие соборы,
Душой смираясь, посещать,
Всходить на сумрачные хоры,
В толпе поющих исчезать.
Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В свою священную броню.
В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста.*

Наверное, никто из русских поэтов с таким упорством, с такой временной протяженностью — от «Стихов о Прекрасной Даме» до поэмы «Двенадцать» — не искал, как Блок, «защиты у Христа».

В 1907 году он в письмо к Любове Дмитриевне Менделеевой вкладывает стихи:

*Ты отошла, — и я в пустыне
К песку горячему приник.
Но слова гордого отныне
Не может вымолвить язык.
О том, что было, не жалея,
Твою я понял высоту:
Да, ты — родная Галилея
Мне — невоскресшему Христу.
И пусть другой Тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,
Где приклонить Ему главу.*

Какие бы жизненные обстоятельства ни вызвали к жизни эти строки, в них, как всегда у Блока, сказалось гораздо больше, чем обычно в лирическом послании. Целомудрие не позволило автору уподобить отошедшую от него женщину реальному евангельскому прототипу, Марии Магдалине, например. Он сравнивает ее с Галилеей, землей, взрастившей Иисуса, местом, где началась Его проповедь. Это очень по-блоковски: сравнить любимую женщину с родной землей. У многих на слуху: «О, Русь моя! Жена моя!..» Христа он называет Сыном Человеческим, — мы впервые встречаемся с таким наименованием. Так

говорит о Себе в Евангелиях сам Христос, выражение это повторено 70 раз, видимо, как характерное для Него. Оно несет двойной смысл: общепринятый — «Я, человек» и традиционно библейский: Сын Человеческий — носитель правды, верховный Судия... Не много ли берет на себя поэт, называясь Христом? Да, это поэтическая вольность, но ведь «невоскресший Христос» — это и не Христос вовсе! В Евангелии от Матфея (8, 20) читаем: «И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову...» Это опущение внутренней бездомности, неукота Блок пронесет через всю жизнь.

Однако это не первое обращение поэта к образу Христа. Безвременно ушедший Анатолий Якобсон, автор глубокой, истинно честной (писалась в 1969-1970 гг.) книги «Конец трагедии»¹ считает, что «ближе других к тому Христу, которого мы знаем по поэме «Двенадцать», кроткий, «*в цепях и розах*» «*агнец*», что «*пришел и смотрит в окно тюрьмы*» (стихотворение «Вот он — Христос». 1905 г.). Возможно, так оно и есть. Но пройти мимо метаморфоз блоковского образа Христа мы не можем.

Кто-нибудь обязательно скажет: никакие художественные взлеты не создадут образа Христа, хотя бы приближенного к евангельскому. Это — правда. Тем не менее литература об Иисусе Христе огромна. От Ренана («Жизнь Христа») до Александра Меня («Сын Человеческий») — работ чрезвычайно содержательных — вышли в свет десятки, если не сотни, произведений, авторы которых, на свой страх и риск, стремились пересказать, восполнить, популяризировать, приспособить к запросам своего времени личность Спасителя человечества. И чем плотней смыкаются над нашим голубым шариком тучи (или темная аура, как выражаются чародеи), тем острее интерес к Тому, Кто сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12).

У Блока, поэта непредсказуемого, образ Христа причудливо видоизменяется. Можно умилиться, но трудно принять душой образ микро-Бога, которому молятся в болотах, в топях российских «твари весенние» — плод народной фантазии: «*Мы и здесь лобызаем подножия / Своего, полевого Христа...*» Однако из этого языческого мифа вырастает совершенно другая, мощная фигура Христа староверческого:

*Задебренные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,*

¹ Вильнюс — Москва: ВИМО. 1992.

*Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе.
И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.*

Почему «сжигающем»? Речь идет о старообрядцах—«самосожженцах», поборниках старинной веры. Но только ли о них? Ведь не случайно эти стихи, начатые в 1907 году, Блок закончил в августе 14-го, когда уже шла I мировая война. Чувствуя, что «вся она — на плечах России», он болел за свою Родину, думал об ее прошлом, боялся новых распрей. И снова прибегал к сказавшему на века вперед: «Да будут все едино» (Ин. 17, 21)

Эпитет «ржавый», близкий к цвету крови, приводит на память и другое стихотворение 1907 года, которое я особенно люблю. Но обойти его вниманием невозможно не только по этой причине. Оно многое объясняет в том, что, на поверхностный взгляд, кажется необъяснимым.

*Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалет гроздь, —
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь, —
Когда над рябью река свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте, —
Тогда — проторно и далеко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.
В глазах — такие же надежды,
И то же рублище на нем.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.
Христос! Родной протор печален!
Изнемогаю на кресте!
И челн твой — будет ли причален
К моей распятой высоте?*

Аполлон, Муза — это область свободного художества, это — «горькая услада» самого поэта и всегда узкого, как бы он ни был широк,

круга читателей и почитателей. Там, где дело касается народа, России, «сораспятия» с ней, возникает со сверхлогической неизбежностью фигура Христа... Есть что-то символическое в том, что, безумно страдая перед смертью, во время одного из приступов он разбил кочергой маску Аполлона. А с кем остался? С Христом?..

Пусть Блок, подобно герою драмы «Роза и крест» Бертрану, любил свою суровую Родину «в мечте», — «*кровь предсмертных слез*», пролитых за нее, была абсолютно реальной. Он и революцию любил «в мечте»: «Она девушка. Это моя невеста!» — сказал А. Б[лок] о революции и поверил ей...» — пишет его близкий друг. Он и женщин любил «в мечте»: рыженькую, некрасивую Дельмас возвысил до непостижимой Кармен, поднял с земли на Небо: «*Сама себе закон — летишь, летишь ты мимо, / К созвездиям иным, не ведая орбит...*»/

Мечта и реальность — всегда ли они противостоят друг другу или в редких случаях уживаются, взаимообогащаются, «сопрягаются» потолстовски? Тогда возникает редчайший феномен — такой, как поэзия Блока. Ибо *трезвение*, — на языке христианских подвижников независимый ни от кого, объективный взгляд на вещи, свободный и от утешительных иллюзий, и от невольного самообмана, — было свойственно ему, как мало кому из русских лириков.

«История сама есть Страшный Суд» — эти шиллеровские слова любил Владимир Соловьев. Судя по всему, Блок разделял мысль немецкого собрата. Октябрь был возмездием за прошлое России, за «грехи отцов», о чем недвусмысленно говорит Блок в зацитированной статье «Интеллигенция и революция». Но без нее и нам не обойтись, только поворот другой, не политический. Готовность взять на себя крест чужого греха и жертвенно нести его до смертного своего часа — чувство глубоко христианское.

Обращение к теме «Двенадцати» — не из того же ли ряда?

Коллеги отмалчивались, злобствовали, уезжали. «Девушка»-революция уже казала страшный свой лик. Блок мужественно принял на себя огненную лавину многовековой ярости низов, всегда чаемой простонародьем вольницы, — и она накрыла его... Поэт, как было сказано выше, нуждается в освобождении гармонии, а то было освобождение хаоса. Но и хаос он, любимец Музы, обуздал как бы легко и даже весело, организовал — хотя бы ритмически, стихию ввел в стих. В уличных вошлях расслышал реплики. Как ни односложны, ни грозны они были, их членораздельность, выявленная им, свидетельствовала: они принадлежат человеку разумному, а не его хвостатому предку. Вот почему «сегодня я — гений».

Любит ли Блок своих героев? Да! И «двенадцать» тоже? И «двенадцать»! Он вообще считал, что автор не может не любить свои созда-

ния. Когда-то, в молодые еще годы, настаивал на том, что Грибоедов любил и Фамусова, и Молчалина. Пришли критики и сказали: «осмел».

Не забудем, что за самыми низкими явлениями повседневности для поэта вставали их высокие прообразы: *«И я люблю сей мир ужасный:/ За ним сквозит мне мир иной,/ Обетованный и прекрасный,/ И человечески-простой»*. Это одна из редакций стихотворения *«Да. Так диктует вдохновенье...»* 1920 года, т. е. уже после «Двенадцати».

Давно замечено: число красногвардейцев совпадает с числом апостолов. Значит, это антихристов перевертень, — есть и такая точка зрения. Ванька, Петька, Андриуха — якобы передразнивание святых имен Иоанна Предтечи, Петра-Симона, любимого ученика Христа, Андрея Первозванного. Но, с другой стороны, в таких отрядах, действительно, было в среднем по двенадцать человек. Имена — самые распространенные на Руси.

Да, Блок слышал, работая над поэмой, страшный шум, «возрастающий», как он писал, «во мне и вокруг». Но стоит ли спешить с приговором: такой шум сопровождает появление бесовских легионов?.. И еще одно, абсолютно не «антихристово» явление: пота авторского сострадания к его отпетым героям: *«Эх ты, горе-горькое,/ Сладкое житье!/ Рваное пальтишко,/ Австрийское ружье!»*

Не будем отдавать Блока силам ада, как раньше не отдавали его — тоже легионам — хвалителей искусственного, кровушкой политого рая на земле...

В какой-то счастливый момент, перечитывая поэму, я вдруг запнулась на последней строке. А не означает ли фраза *«Впереди Иисус Христос»* просто то, что Он еще впереди — у России, у времени, в которое живем?.. С удивлением и радостью обнаружила, что А. Якобсон предполагает то же самое: «Стена вьюги отделяет Христа от двенадцати, и разделяющее их пространство — символ разделяющего времени. *«Впереди Иисус Христос»* — значит: Христос в грядущем».

Близок к этому и Андрей Белый.

Сам Блок высказывался о своем творении противоречиво. Нам важно одно: он Христа не придумал — он Христа увидел. Вглядывался в снежные вихри, в почву — и не без разочарования, по собственному признанию, увидел именно Того, а не Другого...

Пусть так, но какое-то важное звено нами упущено. Какое же?

Христос и время — тема философская, и рассматривать ее тут мы не будем. Заметим лишь, что Его присутствие в мире совершенно не считается с нашими временными координатами. В христианском Символе веры говорится, что Иисус Христос был рожден «прежде всех век», до начала творения. Своим ученикам Он объявил: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 15, 26).

Эти «двое или трое» никак не привязаны ни к определенному месту, ни к определенному времени. Иначе современный православный священник не восклицал бы, обращаясь к предстоящим в храме: «Христос посреди нас!» И не слышал в ответ дружное: «И есть, и будет!»

«Пришел к своим, и свои Его не приняли» — это сказано с горечью не только об израильском народе. Это обо всех нас, — «труждающихся и обремененных», и о двенадцати — тоже...

То, что произошло с Россией в 17-м году, как и то, что происходит со всеми нами сейчас, очень часто называют явлениями «апокалипсическими». Чародеи ссылаются на недавний конец тысячелетия, пророчат новую эру, пазпачают, а потом отменяют, последние сроки. Если верить им, вот-вот начнется светопреставление. Хотя сказано в Евангелии: «...не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1, 7)

Что же пророчит нам христианская книга Откровение, она же Апокалипсис? Так ли она страшна, чтобы пугать ею верующих и неверующих?

Откровение Иоанна Богослова известно человечеству около двух тысяч лет. Невозможно даже беглым взглядом охватить все большие и малые «откровения», полученные людьми от разного рода пророков за столь долгий срок. Одни пророчества не переживают своих творцов. Другим дана магнетическая власть над людскими умами, но и они не выдерживают проверки временем, обнажают свою ложную суть перед новыми поколениями.

Апокалипсис не стареет, а молодеет с годами. Думаю, не только меня охватило смятение, когда чернобыльская трагедия бросила острый луч на одну из «темных» мест Библии: речь идет о «звезде польни», которая «пала на третью часть рек и на источники вод...» (Откр. 8, 10). Чернобыль и есть вид польни. И сколько таких совпадений, реальных или предполагаемых, зафиксировала история! Да что отдельные совпадения, если в заключительной книге Писания угадано главное: несмотря на данную человечеству Благою весть (Евангелие по-гречески), история развивается не согласно учениям утопистов, а совсем по другим законам: через войны, восстания, человекоистребление. Все это можно найти в символических образах Апокалипсиса.

Но слышать в бурном финале Книги Книг только ноты скорби и безнадежности, выуживать из нее одни ужасы — слишком распространенная ошибка нашего полужнания. Апокалипсис — обещание справедливого воздаяния: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (20, 12). Апокалипсис — книга утешения: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;

ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (21, 4) О благовестии новой земли и нового неба мы уже упоминали в начале беседы.

Апокалипсис говорит о том, что Завет (Союз), заключенный между Богом и человеком, еще принесет прекрасные плоды.

Нам, детям технократической цивилизации, живущим за порогом III тысячелетия от Рождества Христова, отравленным в равной степени скепсисом и диоксином, трудно поверить в это. Ну так пойдем на выучку к великим поэтам, и к первому из них, почти современнику нашему, Александру Блоку.

«Блоку верьте!» — Горький мог бы и не говорить этих слов, потому что Блоку веришь безоговорочно и без них: и его высоте, и его падениям, и его греховности, и его покаянию, и его безбожью, и проступающей сквозь него, как кровь из раны, — христианской вере.

«Апокалипсис» — называется одно из стихотворений молодого Блока, с эпиграфом из последней главы Откровения (22, 17): «И Дух и невеста говорят: прииди!» Цитирую дальше: «Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром».

А вот само стихотворение:

*Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.
Все дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной — к бездорожью
Золотая межа.
Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мной небеса.
Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.*

В этом мажорном ключе я и хочу закончить первую часть своей книги. «Золотая межа» русской поэзии, проникнутой библейскими мотивами, не только подводит «к бездорожью», от которого не свободна ни отдельная человеческая судьба, ни история в целом, но и выводит из него, показывает «жаждущим» и «желающим» Путь.

ЧАСТЬ II

ОТ АВТОРА

Если в первой части книги (от Третьяковского до Блока) я строго придерживалась хронологического принципа, то во второй части он оказался нарушен.

На первое место встал Максимилиан Волошин, родившийся в 1877 году, а не Вячеслав Иванов, который был на одиннадцать лет старше. Скорей всего потому, что в суровую годину революции и Гражданской войны Максимилиан Александрович остался в России и занял в братоубийственной боине истинно христианскую позицию.

Не загубившие золотого пера своего, творившие и умершие в эмиграции, Иван Бунин и Владислав Ходасевич расположились вслед за ним.

Андрей Белый дистанцировался от своего ровесника Блока, пережив его на двенадцать с лишним лет и хлебнув с избытком послереволюционного лиха.

Цветаева, бывшая моложе и Пастернака, и Мандельштама, придвинулась вплотную к Ахматовой, которую в молодости боготворила, а потом несправедливо осудила за старомодность.

Мандельштам уступил свое место Маяковскому, «точильному камню» нашей поэзии, как он однажды выразился, потому что так пожелал внутренний сюжет книги.

Есенин, самый молодой по возрасту, оказался рядом с Осипом Эмилевичем, слепленным совершенно из другого теста, но отдававшим должное поэту-«деревенщику»...

Каждый из поэтов был послан на Русскую землю со своей сверхзадачей. Каждый решал ее на паритетных началах со своим поэтическим гением. Я попыталась прочесть «порядок действий» при свете христианской веры...

Предвижу вопрос: почему только эти поэты, а не другие, не менее достойные? Таков мой субъективный выбор. Этих поэтов я знаю лучше, чем других, и люблю дольше и больше, чем других. Не полюбишь — не напишешь.



Сотворение животных. *Рафаэль*.
Рим, лоджии Ватикана



Бытие. Сотворение Евы. *Микеланджело Буонарроти.*
Рим, Ватикан, Сикстинская капелла



Бытие. Первородный грех и изгнание из рая. *Микеланджело Буонарроти.*
Рим, Ватикан, Сикстинская капелла



Вавилонская башня. *Питер Брейгель Старший.*
Вена, Музей истории искусства



Жертвоприношение Авраама. Джованни Баттиста Тьеполо.
Удино, Архиепископский дворец



Пророк Исайя. *Микеланджело Буонарроти.*
Рим, Ватикан, Сикстинская капелла



Благовещение. *Филипп де Шампень.*
Кан, Музей изящных искусств



Рождество. Филипп де Шампень.
Лилль, Музей изящных искусств



Крещение Христа. *Карнелис ван Харлем.*
Дуэ, Музей де ла Шартрёз



Явление Христа народу. (Явление Мессии) Фрагмент. А.А. Иванов.
Москва, Третьяковская галерея



Христос и блудница. *Лукас Кранах Младший.*
Санкт-Петербург, Эрмитаж



Притча о слепых. *Питер Брейгель Старший.*
Неаполь, Музей Каподимонте



Страшный суд. Ад. Деталь. Джотто ди Бондоне.
Падуя, Капелла Скровеньи



Христос в доме Марфы и Марии. Ян Вермер Делфтский.
Эдинбург, Национальная галерея Шотландии



Христос в пустыне. *И.И. Крамской.*
Москва, Третьяковская галерея



“Что есть истина?” Христос и Пилат. *Н.Н. Ге.*
Москва, Третьяковская галерея



Распятие. Христос на кресте. Деталь. *Грюневальд*.
Кольмар, Музей Унтерлинден



Воскресение Христа. *Грюневальд*.
Кольмар, Музей Унтерлинден

Глава тринадцатая

«МОЛЮСЬ ЗА ТЕХ И ЗА ДРУГИХ...»

(М. Волошин)

Блок уже был автором «Стихов о Прекрасной Даме», когда Волошин, по собственному признанию, еще только овладевал «техникой слова» (наряду с «техникой кисти и карандаша»).

Высылка из Москвы в Феодосию за участие в студенческих беспорядках; заграничное путешествие, пешком, на гроши; поездка на свой страх и риск на строительство Ташкентско-Оренбургской железной дороги — все это становится достойными вехами биографии поэта, когда он уже состоялся, прославился, но очень тормозит это становление, грозит опасностью навсегда остаться в литературе аутсайдером. Такие строки, как: *«Странником вечным/ В пути бесконечном / Странствуя целые годы,/ Вечно стремлюсь я,/ Верую в счастье,/ И лишь в ненастье/ В шуме ночной непогоды/ Веет далекой Русью...»* — попахивают графоманством. Неудивительно, что петербургский и московский Парнас кисло встретил первые публикации поэта со стороны, обзывая его «интерпретатором», «коммивояжером» и т.п. Блок в статье о литературных итогах 1907 года упрекнул Волошина, что он дал в печать «не лучшие свои стихи». Андрей Белый, правда, гораздо позже, сетовал, что он вовремя не умерил «свое поварское искусство в подаче стихов»... И Блока, и Белого Максимилиан Александрович считал, как сказано в автобиографии, «своими сверстниками», а ведь сверстники и определяют значение поэта, дают ему стимул роста или пригибают к земле. Тут было скорее второе.

Так он и остался в памяти современников и потомков пешеходом, странником — сначала по крымским холмам и азиатским плоскогорьям, по Италии и Франции, а десятилетия спустя оказалось — по вселенному человеческого духа. Уходящий век дышал ему в спину скрыто-надрывно; далеко не все слышали этот надрыв. Век наступивший опалял его своим невидимым до поры пламенем; он не бежал от огня, знал: все равно достигнет.

Страннику нужен дом. Нужна пристань, куда мог бы причалить его потрепанный бурями корабль. Судьба подарила ему такой дом: Киммерию (древнее название Крыма), Коктебель — татарское имя местности. Коктебель, как привычнее глазу. Дом поэта в Коктебеле — не пушкинское Михайловское, не лермонтовские Тарханы. Не наследство — в трудах и заботах устроенное гнездо — творение его души и мысли. Он, как демиург, создал его из ничего и такую энергию любви вложил в свое

детище, что ею заражались все, кто в нем побывал за век без малого, от Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама до Юлии Друниной и Фазиля Искандера. Автор этих строк — не исключение.

Я еще застала в живых Марию Степановну Волошину. Скромная фельдшерница, некогда спасенная им от голода, вторая супруга ничем не напоминала первую, талантливую художницу и писательницу с экзотической внешностью, Маргариту Сабашникову. Роднило их, пожалуй, только одно: чувство собственного достоинства. К нам, молодым поэтам, которых в годы шестидесятые стало вдруг тринадцать на дюжину, М.С. относилась сдержанно. С большим разбором приглашала в свою гостиную. Но уж если пригласила, — одаряла своим не притупленным долгой и тяжелой жизнью вниманием, благосклонно выслушивала стихи, читанные в узком кругу под сенью древнеегипетской... чуть не написала пирамиды; нет, гипсовой, но как будто мраморной великаньей головы царицы Таиах, открывала сокровища своих музейных комнаток. Портреты, бюсты, акварели, ступенчатые полочки с безделушками — глаза разбегались. Красота и чистота маскировали бедность домашнего убранства. Худая, почти бесплотная, хозяйка выглядела в своих блузках и кофтах домовладелицей с достатком. Поговаривали, что ее «одевают» Белла Ахмадулина и Галя Евтушенко...

«Макс завещал: пусть на мою могилу приходят поэты!» — словно невзначай роняла она. И это воспринималось как приказ: сама Марь-степанна сказала! Собирались группой и шли в гору, гору, гору по витым одышливым тропам, по колючей, как стерня, траве. Крымское солнце пекло, солончаковый пот заливал глаза, но Макс велел, Макс вел, жена его просила... Как-то пришли к нему в Духов день — первый понедельник после Троицы. Ровная плоская могила с изображением креста. Сухая земля. Камешки. Не традиционные березки, а цветущие дикие оливы приветствовали нас своим благоуханием. Внизу — застывшие в судорогах, голые, вечно новорожденные горы. Вверху — голубизна такой чистоты и проницаемости, что верится в многоярусность небес, в недоступное даже шестому чувству седьмое небо...

А Волошин и родился в Духов день, 16 мая 1877 года, назавтра после Троицы. Троица, или Пятидесятница, — праздник победившей христианской веры. Большого христианина, по глубинной сути и жизненному поведению, кажется, не знала русская поэзия XX века.

Никогда не забуду своего первого пребывания в Коктебеле, в середине шестидесятых. Мария Степановна, Маруся, как называл ее поэт, доверилась мне. Провела в комнату-библиотеку, выложила передо мной несколько больших, с амбарную книгу, переилетенных в светлосерый картон тетрадей своего мужа. Чья-то не очень умелая машино-

пись с кропотливой правкой от руки... «Пути России» — прочла я на первой странице, и углубилась в чтение, и меня не стало вовсе...

*С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок нагноуще, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи,
Германцев с запада, монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!*

Стихотворение называлось «Мир». Под ним стояла дата: 23 ноября 1917. И место написания: Коктебель. Почти пятьдесят лет стихи дожидались, что я (и такие, как я, — может быть, десятки, а может быть, и сотни) приеду сюда, полная комсомольских иллюзий, и... что со мной случится? Прозрею? Возмущусь? Задумаюсь? Потрясусь? Скорее всего, последнее. До прозрения было еще далеко. Задумывалась то я всю жизнь, прямо как Татьяна Ларина. Возмутиться, но кем, чем? Расхождением взглядов давно умершего поэта с утвердительным пафосом передовиц и учебников? Это было бы глупо. Спорить с ним — бессмысленно, тем более что вокруг меня витали и склоняли к размышлению тени тех, кого я любила и чтילה: Гумилева, Цветаевой. Знала я их в сильно адаптированном виде, но и то, что знала, не противоречило волошинским откровениям. Главное же — стихам я изначально верила больше, чем обязательным прописям политграмоты.

Не плохо бы разобраться, чем уж так сильно потряс меня Волошин. Ведь читала же я «Тихий Дон», «Разгром», «Двенадцать». Понимала, что пережить такую революцию, как Октябрьская, — не по ковровой дорожке ходить. Но во всех этих признанных и даже прославленных советской пропагандой книгах оставалась некая лазейка для надежды. Главное политическое событие 1917 года трактовалось в них как неизбежная трагедия на пути к чему-то несравненно лучшему, высшему, более достойному человека, что цепой величайших мук было если не достигнуто, то приближено к нам, во всяком случае... Или честную «соцреалистическую» литературу так толкова-

ли лукавые «веды», а студенты-отличники, вроде меня, всё принимали на веру?

Волошинские стихи сказали мне, что революция, музыкой звучащая для моих сверстников, — кровавая мешанина и всенародное горе, что красные и белые — разные названия одинаково мятущихся, заблуждающихся, несчастных людей, а такие понятия, как благородство, совесть, честь, от принадлежности к классу или партии не зависят.

Было в стихах еще что-то, выходящее за рамки моего тогдашнего понимания. Автор готов был принести в жертву все, что любил, и себя тоже, чтоб «искупить смиренно и глубоко Иудин грех до Страшного Суда». Библейские понятия, библейский пафос искупления почему-то волновали меня, хотя Библии я к тому времени не читала. Очевидно, христианская культура так глубоко проникает в поры человека, который хоть чему-то учился, что может воздействовать на него в обход его философских и тем более богословских знаний.

Но вернемся к волошинскому стихотворению «Мир». «Иудин грех» известен, думаю, всем: он предал Христа. Сначала, как это водится, в своей душе, а уже потом — в руки законников. Выходит, что и Россия предала Христа? Ну да, ходили всей семьей в церковь, христосовались на Пасху, жгли в красном углу перед иконами лампадное масло. Но за обрядами потеряли, а может быть, так и не обрели Христов дух. Никакой любви — одна ненависть. Руша церкви, разрушили душу нации. Искупить ее можно только дорогой ценой.

Примерно такая цепочка умозаключений выстроилась в моем девственном мозгу после чтения стихов и бесед с Марией Степановой...

Не так давно замечательный, ныне покойный писатель Юрий Давыдов напечатал в «Приложении» к «Ежегоднику Академии русской современной словесности» статью: «Наш век — это век Иуды». Замечательное совпадение!

Так кто же такой Иуда?

Иуда Искарот (из иудейского местечка Кериот-Хезрон) принадлежал к двенадцати апостолам, избранным самим Христом. Как могло случиться, что Иисус, знавший все наперед, не имевший нужды, «чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в человеке» (Ин. 2, 24–25), приблизил к себе будущего своего погубителя? Евангелие дает недвусмысленный ответ. Учитель не заблуждается относительно своего казначея, будто бы искушаемого о благородном использовании, в целях благотворительности, вверенной ему кассы; Он то называет его «неверующим» (Ин. 6, 64), то — прямо «диаволом» (Ин. 6, 70) Отдает себе отчет и не раз предупреждает других, что некто предаст Его. Бросая вызов «непротивленцам», говорит холодно и сурово: «горе тому человеку, которым Сын Человеческий (одно из биб-

лейских наименований Иисуса Христа) предается: лучше было бы тому человеку не родиться» (Мк.14, 21). Но Иуда нужен Ему, чтобы сбылись Писания, «что так должно быть» (Мф. 26, 54)

Из ветхозаветных пророчеств, имевших место за сотни лет до Рождества Христова, приведу только одно, из Книги Исаяи: «Он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 4–5). Едва ли о миссии Христа в падшем мире можно сказать точнее. Две тысячи лет назад он, Искупитель, искупил мир. А теперь погрязший в безбожии мир должен искупить Его. И России принадлежит тут особая роль...

«Грехи», «беззакония» — как все это далеко от нас, привыкших винить во всем время, страну, власть, коллег, соседей, родных, но уж никак не себя. Оказывается, все мы душевно больные, не в смысле клинического сумасшествия (хотя и такое не редкость), а в смысле несоответствия Образа, по которому созданы, тому лицу или личине, с которыми давно свыклись.

Процесс исцеления долгов и болезнен. Его проходит и каждая человеческая душа, и народы, и страны. В Библии прошедшее время — очень часто время отдаленного будущего, другого века, другого эона. Для Бога нет времени. Но оно есть для нас. Время — деньги вечности. В какой степени мы ее стяжаем, в такой степени каждый из нас — образ и подобие Божье...

Это труднодостижимый взгляд на вещи. Божеская правда — не человеческая правда. Волошин, по моему убеждению, ее разделял, во всяком случае к ней стремился. Нам — большинству даже верующих людей — это не дано или дано в редкие минуты озарения. Но давайте хотя бы приблизимся к ней. По бесконечной духовной лестнице, опираясь на стихи поэта-провидца, поднимемся хотя бы на две-три ступеньки.

Волошин родился в христианской семье (отец — из дворянского казачьего рода, мать — русская немка), но благочестие не считалось первойшей добродетелью в эмансипированном доме Кириенко-Волошиных.

Старый мир клонился к закату, и религия занимала все меньше места как в семейном, так и в учебном обиходе. Известно грустно-бравировующее признание поэта из его автобиографии: «Ни гимназии, ни университета я не обязан ни одной мыслью», значит, и мыслью религиозной. Правда, строго разделив свою жизнь на семилетия (за семилетие до смерти), Максимилиан Александрович во втором периоде

отмечает «лекции по истории религии, сочинения на сложные, не по возрасту, литературные темы». Стихи он тоже пишет с юношеских лет.

Христианские отшельники закаляли свой дух в пустыне. «Решающим моментом в своей духовной жизни» Волошин считал полгода, проведенные в пустыне с караваном верблюдов. Удивительные переключки устраивает судьба! «Ташкент — Париж», — ставит он под первым стихотворением из книги «Годы странствий». Россия для него теперь — щемящее воспоминание и печатный станок, откуда выходят в свет на страницах престижных газет и журналов его статьи и стихи, Франция — художественная мастерская, Париж — сердце этой мастерской.

Пригубив тонких символистских ядов, сначала отечественных, потом западных, его стихи становятся все более изощренными, избыточно нарядными. Буддистские, теософские, оккультные понятия и образы смешиваются с христианскими, и последние просто тонут, захлебываются в них.

Первая русская революция 1905 года, по собственному признанию М.А., прошла мимо него. Но, оказавшись в Петербурге девятого января, впоследствии названного Кровавым воскресеньем, поэт предчувствовал его последствия. Через год это вылилось в стихотворение «Ангел мщенья».

Уже первая его строка настраивает на библейский, на евангельский лад: «Народу русскому: Я скорбный Ангел Мщенья!..» Если мы откроем вторую-третью главы Откровения, или Апокалипсиса, заключительной книги Библии, наше внимание обязательно остановит обилие обращений:

«Ангелу Ефесской церкви напиши... И Ангелу Смирнской церкви напиши...И Ангелу Пергамской церкви напиши...» (Откр. 2. 1,8,12) — всего шесть обращений. Сам Христос через любимого апостола Иоанна Богослова обращается к Ангелам разных, реально существовавших церквей, отмечая, как сказали бы в наши времена, их достижения и неудачи.

Ангелы (от греч. *angelos* — вестник), согласно энциклопедическому словарю, в иудейской, христианской, мусульманской и некоторых других религиях сверхестественные существа, посредники между Богом и людьми. В Библии к слову «ангел» чаще всего прилагается определение «Господень» или «Божий». Есть светлые ангелы, святые. Есть и темные, ангелы Сатаны. Так, в 12-й главе Откровения сказано: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и Сатаной, обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (9).

Не будем уподобляться саддукеям, говорившим, что нет ангелов (Деяния, 23,8). Не будем утверждать то, чего не знаем. Но вот Ангела Мщенья в Библии нет, это точно, и вообще глагол «мстить» встречается в ней очень редко. «Бог, мстящий за меня...», о котором возвестил псалмопевец (Пс. 17,48), — это нечто другое, это длань, наказующая обидчика свыше; иногда ее называют рукой рока. «Не мстите за себя, возлюбленные, — призывал апостол Павел, — но дайте место гневу Божию» (К Рим. 12,19), да только плохо человечество слушает призывы мудреца. А насколько они весомы, говорит одно то, что продолжение этого стиха Лев Толстой поставил эпитафией к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и Аз воздам, говорит Господь».

Что же у Волошина?

*Народу русскому: Я скорбный Ангел Мщенья!
Я в раны черные – в распаханную нощь
Кидаю семена. Прошли века терпенья.
И голос мой – набат. Хоругвь моя – как кровь.*

Терпение — добродетель только тогда, когда ангел ли, человек ли, хотя не в силах «сносить развратных», все же трудится и не изнемогает при этом, стараясь «для имени» Бога (Откр. 2,2–3). В других же случаях это или поза, или, что гораздо хуже, накопитель жажды мести, ненависти. Так и случилось в истории, когда «прошли века терпенья», впрочем, любой век не единожды срывался с нарезки — просто масштабы были другие.

Что Ангел Мщенья — из черной стаи, мы поняли без труда, но, если поэт и сочинил его, не было ли какой библейской подсказки? Цитирую стихи дальше:

*На буйных очагах народного витийства,
Как призраки, взращу багряные цветы,
Я в сердце девушки вложу восторг убийства
И в душу детскую кровавые мечты.
И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость,
Я грезы счастья слезами затоплю,
Из сердца женщины святую выну жалость
И тусклой яростью ей очи ослеплю...*

.....
*Я синим пламенем пройду в душе народа.
Я красным пламенем пройду по городам,
Устами каждого воскликну я «свобода!»,
Но разный смысл для каждого придам.*

*Я напишу: «Завет мой – Справедливость!»
И враг прочтет: «Пощады больше нет»...
Убийству я придам манящую красоту.
И в душу мстителя вопьется страстный бред.
Меч справедливости – карающий и мстящий –
Отдам во власть толпе. И он в руках слепца
Сверкнет стремительный, как молния разящий –
Им сын заколет мать, им дочь убьет отца...*

Очень страшные стихи! Страшны и сами по себе, и как сценарий (не кощунственно ли тут это слово?) того, что произойдет через одиннадцать лет. А что в них самое коварное? Смысловой перевертень. Свобода, справедливость, красота – всё меняет свой знак. Обольстив звучанием, заманив в золотые сети, предстает рабством, беззаконием, уродством; жертвы обмана или насильственно расстаются с жизнью, или долгие годы видят столь близкое, казалось бы, небо – в клеточку.

Во Втором послании Коринфянам апостол Павел дает ключ к перевертням такого рода: «И неудивительно: потому что сам Сатана принимает вид Ангела света» (11, 14). Так вот под кого работает Ангел Мщения – под Ангела света! Как же люди не догадываются?..

В опрокинутом, поставленном с ног на голову мире и «меч справедливости» становится только орудием убийства, вопия о нарушении одной из самых главных, самых известных заповедей, данных Господом человечеству через древнееврейского пророка Моисея – «Не убивай» (Исх. 20, 13).

А возможен ли вообще «меч справедливости»? В Ветхом Завете меч служит разной надобе. В Книге Бытия, изгнав за ослушание Адама из рая, Бог ставит «на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни» (3, 24). Меч дается в руки ветхозаветным персонажам, чтоб они поразили своих врагов, которые обычно и враги Божии. За отвержение Завета (т.е. Союза между Творцом и лучшим его творением), за нарушение заповедей Тот, кто дал их, грозит ослушникам навести на них «мстительный меч» и наказать «всемерно» за грехи их (Лев. 26, 25, 28). Но уже в Псалтири, созданной за тысячу лет до Рождества Христова, говорится: «не меч мой спасет меня; Но Ты спасешь нас от врагов наших...» (43, 7, 8) Эти слова на свой лад повторит Александр Невский: «Не в силе Бог, а в правде»; недаром он причислен к лику святых...

Знаменитое «перекуют мечи свои на орала» встречается и у пророка Исайи (2, 4), и у пророка Михея (4, 3). В Евангелии «меч» употребляется и в духовном значении, что очень важно, на мой взгляд, и для раз-

гадки таинственных слов Христа, над которыми столетия бьются богословы: «...не мир пришел Я принести, но меч...» (Мф.10,34)

Я не богослов, спорить с доками не собираюсь; христианство столько раз подвергалось (и подвергается) поношению, что и у самого миролюбивого человека рука сама может потянуться к оружию защиты. Но, размышляя о «мече», нельзя все-таки игнорировать слова апостола Павла из Послания к Ефессянам: «...наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных... Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности (...) И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие» (Еф. 6,12,14,17).

«Меч духовный» не имеет ничего общего с орудием убийства! Великие художники многократно изображали ту сцену из Евангелия, когда преданного Иудой Христа окружили в Гефсимании стражники с мечами и кольями. Много ли найдется в истории человечества более содержательных, более пронзительных сцен? Далее цитирую Матфея, потому что сильнее и кратче не скажешь: «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч, мечем и погибнут» (Мф. 26, 51–52).

Финал волошинского «Ангела мщенья» вбирает в себя приведенные выше слова Христа. Поэт лишь делает из этих слов провидческий вывод:

*Не сеятель сберет колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.*

Через 16 лет, пережив Гражданскую войну и весь тот ужас, что она принесла с собой, Волошин напишет стихотворение «Меч» (из цикла «Путями Каина»), где самопроизвольно дополнит, а вернее прояснит главный смысл, вложенный в уже известные нам слова Самого Господа. Стихи — свободные, верлибр. Библия тоже написана свободным стихом.

*О правосудие,
Держищее в руках
Весы и меч! Не ты ль его кидало
На чаши мира: «Горе – побежденным».*

*Не веривший ли в справедливость
Приходил
К сознанию, что надо уничтожить
Для торжества ее сначала всех людей?
Не справедливость ли была всегда
Таблицей умноженья, на которой
Труп множили на труп,
Убийство на убийство
И зло на зло?
Не тот ли, кто принес «Не мир, а меч»,
В нас вдунул огонь, который
Язвит и жжет и будет жечь наш дух,
Доколе каждый
Таинственного слова не постигнет:
«Отмщенье мне, и Аз воздам з а з л о».*

Надеюсь, Максимилиан Александрович и читатели простят мне такое непропорционально большое внимание к одному из видов холодного оружия. Но сейчас, когда я пишу всё это, когда идет на Востоке тяжелая, затяжная, ползучая война со сверхгорячим оружием, со смертоносными метастазами во многих странах, хочется хотя бы для себя уяснить, так что же — мир или меч — принесло на землю христианство...

Между двумя русскими революциями Волошин живет и работает то во Франции, то в Коктебеле, а в Петербург и Москву только наезжает.

Первого января 1917 года в газете «Речь» появилось писанное сокрушенным сердцем М.А. эссе о бельгийском поэте Верхарне, которого он очень любил. Кузнец слова, рыцарь Долга, земной запасной святого Георгия, наложившего на него п о с л у ш а н и е м у ж е с т в а, Верхарн погиб в шестнадцатом году под поездом: ему отрезало обе ноги. Размышляя о коллеге, о его горьком даре пророчества, данном свыше, наш герой без запинки определяет свое место в уже начавшейся исторической катастрофе: «Когда на земле происходит битва, разделяющая все человечество на два непримиримых стана, надо, чтобы кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпоху всеобщего ожесточения и слепоты надо, чтобы оставались люди, которые могут противиться чувству мести и ненависти и заклинать обезумевшую реальность — благословением...»

Подчеркиваю: сказано это на пороге 17-го года... «Душа Верхарна, — пишет автор, — жила в огненной атмосфере, окружавшей души

Иезекииля и Исаяи. Он глядел на крыши современного Лондона и Парижа с тем же чувством и той же перспективой, как они глядели на дома и стогны Ниневии и Вавилона».

Иезекииль и Исаяя — древнееврейские пророки; в Ветхом Завете есть Книги того и другого. Для обоих однажды «отверзлись небеса», и «слово Господне», суровое, нелицеприятное, потекло через них к народу, «обремененному беззакониями» (Иез.1,1,3; Ис.1,4). Поэт не случайно тревожит тени древнейших провидцев.

По признанию Волошина, в 1917 году, до Октября, он «не смог написать ни одного стихотворения». Имеется в виду — о происходящем, о свершающемся на его глазах, ибо, вернувшись в 1916 году на Родину, он ее уже никогда не покинет. В бескровную Февральскую революцию поэт не верил, чувствовал интеллигентскую ложь, прикрывающую страшную реальность, мысленным взором уже видел Красную площадь залитой кровью. Это сбылось с inferнальной неукоснительностью. «ЛГ» № 4 за 2002 год в статье «Огонь по Кремлю» пишет: «петроградский кошмар все-таки меркнет перед тем, что случилось в Москве всего несколько дней спустя. Здесь в результате жестокой борьбы за власть вспыхнуло кровопролитное сражение между сторонниками и противниками большевиков. С 28 октября по 3 ноября 1917 года Москва почти в течение семи суток поливалась (и теми, и другими!) артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем (...) Вот какое зрелище предстало затем потрясенному взору москвичей: на каменной площади у Успенского собора стояли огромные лужи крови с плавающими в ней человеческими мозгами...» (Юрий Климаков).

Худшее свершилось, и слова Исаяи, «открывшиеся в ночь на 1918 год», становятся эпитафией к стихотворению «Родина»: «Каждый побрел в свою сторону, И никто не спасет тебя» (Ис. 47,15). Стихи эти достаточно известны; приведу лишь 11 строк:

*Еще безумит хмель свободы
Твои взметенные народы
И не окончена борьба, —
Но ты уж знаешь в просветленьи,
Что правда Славии — в смиреньи,
В непротивлении раба;
Что искус дан тебе суровый:
Благословить свои оковы,
В темнице простираясь ниц,
И части воспринять Христовой
От грешников и от блудниц...*

«Славия», по-волошински, это Россия в ее славянской, в ее литературно-возвышенной ипостаси... Строки, рожденные в мае 1918 года, как бы аккумулируют надежды высоколобых мужей, философов-идеалистов и богословов-славянофилов, на смиренномудрое поведение при сломе эпох того самого «народа-богоносца», о коем было столько жарких дискуссий. Таким он виделся им в тиши рабочих кабинетов, лекционных залов и библиотек... Разве Тютчев не писал о России: «*Удрученный ношей крестной, /Всю тебя, земля родная, /В рабском виде Царь небесный /Исходил, благословляя?*» В 15-м году (уже шла Первая мировая) Волошин подсознательно вторил ему: «*Люблю тебя в лике раба, /Когда в тишине полей / Причитаешь голосом бабьим /Над трупами сыновей...*» Однако злой дух русской истории разгулялся с такой неумолимой силой, такая чернота полезла из всех щелей, ведущих не иначе как в преисподнюю, что чуткий Макс никогда больше не касался примиренческих струн своей вдруг грузно отяжелевшей – не поднять – лиры.

«Явление Иезекииля», написанное даже раньше «Родины», предвещало прощание со славянофильскими иллюзиями. Поэту, под ногами которого открылась бездна, то есть уходящая вглубь чудовищная воронка без дна, невозможно опереться на современную культуру, на привычные нравственные ценности, на авторитет классиков, потому что оказывается под вопросом, на глазах сходит на нет самая суть бытия. И он хватается за последнее, что еще остается: за Библию. Открывает, нет, не наугад, – вспомним эссе о Верхарне, – Книгу одного из великих пророков древности. Начинает по его замыслу былинку сего времени. Странными, несусветными словами объясняется поэт:

*Бог наш – есть огонь поядающий. Твари
Явлен был свет на реке на Ховаре.
В буре клубящейся двигался Он –
Облак, несомый верховными силами,
Четверорукими, шестерокрыльями,
С бычьими, птичьими, человеческими,
Львиными ликами с разных сторон...*

«При реке Ховаре» находился и библейский Иезекииль, священник в земле Халдейской, он тоже видел «великое облако и клубящийся огонь», «и из середины его видно было подобие четырех животных», «И лица у них и крылья у них – у всех четырех», «Подобие лиц их – лице человека и лице льва», «лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех» (Иез. 1, 1,4–5,9–10). Как видим, Волошин береж-

но относится к тексту видения. Какой Хичкок возьмется все это изобразить?! Не знаю. Такие символы трудноразгадываемы или вообще неразгадываемы, но дистанция непостижимости, разделяющая Творца и непокорную тварь, «огнь», «пожароопасный» вероотступников, передаются ими весьма впечатляюще.

Дальше — в Книге пророка — самое жесткое: «...за то, что вы умножили беззакония ваши более, нежели язычники, которые вокруг нас, по уставам Моим не поступаете и постановлений Моих не исполняете (...), За то отцы будут есть сыновей (...) и сыновья будут есть отцов своих...» (Иез. 4,7,10). Волошин опускает этот кусок. Может быть, вчерашнему парнасцу претит такой натурализм? Может быть, он надеется: пронесет нелегкая? Восемнадцатый год — в самом начале... А ведь будет это, будет. И в стихотворении «Голод» (13 января 1923 года) поэт скрепя сердце напишет о нечеловеческом: «*Души была давно дешевле мяса, / И матери, зарезавши детей, / Засаливали впрок: „Сама родила — / Сама и съем. Еще других рожу..”*» «Матери» тут звучат еще чудовищнее «отцов»...

Хочется ничего такого не знать, зажмуриться, закрыть на прошлое глаза, но Библия, трезвый очевидец истории, не отпускает нас в беспамятство. Священное Писание есть теперь у многих людей. Только часто ли оно открывается?..

В 12-й главе Книги Иезекииля дан красочный портрет дочери израильской — прообраза возлюбленного Господом Иерусалима. Горячо и очень лично воспроизводит его в своих стихах Волошин, и теперь за ним грозно проступает... судьба России. Судит, как и в оригинале, Сам Господь:

*Хлебом пшеничным, елеем и медом
Я ль не вскормил тебя щедрой рукой?
Дальним известна ты стала народам
Необычайною красотой.
Но, упоенная славой и властью,
Стала мечтать о красивых мужах
И распялялась нечистой страстью
К изображениям на стенах.
... Строила вышки, скликала прохожих
И блудодеяла с ними на ложах,
На перекрестках путей и дорог,
Ноги раскидывала перед ними,
Каждый прядя оголить тебя мог
И насладиться сосцами твоими.*

В сущности это библейский вариант известнейшего стихотворения «Святая Русь», со знаменательной концовкой:

*Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гуляющая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь!*

«Безумец, обладающий даром пророчества» — раскрывает словарь Ожегова основной смысл слова «юродивый». Советский энциклопедический словарь, определяя юродивых, идет еще дальше: «психически неполноценные лица, которых в прошлом часть верующих считала «ясновидцами» и «прорицателями». В народе распространено другое толкование: непроизвольный посредник между высшими силами и людьми, калика переходный, нищий, лишивший себя ради Христа всех земных благ, способный без страха сказать правду самому царю; вспомним пушкинского «Бориса Годунова». Волошин видит в этом качестве взбунтовавшуюся Русь.

Говорил о «юродстве» и апостол Павел. Обращаясь к древнему народу — коринфянам, сокрушаясь по поводу «мудрости мудрецов» и «разума разумных», бессильных упасти от гибели насквозь греховный мир, могучий проповедник христианства с надеждой обращал свой взор на крест Христов. Раз распятый воскрес, явился перед потрясенными людьми «первенцем из мертвых», не наглядное ли это свидетельство Силы и Славы Божьей? Не указка ли мящим, что их ум самодостаточен и не нуждается в освящении (корректировке — сказали бы мы сейчас) свыше?..

Но послушаем самого апостола: «... слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия (...) Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоудно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1Кор. 1,18,21).

Как ни остановимы в своей ярости огонь, вода, землетрясение, извержение вулкана, падение небесных тел, так неуправляема и революционная стихия. Но поэт-мыслитель хочет дознаться, что же стоит за этим. Пушкин не доверял «мышьей беготне» жизни, не боялся показаться, докапываясь до ее сути, голым рационалистом: «*Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу*». С тем же настырным отчаянием Волошин искал смысла в революции. То, что целая страна впала в юродство Христа ради, — безумная вроде бы идея, но России, как по-

нимал ее поэт, она подходила, ибо была ответом духа народного на ее кровавую историю.

Русскую историю поэт читает без розовых очков:

*В этом ветре – гнет веков свинцовых,
Русь Малют, Иванов, Годуновых –
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса –
Чертогона, вихря, свистопляса –
Быль царей и явь большевиков.
... Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов
И размах заплочных мастеров...*

«Северо-восток» (1920)

Наших «государственников» должны возмущать такие волошинские высказывания, и одно из доказательств — в моих руках, но об этом — чуть позже... Приведенное мной стихотворение попало бы на черную полку нашей поэзии (вместе с пушкинской «Вольностью», лермонтовским «Настанет год, России черный год, / Когда царей корона упадет...», блоковской «Песней Ада» и некоторыми другими, где авторы вольно или невольно выступают проводниками небожеской правды), однако поэт не дает затянуть себя в ту — помните — воронку без дна, которая ощерилась на него с лица родимой земли. Мужество, совсем было оставившее его, возвращается как будто по слову апостола: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды; Все у вас да будет с любовью» (1Кор.16, 13, 14). Тональность «Северовостока» резко меняется:

*Мы идем по ледяным пустыням –
Не дойдем... и в снежной вьюге сгинем,
Иль найдем поруганный наш храм –
Нам ли весить замысел Господний?
Все поймем, все вынесем любя...*

Не поверила бы, если бы сама не прочла, что и в наши дни это поворотное (от исторической безнадеги к христианской надежде) стихотворение может вызвать дикое раздражение. И у кого? У атеи-

ста? У невежды? Никак нет! У человека, всесторонне образованного, литературно одаренного, глубоко, по собственному признанию, верующего. Рекомендую: Андрей Зубов. Окончил МГИМО, доктор исторических наук, плодовитый литератор, находится в центре русско-го религиозного возрождения.

В рубрике «Полемика» журнал «Новый мир» № 8 за 2001 год опубликовал «Переписку из двух кварталов» Григория Померанца и Андрея Зубова. Первый — человек заслуженно известный, автор многих книг, философ, мыслитель. Второго я только что представила. Застрельщик переписки — Померанц, он сочувственно отзывается об одной новомировской статье Зубова (1999, № 5), однако со свойственной ему мягкой принципиальностью вступает с автором в спор по ряду вопросов. Речь идет о послереволюционных жестокостях. С обеих сторон. О братоубийстве, перешедшем в России все мыслимые пределы. Вот место, которое нас интересует:

«Была возможность протестовать и против белого террора; и то, что церковь эту возможность почти не использовала, — ее грех. Можно было прятать красных от белых и белых от красных, как это делал Волошин. Я не отрицаю героики. Но в героике Гражданской войны было слишком много ненависти, “пены на губах”. Волошин мне ближе».

Зубов, бескомпромиссный сторонник белого движения, отвечает ему распаленным от гнева письмом. Гнев, конечно, относится не к интеллигентному и знающему больше, чем все мы, корреспонденту, — у доктора наук мишени глобальнее. Одна из них — Максимилиан Волошин. Выписываю с небольшими сокращениями два абзаца:

«Вы приводите в пример Волошина. Но разве над схваткой был он в эти годы? Это он хотел быть “над”, а был в схватке, в самом горниле ее (...) Волошин знакомится с палачом Одессы, председателем городской ЧК Северным и восхищается им (не восхищается — отдает должное, — Т. Ж.) : «У него кристальная душа, он многих спасает!.. Это очень чистый человек». Потом на всякий случай б е ж и т в Крым (разрядка моя, — Т. Ж.) к белым на шхуне “Казак”, но в качестве платы большевикам за свое избавление помогает проникнуть (какая-то уголовщина! — Т. Ж.) вместе с ним в Белый Крым трем агентам ЧК, за что и заслужил от них благодарность. Живет благополучно в Коктебеле (вечно в нужде, в болезни, — Т. Ж.), философствуя по поводу «севера-востока» (он же поэт-философ! — Т. Ж.) и приветствуя большевиков (не он один приветствовал тех, кто его уничтожит, — Т. Ж.), от которых его защищает еще в Крыму горстка белых воинов Русской армии Врангеля: “Нам ли весить замысел Господний? / Всё пойдем, всё вынесем любя, / — Жгучий ветер полярной преисподней, / Божий

Бич! Приветствую тебя!» (В контексте творчества поэта и эта строфа занимает свое исконное место, — Т. Ж.)

Продолжаю цитировать Андрея Зубова:

«Следя своей привычке влюбляться в начальников Чрезвычайек (фи! уже и голубой оттенок пошел в ход! — Т. Ж.), он посвящает Сергею Кулагину, руководителю ЧК 30-й Сибирской дивизии Красной армии, занявшей 15 ноября 1920 года Феодосию, проникновенные строки (с плохими, впрочем, наспех сколоченными рифмами: «Пред вами утихает страх /И проясняется стихия, /И светится у вас в глазах/Преображенная Россия» (при чем тут рифмы? они самые обыкновенные. — Т. Ж.)). По всему Крыму идет кровавая бойня. Около шестидесяти тысяч человек расстреляно, утоплено, убито самым зверским образом по приказу «освободителя» Крыма Белы Куна, а тут «свет в глазах» чекистского начальника. Какое уж тут «над схваткой» — это или нравственный идиотизм, или прямое сотрудничество с дьяволом» (не берите на себя функции Страшного Суда, г-н доктор наук! — Т. Ж.).

Парадоксально (но больше все-таки грустно), что ныне покойный известный поэт Сергей Наровчатов, автор вступительной статьи к одному томику Волошина, тоже был недоволен его позицией «над схваткой», но уже с другой стороны, со стороны победившего Октября. Человек начитанный, он напоминает: «Над схваткой» — так назывались сборники Романа Роллана, то есть русский поэт ничего своего вроде и не изобрел. Наровчатов сетует, что «в обстановке ожесточенной классовой борьбы» Волошин так и не определил своего места в ней.

Ни тот, ни другой не могут или не хотят, по моему мнению, взглянуть на жизненный и творческий путь поэта «с точки зрения вечности».

Андрей Зубов все-таки признает: прозревший наконец-то Волошин вскоре начинает писать «совсем другие песни»: «Красная Пасха», «Террор», «Бойня»... Но и тут ставит нашкодившего поэта в угол, ибо «не может он порой удержаться от того, чтобы одобрительно не похлопать по плечу Бога: “И из недр обугленной России говорю: “Ты прав, что так судил!”»

Насмешливо-списходительный тон А. Зубова не имеет под собой никакой почвы. Последние две строки вырваны им из стихотворения «Готовность». Вот уж одно из неоспоримых свидетельств неразрывности духа русского поэта не только с духом его Родины, но и с духом Библии. Его «готовность» — готовность к жертве во имя Божьей правды.

Стихи приводят на ум не имеющую себе равных в Священной истории сцену с Авраамом и Исааком из 22-й главы Книги Бытия. Цитирую Библию:

«Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе (...)

И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». (2,9,10)

Ангел отвел его руку. Можно предположить, что вера патриарха испытывалась ветхозаветным путем, а в спасении отрока мне чудится вмешательство иных сил, благовестящих далекое, но пронцаемое будущее...

У Волошина не было сына. Однако, веруя в то, что в мире, чудесно устроенном по Божьему произволению, на Родине, терзаемой глухонемыми демонами революции («дух немый и глухий» — это тоже Евангелие: Мк. 9,25; см. о нем в главе о Тютчеве), не может твориться просто кровавая бессмыслица, а происходит проверка на духовную прочность, — поэт в подтверждение своей неиссякаемой веры в разумное Высшее начало готов принести в жертву самого себя.

*Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?
Апокалипсическому Зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и в смраде — верю!
Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, — вот плоть моя.*

Можно не соглашаться с таким взглядом на вещи, считать волошинскую готовность на муки, пытки и даже смерть во имя очищения огнем и преображения «обугленной России», а в конечном счете во имя веры в Разумное Начало, малопонятным анахронизмом, мазохистским извращением, но насмешничать, называть позицию страдающего в трагическую годину вместе с Родиной поэта «нравственным идиотизмом» — грех.

«Апокалипсический зверь» возвращает нас к Новому Завету, к Откровению Иоанна, где «зверь, выходящий из бездны» (11,7) творит бесчинства на земле, а земляне поклоняются ему. Вся тринадцатая глава Апокалипсиса – грозное предупреждение легкомысленному человечеству. Ибо «зверь», воплощенное, одухотворенное зло, не только убивает всякого, «кто не будет поклоняться образу зверя» (13,15), но и обольщает доверчивых, говорит «гордо и богохульно», ведет войну со святыми и побеждает их, в своем откровенном богоненавистничестве добирается даже до «живущих на небе» (13, 5–7). Параллели с действительностью, открытой взору поэта, воистину разительные...

Человек, что поклоняется зверю, – это уже не образ и подобие Божье, а некий противоестественный гибрид, способный на все.

О таких оборотнях писал Достоевский, и Волошин еще в конце семнадцатого года охотно пользуется его терминологией: «трихины», «бесы» для определения трудноопределимого. У старшего собрата черпает он и то великодушие, ту милостивую широту в отношении к человеку падшему, что не одному, поди, Андрею Зубову кажутся беспринципностью, граничащей с предательством.

*Ваятель душ, воззавший к жизни племя
Страстных глубин¹, провидел наше время.
Пророчественною тоской объят,
Ты говорил томимым нашей жаждой,
Что мир спасется красотой, что каждый
За все во всем пред всеми виноват.*

Вот почему поэт дает в стихах и прозе жутковатые, но человеческие, слишком человеческие портреты воротил и рядовых участников революции («Красногвардеец», «Матрос», «Большевик», «Снекулянт» и др.). Вот чем объясняется его равное, невыносимое для политиков и особенно политиканов отношение к белым и красным. В стихотворении «Неопалимая Купина» поэта жажда спасения для всех пережестывает через край: «Мы – зараженные совестью: в каждом / Стенке – Святой Серафим, / Отданный тем же похмельям и жаждам, / Тою же волей томим. / Мы погибаем, не умирая, / Дух обнажаем до дна... / Дивное диво – горит, не сгорая, / Неопалимая Купина!»

Не смею комментировать эти выстраданные поэтом строки. Мне не дано подняться до такой нравственной высоты, хотя хотелось бы. Замечу только, что сама «неопалимая купина» – библейское по-

¹ Полагаю, что речь тут идет о новом «племени», способном на глубины страдания (и сострадания). – Т.Ж.

нятие. Вознамерившись освободить свой народ из египетского плена, Бог говорил с пророком Моисеем «из среды тернового куста». Ангел Господень явился будущему предводителю «в пламени огня», и тот увидел, что «терновый куст горит огнем, но куст не сгорает» (Исх. 3,2). В Евангелии от Луки «купина» — символ бессмертия (20,37).

Древнюю Книгу страдальца Иова, на воспаленные сомнением вопросы которого Господь отвечал «из бури» (40,1), вспоминаешь, читая волошинского «Левиафана», где тоже «из бури», менее природной, более исторической, как следует из всего творчества Волошина, говорит Создатель:

*«Кто ты,
Чтоб весить мир весами суеты
И смысл хулить моих предназначений?
Весь прах, вся плоть, посеянные мной,
Не станут ли чистейшим из сияний,
Когда Любовь растопит мир земной?
.....
Я сам огнем томлюсь в твоей крови.
Как я — тебя, так ты взыскуешь землю.
Сгорая — жги!
Замкнутый в гроб — живи!
Таким мой мир приемлешь ли?»
Приемлю...»*

1924

Коктебель

Иову, как известно, Бог возвратил все отнятое у него, и умер он «в старости, насыщенный днями». (42,17). Волошин ушел пятидесятипятилетним, в августе 32-го года, уже видя плоды «добровольной» коллективизации и беззаконье набирающих силу политических репрессий. Сокровище на земле, не считая стихов, у него осталось одно: гостеприимный для собратьев по перу и кисти Дом поэта. Сокровища на небе, верю, безмерны.

Зацитированы до неприличия, особенно в последние 18–20 лет, его программные, мгновенно запоминающиеся строки из стихотворения «Гражданская война»:

*А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме*

*И всеми силами своими
Малюсь за тех и за других.*

22 ноября 1920
(При Врангеле)
Коктебель

Он не считал нужным оправдывать свою аполитичность. Но в «Автокомментариях к стихам, написанным во время революции», объяснил ее. «Поэту и мыслителю совершенно нечего делать среди беспорядочных столкновений, хотений и мнений, называемых политикой». И оттуда же, только ниже: «Молитва поэта во время гражданской войны может быть только за тех и за других: когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев».

В своих воспоминаниях «О Н.А. Марксе» (крымчанине, толстовце, генерале-предателе, по мнению белых, которому грозила неминуемая казнь) Волошин приоткрывает тайну своей молитвы: «Молятся обычно за того, кому грозит расстрел. И это неверно: молиться надо за того, от кого зависит расстрел и от кого исходит приказ о казни. Потому что из двух персонажей — убийцы и жертвы — в наибольшей опасности (моральной) находится именно палач, а совсем не жертва. Поэтому всегда надо молиться за палачей — и в результатах молитвы можно не сомневаться».

Старый генерал был спасен. Вера победила. Но для нас еще важнее, что именно молитва поэта за тех и за других — что-то невидимое, невесомое в полыхании пожаращ братоубийственной войны — поставила Максимилиана Волошина на совершенно особое место в русской литературе и истории. И этого места никто у него не отнимет.

Глава четырнадцатая

◆ НИКОГО В ПОДЛУННОЙ НЕТ, / ТОЛЬКО Я ДА БОГ... ◆

(И. Бунин)

Он умер в ночь с 7 на 8 ноября 1953 года... Накануне он еще мыслил вслух — глубоко и страстно. Говорил о бессмысленности смерти, о Льве Толстом и его романе «Воскресение». Отказывался понять, как наивысший для него авторитет, удивительный человек и писатель, включил в роман ненужные, нехудожественные страницы. Речь шла о совершении евхаристии в тюремной церкви. Толстой это таинство отрицал. Бунин с ним не соглашался. «Как он мог?» — было последним восклицанием, которое уловил свидетель этих последних минут...

Верная до гроба Вера Николаевна Бунина, уходя из дома, оставила подле мужа Александра Васильевича Бахраха. С Бахрахом Бунины сжились во время войны. По возрасту военнообязанный, А.В. Б. был демобилизован из французской армии в 40-м году. Очутился в одном из городков Средиземноморского побережья. Не зная, куда приткнуться, написал старинным знакомым Буниным на виллу «Жанетт». Думал провести там одну-две ночи, но был оставлен хозяевами на несколько лет. Широта литературных интересов, великолепная память, готовность оказать любую помощь, в том числе и в быту, — а он был трудным в военную пору, — доброжелательный характер сделали его незаменимым «домочадцем» (словцо из письма Ивана Алексеевича). Книга «Бунин в халате», принадлежащая перу Бахраха, — образцовое пособие для мемуаристов. Умная. Тактичная. Искренняя. Веришь каждому слову автора...

Ноябрь 1953 года... Я уже училась в Литературном институте, попав в первый послесталинский набор. В школе Бунина не проходили. Но имя полуконспиративно звучало. Мне даже довелось подержать в руках его книгу, апельсиново-желтую, с рисунком пышного развесистого букета на мягкой обложке, — дореволюционное приложение к «Ниве». Полистала растрепанный том. Показалось: скучно. Да и отец мой, по образованию юрист, по роду занятий железнодорожник, по устремлению души книгочел, со студенческих лет предпочитал Бунину Леонида Андреева, собирал по крупицам его «марковское» собрание сочинений. Я прислушивалась к мнению отца.

И всё-таки... Если бы, сутулясь под грузом траурной вести, вошел в нашу маленькую интернациональную аудиторию один из лекторов (а у нас был в основном университетский преподавательский состав), поднял нас со стульев и сказал: «Вчера в Париже умер Иван Алексе-

вич Бунин. Почти кончину великого русского писателя минутой молчания!» — это запомнилось бы навсегда. Но никто ничего не сказал. Никто не поставил в пример нам, первокурсникам писательского вуза, жизнь, безраздельно отданную родной литературе.

Об уходе последнего по времени бесспорного классика мы узнали далеко не сразу. А ведь на нашем курсе, где всего-то было тридцать человек, учился Юрий Казаков. Ему выпала особая честь: вскоре его назвали первым среди молодых писателем бунинского направления. И когда спустя немалое время он приехал во Францию на побывку, восьмидесятишестилетний Борис Зайцев встретил его с распростертыми объятиями — как художественного наследника Ивана Бунина.

Нам довелось быть свидетелями воскрешения Ивана Алексеевича из мертвых! Я присутствовала на первом вечере памяти Бунина в Литературном музее! Но об этом — позже... В середине пятидесятых, после перерыва чуть ли не в сорок лет, в Москве выходят избранные рассказы писателя-эмигранта! То ли я повзрослела за полтора-два года, то ли после допинга еженедельных творческих семинаров прорезался мой собственный, а не заемный художественный вкус, но тут уж Бунин не отпустил меня от себя. Я без патуги выучила наизусть «Легкое дыхание» и с *выражением*, может быть, чрезмерным, прочла рассказ на институтском вечере. Потом опробовала на школьных подружках. Потом пустила, как лонгфелловскую стрелу, в пёструю публику подмосковного дома отдыха. И, не так уж редко, опять же по Лонгфелло, стрела попадала в цель...

На скучных лекциях мы с Юрием Казаковым перекидывались записками. Некоторые у меня сохранились. Например, эта: «Бунин — божество, недоступное совершенно и с непонятной гениальностью...» Вскоре Юру осторожно начали печатать. Выбором природы (Север, глухие места срединной России), ломаными мужскими и сложными женскими характерами, одухотворением природы и всякой живой твари, любовным вниманием к прелестным жизненным мелочам, эггической тональностью его рассказы выламывались из привычной прозы пятидесятых. Казакова тут же зачислили в бунинские эшгоны. Как будто талантливо продолжать предшественника — значит рабски копировать его. Время всё расставило по местам. Юрий Казаков — единственный русский писатель, награжденный золотой медалью Данте. Две недавно учрежденные литературные премии имени Юрия Казакова говорят сами за себя. Надеюсь, учитель не открестился бы от такого преемника...

Давно уже Бунин-прозаик удостоен больше чем признания — «любви пространства», говоря известными стихами. Бунин-поэт почему-то оказался в тени, хотя на рубеже веков его поэтическое имя звучало куда как громко. Трижды его оригинальные и переводные стихи были

отмечены наградой Российской академии наук – премией имени Пушкина. «Конечно, как поэта венчает И.А.Бунина академия», – писал один из критиков. Но можно, наверно, понять и тех, кто считал автора безукоризненных стихов слишком классичным, консервативным, старомодным. Серебряный век русской поэзии предпочитал «алмазы в каменных пещерах» и чурался настоящего, но потускневшего фамильного серебра...

Ощущал ли Бунин, что неумолимым ходом времени, логикой литературных событий вытеснен на обочину поэтического процесса? И ощущал, и страдал, и не смирялся...

Через годы и годы, уже в эмиграции, он допытывался у Зинаиды Гишпиус: «Скажите, как вы могли переносить Блока, Белого? Я совершенно не мог. Я понимаю, что в Блоке есть та муть, которая делает поэтов, но все же многое мне в нем непереносимо. А Белый просто не поэт...» (из дневниковых записей Веры Николаевны Буниной).

А еще спустя доброе десятилетие, не скрывая своей обиды, спросил «словно выстрелил», у Александра Бахраха: «А почему вы не цените моих стихов? Я, ей-Богу, недурно писал, – он улыбнулся, – но для вас они, конечно, недостаточно пряны и изысканны, вас съел Блок (...) Неужели вы не сумели оценить хотя бы моих строк о последнем шмеле?»

*Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер узрюмый
Золотого сухого шмеля!»*

Неприязнь Бунина к символистам и другим кумирам Серебряного века Бахрах объясняет, в частности, тем, что тот «неизменно хотел, чтобы его в первую очередь считали поэтом», а «его поэзию как бы не признавали или признавали с оговорками, во всяком случае не так, как он того хотел...»

Между тем, Блок, со своей стороны, еще в 1907 году дружески приветствовал в печати книгу стихов мастера иной поэтики, старше его на десять лет, утверждал «его право на одно из главных мест среди современной русской поэзии».

Со школьных лет помнится это: «Грибы сошли, но крепко пахнет/ В оврагах сыростью грибной...» Сама цитата, отзыв Льва Толстого («Очень хорошо, очень верно!»), без упоминания фамилии автора, проникли, благодаря мемуару Горького, в учебники, хрестоматии, стали *обонятельной* визитной карточкой поэта.

Впервые познакомившись с его поэзией, я, как это свойственно юности, особо выделила для себя стихи о любви. Их немного, но каждое — боль и трепет, красноречивая недосказанность, бесслёзные слёзы.

*Как светла, как нарядна весна!
Погляди мне в глаза, как бывало,
И скажи: отчего ты грустна?
Отчего ты так ласкова стала?
Но молчишь ты, слаба, как цветок...
О молчи! Мне не надо признанья:
Я узнал эту ласку прощанья, —
Я опять одинок!*

1899

Есть некоторая разница восприятия в зависимости от того, с бумажного листа или с чужого голоса пришли к нам стихи. Последнее случилось в моей жизни реже, но западало в память крепче... В какой-то счастливый миг, в небольшой компании, Александр Межиров уверенным голосом признанного поэта прочел неизвестное мне тогда стихотворение Бунина «Дочь»: «*Всё снится: дочь есть у меня, / И вот я, с нежностью, с тоской, / Дождался радостного дня, / Когда ее к венцу убрали, / И сам, неловкою рукой, / Поправил газ ее вуали. / Глядеть на чистое чело, / На робкий блеск невинных глаз / Мне почему-то тяжело, / Но всё ж бледнею я от счастья, / Крестя ее в последний час / На это женское причастье. / Что снится мне потом? Потом / Она уж с ним, — как страшен он! — / Потом мой опустевший дом — / И чувством молодости странной, / Как будто после похорон, / Кончается мой сон туманный.*»

Когда на литературных вечерах иные неискушенные слушатели спрашивают, что такое «лирика» и всегда ли она про любовь, можно просто прочесть вслух оба лирических стихотворения. Да, про любовь. Но значения и оттенки значений этого затасканного слова бесконечны. Так же бесконечна и лирика...

О поэтах лучше всего пишут поэты — никто меня не сдвинет с этого убеждения. Автор вступительной статьи к Собранию сочинений в девяти томах (Гослит, 1965-1967) Александр Твардовский обжигающе свежо сказал о старшем собрате: «Я не знаю ни у кого из русских поэтов такого неотступного чувства возраста “лирического героя” — он как бы не сводит глаз с песочных часов своей жизни, следя за необратимо убегающей струйкой времени»; «...поэзии Бунина в высшей степени присуще постоянное стремление найти в мире „сочетанье пре-

красного и вечного», обрести желанную непреходящность»; «Смерть и любовь — почти неизменные мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе. Любовь — причем любовь земная, телесная, человеческая — может быть, единственное возмещение всех недостатков, всей неполноты, обманчивости и горечи жизни»; «Булнина нелзя не любить и не ценить (...) за дисциплину строки — ни одной полой или провисающей — каждая, как струна...»

Кажется, всё главное сказано. Но почти ничего о религии, о признанности многих стихов библейскими, евангельскими, а подчас иноверными, но той же соединительной цели служащими мотивами (само слово «религия», напомню, в переводе значит «связь», «соединение»).

Что лакуны в изучении поэтического творчества Ивана Алексеевича, обусловленные и временем, и индивидуальным подходом исследователей, заполняются и будут еще долго заполняться, очевидно как день. Своё веское слово произнес тут одним из первых автор «Жизни Бунина» Олег Михайлов (М.: Центрполиграф, 2001). Уверена, что эту книгу, которая переживалась и писалась критиком-шестидесятником всю жизнь (в переписку с Верой Николаевной и писателями из окружения Бунина он вступил совсем молодым человеком) с признательностью прочли многие. Но и она, безусловно, не последняя. Кто-то из пишущих собратьев уже вынашивает Главную книгу о Бунине, которая, как козырной туз, накроет всё, написанное раньше...

Комментируя известное бунинское двустишие *«Я человек: как бог, я обречен/Познать тоску всех стран и всех времен»* (1909), О. Михайлов справедливо говорит о внутренних метаморфозах, пережитых поэтом в первое пятнадцати-шестнадцатилетие двадцатого века: необычайном расширении его личности, новом для него элементе «всечеловеческого», об обращении «к лирике философской, продолжающей тютчевскую проблематику» (я бы сказала: *религиозную*, — Т. Ж.).

А вот атеизма, даже *поверхностного*, который усмотрел О. М. в стихах «Каменная баба» и «Мистика», я лично за Буниным не числю.

В молодости он охотно делил простую веру, приятие христианского обряда, торжество церковного праздника с *«усталым, кротким братом»* — сельским крестьянином. Вот концовка стихотворения «Троица»: *«Ты нынче с трудовых засеянных полей/Принес сюда в дары простые приношенья:/Гирлянды молодых березовых ветвей,/Печали тихий вздох, молитву — и смиренья»*. В зрелости, пережив и утрату родного очага, и смерть близких, и не одну горькую любовь, пересказывал, близко к тексту оригинала, Откровение Иоанна: *«Воистину достоин восприяти/Ты, Господи, хвалу и честь и силу/Затем, что всё Тобой сотворено/И существует»*

вует волею Твоею» («Из Апокалипсиса»). В годы гражданской смуты под его пером рождается «Вход в Иерусалим», где за отталкивающим портретом мстителя-калеки — символа *«кровавого пира для всех обойденных судьбой»* следуют прямо евангельские строки: *«И ты, Всеблагодь, / Свете тихий, вечерний, / Ты грядешь посреди обманувшейся черни, / Преклоня свой горестный взор, / Ты вступаешь на кротком ослати, / В роковые врата — на позор, / На проклятье!».*

С интересом и внутренним согласием-несогласием прочла я глубокую, во многом неожиданную монографию Геннадия Карпенко «Творчество И.А. Бунина и религиозное сознание рубежа веков» (Самара: Универс-групп, 2005). Отраднo, что студенты-филологи Самарского государственного университета учатся не только по учебникам, всегда прихрамывающим в погоне за последним апробированным словом официального «ведения», но и по таким вот полемическим брошюрам.

Г. Карпенко бесстрашно вступает в область, для многих заповедную: сопрягает библейские мотивы в стихах с религиозно-художественными элементами других религий и метафизических систем. В первую очередь с Кораном, который называет «своеобразным продолжением» Библии. Так-то оно так, но можно представить себе негодующую реакцию на это фанатиков, блюстителей чистоты веры, что от Танаха (еврейская версия Ветхого Завета), что от Евангелия, что от священной книги мусульман.

Вот комментарий Карпенко к стихотворению И. Б. «Магомет и Сафия»:

«...Бунин очень тонко передает чувства духовно-кровного родства пророка с ветхозаветным прошлым. Одиннадцатая жена Магомета Сафия жалуется ему, что ее все арабы дразнят «жидовкой»:

*Магомет, с усмешкой и любовью глядя,
Отвечает кротко: „Ты скажи им, друг,
Авраам — отец мой, Моисей — мой дядя,
Магомет — супруг”.*

И далее комментатор с полным правом высказывает одну из своих задушевных, должно быть, идей: «Стихотворение «Магомет и Сафия» характерно для Бунина во многих отношениях: оно занимает одну из центральных мест в бунинской концепции единства всего человечества». Звучит весьма современно и злободневно.

Чрезвычайно скрупулезно, демонстрируя предельную в этой области профессиональную искушенность, Карпенко иллюстрирует

стихами свои порой вызывающе спорные утверждения. Так, процитировав два четверостишия из раннего стихотворения «В костеле» («*Дивен мир твой! Расцветает/Он, тобой согрет./В небесах твоих сияет/Солнца вечный свет./Гимн природы животворный/Льет к небесам.../В ней твой храм нерукотворный,/Твой великий храм!*»), исследователь делает вывод: «**божественное место Иисуса Христа занято, оно отведено в творчестве Бунина Богу Отцу**» (подчеркнуто автором, – Т. Ж.).

Я остереглась бы делать такие глобальные выводы на основании нескольких поэтических строф. Ветхозаветный источник равно почитает оба Завета. На протяжении трех веков русская поэзия вкладывала в понятие Бог нечто несоизмеримое с обыденным представлением. Скажем, у Державина есть и ода «Бог» и ода «Христос», причем вторая как бы вытекает из первой и одновременно впадает в неё, обе составляют две ипостаси Одного начала, одну Полноту. Видеть в Боге Отце и Боге Сыне соперников, слишком по-земному делить между ними места – по меньшей мере странно. Поэт, мне кажется, тут ни при чем.

Еще одно принципиальное возражение Геннадию Карпенко. Он пишет: «Бунин, разделяя мысли русских писателей о кризисном состоянии мира (выше цитируется В. Соловьев, с его упованием на Богоматерию и Богочеловека, призванных победить извращенную природу, – Т. Ж.), придерживался всё же иной ориентации: мир и человек в нем нуждаются в первую очередь не в христианской нравственности, не в «посреднике», не в усилиях богочеловека, а в ветхозаветном мироощущении. Образно говоря, освобождающееся **земное место Иисуса Христа в творчестве Бунина занимает библейский страдалец Иов**» (выделено автором, – Т. Ж.).

Образ Иова, познавшего через страдание и постижение высшей красоты божественные глубины, бесспорно, волновал Бунина. Необычайно чуткий к боли, своей и чужой, он мог и возроптать, как Иов, на ее скрытый от взора источник. И склониться перед непостижимо прекрасным устройством мироздания, отдав должное гению Устроителя. Но с сутью приведенной тирады не могу согласиться! Ни в той ее части, что касается нравственности, ни в других ее частях. Ни один персонаж ни Ветхого, ни Нового Заветов занять место Христа не может, по той простой причине, что они – человеки, а Он – Бог... Бунин стоял на христианской вере твердо, как на камне. Сам автор книги приводит много тому стихотворных и прозаических доказательств. Другое дело, что бунинская природа была уникальна. Он в самом деле чувствовал, как мало кто, первостихии природы, ощущал первозданный хаос, «бездны неба и океана». Говоря об «имманентности» (посторонности) *бунинского* Бога миру, исследователь цитирует стихи 1906 года:

*Мир – бездна бездн, И каждый атом в нем
Проникнут Богом – жизнью, красотой.
Живя и умирая, мы живем
Единою всемирною Душою...*

И вслед за этим – стихотворение, написанное 18 лет спустя, в эмиграции:

*Но что есть Бог? Кто он, несметный днями?
Он страшен мне. Он слишком величав
И слишком необъятен. Он молчанье;
Он штиль морей и пыль сожженных трав...*

Великолепные цитаты! Поэт и его интерпретатор, скорее вольно, чем невольно, обращаются к образу Бога, действительно, имманентного творению. В Ветхом Завете можно найти много подобных самохарактеристик. Скажем, во Второзаконии Творец Вселенной говорит о Себе Моисею: «...Бог Ваш есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный...» (Вт. 10,17)... И слово «бездна» встречается в первой части Библии гораздо чаще, чем во второй. В этой книге, в главе о Тютчеве, читатель найдет много цитат с «бездной», которые в своё время я выписала из ВЗ. То же, независимо от меня, сделал в монографии о Бунине Г. Карпенко.

Но при чем тут *нужда* в «ветхозаветном мироощущении», о которой он пишет выше? Скорее наоборот. Такое мироощущение в большей или меньшей степени присуще от рождения каждому человеку, тем более художнику крупного масштаба. *Нуждаемся* же мы для свершения каждодневного подвига жизни, чей вектор устремлен либо вверх, либо вниз, в чем-то упорно противостоящем, о чем не уставали размышлять великие религиозные философы...

О человеческом духе, скованном плотью, о Творце земли и неба, который «лишь творит, чтоб без конца творить», создает новые миры из обломков старых, а посему не созидатель, а разрушитель, рассуждает Люцифер в блестяще переведенной Буниным (1903) мистерии Байрона «Каин». Насколько знаменит бунинский перевод «Песни о Гайавате» американца Лонгфелло, настолько почему-то малоизвестен его грандиозный труд в соавторстве (не убоюсь этого слова!) с великим английским поэтом.

Много ли известно о Каине из Библии? Первый земледелец, очевидно, перадивый, потому что Всевышний не захотел припятать в жертву плоды его трудов. А у брата Авеля приношение от «первородных» стад и тука их принял. Посему Каин – и первый завистник. Первый

убийца. Первый изгнанник и скиталец — за грехи свои. Однако и над ним была простерта Божья длань: «И познал Каин жену свою; и она зачала; и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох» (Быт. 4).

Всё человечество, согласно Библии, — потомки Каина. Авель ушел из жизни бездетным. Девятый стих четвертой главы: «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?» — одно из самых известных мест Священного Писания.

Остальное в русском варианте мистерии — творчество Байрона и сотворчество Бунина.

Вечные вопросы (можно их назвать и вопросами Иова) здесь обнажены до предела. Люцифер (одно из наименований силы, противостоящей Создателю) безошибочно выбирает из первых людей самого податливого. Каин умен, пытлив, недоволен своим уделом, хочет подняться в высшие сферы разума, узреть, где обитает Тот, с чьим антиподом он беседует, сам Иегова. Он еще не убил своего брата. Еще не настолько расшатана его первобытная душа, чтобы он совершил первое в мире злодеяние. Но всё впереди.

В одиночестве он произносит монолог, ставший призывным сигналом для Люцифера:

*И это жизнь!
Трудись, трудись! Но почему я должен
Трудиться? Потому, что мой отец
Утратил рай. Но в чем же я виновен?
В те дни я не рожден был, — не стремился
Рожденным быть, — родившись, не люблю
Того, что мне дало моё рождение...*

Люцифер
(приближаясь)

Смертный!

Каин

Кто ты, о дух?

Люцифер

Я повелитель духов.

Каин

*Но если так, зачем ты их покинул
Для смертного?*

Люцифер

*Я знаю мысли смертных
И сострадаю смертным.*

Каин

*Как! Ты знаешь,
Что мыслю я?*

Люцифер

*Да, это мысли всех,
Достойных мысли; это говорит в вас
Бессмертие...*

Узнав, что тщеславный Каин хочет постичь тайны Вселенной и, постигнув, возгордиться своим умом, повелитель духов берет его с собой в межпланетное путешествие. Показано оно living — живьём. Так и кажется, что космос сначала выпустил в себя великих поэтов, раскинувшись перед ними во всю свою необъятную мощь, а уж потом — астронавтов...

Люцифер:

*Ты не узнал земли?
Той персти, из которой ты был создан?*

Каин

*Как! Этот круг, синеватый в эфире
Вблизи кружка, похожего на то,
Что ночью освещает нашу землю,
И есть наш рай? А где же стены рая?
И те, что стерегут их?..*

«Но что бы ты подумал, — не унимается главный ангел тьмы, — Когда б узнал, что есть миры громадней, / Чем мир земной, что есть создания выше, / Чем человек, что их число несметно, / Что все они на смерть обречены, / И все живут, все страждут?..»

Чем упоительней космический полет, тем безжалостней речи Люцифера. Теперь они метят не только в Каина, но и выше: «А если дух твой скован от рожденья / Тяжелой, грубой плотью, если он, / Столь гордый тем, что знает, жаждет новых, / Все новых, высших знаний, а меж тем / Не победит ничтожнейших, грубейших, / Мерзейших нужд, и высшею отрадой / Считает только сладостный и грязный, / Без меры истомляющий обман...»

Согласно Люциферу, бесконечность мироздания только подчеркивает немощ человека, который есть прах земной и обречен стать «неподвижным прахом», а то и чем-нибудь похуже.

Если земля — не более чем круг в эфире, если изначально нет места для рая, то есть для воздаяния за праведную жизнь, если порывы духа в конечном счете влекут не вверх, а вниз, а Создатель и Разрушитель —

одно и то же лицо, тогда... Вспышка ярости — и возвращенный в земные пределы Каин убивает Авеля...

Оказывается, он еще и первый богоборец, этот пра-пра-пра... пращур современных людей. Не означает ли это, что богоборчество заложено в природе человека?..

Можно предположить, что Бунин пережил как собственное творение мистирию английского титана. Не переживешь — не переведешь.

Через несколько лет он напишет своего «Каина» с эпитафией из сирийского предания «Баальбек воздвиг в безумии Каин». Баальбек — город Ваала — по-гречески Гелиополь, т.е. город Солнца. Само название Каинова творения внесло новую, ослепительную краску в легендарный образ первого ниспровергателя установленного свыше порядка. В бунинских стихах читаем: *«Жадно ищущий Бога, /Первый бросил проклятье ему. /И, достигнув порога, /Пал сраженный, увидевши — тьму. /Но и в тьме он восславит /Только Знание, Разум и Свет — /Башню Солнца поставит, /Вдавит в землю незыблемый след...»* Что это? Позднейшая реабилитация восприимчивого ученика Люцифера и тьмы его последователей? Первая мысль: да! Тем более что поэт явно любит своего героя: *«Синекудрый, весь бурый, /Из пустыни и зная литой, /Опоясан он шкурой, /Шкурой льва, золотой и густой...»* Но к концу стиха приходит отрезвление: *«Он спешит, он швыряет, /Он скалу на скалу громоздит, /Он дрожит, умирает... /Но Творцу отомстит, отомстит»*. Столько усилий — и всё ради мести, ради желания доказать: «И я могу, как Ты»? Это мы уже проходили! К счастью, Каин — человек, а человек смертен. Его люциферические усилия, превратившиеся в развалины, если что-то и говорят, то только глазу и сердцу художника.

Об исторических останках — свидетелях зигзагообразного пути человеческой мысли — говорится и в других бунинских стихах, помеченных годами начала века. «Каменная баба» явно возникла на родимой почве.

*От зноя травы сухи и мертвы.
Степь - без границ, но даль синее слабо.
Вот остов лошадиной головы.
Вот снова — Каменная баба.
Как сонны эти плоские черты!
Как первобытно-грубо это тело!
Но я стою, боюсь тебя...А ты
Мне улыбаешься несмело.
О дикое исчадье древней тьмы!
Не ты ль когда-то было громовеержцем?*

*– Не Бог, не Бог нас создал. Это мы
Богов творили рабским сердцем.*

Серьезный буниновед Олег Михайлов узрел в стихотворении «Каменная баба» нечто атеистическое. Я этого не вижу. «Боги» во множественном числе, а значит идолы, не имеют с Творцом неба и земли ничего общего. Промовержец Перун был славянским божеством, назывался богом. Но кому придет в голову считать, что он «нас создал»?..

1903-й – 1906-й – для Бунина время испытаний: продолжающееся одиночество, кончина отца, болезнь и смерть единственного сына Коли, мальчика «говорившего стихами». Невозможно сбросить со счетов и роковые события 1905-го... Думаю, не случайно эти годы стоят под многими стихами явно религиозной направленности. Но вот вот свершится прорыв в нечто совершенно другое. Так и в природе: тьма обыкновенно сгущается перед наступлением света. Хочется привести тут концовку стихотворения «Айя-София» с ее редкой для поэта ликующей нотой.

*...А утром храм был светел. Всё молчало
В смиренной и священной тишине,
И солнце ярко купал озаряло
В непостижимой вышине.
И голуби в нем, рая, ворковали,
И с вышины, из каждого окна,
Простор небес и воздух сладко звали
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!*

Может быть, я на себя слишком много беру, но большинство бунинских стихов, написанных в последнее десятилетие перед третьей русской революцией, видятся мне отчаянной попыткой поэта заговорить историю. Не дать произойти тому, что имеет все шансы свершиться. Ему ли не знать своего народа, не представлять, подобно книжникам и фарисеям, на край какой пропасти он поставлен массовой бедностью, посулами безответственных радетелей за «дело народное», властью внутренней тьмы?..

Сам Иван Алексеевич на коне в это время. Признанный писатель, одна из центральных фигур литературного процесса. Не свернувший своё поэтическое хозяйство, как можно было ожидать от автора «Деревни» и «Суходола», слагатель изящно и крепко сложенных, головокружительно разнообразных стихов. Продолжаются плодотворные путешествия по Западу и Востоку. Рядом – преданная, любящая Вера Николаевна. С В.Н. Муромцевой, красавицей, дворянкой и интелли-

генткой, в молодости увлеченной химией, литературно одаренной женщиной, знавшей, как никто, ему цену, Бунин познакомился в 1906 году. Их союз долго оставался *незаконным*. Только в 1922-м, в Париже, они смогли обвенчаться.

Поэты-романтики склонны приветствовать войну. И у Первой мировой скоро выявились свои трубадуры. Бунин не был романтиком — он слишком хорошо всё понимал.

*С Иосифом Господь¹ беседовал в ночи,
Когда Святая мать с Младенцем почивала:
«Иосиф! Близок день, когда мечи
Перекуют народы на орала.
Как нищая вдова, что плачет в час ночной
О муже и ребенке, как пророки
Мой древний дом оплакали со мной,
Так проливает мир кровавых слез потоки.
Иосиф! Я расторг с жестокими завет.
Исполни в радости господнее веленье:
Встань, возвратись в мой тихий Назарет —
И всей земли яви благоговенье».*

Стихотворение называется «Новый Завет». Под ним: Рим, 24 марта 1914 года. Из комментария О. Михайлова и А. Бабореко и неверующие читатели могут узнать библейскую подоплёку стихов: когда не стало тирана Ирода, Бог через своего ангела позвал Святое семейство из Египта обратно в Палестину. Тем же, кто приведенное выше стихотворение сочтет слишком пресным, советую прочесть написанное в пятнадцатом году поразительное по художественной дерзости «Бегство в Египет», где действие перенесено во глубину России.

*По лесам бежала Божья мать,
Куньей шубкой запахнув младенца.
Стлалось в небе божье полотенце,
Чтобы ей не сбиться, не плутать.
Холодна, морозна ночь была,
Дива дивьи в эту ночь творились:
Волчьи очи зеленью дымилась,
По кустам сверкали без числа.
Две седых медведицы в лугу
На дыбах боролись в яркой злобе,*

¹ Придерживаюсь написания худлитовских книг.

*Грызлись, бились и мотались обе,
Тяжело топтались на снегу.*

.....
*И огнем вставал за лесом меч
Ангела, летевшего к Сиону,
К золотому Иродову трону,
Чтоб главу на Ироде отсечь.*

Думаю, что автору была особенно важна и дорога последняя строфа. Ясно, что Ирод тут воплощение земного зла, а русская Богоматерь олицетворяет всё, что так любил Бунин в России...

Сейчас то и дело читаешь про «октябрьский переворот», в который вдруг, захлёбываясь в словоговорении, на глазах у потрясенной публики, переименовали Великую октябрьскую. Как будто от разных названий одного и того же, в сущности, понятия зависит больший или меньший, но в любом случае чудовищный, бесчеловечный характер узлового события нашей новой истории!

Что противостоит хаосу, разрушению, человеческому горю? Божественный порядок мироздания. Творчество. Всепобеждающий характер если не самого счастья, то ощущения его.

*О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлива. Всё во мне.*

«Вечер». 14. VIII-09

Мне приходилось встречать в разных публикациях этот бунинский сонет, усеченный до двух начальных четверостиший. Мол, главное передано – зачем же тянуть? Этого нельзя делать! Сонет – строгая законченная форма, радость и гордость автора. При усечении (чуть

не написала библейски-торжественное «усекновении») нарушается естественность поэтического полета. В данном случае исчезает последняя, ударная строка. «*Всё во мне*» — ко всему еще переключка с Тютчевым: «*Всё во мне и я во всём*». Столь трудно достигаемое и так легко теряемое чувство божественной полноты жизни...

Вспоминаю один разговор с отцом Александром Менем. Речь зашла о поэтах Серебряного века и революции 1917 года. Прежде всего, о Блоке. Священник говорил, что к тому времени в душе поэта всё было перевернуто, разрушено, и эти руины притянули хаос извне, тьма внутренняя — тьму внешнюю. Я бросалась защищать своего кумира, впрочем, довольно бездоказательно. Ибо аргументов и эрудиции не хватало... Так вот (это уже моё собственное предположение): в Бунине всегда оставалось здоровое зерно духа. Зло и добро, белое и черное никогда не менялись местами. Точно от рождения он носил в себе некий незримый противовес, не допускающий интеллектуальных сальто-мортале. В любые времена он оставался, по русской поговорке, воробьем, которого на мякине не проведешь.

Нелено искать у него стихотворные произведения газетно-гражданской направленности. Тонкий живописец в стихах, свою боль и гнев он предпочел выплеснуть в прозе, главным образом, в «Окаянных днях». А стихи, как правило, оставались стихами. Впрочем, уже в конце 16-го года он поставил точный диагноз тому, что грядет:

*Ходили в мире лже-Мессии, —
Я не прельстился, угадал,
Что блуд и срам их в литургии
И речь — бряцающий кимвал.
Своекорыстные пророки,
Лжецы и скудные умы!
Звезда, что будет на востоке,
Еще среди глубокой тьмы.
Но на исходе сроки ваши:
Вновь проклят старый мир — и вновь
Пьет сатана из палмой чаши
Идоложертвенную кровь.*

Тут что ни строка, то заимствование или переосмысление слов из Библии. Всегда, пересказывая стихи презренной прозой, испытываю чувство смущения и вины перед автором. Но не хочется, чтобы читатель просто скользнул взглядом по строкам этого предельно гражданского для Бунина двенадцатистишия, созданного на сломе эпох...

Согласно поэту, лжемессии, лжепророки творят полную блуда и срама литургию, подменяя старую религию новой из своекорыстного интереса. Идолы, божки временно заменяют Бога. Но и они будут принесены в жертву. Их самих ждет кровавое, в противоположность христианскому бескровному, причащение — на радость Сатане. *«Звезда, что будет на востоке»* — это, безусловно, Вифлеемская звезда. Она *«еще среди глубокой тьмы»*. Тем не менее сроки новых хозяев жизни ограничены. Стихотворение так и называется «На исходе»...

В эмиграции Иван Алексеевич написал немного стихов. В них всё те же, никогда не покидавшие его темы: смерть, любовь, Россия, Бог. Да вот еще прибавилась новая, ожидаемо-неожиданная: эмиграция.

Судьбе было угодно, чтобы два прекрасных стихотворения, мало кому известных в ту пору: «Канарейка» и «У птицы есть гнездо...», я услышала в 1955 году на первом московском вечере, Бунину посвященном. Может быть, то была награда за читанное мной с ученическим пылом «Легкое дыхание»? Этот вечер записан в моём дневнике. Прошу прощения за длинноты, за возможные неточности и перехлёсты. Виновник торжества где-то на заднем плане, но присутствующие обрисованы довольно четко. Так было воспринято не очень образованной девятнадцатилетней студенткой Литинститута культурное событие огромной важности.

20.10.55

Вчера с Галей Арбузовой¹ поехали на вечер Бунина в Литературный музей. Билетов, конечно, не достали. Паустовский обещал предупредить, скажем, от кого, — и нас пропустят.

...В президиуме — Паустовский (все такой же, хрипловатый и очень неуверенный), Никулин, жена Гурького и...Твардовский. Вот увидеть Твардовского — это счастье.

Глаз не спускала с Вертинского (розовое узловатое лицо, клетчатый галстук, зализанные прозрачные волосы) и с его жёнушки (древняя красота и, правда, похожа на мудрую птицу, как в «Садко»).

У Никулина лицо красное, притрагивается ко лбу совершенно белыми пальцами, ворочает бровями. Глядел на люстру, не мигая, как будто гадал по ней.

Ек. Пешкова — старушенция сурьезная и вроде беззубая; посему закрывала рот рукой.

Телешов старый, очень старый. Глаза и тонкий длинный нос просятся на икону. Белоснежные усы. Когда говорит, усы как будто вздуваются ветром. Бородатый, с багровым старческим румянцем.

¹ Кинодраматург, падчерица К.Г. Паустовского.

Твардовский — умный. Это выражение его лица. Проницательный, всё время смеется глазами. Огромный детина. Душно ему среди литературных дам. Слушает обостренно внимательно, округляет глаза, как школьник, иногда пятится на стуле назад — недоумевающая, пытаюсь понять что-то странное, сомнительное.

Оказывается, Бунин интересовался советской литературой и прислал высокие отзывы о творчестве Паустовского и Твардовского.

— Вы знали об этом, Александр Трифонович? — спросил сухой и подтянутый Лидин.

Твардовский вздрогнул плечами: «Нет!» — и в первый раз опустил глаза.

Ему просто забыли сообщить; письмо из Франции замкнуто в одном из саркофагов ССП.

Хохотал он по-простецки, откидываясь назад. Впечатление о нем как о большом, сильном, широкоплечем.

Какой-то писатель-реэмигрант, похожий на побитую собаку, рассказывал о встречах с Буниным в Париже. Сидели в кафе, пили крестьянскую водку. «Эх, хорошо, — говорил Бунин, — пахнет новыми сапогами» (вот тут захохотал Твардовский). Стихов за границей почти не писал. Два четверостишия о канарейке («На родине она зеленая...» — Брэм) — едва не заплакала».

И сейчас у меня от «Канарейки» — ком в горле. В короткие восемь строк вмещена горькая доля не только Бунина — миллионов русских людей. Оказавшись всерьез и надолго на чужбине, отчасти по своей, отчасти по чужой воле, можно сколько угодно хорохориться, играть в бодрячка, щеголять новомодным словом «интеграция», будто бы уже достигнутая наиболее продвинутыми переселенцами. Но душа всё равно болит, и ничего с этим не поделаешь...

*Канарейку из-за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.
Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь, — как ни пой
Про далекий остров чудный
Над трактирную толпой.*

10.V.21

Второе восьмистишие, услышанное мной на том памятном вечере, лишь недавно открылось мне по-новому. Понадобилась целая

жизнь, во всяком случае большой кусок ее, чтобы первая строка поэты легла на евангельские слова и сразу приобрела дополнительную значительность и глубину: «И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнёзда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8,20). Вот как это у Бунина:

*У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестьясь, в чужой наемный дом
С своей уж ветхую котомкой!*

25.VI.22

Одно из предельно обнажающих свой смысл стихотворений Бунина, созданных в эмиграции, — «Петух на церковном кресте». Под ним 1922 год, когда все унижения вынужденного переезда с родины на чужбину остались как будто позади. Но есть в нашей жизни события, не имеющие срока давности... Это Одиссею в его странствиях пели сирены, а ему, изгнаннику и скитальцу, не знающему за собой вины, поёт неживой петух с церковного креста. О чем же?

*Поёт о том, что всё обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг,
Что вечен только мёртвых сон,
Да божий храм, да крест, да он.*

Бунин, с его трезвым, остро критическим складом ума, питаемым современным скепсисом (но никак не атеизмом!), многое подвергал сомнению. Скажем, бессмертие души. «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6,47) — эти слова были для Ивана Алексеевича камнем преткновения.

О, как жаждал он личного бессмертия и...не мог в него поверить. Чрезвычайно сдержанный в отношении веры, только стихам доверял он сокровенное:

*Есть ли тот, кто должной мерой мерит
Наши знанья, судьбы и года?*

*Если сердце хочет, если верит,
Значит – да.*

Вера Николаевна Бунина, жена, посланная ему, по его собственному признанию, Богом, в своём дневнике более открыто говорит на эту щепетильную тему: «Ян верит, что существует нечто выше нас, но после смерти не будет личного воскресения, хотя он страстно желал бы этого, — «Ведь я не верю в смерть».

Она же без комментариев передает его насмешливую реплику по адресу Дмитрия Сергеевича Мережковского, который был абсолютно убежден в своём бессмертии и как-то раз в общей беседе выразил уверенность, что «за миром явлений» его душа будет вместе с Лермонтовым: «...Ян, улыбнувшись, сказал: — У него плохой характер».

Нет, в богоотступники и тем более в богоборцы великого писателя земли русской, при всем его интересе к образу Каина, нельзя записать. Каин остался там, в начале века. Потом наступили оКАЯНные дни. На всем лежала каинова печать. ПоКАЯНИЕ, не только церковное, но и обычное, продиктованное совестью, стало для многих чем-то недостижимым... И у Бунина характер был не сахар, и он восставал против того, что считал античеловеческим, несправедливым, не соответствующим высокому призванию хомо сапиенс. Но его спасало врожденное чувство иерархии. Гнев и даже ярость Ивана Алексеевича могли обрушиться на любого двуногого представителя тварного мира — но не на Создателя.

Выше я уже говорила о целомудренном отношении поэта к религии, другими словами, связи с Высшим началом. Дистанция соблюдается всегда, причем для Бунина, судя по всему, она не в тягость, а в радость: это естественная позиция одаренного к Дарителю, сына к Отцу:

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я всё – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.*

14.VII-18

«Всё как было. Только жизнь прошла» — тоже слова Бунина...Одно из последних его стихотворений, 1952 года, при яркой изобразитель-

ности, вдруг проникается духом максимального приближения к Мыслящему центру Вселенной. Поэт чувствует, что они...на равных!

*Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.*

1952

Буинопские стихи не нуждаются ни в моей, ни в чьей-либо еще защите. Но осмелюсь высказать свою точку зрения: 82-летний писатель, нобелевский лауреат, эмигрант, исторгнутый на всю вторую половину жизни из родной стихии, мысленно был, когда подступили к горлу эти стихи, уже в иных сферах, у престола Всевышнего. Один шаг оставался до перехода *туда*, до страшного судилища Христова, до личного бессмертия, в которое он не верил, но жаждал поверить... Вот откуда это «только я да Бог»...

Ощущение, что родная поэзия — огромный странноприимный дом, населенный близкими душами, преследовало меня с юных лет. И в ученические годы, и много позже я любила взять в руки томик стихов дорогого мне автора, мысленно задать вопрос по волнующему меня поводу и открыть наугад стихотворение. И вот что удивительно: как правило, ответ попадал в точку. Попробовала сделать это и сейчас... Первый том открылся на странице 450:

*...Будущим поэтам, для меня безвестным,
Бог оставит тайну — память обо мне:
Стану их мечтами, стану бестелесным,
Смерти недоступным, - призраком чудесным
В этом парке розовом, в этой тишине.*

10.X.17

Низкий поклон Вам, Иван Алексеевич!

Глава пятнадцатая

«ЗВЕЗДОЙ, СОРВАВШЕЙСЯ В НОЧИ...»

(В. Ходасевич)

Он мог бы быть нашим современником, доступным каждому, кто напряженно мыслит и остро чувствует. В его лучших стихах нет ничего условно-книжного — такого, что даже у признанных авторов приходится принимать на веру, потому что в изменившемся мире *так* уже не думают, *так* уже не говорят. Свой век он неудержимо опережал. Не потому ли оказался востребован в нашем?

Наверно, самое известное его стихотворение — «Перед зеркалом». Горькое. Беспощадное к себе. Чуть-чуть сентиментальное. «Я, я, я. Что за дикое слово!/ Неужели вон тот — это я?/ Разве мама любила такого,/ Желто-серого, полуседого/ И всезнающего, как змея?/ Разве мальчик, в Останкине летом/ Танцевавший на дачных балах, —/ Это я, тот, кто каждым ответом/ Желторотым внушает поэтам/ Отвержение, злобу и страх?..»

Стихи написаны в 1924 году в эмиграции, в Париже, когда поэт, достигший «середины пути нашей жизни» (эта дантовская строка вынесена в эпиграф по-итальянски), подводит предварительные итоги своего пребывания на земле.

Хочется найти объединяющее слово к тому, что сделано одним из самых совестливых и религиозных по сути своей русских поэтов. «Горечь-горе, горечь-грусть...» — это из стихов не Ходасевича, а Цветаевой, с которой он чувствовал некоторое единство, обусловленное не кровным родством двух муз (обе слишком индивидуальны), а предполагаемым местом на виртуальной карте современной им русской поэзии: «Мы (...) с Цветаевой, которая, впрочем, моложе меня, выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одинокими, дикими. Литературные классификаторы и составители антологий не знают, куда нас приткнуть», — не без иронии высказался однажды Владислав Фелицианович.

Горечью пропитаны почти все его стихи; горечь отравляет и любовную лирику, и ценой величайших усилий ненадолго обретенную в слове гармонию с миром и собой, и немногочисленные в поэзии В. Х. библейские мотивы.

Начнем с последних.

«Путем зерна» — называется одно из самых оптимистичных, прямо восходящих к Евангелию стихотворений Ходасевича. То же название носит и его третья книга (1920).

Слова Христа, переданные апостолом Иоанном, имеют широкое хождение, приводятся в статьях и книгах, не обязательно религиозных. Взятые из сельскохозяйственного обихода, они одинаково понятны и бедному крестьянину, идущему с решетом вдоль своей полосы, и герою труда на универсальной пневматической сеялке. Их переносный смысл едва ли не опережает смысл производственный. Вот они:

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12,24).

Каково же их поэтическое воплощение, осуществленное автором 23 декабря 1917 года?

*Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрёт и прорастёт.
Так и душа моя идёт путем зерна:
Сойдя во мрак, умрёт и оживёт она.
И ты, моя страна, и ты, её народ,
Умрешь и оживёшь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путём зерна.*

Стихи для Ходасевича, поэта многозначного, не всегда доходчивого, очень простые. «Лобовые» — сказали бы в годы моей юности. Теперь это определение почти изжито. Потому что 35 000 только «сетевых» стихотворцев (такое количество называется навигаторами в океане русской поэзии) озабочены не столько смыслом и чувством, вложенными в стих, сколько тем, чтобы выразиться непонятнее, позаковыристее. Ошарашить читателя. Доказать, что он, автор, не лыком шит... Оригинальнейшему из поэтов первой трети двадцатого века важно было другое.

То, что случилось с ним, с Москвой, с Россией он воспринимал остро до нервного срыва, до сопровождающего его телесного и душевного столбняка. Написанные через полгода после событий (и через несколько месяцев после «Путем зерна») белые ямбы — это не совсем даже стихи, скорее поспешная, почти стенографическая запись произошедшего. Только бы вовремя, подручными средствами, его запечатлеть, не допустить предательства памяти, соблазна какой бы

то ни было подмены. Что сказал бы рыцарь самосохранения? «Пусть авгиевы конюшни русского бунта разгребают другие!» «*Подите прочь! Какое дело/Позту мирному до вас?/В разврате каменейте смело,/Не оживит вас лиры глас!*» — строки любимого Пушкина как будто выдавали индульгенцию. Но так думать и жить он не мог. Болезненный от природы, он с облегчением, переходящим в неподъемную тяжесть, увидел, что больны все, болен город, где он родился и вырос, больны взрослые и дети, больны зачинщики беспорядков и жертвы-обыватели. Длинное, не оперенное рифмами «2-го ноября» не претендует на известность стихотворения «Перед зеркалом», но без него «Путем зерна» много теряет в мужестве и отстаивании высшей, Божественной правды, как понимает ее поэт.

Ограничусь одним отрывком:

*Семь дней и семь ночей Москва металась
В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро
Пускал ей кровь — и, обессилев, к утру
Восьмого дня она очнулась. Люди
Повытоптали из каменных подвалов
На улицы, Так, переждав ненастье,
На задний двор, к широкой луже, крысы
Опасливой выходят вереницей
И прочь бегут, когда вблизи на камень
Последняя спадает с крыши капля...
К полудню стали собираться кучки.
Глазели на пробиты в домах,
На сбитые верхушки башен; молча
Толпились у дымящихся развалин
И на стенах следы скользнувших пуль
Считали. Длинные хвосты тянулись
У лавок. Проволок обрывки висли
Над улицами. Битое стекло
Хрустело под ногами. Желтым оком
Ноябрьское негреющее солнце
Смотрело вниз, на постаревших женщин
И на мужчин небритых. И не кровью,
Но горькой желчью пахло это утро...*

Жаль, что нынешние *революционеры*, типа лимоновцев, но не только, *ничего такого* не читают, потому что им, живчикам сего момента, погружаться в тексты почти столетней давности некогда и, главное, неинтересно. Отечественная поэзия в лучших своих образцах, врзумляет успешнее, чем трибунные речи и тем более школьные учеб-

ники по истории весьма сомнительного свойства. При одном условии: если потенциальному читателю не произвели еще в утробе матери своеобразную «лоботомию», удалив участки мозга, отвечающие за нравственность, а заодно и сдерживающие кипучее агрессивное начало, общее у человека с четвероногими. Кажется, первые помещаются в височных, а вторые — в лобовых частях серого вещества.

Спешу извиниться перед животными. Вскоре после того, как было закончено «2 ноября», Ходасевич начинает странное стихотворение «Обезьяна». По тональности они похожи. Тоже нерифмованный стих, повествовательная интонация. Но в первом — плоды работы людей, потерявших «образ и подобие», по которому созданы. Во втором — зверь, превосходящий человечностью «лучшее создание Божье». Действие происходит «на соседней даче», явно в мирное, довоенное время.

*...обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдо.
Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
.....
Всю воду выпив, обезьяна блюде
Долой смахнула со скамьи, встала
И — этот миг забуду ли когда? —
Мне черную, мозолистую руку,
Еще прохладную от влаги, протянула...
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождем народа — ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И, видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину — до дна души моей...
.....
В тот день была объявлена война.*

Что это — самоутешение? Напоминание себе и прочим о неколебимой мудрости мироздания? В одном месте запало — зато в другом поднялось и выровнило ужасную картину?.. Мир с Богом — это любовь и полнота, обезбоженный мир — ненависть и ущерб. Всё это находишь в стихах, если читаешь их медленно и благодарно.

*...И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось – хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные незапамятные дни...*

Ходасевича только так и стоит читать: медленно и благодарно – тогда открываются удивительные закономерности. Еще в 15-м году, не взятый на фронт по состоянию здоровья, в «Уединении», построенном на сквозной рифме (зерно—оно—вино—одно—звено—сопряжено—суждено—дно) поэт как бы напророчествовал свою судьбу: «*И если мне погибнуть суждено – / Про моряка, упавшего на дно, / Ты песенку мне спой, уединенье*». Он, точно, умер далеко от Родины, в бедности, с непобедимым чувством одиночества в душе. Но это будет еще нескоро. Сейчас же нас интересуют первые четыре строки стихотворения. Они позитивны: «*Заветные часы уединенья! / Ваш каждый миг лелею, как зерно; / Во тьме души да прорастет оно / Таинственным побегом вдохновенья...*» Не из этого ли зернышка проросло спустя два с половиной года «Путем зерна»? Не стало ли это слово ключевым на будущее? Факт, что в конце 17-го, в 18-м, 19-м, как раз в годы голода, разрухи, расцветших от хронического недоедания хворей, отрадой поэту были самые простые вещи, созданные помимо человека – в поддержке или в укор ему.

*С холодностью взираю я теперь
На скуку славы предстоящей...
Зато слова: цветок, ребенок, зверь –
Приходят на уста всё чаще.
Рассеянно я слушаю порой
Поэтов праздные бряцанья,
Но душу полнит сладкой полнотой
Зерна немое прорастанье.*

(«Стансы»)

Опять «зерно», опять «зверь», опять «полнота»! Если это наваждение, то милосердное, внушенное ангелом-хранителем. Пока душа, которая с ранних лет впитала «всю боль, весь яд», изначально приуроченная для большого поэта, балансирует на кончике иглы, между порождениями тьмы и их антиподами, она еще способна создавать гимны бытию. Не только бытию, но и быту, до поры до времени пощаженному военным коммунизмом. Незванный гость уже грядет; Сандрильона, а по-русски Золушка, упомянутая в следующем стихе,

хоть и возникла у автора, по всей видимости, подсознательно, с первым полуночным ударом должна будет покинуть изживший себя «Счастливый домик» (так называлась предыдущая книга В. Ходасевича, посвященная его жене Анне, в девичестве Чулковой).

В стихотворении «Хлебы» лицо поэта повернуто к нам своей светлой стороной:

*Слепящий свет сегодня в кухне нашей.
В переднике, осыпана мукой,
Всех Сандрильон и всех Миньон ты краше
Бесхитростной красой.
Вокруг тебя, заботливы и зримы,
С вязанкой дров, с кувшином молока,
Роняя перья крыл, хлопочут херувимы...
Сквозь облака
Прорвался свет, и по кастрюлям медным
Пучками стрел бьют желтые лучи.
При свете дня подобен розам бледным
Огонь в печи.
И, эти струи будущего хлеба
Сливая в звонкий глиняный сосуд,
Клянется ангел нам, что истинны, как небо,
Земля, любовь и труд.*

Никто вокруг нас не печет на поду хлеб, и мы утратили всякое представление об этом древнем процессе. Однако стихотворение В. Х. не только напоминание об утраченном, но и, больно признать, его предварительное прощание с домашним уютом, женщиной, бывшей ему настоящим другом. Пройдет несколько лет – и всё переменится. Великая перемена в его стране уже свершилась. Он написал о ней. Великая перемена в нем самом, а значит, и в его творчестве, свершается медленно, но верно. Поэзия – зверь алчный. Даже относительное личное благополучие – слишком постная для нее пища.

«Земля», «Труд» – те же самые слова были начертаны на революционных знаменах, повторялись в лозунгах, звучали на площадях и в рабочих аудиториях. Ходасевич не мог сказать, вслед Маяковскому, об Октябре «моя революция», но благие надежды, еще не осознанные им как иллюзии, на нее возлагал. Да, хаос, да, насилие, но не означает ли падшее в землю евангельское зерно в переводе на язык кажодневности грядущее Воскресение, обильную жатву?..

Исход коллег из взбаламученной переворотом страны приобретает характер бегства, а он как будто крепко врастает в новую действи-

тельность: работает в советских учреждениях, читает лекции в московской литературной студии Пролеткульта. У одного из самых последовательных радетелей за сохранение великой русской культуры обширное поле деятельности: Тео (Театральный отдел Наркомпроса), Книжная палата, горьковское издательство «Всемирная литература». Дружба с Горьким, писателем, известным во всём мире, человеком не бедным и хлебосольным, будет греть его долгие годы. Стихи — пишутся. Невзирая на трудный быт, на свистопляску вокруг и всегда превосходящую силу внешних толчков ответную реакцию поэта. Порой кажется, что В. Х. набирает силу... благодаря всеобщей вакханалии!

— Ходасевич — большой поэт, загадочный поэт, но что вы нашли в нем религиозного? — спросила меня одна из всеми признанных умниц-критикесс. — В ранних его стихах что-то такое мелькает: Христос, Пилат. Но всё это так смутно, так безблагодатно. Понятно: в детстве влияние матери-католички. Потом оно выветривается. Страшная «Европейская ночь» — книга человека неверующего, чтобы не сказать законченного атеиста...

До «Европейской ночи» мы дойдем. О матери-католичке надо сказать подробнее.

В первой, дореволюционной книге поэта, весьма унылой, названной будто в насмешку над ходячими стереотипами: «Молодость», — много подражательных и надуманных стихов. Протекает там «забвенная река», произрастает «цветок нетленный», в стихах двадцатидвухлетнего автора *«Смерть вальна раскинуть покрывало/Над ужасом померкшего лица»* и т.п. Чуть ли не единственное стихотворение без позы, без дежурного литературного реквизита — это обращение к матери. Воспринимаю его даже не как художественное произведение, а как растянутый в длинные строки вздох и стон предельно впечатлительного молодого человека тех (и всяких) времен: *«Мама! Хоть ты мне откликнись и выслушай: больно/Жить в этом мире! Зачем ты меня родила?/...Стыдно мне, стыдно с тобой говорить о любви,/Стыдно сказать, что я плачу о женщине, мама!/Больно тревожить твою безутешную старость/Мукой души ослепленной, мятешной и лживой!/Страшно признаться, что нет никакого мне дела/Ни до жизни, которой меня ты учила,/Ни до молитв, ни до книг, ни до песен./Мама, всё я забыл! Всё куда-то исчезло, /Всё растерялось...»*

Насчет материнской «старости» автор стихов не преувеличивает. Когда они писались, София Яковлевне, урожденной Брафман, было уже 66 лет. Владислав — шестой, последний ребенок у нетипичной пары Ходасевичей. Странно уже то, что еврейка София воспитывалась в «бедной, бедной» католической семье и оставалась до конца истовой католичкой. Похоже, труженик-муж, польский шляхтич по

родословной, художник по натуре, фотограф по роду занятий, полностью передоверил своей верующей супруге воспитание младшего сына. Поэт вспоминал: «По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату. Там над кроватью висел в золотой раме образ Божией Матери Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я польски читал «Отче наш», потом «Богородицу», потом «Верую» (т.е. христианский Символ веры, — Т. Ж.).

Н.А. Богомолов, автор содержательной вступительной статьи к тому стихотворений В. Х. (Большая серия Библиотеки поэта, издание третье; ЛО, 1989), взяв эти слова из его воспоминаний, замечает: «Не стоит преувеличивать значение этих влияний на творчество Ходасевича». На творчество, согласна, влияние не велико. А вот на душу поэта... Любое зернышко, что падает на столь благодатную почву, обязательно идет в рост. Часто прихотливый, не предугаданный календарем, но рано или поздно дающий свой плод. Чем обязан матери, поэт сказал и в стихах об отце, законченных в Париже в 1928 году: *«Мама! Молитва, любовь, верность и смерть — это ты!»* («Дактили»).

Еще в разгар Первой мировой войны, в 1916 году, Ходасевич написал стихотворение, прямо отсылающее к Библии, к Ветхому Завету: «Слезы Рахили». Почему именно ветхозаветные персонажи оказались столь востребованными поэзией на переломе времён: Каин у Бунина, Исая и Иезекииль у Волошина, Каин, Иов, Рахиль, Лия у Вячеслава Иванова, царь Давид, Рахиль, Иаков, Мелхола, Лотова жена у Ахматовой, Руфь у Кузьминой-Караваевой, Иеремия у Есенина... Богодухновенная (так во всяком случае считают верующие) книга Библия потому и живет тысячелетиями, что дает на примере одного маленького древнего племени широкую, захватывающе интересную историю человеческого рода вообще. Человек этого племени, потомок Адама и Евы, не плохой и не хороший, а всякий, разный: может он биться в сетях греха, пребывать в ореоле святости, может лгать, предавать, изменять, а может, с опасностью для собственной жизни, исторгать из себя слово Божественной правды. В относительно спокойные времена все эти полярные качества тоже существуют, но они приглушены, проявляются вполсилы; ослепительно же вспыхивают в человеке, порой испепеляя носителя, когда Юсподь насылет на него — за грехи всего рода — сверхчеловеческие испытания. Были или нет живые прототипы у ветхозаветных персонажей (серьезные богословы в этом не сомневаются), каждый из них — фигура могучая, символическая. Даже в немощи своей, как слабовидящая Лия или непослушная Лотова жена. Тем более — в своем торжестве.

Слова о плачущей Рахили находим в Книге пророка Иеремии (31,15): «...голос слышен в Раме; вопль и горькое рыдание; Рахиль

плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет».

Чем более всего известна библейская Рахиль — любимая жена Иакова, который двадцать лет добивался права на нее и все эти годы тяжело работал, чтобы будущий тесть дал согласие на их брак? Скорее всего, жаждой материнства. Сыновей у Рахили и Якова было всего двое: Иосиф и Вениамин, причем первенца она родила не через девять месяцев после бракосочетания, а когда «вспомнил» о ней, неплодной, Бог и «отверз утробу ее». Можно представить, как дороги поздние дети были родителям своим...Пророк обещает ей утешение: «Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они (т.е. убитые или считавшиеся убитыми дети, — Т. Ж.) из земли неприятельской» (Иер. 31,16).

Что ж, и во время последних мировых боен войны пропадали без вести, и некоторые из них, в том числе и те, на кого приходили похоронки, возвращались как с того света.

Важно не упустить из виду, что древнееврейские пророки, «Вестники Царствия Божия» (так называется посвященная им книга о. А. Меня, одна из его шеститомника «В поисках Пути, Истины и Жизни»), говорили не от себя лично, а от имени Бога. Потому временные границы в их откровениях смещены; история обычно предстаёт перед читателем не как процесс, а как событие одномоментное. Так, в кровавую годину войн с иноплеменниками пророк дает глобальный оптимистический прогноз: «И вся долина трунов и щепла, и все поле до потока Кедрона (...) будет святынею Господа; не разрушится и не распадется вовеки» (Иер. 31,40). Историки, служители времени, а не вечности, настаивают: долина, поле, вся страна и разрушилась, и распалась на тысячелетия. На что Истинно Верующий Иудей (таких хватает в современном Израиле) может возразить, что «святыня Господа» осталась целехонька и принимает всё новые потоки беженцев со всего света. Ну, как с ним поспоришь?..

Итак, Ходасевич обнадежил своими стихами знающих Библию, напомнив, что и мертвые иногда оживают. Но он не был бы поэтом трагическим и объективным, если бы не сказал о войне трезвые, совершенно не в духе патриотического угара вещи:

*...Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили!
На щеках у старухи прохожей —
Горючие слёзы Рахили.
Не приму ни чести, ни славы,
Если вот, на прошлой неделе,*

*Ей прислали клочок кровавый
Заскорузлой солдатской шинели.
Ах, под нашей тяжелой ношей
Сколько б песен мы ни сложили –
Лишь один есть припев хороший –
Неутешные слёзы Рахили.*

Написать и открыто читать, пусть даже в дружеском кругу, такие стихи, как «Слезы Рахили», осенью 16-го года не означало ли твердо занять позицию, отличную от многих? Естественно, автора тут же уличили в «пораженчестве». Как известно из истории, наиболее последовательными «пораженцами» оставались большевики. Это была одна из приманок, что привела их через год к власти... Среди несправедливых упреков, которым подвергался В. Х. со стороны пестрого, разноголосого литературного сообщества на сломе времен, особенно же после победы Октября, был и упрек в большевизме. Своему многолетнему корреспонденту, поэту Б.А. Садовскому, Ходасевич писал: «...Вы знаете, что раньше я большевиком не был, да и ни к какой политической партии не принадлежал. Как же Вы могли предположить, что я, не разделявший гонений и преследований, некогда выпавших на долю большевиков, — могу примазаться к ним теперь, когда это не только безопасно, но иногда, увы, даже выгодно? (...) Ведь это было бы лакейство, и я полагаю, что Вы не сочтете меня на это способным».

Да, большевиком он не был, хотя его работа в Тео под началом О.Д. Каменевой, жены Льва Каменева и сестры Троцкого, давала пищу для подобных предположений. Со свойственной ему язвительностью он обрисовал в нескольких фразах надуманность и тщету подобных, спущенных сверху культурных учреждений и мероприятий: «Говорили преимущественно «к порядку дня» и перманентно «организовывались», неизвестно с какой целью (...) больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж, из комнаты в комнату огромного здания на Неглинной улице. Все пересаживались, как крыловский квартет».

Трудно себе представить, как сложилась бы судьба поэта в Советской России 20-30-х годов. Активность природы, да и просто забота о хлебе насущном не дали бы ему возможности отсидеться в тихом углу, а пойти на глубокий компромисс в отношениях с властью для него было нереально. По словам Гете, действующий не свободен, свободен только созерцающий. Среди последних Ходасевич не числился. Вообще считать поэта созерцателем — слишком распространенное обывательское заблуждение. Созерцатели не идут на казнь, тем более их не ведут на казнь, а в исторической памяти живы примеры и того и другого...

В июне 1922 года Владислав Фелицианович решительно рвет с прошлым: в корне меняет свою личную и общественную жизнь. Не наше дело гадать, идеологические, житейские или интимные причины послужили катализатором отъезда. Или его призвал к очередной жертве Аполлон. Ведь самые проникновенные свои стихи, завораживающие глубиной мысли-чувства, безукоризненные по форме, проникнутые земной горечью и отблеском света небесного, он, по моему убеждению, создал в эмиграции. Впоследствии они вошли циклом «Европейская ночь» в его единственное прижизненное «Собрание стихов» (1927), выпущенное в Париже.

«*Есть упоение в бою/И бездны мрачной на краю...*» — думаю, что именно так не склонный к обольщениям В. Х. видел, уезжая, свою новую ситуацию. Рядом с ним была начинающая поэтесса и несомненная красавица Нина Берберова. Брошенной жене Анне он пишет вполне искренно (правда, от такой искренности веет холодом и жестокостью): «...Я зову с собой — *погибать*. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду *один...*»

Насчет Нины он ошибся. Оставила через десять лет после совместного рывка в неведомое она — его, а не наоборот. «Бутерброд» на посошок был ей не нужен. Она не погибла, в ней зрела большая писательница. Ее книги «Курсив — мой», «Железная женщина» и другие останутся в русской литературе.

Именно у Нины Берберовой искала я подсказку на некоторые свои вопросы. И главный из них: как запечатлелись в поздних стихах Ходасевича его неутомимые духовные искания.

Но сначала — отступление в сторону. Делаю я его на свой страх и риск, уверенная, что согласятся со мной далеко не все.

Исследовательница Ирина Ронен прозрела притчу о бедном Лазаре (Лк. 16, 19–26) в стихотворении Ходасевича «Баллада» (вторая, ибо стихов с таким названием у В. Х. два). С ней согласился, сказав, что она «совершенно справедливо отметила» глубинное сходство одного с другим, уже упомянутый выше Н.А. Богомолов. Не скрою, что добралась я до этой параллели благодаря его вступительной статье к однотомнику Ходасевича, так как Венского альманаха (Wiener slawistischer Almanach, Bd. XV, Wien, 1985) в моем распоряжении нет.

Цитирую стихи полностью:

*Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,*

Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.
Мне лифу ангел подает,
Мне мир прозрачен, как стекло, —
А он сейчас разинет рот
Пред идиотствами Шарло.
За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком
Беззлобный, смиренный человек
С опустошенным рукавом?
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Безрукий прочь из синема
Идет по улице домой.
Ремянный бич я достая
С протяжным окриком тогда
И ангелов наотмашь бью,
И ангелы сквозь провода
Взлетают в городскую высь.
Так с венецийских площадей
Пугливо голуби неслись
От ног возлюбленной моей.
Тогда, прилично шляпу сняв,
К безрукому я подхожу,
Тихонько трогаю рукав
И речь такую завожу:
«Pardou, monsieur, когда в аду
За жизнь надменную мою
Я казнь достойную найду,
А вы с супругою в рай
Спокойно будете витать,
Юдаль земную созерцать,
Напевы дивные внимать,
Крылами белыми сиять, —
Тогда с прохладнейших высот
Мне сбросьте перышко одно:
Пускай снежинкой упадет
На грудь спаленную оно».
Стоит безрукий предо мной
И улыбается слегка,
И удаляется с женой,
Не приподнявши котелка.

Суровое стихотворение! Слишком «извилистое» для прямой трактовки! Прежде чем тронуть анализом этот похожий на смертоносный тромб сгусток желчи, гнева, сострадания, желательно ознакомиться с моментом, когда стихи написаны. Поэт часто возвращался к своим первоначальным наброскам, углублял и совершенствовал начатое. Так что момент написания растягивался на целый период... Под «Балладой» стоит июнь—август 1925 года. Где написана? В Медоне под Парижем. Прошло три года после отъезда из России. Недобрые духи времени и места сопровождают поэта в его скитальчестве по Западу. Берлин, Прага, Венеция, Рим, Лондон. Звучит красиво, но... Ни пристанища, где можно бросить якорь, ни надежного литературного заработка. *«Есть в мире лишние, добавочные, / Не вписанные в окоем, / (Не числящимся в ваших справочниках, / Им свалочная яма – дом»* (М. Ц.). К тому же нельзя вырывать «Балладу» из контекста других стихов «Европейской ночи», тоже суровых, порой жестоких, но не по отношению к малым мира сего, а скорее к самому миру — игралитцу диких, темных, необузданных сил. Хотя нередко кажется, что поэт сердится и на жертву тоже — без вины виновника своего несчастья. Но более всего сердит он на самого себя.

Однако заглянем в Евангелие от Луки, на которое ссылаются И. Ронен и Н. Богомолов. Не поможет ли оно разобраться в этом сложном с нравственной точки зрения случае?

«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно» (Лк. 16, 19).

Пока никакой параллелью со стихами В.Х. и не пахнет. Лирический герой, он же автор «Баллады», всю жизнь был до предела стеснен обстоятельствами. Современники пишут об его неустройстве, честной бедности, заметных даже на неблагоприятном фоне быта тогдашней эмиграции. Но, может быть, речь идет о богатстве другого рода: мощном таланте, плодотворном вдохновении? Надо совершенно не чувствовать Ходасевича, чтобы строки «Мне ангел лиру подает, / Мне мир прозрачен, как стекло» принимались всерьез, а не как горчайшая насмешка над самим собой. Всё наоборот: ни подаваемой свыше лиры, ни прозрачности окружающего. «Тяжелая лира» — название четвертой книги поэта не случайно. Он знал, какова она на вес, какого напряжения жил, нервов, мозговых извилин требует от него поэтическая работа.

«Ремянный бич», о котором шла речь выше, а еще больше отчаянный жест надсмотрщика — «наотмашь бью», направленный против ангелов вдохновения, вероятно, использовали немногие поэты. Пожалуй, еще только Гейне, как справедливо отмечено в примечаниях к одномнику. Не настаиваю на своей догадке, но именно свист «ре-

мянного бича» слышится мне в стихах «Европейской ночи». Причем бичует Владислав Фелицианович прежде всего Владислава Фелициановича. Кого же еще?

Так что один из героев притчи и авторское «я» баллады – личности несовместимые. Пойдем дальше:

«Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача; и псы приходя лизали стружья его» (Лк. 16,20–21). Евангельский бедолага и «однорукий с беременной женой» не имеют ни единой точки соприкосновения.

Чтобы не испытывать дольше терпения читателя, кратко изложу окончание притчи. И нищий, и богач умерли и попали «в лоно Авраамово»: первый – в рай, второй – во ад. «Будучи в муках», богач попросил патриарха Авраама, чтобы Лазарь «омочил конец перста своего в воде и прохладил» его язык. Патриарх ответил на это в том смысле, что хватит с него земного добра, пусть пострадает, а Лазарь, получивший на этом свете одно зло, пусть утешится на том. Мысль – не новая для нас. Две тысячи лет назад, возможно, свежая. Как все евангельские притчи, и эта многозначна, годится на многие случаи жизни. Но при чем тут стихи Ходасевича?! Видимо, из профессиональной солидарности поддерживавший западную коллегу русский литературовед силится оправдаться перед собой и перед читателем: «...смысл притчи направлен на осуждение богатства и превознесение идеала христианского смирения и покорности своей судьбе. У Ходасевича же речь идет о смирении поэта-пророка перед человеком из толпы (приводится четверостишие «Мне лиру ангел подает...» – Т. Ж.). Мало того, безрукому предстоит превращение в одного из тех ангелов, которые сейчас окружают поэта и подают ему лиру. Ведь поэт просит не капли воды, как богач из притчи, а перышка на спаленную грудь – ангельского перышка...

Ну и ну! Единственное, что остается, – это удивленно развести руками... Не претендуя на полноту своего резюме, доскажу то, что сама вижу в «Балладе». Прежде всего любовь к женщине. Ее выдают целомудренные строки о пуливых голубях, которые с площадей Венеции «неслись от ног возлюбленной моей». В стихах есть еще одна героиня: беременная жена инвалида. Судьба не судила Ходасевичу статью отцом. Но немного найдется в русской поэзии стихов, где так опозитивировано «интересное» положение женщины, как в двенадцатистишии «Ни жить, ни петь почти не стоит...» Здесь поэт вслед за Тютчевым говорит о «биенье» в каждодневности «совсем иного бытия». А вот его концовка: «*Тих, провождая жизни скуку, / Любовью женщиною кладет / Свою взволнованную руку / На грузно пухнувший живот*». Берлинское стихотворение лета 22-го года.

Что это? Просто так называемое «распространенное сравнение» или личная несбывшаяся надежда?.. Безрукий инвалид, скорее всего, — жертва ненавистной войны. Вспомним «Слезы Рахили»! И вот они друг против друга. *«Беззлобный смиренный человек с опустошенным рукавом»* и целёхонкий «надменный» поэт-эмигрант (многие упрекали В. Х. в надменности). Между прочим, «идиотства Шарло» — не такие уж идиотства, если знать, что незнакомым именем — на французский манер — назван Чарли Чаплин. Сравнение, как говорится, не в пользу автора. Терзание души, раскаянье (вероятно), сочувствие (не исключено), невозможность ничего изменить. И фантастический выход из положения: полный иронии и самоиронии монолог, обращенный к французу, не понимающему иностранца. Серьезны тут только две строки о перышке: «Пускай снежинкой упадёт / На грудь спаленную оно». Грудь, вместилище сердца поэта, была, действительно, спалена...

Наверно, возможно и другое прочтение «Баллады». Я всей душой за разномыслие, одобренное еще апостолом Павлом (1 Кор. 11, 19). Я лишь против того, чтобы приписывать огненным стихам В. Х. то, чего в них нет.

«Изгнание — всегда трагедия, эмиграция — всегда несчастье. Но для поэта эмиграция есть гибель, — пишет Нина Берберова, — и Ходасевич отдавал себе отчет в том, что уготовила ему судьба».

Прекрасно зная этого хрупкого, изящного «в походке и движениях» человека, высоко ставя его талант и сделанное им в литературе, Берберова подсказывает верный путь и в поисках ускользающего от поверхностного взгляда духовного, религиозного начала его своеобразной лирики. Не в прямых переключках стихов со Священным Писанием лежит он, а залегает гораздо глубже, в труднодостижимых пластах сознания.

Размышляя о трудностях его жизни на родине в эпоху военного коммунизма, Н. Б. приходит к выводу, верному и для дальнейшей, частично разделенной с В. Х. судьбы: «Не было в этой внешней жизни ничего, что бы гармонировало с его мрачной, чистой, строгой и глубокой поэзией. Но за этим бытом сквозило для него непрестанно то бытие, которое неузнанное и не разгаданное для большинства, так волнует и преследует поэтов».

Не всех — хочется добавить. А лишь особенно щедро обремененных даром «тайнослышанья», как выражается Берберова. Избранных связей между двумя мирами.

Державин, Тютчев и Боратынский как предтечи Ходасевича на этом пути называются разными исследователями. Не буду вторично разбирать тут явно подсказанную поэту из высших сфер державинскую оду «Бог», сетования Боратынского о столь странном и распро-

страненном явлении, как человеческий дух-«недоносок», тютчевское «двоемирие» — ибо достаточно подробно сделала это в соответствующих главах. Но есть еще одно имя в русской поэзии, которое хочется вспомнить в связи с нашим героем: Константин Случевский. То, что давно было высказано по адресу К. С. малоизвестным у нас литератором-эмигрантом Г. Мейером (журнал «Грани» № 224. М., 2007) проливает свет на важнейшее свойство Ходасевича: чем больше давит на поэта окружающее, тем решительнее отрывается от него дух, тем свободнее парит он на грани двух миров, стремясь ввысь.

«Только длительное лицемерие всех здешних земных ужасов и преступлений (...) метаэмпирики зла, побудило Случевского заглянуть в запредельное, приступить к оправданию смерти как тернистой тропы, ведущей к бессмертию», — сказано как будто о позднем В. Х. Правда, обозревая его короткий и блистательный творческий путь, я бы заменила слово «смерть» словом «жизнь». Как раз жизнь, со всеми ее мытарствами, уродствами, вольным и невольным искажением человеческой природы, толкает, по Ходасевичу, душу к удесятиренному чувству красоты, полноты, бессмертия.

С середины 50-х люблю его «Элегию» 1921 года. Не в укор младшим коллегам и их насмешливым идеологам, уверенным, что до них ничего не было, никто ничего стоящего не читал и все только перемальвали молочными зубами спущенную сверху идейную жвачку, а из уважения к истине скажу: и знали, и читали, и всё понимали, как надо, и не одна я, поди, помню наизусть весь свой век.

*Дерева Кронверкского сада
Под ветром буйно шелестят.
Душа взывала. Ей не надо
Ни утешений, ни усад.
Глядит бесстрашными глазами
В тысячелетия свои,
Летит широкими крылами
В огнекрылатые рои.
Там всё огромно и певуче,
И арфа в каждой есть руке,
И с духом дух, как туча с тучей,
Гремят на чудном языке.
Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И старшим братьям заявляет
Равенство гордое свое.
И навсегда уж ей не надо*

*Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронвержского сада
Бредет в ничтожестве своем.
И не понять мне бедным слухом
И косным не постичь умом,
Каким она там будет духом,
В каком раю, в аду каком.*

Нет, не апологетом смерти выступал Ходасевич в 20-е да и 30-е годы, а жильцом двух миров, поверяя мир земной миром небесным, и наоборот. Идя след в след за Боратынским, оставившим нам поразительную строку: «*И в небе земное его не смутит*», пишет он короткий, в восемь строк всего, «Март». В привычном толковании это — природная зарисовка, и она проскакивает обычно мимо внимания читателя. Мне же хочется на ней остановиться:

*Размякло, и раскисло, и размокло.
От сырости так тяжело вздохнуть.
Мы в тротуары смотримся, как в стёкла,
Мы смотрим в небо – в небе дождь и муть.
Не чудно ли? В затоптанном и низком
Свой горний лик мы нынче обрели,
А там, на небе близком, слишком близком,
Всё только то, что есть и у земли.*

Загадка? Да! Но в этой загадке есть прок — добрым молодцам урок. Да не сравниваем мы с наивными потребителями религиозных текстов, кто мыслит, что, прожив серую, замкнутую, сварливую жизнь, они разом будут восхищены на небо, в райские сады, где ангелы возьмут их в свой хоровод. Не дана ли нам жизнь, чтобы, после всех испытаний, мы обрели «горний лик» даже «в затоптанном и низком»?..

Собрав цветы зла приближающейся европейской ночи, Ходасевич как поэт умолк, ушел в другие литературные жанры. Книга о Державине, мемуарный «Некрополь», критические статьи неизменно широкого охвата — достояние былых и будущих поколений. Скончался Владимир Фелицианович после мучительной болезни в Париже 14 июня 1939 года, ровно за год до гитлеровской оккупации. Был похоронен на кладбище Биянкура...

Виталий Зверев во вступлении к удачно составленному им карманному сборнику стихов В. Ходасевича, не так давно вышедшему в Библиотеке избранных стихотворений XX века, привел его слова из рецензии на книгу Андрея Белого «Начало века»: «Весьма возможно,

что сроки еще не близки, но, как это ни ужасно для Каменевых, полу-Каменевых и четверть-Каменевых, — Россия вновь станет тою христианской страной, какой она была, или — вернее — какую она хотела, но еще не умела быть».

Если бы всё зло мира гнездилось в одном месте, было привязано к одной или даже сотне имен заранее вычисленных «злотворцев», можно было бы воспрянуть душой от одних этих слов поэта-провидца. Но зло мира рассеяно по сонму душ. И наши души, увы, не исключение.

Поэтому без утешений и усад, зато путем зерна, продолжим своё скромное восхождение, видя в самом незначительном еще одну ступеньку вверх, как в знаменитом и до конца, слава Богу, не разгаданном стихотворении Владислава Фелициановича:

*Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам потерял — теперь ищи...
Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.*

Весна 1921, 11 января 1922

Глава шестнадцатая

«СТРАШНО ВСТРЕТИТЬСЯ С ХРИСТОМ...»

(Вяч. Иванов)

Кто только не побывал на знаменитой «башне» Вячеслава Иванова: Блок, Белый, Сологуб, Волошин, Ахматова, Гумилев, Ремизов, Горький, Бердяев, Кузьмина-Караваева, Мейерхольд, Бакст, Сомов... И еще десятки, если не сотни, посетителей... Одного, пожалуй, назову: Виктор Максимович Жирмунский. Слышала от него, что, поднимаясь на седьмой этаж дома по Таврической улице, он, тогда пишущий стихи студент, испытывал настоящий трепет. В.М. не любил при встрече по-московски целоваться — просто дружелюбно, по-петербургски пожимал руку. Не раз пожал и мне. А хозяину «башни», хотя бы при знакомстве, наверное, тоже. Неужели только одно рукопожатие отделяет меня от поэта, драматурга, переводчика, теоретика символизма Вячеслава Ивановича, носившего такую распространенную в России фамилию? «Не Иванов, а Ива́нов», — мягко поправил меня, выпускницу Литинститута, двоюродный дядя, и от зафиксированного на всю мою последующую жизнь ударения повеяло Серебряным веком русской культуры. И сейчас веет, когда пишу эти строки.

Человек начинается с детства. Когда речь идет о поэте и философе, особенно такого масштаба, как В. И., — с младенчества. Большой цикл стихов, в сущности, маленькую поэму, о своих корнях, о пробуждении сознания, Иванов так и называет: «Младенчество». Писались стихи на переломе эпох, в двух городах, определивших его судьбу: большая часть — в Риме, весной 13-го года, заключительные строфы — в Москве, летом 18-го.

Заметим: онегинская строфа, выбранная поэтом, нигде не отдает анахронизмом. Но ее строгий строй, классическая завершенность бросают некий отблеск пушкинской гармонии на тот душевный сдвиг, который испытывает отец героя и который изначально грозит самому герою. Об отце-землемере, «из нелюдимых», сказано четко: «Он сел, от мира заградился/И гряду вальнодумных книг/Меж Богом и собой воздвиг». Иное дело — мать. Внучка сельского иерея, русская душою, она волею судеб взята как сирота в немецкую лютеранскую семью, очень набожную: «Читали Библию супруги,/Усевшись чинно, по утрам./Забывать и крепостные слуги/Не смели в праздник Божий храм./И на чепец сидящей дамы,/И на тещу глядел из рамы/Румяный Лютер: одобрял/Их рвенье Доктор, что швырял/Чернильницей в Вельзевула...».

Остановлюсь на минуту. Как следует из примечаний к вышедшему 10 лет назад двухтомнику Вячеслава Иванова, эпизод с чернильницей заимствован из «Поздних апокрифических сказаний» о Лютере. И тут же ссылка на «Очерки по истории классической немецкой литературы» В.М. Жирмунского. Значит, не случайно воскрес в моей памяти дядя. Может, останется со мной и дальше, потому что говорить о такой сложной фигуре, как Вячеслав Иванов, полагаясь лишь на свои силы, слишком самонадеянно...

Случилось то, что и должно было случиться: безбожник-шестидесятник и православная, с лютеранским прививом, дева, оба далеко не молодые, однажды встретились, венчались и дали жизнь удивительному младенцу:

*Мне сказывала мать, и лире
Я суеверный свой рассказ
Поведать должен: по Псалтири,
В полночный, безотзывный час,
Беременная, со слезами,
Она, молясь пред образами,
Вдруг слышит: где же?.. точно, в ней –
Младенец вскрикнул!.. и сильней
Опять раздался заглушенный,
Но внятный крик... Ей мир был лес,
Живой шептанием чудес.
Душой, от воли отрешенной,
Удивлена, умилена,
Прияла знаменье она.*

У меня не возникает сомнений, что так оно и было. Будущие матери вслушиваются в себя с таким глубоким погружением, что могут уловить не слышимое другими. Естественно, что набожная мать возвела астральный звук в степень Божьего знаменья...Идем дальше: «Мать новалетие встречает, –/Гадает, разогнув Псалтырь:/«В семье отца я, пастырь юный,/Был меньшим. Сотворили струнный/Псалтирион мои персты...»Дар песен вещицы листы/Тебе пророчат...»

Строки эти интересны для нас не только тем, что тут с наивностью поистине простонародной, непосредственностью татьяно-ларинской женщина желает узнать, какая стезя ждет горячо любимого единственного сына. Но и тем, что гадание по Святой книге, напро-роченный самим царем Давидом песенный дар и для возросшего, зрелого Вячеслава Иванова (в пору написания «Младенчества» ему 47 лет), видимо, не потеряли своего значения. Напомню, что псалом – это

благодарение Богу от человека. Поэты благодарят Создателя поразному. У многих в памяти горько-безнадежное: *«Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне/Недалго я еще благодарил»* (М. Лермонтов). Ивановский же «Псалтерион» рождает звуки особые, порой раздражительные для настроенного на определенный лад слуха.

Когда умер отец, мальчику было пять лет; невере-землемеру явился перед смертью... Николай Угодник, что также вошло в семейные анналы... Всё это важно знать, чтобы образ хозяина «башни», ученого филолога, мистагога, как его называли в своем кругу (т.е. главу тайных мистических обрядов), не выглядел слишком уж заоблачным, холодным, потусторонним. Все-таки он прежде всего сын своей матери, а об ее живой вере сказано так: *«С бесплотным зрением теней/Порусски сочетался в ней/Дух недоверчивой догадки,/Свободный, зоркий, трезвый ум./Но в тишине сердечных дум/Те образы ей были сладки,/Где в сретенье лучам Христа/Земная рдеет красота»*.

Биография Вячеслава Иванова нетипична для поэта. Как правило, пробуждаясь вместе с песенной областью души, поэтический дар требует немедленного воплощения — в слове, музыке, образе, а потом и выхода в печать, в необозримое культурное пространство. Отодвигать возможность публикации могут только или очень уверенные, или вовсе не уверенные в своем таланте творцы. Кажется, в нашем герое преобладало то одно, то другое. Стихи и поэмы он сочиняет с гимназических лет. Но первая книга, «Кормчие звезды», публикуется, когда ему уже под сорок. До той поры В.И. занят строго научными дисциплинами (в основном античной и ренессансной историей и литературой), живет и работает за границей — в Германии, Италии, Швейцарии, Англии и Франции, стихи творит для себя, жены и друзей.

Успех первого сборника, прежде всего в среде поэтов-символистов и их реальных или кажущихся почитателей, вскоре подтверждается второй книгой: «Прозрачность». Тонкий толкователь ивановской поэзии Сергей Аверинцев во вступлении к тому же Малой серии (СП, 1976) показывает намеренную многослойность этой «прозрачности»: «...облачко существует для того, чтобы сквозь него просвечивали вечные звезды (все те же «кормчие» звезды); зыбкая и шелестящая зелень существует для того, чтобы сквозь нее увидеть и услышать «смарagdную тишину» (смарagd, подскажу читателям, то же, что изумруд, — Т. Ж.); лиризм существует для того, чтобы сквозь него была ощутима мысль (...) Взгляд должен пройти сквозь текучее и увидеть пребывающее». Хочется добавить: видимое в этих стихах существует для того, чтобы через их избыточную вещественность, живую или кристаллизованную, а то и окаменелую природу сквозило невидимое.

Души Сумарокова и Ломоносова — поэтов с торжественной архаической лексикой, с одической интонацией во славу «премудрости Божией в солнце», осознанно или нет, вызывает Иванов, когда в сонете «На миг» пишет:

*День пурпур царственный дает вершине снежной
На миг: да возвестит божественный восход!
На миг взывает он из синевы безбрежной
Златистых облаков вечерний хоровод.
На миг растит зима цветок снежинки нежной,
И зиждет радуга кристально-яркий свод,
И метеор браздит полночный небосвод,
И молний пламенник взгорается мятежный...*

У предтеч-классицистов, пожалуй, не было такого обостренного чувства мгновенности всего сущего. Не было и глобального отчаяния, подобного вылившемуся в другом ивановском сонете: «Полет»:

*Ты, Муза вещая! Мчит по громам созвучий
Крылатый конь тебя! По грядам облаков,
Чрез ночь немых судеб и звездный сон веков,
Твой факел кажет путь и свет след горючий!
Простри же руку мне! Дай мне покинуть брег
Ничтожества, сует, страстей, самообманов!
Дай разделить певцу твой быстротечный бег!..*

Полтора века не прошли даром для песнопевцев. Поэты-предтечи зывали к Богу, а не к Музе, с ее переменчивым, двусмысленным нравом. Господь давал им остойчивость, предъявлял этот дивный мир с чудо-землей и небом, усеянным звездами, как удостоверение того, что Он есмь, а значит, никуда не подевались и незыблемые духовные ориентиры. Поэт-символист тоже обращает взор свой к звездам, называя их «кормчими», собираясь править по ним кормило своего жизненного корабля. Но слишком уж часто в грозовом небе над его головой «раскатом громких колесниц» сшибаются напрягшие гордые мышцы Титаны — скрытые под античной маской духи грядущих катастроф.

Кончается девятнадцатый век, и Земля кажет поэту свой лик Януса. Порой она — «Мать-Земля», и сладко прилечь ей на грудь, тем более что и жизнь улыбается маститому профессору, поэту-дебютанту: в 1893 году в Италии он встретил свою роковую любовь, Лидию Дмитриевну Зиновьеву-Аннибал. Красавица, писательница, мать троих детей от первого брака, она потрясла его «слепительною встречей», пе-

ревернула его размеренное существование, явилась ему Изидой, Магдалиной, Деметрой, женой и матерью земной. Их общая дочь, тоже Лидия, стала выдающимся музыкантом и мемуаристом. Ее воспоминания об отце — выплеск кровной любви, волнующий документ эпохи. Несмотря на эту провиденциальную встречу, а может быть, и благодаря ей, основным символом Земли становится для Иванова Христов терновый венец, перевитый... плющем и хмелем.

*Пьяный плющ и терен дикий,
И под чащей — скал отвес,
Стремь — и океан великий
До безбрежности небес...
Так Земля в венце терновом,
Скрытом силой плющевой,
Мерит с каждым солнцем новым
Даль пучины роковой.
Там, за гранью, солнце тонет,
Звезды ходят — вечно те ж...
Вал дробится, берег стонет,
И венок, как вечность, свеж.
Солнце тонет, мир покорен —
Звезды те ж выводит твердь...
Жизнь венчает дикий терен,
Пьяный плющ венчает смерть.*

О «пьяном плюще», венчающем смерть, хочется сказать особо. «Ах, это было пьянство белого луча!» — ставит Иванов эпиграфом к стихотворению «Хмель». И тут же: «Хмель — это тайная душа нашей жизни. Мир — хмель божества». Оба эпиграфа взяты из неоконченного и неопубликованного романа Зиновьевой-Аннибал «Пламенники». Нам не дано заглянуть в последнюю глубину души поэта, но естественно предположить, что горячее чувство к бурно-темпераментной Лидии Дмитриевне встряхнуло, преобразило Вячеслава Ивановича, понесло его прочь от будничного, ставшего пресным житья и рода занятий. Не обошлось тут и без великого богоборца Фридриха Ницше, тоже филолога по первоначальной профессии, а потом бунтаря, «скитальца по Элизию языческих теней», родителя «Сверхчеловека», автора книги «Рождение трагедии из духа музыки», потрясшей Иванова. Именно Ницше обнаружил в бытии два начала: дионисийское и аполлоническое. Жить или созерцать — так можно раскрыть их, не вдаваясь в подробности. Русский поэт-символист воспринял это слишком лично. Древнегреческий Дионис (он же Вакх), бог земли, виноделия, вино-

градарства, олицетворение темной стороны души, безумных экстазов и погибельных страстей, вдруг воспреобладал в нем над Аполлоном, богом солнца и света, разума и порядка. Когда-то античный мир шумно праздновал *дионисии*, множество людей участвовали в торжественных процессиях, гремели хоры, состязались поэты и драматурги. Согласно мифу, Дионис был растерзан титанами, поэтому празднества имели характер тризны. Оставляя двадцать пять веков за спиной, Иванов переносит былые торжества в современную ему Италию.

*Зимой, порою тризн вакхальных,
Когда менад безумный хор
Смятеньем воплей погребальных
Тревожит сон пустынных гор, –*

.....
*В благоговенье и печали
Возвав к тому, чей был сей дом,
Менаду новую венчали
Мы дионисовым венцом:
Сплетались пламенные розы
С плющом, отрадой дерзких нег,
И на листьях, как чьи-то слезы,
Дрожа, сверкал алмазный снег...
Тогда пленительно-мятежной
Ты песнью огласила вдруг
Покрытый пеленою снежной
Священный Вакхов полукруг.
Ты пела, вдохновеньем оргий
И опьяняясь и пьяня,
И беспощадные восторги,
И темный гроб земного дня...*

«Менада новая», то есть спутница Диониса, — это Лидия Зиновьева-Аннибал...

Другой поэт, в другие времена, на другом языке обронил удивительные строки: «*Не я пишу стихи, они, как повесть, пишут/Меня, и жизни ход сопровождает их...*» (Гициан Табидзе, перевод с грузинского Бориса Пастернака).

Мистическое чувство охватывает меня, когда подумаю, как точно все сбылось в жизни необыкновенной четы: от «беспощадных восторгов» до «темного гроба».

Вернувшись вместе с женой в Петербург осенью 1905 года, Иванов становится центром притяжения для петербургской художест-

венной элиты. Тогда-то и возникает «башня»... Вместе с Лидией Вячеславовной Ивановой (ей в ту пору было девять лет) я как будто побывала в этом святилище. Многоэтажный дом на пересечении Таврической и Тверской, угол здания в виде башни. Половину башни составляли внешние стены, с большими окнами, — туда заходили с опаской, другая же половина образовывала внутренность квартир. В двух квартирах на пятом этаже жили Ивановы вместе с детьми. Печи-голландки топились дровами. Чтобы поговорить по телефону, надо было сбежать на несколько этажей вниз. Около общего аппарата лежала, тоже общая, меховая накидка — внизу было холодно...

Ивановские среды на «башне» стремились объять необъятное. Николай Бердяев упоминает темы литературные, художественные, философские, религиозные, оккультные. Интерес к злобе дня не притуплял тревоги, связанной с вечными вопросами, с конечными проблемами бытия. Впрочем, один из гостей, поэт Сергей Городецкий, печатно обозвал среды «Парнасом бесноватых». Как бы там ни было, психеей, душой этих собраний всегда оставалась Лидия Зиновьевы-Аннибал. Книгу ее рассказов «Трагический зверинец» высоко оценил Блок. Иванов в своих стихах величает супругу царицей, Сивиллой — прорицательницей. Четырежды мать, она все еще юна душой и плотью. Избранность уживается в ней с милосердием, желанием помочь больным, бедным, обездоленным. Она и ушла из жизни безвременно, подхватив чужую заразу...

Не наше дело заглядывать в щелку, но я недаром назвала любовь поэта к Диотиме (прозвище Л.З. А.) роковой. «Змея» — так называется одно из посвященных ей стихотворений. Оно слишком страстно, жизнеубедительно, чтобы связывать его только с «Пиром» Платона, как это делается в примечаниях, да и вообще с любой книжностью. Оно приоткрывает такие глубины в отношениях любящих людей, куда страшно заглядывать:

«Дохну ль в зазывную свирель, / Где полонен мой чарый хмель, / Как ты, моя змея, / Затворница моих ночей, / Во мгле затеплив двух очей, / Двух зрящих острия, / Вяясь, ползешь ко мне на грудь — / Из уст в уста передохнуть / Свой яд бесовств и порч: / Четою скользких медяниц / Сплелись мы в купине зарниц, / Склебились в корчах корч (...) / Потухла ярь; костер потух; / В пещерах смутных ловит слух / Полночных валн прибой, / Ток звездный на земную мель, — / И с ним поет мой чарый хмель, / Развязанный тобой».

Да, современным эротоманам, в большинстве своем абсолютно невежественным, далеко до таких откровений.

Тогдашний поэт-народист не упустил возможности высмеять «*чарый хмель*» Иванова, его пристрастие к старославянским, вышедшим из употребления словечкам. Нас же тут волнует другое. О чем эти стихи? О жгучем соблазне, о притягательной бездне греха. Насладившись ими, иной впечатлительный читатель может возжелать себе того же: развязать все первобытные инстинкты, «склудиться в корчах корч», все испытать — и умереть. Неужели такова благословенная свыше любовь?..

Мы уже встречались с «*хмелем*» и «*пьяным плющом*», который, помните, мирно уживался с Христовым распятием? Выходит, и мрак уживается со светом? Грех — с верой? Христос — с его мифологическими подобиями? Далее цитата: «Сын божий», преемник отчего престола (...) он же в лике «героя», — богочеловек, во времени родившийся от земной матери...» — о ком это? О Христе? Нет, о Дионисе (статья Иванова «Ницше и Дионис»). В стихотворении «Хвала солнцу» поэт, вроде бы прославляя Христа, называет его... Гераклом. Вакантное место «страждущего бога» занимает то Дионис, то Прометей...

Опьяненные нынешней доступностью ценностей Серебряного века русской культуры, мы не сразу осознали, что в сгущенном до духоты воздухе эпохи реяли символы не столько христианские, сколько античные, оккультные, колдовские; в обиходе образованнейших людей России новое язычество играючи вытесняло двухтысячелетнюю веру. Может быть, все, что преподнесла история потом, получило солидную подпитку из невинных как будто стихов, статей, картинных выставок, театральных постановок, из умонастроения отмеченных печатью гения творцов...

Смерть Лидии Дмитриевны в 1907 году была для Иванова ужасной трагедией. Ее портрет, написанный Асей Тургеневой, до самой смерти стоял у него на письменном столе. Но неумолимый «жизни ход» и чугунная поступь времени окончательно отрезвили его, еще раз напомнили о материнской вере в свое чадо, о тех чаяниях, что, согласно стихам «Младенчества», связывала она когда-то с ним, «пастырем юным».

Слова «пастырь», «пастух» встречаются в Библии много раз. В Псалтири сам Господь назван Пастырем, кто, как не Он, по словам псалмопевца, «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего» (Пс. 22,3). Еще ветхозаветный пророк Иеремия довел до сведения народа утешительное Божье обетование: «И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием» (Иер. 3,15). А другой пророк, Захария, в гневе восклицал: «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо!..» (Зах. 11,17)

Может ли мыслитель отвернуться от народа, Поэт — от черни (в пушкинском смысле), когда

*Так, в сраме крови, в смраде пепла,
Изъязвлена, истощена,
Почти на божий день ослепла
Многострадальная страна...*

Да не введет нас в заблуждение эпитафия к стихотворению «Люцина» из Вергилия и само латинское имя-название! Разумеется, это стихи о России, писаны еще в 1905 году. Как выйти из великой смуты, как преодолеть кровавый хмель братоубийства? Иванов и тогда видел единственный выход — религиозный.

*Свою ж грызущий, в буйстве яром,
От плоти плоть, от кости кость, —
Народ постигнет ли, что с даром
К нему нисходит некий гость?
Где ангел, что из яслей вынет
Тебя, душа грядущих дней?
И скопища убийц раздвинет
И сонмы мстительных теней...*

Итак, «душа грядущих дней» — рожденный в яслях Христос. Для огромного большинства буйствующих, убивающих, мстящих Он все еще лежит в колыбели; и ослепшая «почти на божий день» страна не верит в Его Воскресение (надо ли напоминать, что Христос «воскрес в третий день по писаниям» — вероятно, на этот решающий, ключевой для христианства «третий день» и ослепла Россия)... «Но да не будет!» этого — закликает поэт.

*...Скрой, Люцина,
Дитя надежд от хищных глаз!..
Все перемнется в нас, что глина;
Но сердце, сердце — как алмаз.*

Какие бы экстазы ни изымали поэта из действительности, индивидуалистом он не был никогда, «сверхличное», «хоровое», «соборное» с ранних лет волновали его сердце. Вероятно, поэтому ему было что внутренне противопоставить пессимизму нищезанятия.

Через 11 лет после «Люцины», где сквозь античные одежды рвется свое, русское, выстрадавшее, Иванов пишет стихотворение «Буди,

буди!» (с ударением на первую гласную). Это уже не заклинание «да не будет!», а утверждение с твердостью алмаза:

*Царству Божью – «буди, буди».
О Христе молитесь, люди!*

Комментарий к стихам, со странным названием, с прямым обращением: *Русь*, дает сам автор, не скупясь на обширную цитату из «Братьев Карамазовых»: «Теперь общество христианское стоит лишь на семи праведниках, но так как они не оскудевают, то и пребывает все же неизбежно в ожидании своего полного преобразования во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди! И что по расчету человеческому может быть еще и весьма отдаленно, то по предначертанию Божию, может быть, уже стоит накануне своего появления, при дверях. Сие последнее буди, буди! От востока звезда сия воссияет».

Предпоследняя строфа этого стихотворения, написанного в шестнадцатом году, представляется мне особенно значительной. Она предопределяет будущий духовный путь поэта.

*Страшно встретиться с Христом
Не во вретнице и прахе.
Легче каяться на плахе,
Чем на троне золотом.
Русь, в царьградскую порфиру
Облачась, не рабствуй миру!*

Заметим себе, что отчасти близкий к славянофилам, деля их веру в особое призвание России, не мысля возрождения страны вне религии, поэт отвергает пышную церковную обрядность, только прикрывавшую язвы народной жизни, не приемлет государственности как горделивого института, зовет к покаянию и духу первохристианства. Но стихи шире одного этого смысла. С Христом «страшно встретиться» и самому поэту, и каждому из нас. Хотел бы в рай, да грехи не пускают...

Принято считать, что к Октябрю 1917 года Вячеслав Иванов отнесся уклончиво. Это не совсем так. Да, он не кричал стихами о третьей русской революции ни за, ни против. В отличие от многих коллег смиренно признавал за собой, и не только за собой, вину за извержение смертоносных лав истории:

«Да, сей пожар мы поджигали, /И совесть правду говорит, /Хотя предчувствия не лгали, /Что сердце наше в нем сгорит(...) Кто развязал Эолов

*мех./Бурь не кори, не фарисействуй./Поэт Трагедия: «Все грех,/Что действ-
вие», Жизнь: «Все за всех»,/А воля действенная: «Действуй!»*

Эол — мифологический повелитель ветров, что до времени упря-
таны в мехи, конечно, символ, эвфемизм. Поэт отлично знал, каковы
движущие силы Октябрьской революции, заранее предвидел, каки-
ми политическими лозунгами соблазнятся массы: «мир», «воля»,
«правда». Поэт — не Бог и даже не античное божество, он не может
покончить с войной, одарить сограждан свободами, победить ложь.
Он может только предостеречь. И «Буди, буди!» предостерегало:

*Князю мира не служи!
«Мир» — земле, народам — «воля»,
Слабым — «правда», нищим — «доля»,
«Дух» — себе самой скажи!..*

Но этого-то как раз и не случилось. Мог ли он принять *такую* рево-
люцию? Нет, не мог.

Песни смутного времени» по накалу, по глубине уступают другим
вещам Иванова. Проигрывают они и стихам — открытым ранам Воло-
шина и Цветаевой (хотя бить одного поэта другими — последнее дело).
Но можно ли считать *уклончивой* позицию лояльного во всем осталь-
ном профессора, который, возможно, только в стихах и выговари-
вался, глухо как в подушку бормоча «из-под глыб»:

*Со свечкой в подвале
Сижу я на страже
Притихшего дома.
Тревога, истома...
То ближе, то дале
Перестрелка — всё та же...
Что-то злобное ухнет...
И костяшками пальцев
Вновь стучатся скелеты,
Под крестом не пригветы;
Воят: «Русь твоя рухнет!» —
Сонмы лютых схитальцев. —
Посажена в тесный
Застенок сынами
И ждет приговора —
Палача и позофа»...*

*Сжался, Душе небесный,
Очиститель, над нами!*

Здесь нет опечатки: это не скитальцы, а Русь посажена в застенок, Русь ждет приговора... Церковное, молитвенное Душе (с ударением на первом слоге) не меньше говорит сердцу верующего, чем иные кровоточащие, написанные навзрыд стихи...

...Хотя бы беглым контуром обведем главные события жизни поэта-философа до и после Октября... Расставшись с любимой женой, Иванов посвятил ее памяти «Венок сонетов». Это самая трудная стихотворная форма: четырнадцать законченных стихов со строгим чередованием рифм, с так называемым магистралом, что состоит последовательно из первых строк каждого предыдущего сонета. Непревзойденный переводчик Петрарки (сонеты на жизнь и на смерть Лауры), погруженный в скорбь поэт тем не менее достигает в своем реквиеме высшего поэтического пилотажа. Он еще и усложнил себе задачу: сделав «магистралом» стихи, вдохновленные первой его встречей с Зиновьевой-Аннибал. Такое супермастерство способно засушить даже влажные дионисийские чувства творца. Но нет! Они так сильны, что все равно пробиваются: *«Я был твоей свет, ты – пламень мой. Утроба/Сырой земли дохнула: огневой/Росток угас... Я жадною листвой,/Змеясь, горю; ты светишь мной из гроба...»*

В стихах «Венка» встречаются и библейские образы, очевидно, важные для автора, пусть роль их отчасти и декоративна: *«Мы – две руки единого креста»; «Безвестная сердца слияла Кана»* (имеется в виду Кана Галилейская, где Иисус превратил воду в вино).

Но один из евангельских образов никак нельзя обойти вниманием: *«И снится нам: меж спящих благовонный/Мы алавастр несем к ногам Христа...»* Алавастр – сосуд для благовоний. В Евангелии от Луки рассказано, как женщина-грешница, узнав, что Христос находится в доме фарисея, «принесла алавастровый сосуд с миром; И ставши позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его и мазала миром» (7,38). Укорив фарисея, не сделавшего ничего подобного, благодарный Христос отпустил ей грехи...

Судьба как будто смеялась над жаждущим очищения вдовцом. Он снова страстно полюбил. Воспитанную в его семье падчерицу Веру. Когда умерла мать, ей было всего 17 лет. О Вере Шварсалон (фамилия родного отца) мы знаем немного. В юности увлекалась альпинизмом. Участвовала в восхождении на Юнгфрау. Изнемогла, обессилела, лежала на снегу, ослепленная солнцем. Поэт-символист увидел в

этом небесный знак: «И ты в снегах познала благодать –/Ослепнуть и прозреть нагорным светом».

«Ее дочери» – так назвал он стихи, обращенные к новой избраннице. В самом названии мне чудится его смущение, его желание оправдаться перед собой и людьми. Ведь знал, не мог не знать, суровый библейский запрет: «Наготы жены и дочери ее не открывай(...) они единокровные (...) это беззаконие» (Лев. 18,17). Корить себя – тяжело, еще тяжелее слышать несправедливые укоры извне. «От насилия бессмертной пошлости людской» страдал и Тютчев, любимый поэт Иванова. Не будет преувеличением сказать, что горькую чашу осуждения, оскорбительных домыслов Вячеслав Иванович выпил до дна. Стихотворение пятнадцатого года «Чистилище» звучит как покаяние: «Лишь ныне я понял, святая Пощада,/Что каждая лет миновавших услада/В устах была мед, а во чреве полынь/И в кушу глядело безумье пустынь...»

Но разве Любовь – такой уж грех?!

*Любовь – не призрак лживый: верю, чаю!..
Но и в мечтанье сонном я люблю,
Дрожу за милых, стражду, жду, встречаю...
В ночь зимнюю пасхальный звон ловлю,
Стучусь в гроба и мертвых тороплю,
Пока себя в гробу не примечаю.*

«Зимние сонеты», откуда я извлекла эти строки, одна из вершин Иванова-лирика. Лучше всех сказал о них Эренбург: «Это добровольное обнищание, отказ от всего великоления своих одеяний создали из Вячеслава Иванова поэта всечеловеческого, которым могут гордиться наши дни». Это так. Но что-то помешало Илье Григорьевичу, назвав христианские слагаемые: «добровольное обнищание», «отказ от великоления», произнести для определения жизненной позиции В.И. слово-сумму, хотя сам он христианства не чурался и даже одно время собирался креститься. Внешних помех тоже как будто не было: отзыв Эренбурга был напечатан в 22-м году в Берлине.

Вера умерла в голодной и растерзанной Москве двадцатого года. Ей было тридцать лет. От этого брака остался сын Дмитрий, иванововед и – шире – литературовед. Русский римлянин, никогда не забывавший о родине. Благодарна судьбе, что познакомилась с ним в Москве, в Институте мировой литературы, на Ивановских чтениях. Хотела подарить ему это эссе, когда оно будет опубликовано. Но журнал «ИиЖ» с ивановским материалом вышел перед самой его смертью...

Рим...Вечный город Рим... Оказывается, этот постоянный эпитет тоже принадлежит поэту – Тибуллу, автору любовных эллегий, жив-

шему на пороге Нового Завета... Иванов с дочерью и сыном оказались в столице Италии в 1924-м году. Положение его было исключительным: он не был эмигрантом, выехал из России в заграничную командировку и «красный паспорт» сохранял до 36-го года. Широкая образованность, владение итальянским и многими другими языками, воскресший в нем дух Аполлона, то есть при светлом уме собранность, методичность и другие качества, потребные преподавателю, умение общаться с любой аудиторией — все это открыло профессору двери учебных заведений и издательств. Преимущественно католических, ибо в 26-м году он с глубоким волнением и внутренним чувством правоты перешел в католичество.

Для нас небезынтересно, что толкнуло В.И. на это, как уживался столь смелый шаг с наследственным горячим православием, переданным ему матерью. Если судить по нашей точке отсчета — поэме «Младенчество», образ матери никогда не тускнел в его душе. Не забудем, однако, что, рано осиротев, она воспитывалась в строгой лютеранской семье, выдыхала *миазмы* чуждой веры. Но лютеранкой от этого не стала.

Не настаиваю на своей версии, отнюдь, но какую-то роль в принятии решения могла сыграть обстановка в эмигрантской православной церкви, где немногочисленные прихожане встречали семью Ивановых разборчивым шопотом: «Сколько теперь советской сволочи набралось!» Фраза, запавшая в память будущей мемуаристке.

Лидия Вячеславовна Иванова, талантливостью и трудоспособностью воистину дочь своего отца, так объясняет его поступок: «...он верил в Церковь Единую и Святую, трагически расколовшуюся на Запад и Восток. Своим присоединением к Церкви Католической он, — хотя лишь своим индивидуальным актом, — восстанавливал Единство» (все прописные буквы проставлены Л.В.И. — Т. Ж.).

Письмо поэта к французскому другу-литератору позволяет нам живо представить, как все это происходило... Весна в Риме. Почему-то мне мерещатся пармские фиалки, о которых в письме ни слова. Мощная внутри и снаружи базилика святого Петра, где он и похоронен, а в ней, как Пещная Тайпа (есть у нашего героя и такая книга, и такие стихи о любви), маленькая капелла святого Вячеслава. В день праздника своего святого, — в России он отмечается 4/17 марта, — у его алтаря, в присутствии всего нескольких человек, Иванов произносит Символ веры, за коим следует формула присоединения. Обедня служится на церковно-славянском, по восточному славянскому обряду, причастие, как пишет В. И., «под двумя видами» (очевидно, и облатка, и привычный нам хлеб, пропитанный вином, — Т. Ж.). После торжественной церемонии, по словам виновника торжества, чувство мучительной не-

удовлетворенности от сознания, что он «лишен половины живогоклада святости и благодати» и дышит «наподобие чахоточного одним только легким», наконец-то оставило его. И...кому-то это покажется парадоксом... цитирую ивановское письмо дословно: «...я впервые почувствовал себя православным в полном смысле этого слова».

Раньше я не знала, так как особо не интересовалась этим, что, по распоряжению папского престола, католикам восточного обряда разрешено опускать в Символе веры слова: «...И в Духа Святаго, животворящего, иже от Отца и Сына исходящего...» — то самое филиокве (filioque), что было в VII веке добавлено к христианскому Символу веры и явилось одной из причин разделения церквей.

Подозрительному читателю может показаться, что сама я тоже не прочь перейти в другую веру. Нет, это не так. Прежде всего, не хочу и не могу покинуть лоно веры своего духовного отца Александра Меня. Но и брызгать слюной на тех, кто это сделал, не собираюсь. Отец Александр часто повторял, что наши перегородки до Неба не доходят. И так запомнился людям этот образ-символ, что переименованное на разные лады высказывание имярека приписывают ему самому. Узнав такое, он бы, наверное, усмехнулся. Пошутил. И сказал то, что не раз слышала от него: «В церкви всё общее...»

Сам Вячеслав Иванов отлично сознавал консерватизм своих недавних иноверцев и впоследствии обронил в стихах не без иронии: «*То не гул волны хвалынской/Слышу гам: «Попал ты в лапы/Лестной ереси латинской,/В невода святого папы»*». Он же, как было уже сказано, воспринимал свершившееся по-другому: «*Пред святыней инославной/Сердце гордое смирилось,/Церкви целой, полнославной/Предвареньем озарилось...*» Предвареньем чего? Очевидно того, что в Евангелии выражено словами Христа: «Да будут все едино...» (Ин.17, 21).

Но вернемся к поэзии. Стихи Иванов писал все реже. Если существует время трудящегося, так называемый рабочий день, и время поэта, не знающего ни праздников, ни выходных, второе его время пожиралось первым без остатка. Правда, вырвавшись вместе с детьми в Рим после бесплодного в поэтическом отношении пребывания в Баку, где он ковал кадры национальных ученых и защитил докторскую диссертацию по дионисийству, В. И. написал «Римские сонеты» с ликующим приветием «Ave, Roma». Потом — длительная пауза...

Небольшой абзац о пребывании Ивановых в Баку. Оно не прошло бесследно для литературы. 1921 год. Поэтесса Татьяна Вечорка, чьи стихи Лидия Вячеславовна положила на музыку, попросила В. И. стать крестным отцом ее новорожденной дочери. К романсу он отнесся ревниво: почему-де, писан на ее, а не на его слова? Но к младенцу — любовно. Все, что нужно, выполнил умело и с удовольствием. Имя

девочки было предопределено: Лидия. Так в лице поэта-ученого сложилась русская культура над будущей известной писательницей и прекрасным человеком Лидией Борисовной Либединской (1921–2006). Благодарна ей за то, что она участвовала дельным советом в написании этой книги. Именно ей принадлежит фраза: «Не отдавай Блока силам зла!» Не отдам, Лида! Ни Блока, ни твоего крестного отца, ни других дорогих нам поэтов!..

Казалось, Рим своим кесаревым кресалом лишь единожды высек искру поэзии из души Иванова. И вдруг, спустя двадцать лет, стихи посыпались из него, как из рога изобилия. «Римский дневник 1944 года» — ни с чем несравнимый вклад в великую русскую поэзию. Жаль, что стихи поэта-эмигранта так долго скрывались от нас, и только теперь, после выхода в свет двухтомника Иванова (Гуманитарное агентство «Академический проект», С.-Пб. 1995) они доступны всем желающим.

К одному из стихотворений («Август, 11») поэт возьмет эпитафией поистине бессмертную фразу из «Исповеди» Блаженного Августина: «Нельзя тому быть, чтобы столько слез твоих чадо погибло». Как известно, этот крупнейший христианский теолог, яркий представитель западной патристики, талантливый писатель (4–5 вв.), в молодости особым благочестием не отличался. И даже был гулёной праздным. Когда же его глубоковерующая мать стала выплакивать епископу свое горе, тот утешил ее приведенными выше словами... Чем унять слезы современных матерей, которые и в России, и по всему миру льются безостановочно? Ответ давно известен: плакать вместе с ними. Но не только. Можно вспомнить и Святого Августина. И нашего мятежного поэта, которому было «стыдно встретиться с Христом», но ведь не размишулся!

Вступив на путь спасения, 78-летний Вячеслав Иванов ничего не скрывает ни от нас, ни от себя:

*И я был чадо многих слез;
И я под матерним покровом
И взором демонским возрос,
Не выдан ею вражьем ковам.
А после ткач узорных слов
Я стал, и плоти раб греховной,
И в ересь темную волхвов
Был ввержен гордостью духовной...*

Как многое вмещают стихи «Римского дневника»! Перед поэтом проходит вся его «жизнь, грешница святая». Оживают в памяти люби-

мые имена: Тютчев, Гоголь, художник Иванов, Владимир Соловьев, Фет. Важную смысловую нагрузку несут библейские персонажи: Адам, Каин, Иов, Рахиль, Лия. Но и Люцифер, Князь Мира, Зверь неизменно пишутся поэтом с большой буквы...

Рим, куда, по его словам, некогда произнесенным, он «приехал жить и умирать», скидывает свои многовековые оболочки, чтобы предстать перед нами городом Римлян, к кому две тыщи лет назад обращался апостол Павел. Часто повторяются слова Павла о «твари», которая «совокупно стенает и мучится донине» (Рим. 8,22). Подразумеваются под «тварью» домашние и другие животные. Менее известны стихи 23, 24, 25: «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении».

Русский поэт хотел бы вернуть надежду отчаявшемуся миру: «Человек много возмечтал о себе и забыл свое лучшее достоинство — быть творением Божиим по Его образу и подобию. Не нужно говорить о Божестве, как предмете веры, это разделяет и надмевает; нужно Европе оздоровиться сердечною верою в Создателя и сознанием своей тварности. Эти стародавние истины звучат в современности ново и свежо...»

Из настоящего в прошлое перекинут мостик — пристальные строки поэта: «*В апсиде — агнцы... Мил убор/Твоих, о Рим, святилищ дряхлых!/ Как бы меж кипарисов чахлах/Он чрез века уводит взор// Тропой прямой, тропой тесной,/Пройденной родом христиан, —/И всё в дали тропы чудесной/Идут Петр, Яков, Иоанн*». В Евангелии от Матфея именно этих троих своих учеников Иисус «возвел» на высокую гору, «И преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет» (17,1–2).

Встреча Христа и апостолов с пророками Моисеем и Илией, еще одна встреча Нового и Ветхого Заветов, получила имя Преображения. «Тесная» тропа — перифраз евангельского выражения: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь...» (Мф. 7,14). Для Иванова, бывшего мистагога, это труднодостижимый символ спасения и преображения. Никогда его стихи не были так целенаправленны («прямолинейны», скажет кто-нибудь), так не разводили добро и зло, так не поляризовали мир на «Младенца» и «Зверя», Христа и того, что Ему противостоит.

*Став пред врагом, лицом к лицу,
Ты говоришь: «Долой личину!»*

*Сразись, как следует бойцу,
Или низвергнися в пучину».
Так вызывал ты Сатану
Свет-Михаил, на поединок.
И днесь, архистратиг иль инок,
Ты к духу держишь речь одну:
«Отважен будь! Отринь двуличье!
Самостоянью научись!
В Христово ль облечись обличье –
Или со Зверем ополчись».*

Зверь как символ вселенского зла фигурирует в Библии под разными именами. В Книге Бытие (3) коварный представитель земной фауны – змей подбивает Еву на противобожеский поступок; но зверем он тут не зовется. Раав, левиафан, дракон – вот другие названия чудовища, творящего страшные беззакония, всё это псевдонимы или питательные источники Дьявола и Сатаны. Так, в Откровении (13, 3–4), зверь получает свою силу от дракона. Далее говорится: «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр.13, 6–7). «*Ополчиться со Зверем*», по Иванову, значит, твердо стать в ряды борцов противу Бога. Свет-Михаил (евангельский Архангел) – победитель Зверя. Кто с ним и его Ангелами, те в конечном счете несокрушимы.

Не забудем, что в Италии и повсюду кипит Вторая мировая война. Муссолини чеканит свои речи. На Римской площади Венеции выкрикиваются мерзкие лозунги. Хлеб – по карточкам. Бомбежки. Убежище – узкая щель, пещера. Там члены семьи Ивановых жмутся друг к другу, чтобы, как вспоминает дочь поэта, «всем вместе умереть».

С трудом сводят концы с концами. Тихонько слушают запрещенные радиопередачи. Глава семьи болезненно переживает политические события... Все это тоже попадает в «Римский дневник».

*Рассказать – так не поверишь,
Коль войны не пережил,
Коль обычной мерой мершишь
Могуту душевных сил.
Всё, чего мы натерпелись,
Как под тонкий перезвон
Что ни день, каноны пелись
Безыменных похорон,*

*А волчицей взвыв, сирена
Гонит в сумрак погребов,
Голосит: приспела смена
Уготованных гробов...*

Стих сухой, нагой; он не гнется под тяжестью блестящих навесок, как еловые лапы рождественской ели. Похожие стихи писались и по другую линию фронта, на далекой родине, например. Но русскому поэту еще горше оттого, что он виновен без вины: Италия, где он живет, воюет на стороне Гитлера, против России.

*...нам ли клясть былое?
С наших сознано полей,
На соседей лихо злое
Лише ринулось и злей.*

Престарелый профессор, вечно молодой поэт и в «Дневнике» остается верен себе: бытовое, привычное растворяется в бытийном, античные образы расцветивают библейскую основу. И все-таки Библия, Евангелие — ствол, из которого произрастает все остальное.

*Хирурги белые, склонясь к долине слез,
О неба действенные силы,
Вы плоть нам режете, бесчувствия наркоз
Вливая в трепетные жилы.
И, гнойник хульных язв, растленный Человек,
Пособник дьявола злорадный,
Исток отравленный несущих скверну рек,
Не брошен вами Смерти жадной.
Целите вы, что тварь Творцу дает целить,
И мнится вам, что не достанет
Христовой Крови всей — смоль мира убелить,
Но капать Кровь не перестанет.*

Вот один из неписанных законов интеллектуальной жизни: когда мы всерьез чем-то или кем-то заинтересовались, где-то там, наверху, открывается некий клапан, и к нам начинается поступать свежая, иногда избыточная, но чаще необходимая информация. Не раз убеждалась в этом на собственном опыте. Только-только начав работать над Ивановым, слушаю по телевизору беседу со Светланой Аллилуевой, достаточно, думаю, известной читателю. Оговорюсь сразу: какие бы злодеяния ни свершались именем ее отца и с его согласия, к дочери я

отношусь с уважением и даже испытываю чувство родства. Ее путь от безверия к вере, золотым пунктиром намеченный в книгах, — это и мой путь, наш путь. Рассказывая о своем трудном духовном восхождении, об извилистой житейской судьбе, она процитировала в телеинтервью свои любимые стихи, всего одну строфу, не называя автора. Стихи-упование, стихи-оправдание. Смутно знакомые. Но чьи? Начинаю перебирать: Блок? Нет. Гумилев? Тем более нет. Пастернака, Ахматову и Цветаеву знаю хорошо; нет и еще раз нет. Обращаться с вопросом к товарищам неловко. Когда надо будет, сами откроются...

В процессе работы над этой главой штудирую ивановский «Римский дневник». Вот же они, вот! И первая строфа, и две последующие:

*Я посох мой доверил Богу
И не гадаю ни о чем.
Пусть выбирает Сам дорогу,
Какой меня ведет в Свой дом.
А где тот дом — от всех сокрыто;
Далече ль он — утаено.
Что в нем оставил я — забыто,
Но будет вновь обретено,
Когда, от чар земных излечен,
Я повернусь туда лицом,
Где — знает сердце — буду встречен
Меня дождавшимся Отцом.*

Иванов скончался в Риме в 1949 году. В свои закатные годы, как пишет дочь, «Вячеслав становился все светлее, гармоничнее, проще. Он радовался всякому проявлению жизни: солнцу, Риму, ласковому движению, веселью и юмору (...) Он умел любить. Любить до конца».

Прах его покоится на римском кладбище Тестаччио (Testaccio), около любимого им Авентинского холма. Вспоминаются строки:

«В стенах, ограде римской славы, / На Авентине, мой приход — / Базилика игумна Саввы, / Что Освященным Русь зовет...»

Освященной хочется назвать и поэзию Вячеслава Иванова, невзирая на все ее издержки.

Глава семнадцатая

«Я — СЫН ЭФИРА, ЧЕЛОВЕК...»

(А. Белый)

Имя на слуху: привычно сопрягается и с символизмом, и с Александром Блоком, и с Любовью Дмитриевной Менделеевой-Блок. Спрашиваешь себя, кто лишний в этом мучительном треугольнике, и невольно отвечаешь: похоже, третий лишний — именно она, Дева, Заря, Кушина... Имя Андрея Белого звучит часто и громко, а стихов его наизусть не помнят даже стихолюбы. Обидно. Зато, вызвав по интернету BSB — Баварскую Государственную Библиотеку, набрав после наведения справки, как по-немецки пишется наш поэт, Belyj Andrej, получаешь 90 названий на выбор; тут стихи, проза — по несколько изданий (есть и переводные, и двуязычные), статьи философские, литературоведческие, книги мемуарно-исторического характера, богатейшая переписка. По совокупности всего, что сделано для российской культуры, А. Б. — великий писатель. И уже шагнул в XXI век. Не только цивилизованный по христианскому образцу мир, но и страдающая амнезией Родина его не забыла: в последнее десятилетие наши «профи» по Серебряному веку, кажется, только тем и занимались, что издавали и переиздавали мятущегося, влюбчивого, по-мужски неуверенного в себе профессорского сына Борю Бугаева, скрывавшего свои комплексы под броским псевдонимом.

Мы обычно представляем себе его лысенкиным, прозрачноглазым, совершенно не от мира сего. Но это лишь одно, хотя и бьющее в точку, из множества возможных запечатление человеческого феномена, ставшего Андреем Белым. В поэме «Первое свидание» автор набросал свой юношеский автопортрет: *«Меня пленяет Гальбер Гент! .../И я — не гимназист: студент/ Сюртук — зеленый, с белым кантом;/ Перчатка белая в руке;/ Я — меланхолик, я — в тоске, /Но выгляжу немного франтом...»*

Начало века... То было время, когда он был влюблен в Маргариту Кирилловну Морозову, московскую красавицу, известную знатокам благодаря размашисто-скрупулезной кисти Валентина Серова. Писал ей страстные анонимные письма. Она для него не земная женщина, чужая жена, богачка, а Мадонна Рафаэля, «волшебная сказка», «воплощение Софии», *«Невыразимая Осанна, /Неотразимая звезда...»* Он не стремится к личному знакомству. Ведь она — символ, идея философии и будущего. Морозова не знает, кто скрывается под гривуазным «Ваш

¹ Английский прерафаэлит.

кавалер» — так он подписывает свои письма. Но однажды покупает маленький томик нового поэта Андрея Белого, чье имя уже слышала от знакомых. И... находит в нем те же выражения, что делали анонимные письма столь отличными от расхожих объяснений в любви. Тайна раскрыта. Поэт приглашен в салон, где собирается цвет общества. Забрехала надежда, сладкая для очарованного мечтателя. Поздно! Он уже отдал свое сердце другой. Ее имя — Любовь, Люба, она — жена друга, Александра Блока. Так естественно облачить ее в одежды, шитые романтическим портным — воспаленным воображением поэта — для той, первой...

В «Первом свидании» беловеды находят интонационные переключки с Лермонтовым. Я же все время слышу за его бурно текущей, но подкупающе гармоничной ямбической мелодией — Пушкина. Дело доходит до прямых заимствований. *«Вы – подойдете, я – омолоден;/Вы – отойдете, я – не тот: -/Я переломлен, переполнен/Переполохами пустот...»* Первые две строчки — это же перефраз пушкинского стихотворения к Алине: *« Вы улыбнетесь – мне отрада,/ Вы отвернетесь – мне тоска...»* Ну а неологизм а-ля Северянин «омолнен», «переполохи пустот», множество других неологизмов и лирических дерзостей — дань поэтике XX века с ее безудержным стремлением к новизне. В поэме не только поется Осанна женской красоте и недоступности, не только венчаются на царство музыка и исполнительское искусство (детальнейшее описание концерта, концертного зала воскрешает в памяти «театральные» строфы из первой главы «Онегина»). В ее защитно-замкнутый, уютный, взбудораженный лишь преувеличенными любовными грёзами мир вторгается «календарный» XX век («некалендарный», по словам Ахматовой, начнется несколько позже).

В недавнем прошлом студент физико-математического факультета Московского университета, А.Б. не упускает случая вернуть воспарившего было читателя на землю, приобщить его к взрывоопасным открытиям времени, к парадоксам современной науки: *«Я вижу огненное море/Кипящих веществом существ;/Сижу в дыму лабораторий/Над разложением веществ...»* Всякое произвольное разложение божественного единства чревато смертельной опасностью для землян, для всего человечества. Не исключено, что русский поэт-символист, современник триумфальных и смертоносных научных открытий, одним из первых догадался об этом:

«И было: много, много дум;/И метафизики, и шумов.../И строгой физикой мой ум/Переполнял: профессор Умов./Над мглой космической он пел,/Развив власы и выгнув вью,/Что парадоксами Максвелл/Уничтожает эн-

тропию, /Что взрывы, полные игры, /Тягт томсоновы вихри, /И что огромные миры /В атомных силах не утихли, /Что мысль, как динамит, летит /Смелей, прикидчивей и прытче, /Что опыт – новый... /– «Мир – взлетит!» /Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче(...) / Я – сын эфира, Человек, – /Свиваю со стези надмирной /Своей порфириою эфирной /За миром мир, за веком век».

Заглянем в словарь: «порфира» по-гречески – пурпурная королевская мантия; «эфир» в античной мифологии – верхний лучезарный слой воздуха, наше седьмое небо. Стало быть, человек способен владычествовать над небом, как над землей, если только из-за его легкомыслия и попустительства не обернется трагедией «новый опыт».

Не обязательно знать, что Умов – университетский профессор физики в 1900-х годах; английский физик Максвелл – один из основоположников статистической физики, предсказавший существование электромагнитных волн, догадавшийся об электромагнитной природе света; его соплеменник Томсон – автор теории вихревого строения Вселенной, открывший электрон. Каждый может подставить другие славные имена в эту поэтическую формулу вселенской тревоги. Непревзойденный мастер стиха, Белый крепко держит в руках ритмический руль, и только сумасшедшая пунктуация вкупе с грозным содержанием выдает его истинные чувства. Не забудем, что «Первое свидание» писалось, когда в России уже произошел страшный социальный взрыв. Не предвестник ли он того, «фридрих-нитчевского», и если предвестник, то что может сделать сын эфира, Человек, чтобы остаться человеком под дамокловым мечом, нависшим над всем живым?..

Еще в 1906 году, будучи автором яркого дебюта – сборника стихов «Золото в лазури», поэт впервые выехал в Мюнхен и Париж. С 12-го по 16-й год он в основном живет и работает за границей. Тогда же происходит его встреча с немецким философом, блестящим лектором, основателем антропософии Рудольфом Штейнером. Белый оставил мемуары о нем, не устал ссылаться на него в своих философских работах последнего периода жизни (некоторые из них долго оставались в рукописи и напечатаны лишь в девяностые годы; см., например, сборник статей А. Б. «Душа самосознающая». М.: Канон, ОИ «Реабилитация», 1999). У нас как огня боялись самого слова «антропософия», умаляли роль Штейнера в жизни и творчестве Волошина и Белого, считали влияние первого на «хороших русских поэтов» чуть ли не тлетворным. Это – величайшая неправда! Здесь не место подробно рассказывать об антропософии (антропос – человек; софия – мысль); для нашей темы важно, что антропософия христовцентрична. Белый даже называл ее «христософией». Известно,

появилась ли бы фигура Христа, выписанная мощно, хотя и непри-
вычно, в поэме А. Б. «Христос воскрес» (1918), пронизал ли бы образ
Христа стихи о России десятых годов и... атеистических тридцатых,
если бы не своевременная встреча со Штейнером, не сотни его лек-
ций, благоговейно прослушанных поэтом вдали от родины.

Родину он любил. Конечно, «странною любовью» — так уж пове-
лось после Лермонтова у русских поэтов. Держу в руках «Стихи о Рос-
сии» — маленькую книжечку — репринт с изданной в Берлине по ста-
рой орфографии в двадцать втором году, когда автор телом был в
Германии, душой — скорее в Москве, а духом... Духом, как всегда, в
запределье. «Пленный дух» — лучше, чем Цветаева, о нем не скажешь.

Издание — редкое. С наброска художника Малаховского смотрит
на читателя крупное носатое лицо, волосы, *пушистые* согласно раз-
ным мемуаристам, торчат на две половины, как проволока, длинно-
палые ладони сложены друг с другом — очевидно, характерный для
Белого жест. Рядом, на автопортрете, — он моложе и милее; больше
похож на красавчика былых лет... «Из окна вагона», «Воля», «Каторж-
ник», «России», «Полевой пророк», «Деревня», «Бурьян», «Родине-
матери», опять «Деревня», опять «России» — автор явно не ищет раз-
нообразных, интригующих названий, ибо монотонность заголовков,
переходящая в интонационную монотонность, назойливая повторяе-
мость слов, особенно глагола «пролетать», как раз и есть то, что он
хочет выразить.

*Поезд плачется: в дали родныя
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные;
Пролетаю в поля: умереть.
Пролетаю: так пусто, так голо!..
Пролетают — вон там; и вот здесь —
Пролетают: за селами — села...
Пролетают: за весями — весь.*

Укачивает плачущий поезд, укачивает русский пейзаж; есть что-то
завораживающее в смене несменяемых картинок, в словесном вол-
хвовании. После Некрасова извлекал ли кто из отечественной лиры,
такой послушной настрою души, звуки безотрадные:

*«И погост, и кабак, и ребенок, / Засыпающий там, у груди; / Там — убогие
стаи избенок; / Там — убогие стаи людей...» Или: «Дни за днями, год за го-
дом... / Вновь: за годом — год... / Недород за недородом... / Здесь — глухой народ!»*
И как единственный естественный выход из безнадеги: *«Ждут: голод*

*да холод ужотко, / Тюрма да сума – впереди. / Свирепая, крепкая водка, / Ог-
нём разливайся в груди!..»*

Интеллектуал, москвич от рождения, больной Россией, А. Белый как будто предвосхищает то «хождение в народ», которое захватило уже на моих глазах самых талантливых и совестливых писателей 50-х и последующих лет. Странничество всегда было почитаемо на Руси, и в стихотворении «Полевой пророк» поэт делает красноречивый жест в гущу народной жизни, реальный или воображаемый, не столь уж важно; важно, что назрела такая внутренняя потребность и вылилась в обескураживающие своей искренностью и убедительностью строки:

*...Ныне, странники, с вами я: скоро ж
Дымным дымом от вас пронесусь –
Я – просторов рыдающий сторож –
Исходивший Великую Русь.*

Все приведенные стихи датированы 1906–1908 годами, т.е. писаны после первой русской революции. Понадобится девять лет, полных напряжения всех сил поэта, даже и физических, чтобы изменилась их тональность.

Первую мировую войну Белый встретил, трудясь с представителями 19 наций над постройкой в Дорнахе, под Базелем, невероятного здания Гётеанума. Возведением храма искусств, «Свободной высшей школы науки о духе», а по существу – храма дружбы народов, Штейнер и его ученики бросали вызов мировой бойне, инспирированному извне разъединению людей. Этот христианский порыв мало кем был понят. *Внешние*, как предполагает А. Б., думали так: «Хорошо им в Дорнахе (...) эгоистически упиваются звуками небесных гармоний, когда кругом льется кровь!»

В советской литературе о Белом тоже было принято осуждать затею Штейнера (чистый идеализм!) и особенно его отношение к русскому поэту: он-де эксплуатировал наивного символиста, заставлял трудиться как простого рабочего, хитрил с ним. Я убеждена в другом: временами Борис Бугаев со стамеской в руках чувствовал себя не менее счастливым, чем Андрей Белый с пером. Гётеанум, в корень которого вживлен бессмертный Гёте, был и его любимым детищем, школой жизни, встречей с интереснейшими людьми (многим он отдал дань восторга в воспоминаниях), любовью-разлукой с первой женой... И печальный конец прекрасного начала, – сперва пожар, потом запустение храма, – поэт воспринял тяжело. Дорнах и Штейнер оста-

вались для него синонимами. Ауру учителя он определил просто: свет тепла. Тот никогда не терял к нему интереса, видел в нем богато одаренную творческую личность, а в кризисный момент сказал ему «с отеческою ласкою, с грустно-комической улыбкой» золотые слова: «Это у вас в крови бродит произведение, которое вы должны написать». Ученик уехал в горы и написал автобиографический роман «Котик Летаев». Философии же своего наставника остался верен до конца.

Достаточно прочитать «Воспоминания о Штейнере» (закончены под Москвой в январе 1929 года; впервые напечатаны на русском языке в 1982 г. во Франции), чтобы в этом убедиться.

...Владыка-случай и застарелое, давно окуклившееся, но там, внутри, многообещающе-живое желание привели меня в погожий августовский день Anno Domini 2002 в Дорнах. От центра Базеля туда идет трамвай №10, потом недолго электричка, а я-то воображала километры и километры пешего пути. Провинциальный железнодорожный вокзальчик, где на синем табло значится Dornach-Arlesheim – название пригородной станции. Нас – пятеро; все, кроме живущей неподалеку цветаевоведки Лили Цибарт (из русских немцев) здесь впервые. Переходим через пути и углубляемся... в рай.

Кругом – густо зелено, дремуче тихо, безлюдно. Дорожка полого ведет вверх; именно по ней, говорит Лиля, грузный, но сильный, как Сизиф, Макс Волошин таскал мешки с базельскими продуктами для своих товарищей, ибо местные крестьяне на чужаков косились и кормить их из рук, как ручных зверей, не собирались...Полускрытые в уютных ложбинах, сквозь купы деревьев и кустарников просвечивают диковинной формы коттеджи – жилища современных антропософов. Для нас удивительно, что «спорное» учение доктора Штейнера живо. Семена, посеянные им почти век назад, дают все новые всходы. Медицина, искусство, философия ищут и находят в отработанной, казалось бы, почве не всем доступного, старомодного, *идеалистического* знания неожиданные подсказки для решения жгуче современных вопросов.

А вот и сам Гётеанум, серо-белый на небесном и травянистом фоне, бетонно-воздушный, округло-овальный. До сих пор во мне звучит разведенный эпохами диалог двух российских поэтов: «Я с детства не любил овал, / Я с детства угол рисовал...» (Павел Коган). И явно паперекор ему сказанное, куда позднее, коржавинское: «Я с детства полюбил овал / За то, что он такой законченный...» Архитектор, сработавший проект здания, конечно, следовал убеждению Штейнера, что совершенство формы предполагает плавный переход прямизны в нечто пластичное, обтекаемое, сродственное природе.

Первый, деревянный Гётеанум сгорел в канун Нового 1923 года. Один человек погиб. Имелись все основания подозревать поджог. Недавно в книге немецкого писателя Хайнца Хёне «Орден «Мертвая голова» появилось сообщение о том, что поджог совершили набиравшие силу фашисты: Рем со товарищи. Так это или не так, для Штейнера и его учеников это была трагедия. Доктор не выдержал крушения своей мечты и вскоре покинул этот бранный свет. Похоронен он тут же, в саду, похожем на предрайский, предвечный. Новый Гётеанум строили и украшали энтузиасты в течение долгих десятилетий. Скажу сразу: он прекрасен. Его лестницы круты, но приводят на память ту духовную *лестницу*, по которой, задыхаясь и оскальзываясь, мы карабкаемся всю жизнь. Его залы-аудитории, с блестящими деревянными полами и панелями, с мерцающими по стенам всем спектром красок витражами, зажженными лучами солнца, возвращают в молодость, когда из радостей мира вдруг предпочтешь эту: внимать откровениям мудрецов, конспектировать заумные лекции, а то и ввязаться в дискуссию, где поражение порой превосходит победу: пусть говорят что угодно — буду стоять на своем, как на камне...

Лиля Цибарт замечает, что нам повезло: обычно тут полно людей, работают секции медицинская, словесно-музыкальная, педагогическая и много других, ставятся спектакли, разыгрываются клоунады, проводятся экскурсии внутри и вне здания, а сегодня — приятное затишье. Только любознательные особи, вроде нас, ошарашенные всем увиденным, бродят из зала в зал, с этажа на этаж... Услышав родную речь, к нам присоединилась троица соотечественников. Четвертый, младенец, сладко спал на руках у матери. Врач по профессии, она надеется найти что-то ценное для себя в книжном отделе, в бесплатных буклетах, разложенных там и тут, и, главное, в самой атмосфере Гётеанума.

Сподвижникам и последователям Штейнера посвящена выставка на первом этаже. Обидно, что нигде не мелькнуло имя Андрея Белого, знакомо не вспыхнула львиная грива Макса Волошина.

На вопрос молодой врачихи, чем отличается антропософия от других модернистских учений философского толка, я с полным правом ответила: «Она христоцентрична». И вспомнила строфу Белого из стихотворения «Антропософии» с подзаголовком «Русскому будущему»:

*Проснулись мы, но для земли погасли.
Мы — тихий стих.
Мы — образуем солнечные ясли,
Ребенок в них...*

Ссылки на Библию тут излишни. Каждый знает, что за Ребенок был положен после рождения в ясли для скота. Младенец на руках у русской паломницы, как теперь принято выражаться, корреспондировал с Ним и немного утешал безутешное сердце...

Еще в 16-м году в стихотворении «Россия» А. Б., убежденный пацифист, делился со своим предполагаемым читателем — истинным, а не фальшивым патриотом, — глубокой безнадежностью: «*В грядущее проходим — строй за строем/Рабы: без чувств, без душ.../Грядущее, как прошлое, покроем/Лишь грудой туш...*» Но к лицу ли христианину такое уныние? Разве оно — не грех? В наглухо задраенном выходе забрезжила светлая щелочка — целомудренно не названное Ты, с прописной буквы:

*В мятеж миров, в немафевные муки,
Когда-то спасший нас, —
Прости ж и Ты измученные руки,
В который раз!*

Спаситель... Его образ, по признанию поэта, коренился в нем еще в 1903 году. «Конечно, о Христе, о Христовом чувстве» он говорит с коллегой и единомышленником Валерием Брюсовым. Отталкиваясь от религиозной моды, от «лжехриста», которого ощущает порой в себе, Андрей Белый обращает взор свой на истинных служителей Бога. Канонизированный в то время церковью Серафим Саровский — для него «единственно несокрушимая и нужная для России скала в наш исторический момент». В стихотворении «Святой Серафим», посвященном дорогой ему женщине, он повторяет как заклинание слова дивеевского старца. Каждого, кто приходил к нему в обитель, тот встречал земным поклоном и одинаковым приветствием: «Радость моя!..»

«*Что с тобой, радость моя, — /Радость моя?*» — естественно вплетается поэтом в ткань стиха. Год спустя вместе с матерью Белый едет к «соснам Сарова», молится Серафиму, чувствуя, что старец ведет его по жизни. Серафимова «умная молитва» перетекает для него в «умную веру», «верное знание», которые выявляют ядро личности как образа и подобия Божия.

Все глубже и глубже проникает образ Христа в стихи Белого именно тогда, когда «край родной» слепит «неодолимым блеском молний», когда особенно слышен «визг космических стихий». Если не знать философских исканий поэта, не ведать об его кремнистом пути духовного восхождения, не делить его пламенной веры, пожалуй, ходоульными, надуманными могут показаться такие строки 1914 года:

*Открылось!.. Весть -
весенняя: удар -
молниеносный...
Разорванный,
Пылающий,
Блещающий
Покров.
В грядущие, громовые
Блещающие
Весны,
Как в радуги прозрачные,
спускается - Христос!*

Обилие прописных букв тоже настраивает читателя недоверчиво. Но в случае Андрея Белого негоже становиться в позицию ментора. Можно его стихи принимать или не принимать, но сомневаться в его искренности не приходится...Заметим: вторая и четвертая линейные строки не рифмуются. Что это? Virtuоз стихотворной техники допустил ляп, простительный только новичкам? Или так расслышал посыл Неба сквозь шум отпущенных, разгулявшихся в мире стихий и смысловая переключка («Покров» — «Христос») оказалась для него важнее звуковой? Думаю — последнее...

В стихах 14–18-го гг. выражения библейские, церковные встречаются часто: «Архангел, kloкочущий светом», «Чаша благодатная», «Лети, литургия мая», «Духом взыскуемый голубь сойдет» и т.п.

Поэт-христианин отказывается видеть в ужасах войны и еще больших ужасах революции только жестокую бессмыслицу и кровавую мешанину. Людям с открытым сознанием, уверен он, подаются «мелькающие знаки», Родине-матери, России, подается Весть... Какая же? Исчерпывающего ответа на этот вопрос, кажется, никто еще не дал. Но от поэта, чье восприятие выходит за рамки обычного, не худо бы получить подсказку. В усеченном виде она звучит так: «Произрастай, наш край родной(...) Неопалимой Купиной». Ветхозаветный этот образ использовал и Волошин. Не буду повторять то, что уже сказала в начальной главе второй части книги. Напомню только: в Евангелии «купина» — символ бессмертия.

Год 1918-й... Блок пишет поэму «Двенадцать». Белый — «Христос воскрес!». Обе поэмы напечатаны в газете «Знамя труда» и в одном и том же номере журнала «Наш путь» (№ 1). Потрясенные разворотом событий авторы поэм, каждый по-своему, с точки зрения вечности откликнулись на злобу дня. Но злоба, т.е. забота (церк.-слав.) дня, у каждого своя. И точка зрения — своя; не побоюсь сказать, что и веч-

ность — своя...Если о блоковском Христе до сих пор идут споры, Тот он или *другой*, то Христос Белого не допускает иных толкований. Он именно Тот, библейский, евангельский, человек и Бог, Бог и человек, о котором столько написано и еще больше перечувствовано, передумано, а то и *придумано* за последние две тысячи лет с лишком. Белый вносит в хринологию весомую лепту:

*Перегорающее страдание
Сиянием
Омолвило
Лик,
Как алмаз, —
— Когда что-то,
Блеснувши неимоверно,
Преисполнило этого человека,
Простирающего длани
От века и до века —
За нас.
— Когда что-то
Заряло
Из вне-времени,
Пронизывая Его от темени
До пяты...
И провеело
В ухо
Вострубленной
Бурею Духа: -
— «Сын,
Возлюбленный —
Ты!»*

Откроем Евангелие от Марка (1,11) и увидим, какие словесные опоры поддерживают свод грандиозного, по замыслу, художественного произведения поэта: «И глас был с небес: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И у Марка, и у Иоанна повествование начинается с крещения народа Божиего в Иордане. Иоанн Креститель, или, как его еще именуют, Предтеча (не пугать с Иоанном-евангелистом!) крестит людей в воде, ожидая прихода Того, у Кого «не достоин развязать ремень у обуви» (Ин. 1, 27). Иисус является, принимает крещение, и Предтеча свидетельствует, говоря народу: «я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем» (Ин. 1, 32). Именно с этого начинается служение Христа. Анд-

рей Белый образно переосмысливает и голубя, и реакцию окружающих: «Толпы народа/На Иордане/Увидели явственно: два/Крыла./Сиянием /Преисполнились/ Длани/Этого человека...//И перегорающим страданием/Века/Омолнилась/Голова».

У Белого Христос — это сплошной свет, негасимое сияние. Необычайно чуткий к звуку, поэт в помощь словам-краскам привлекает волшебные фонетические сочетания: «Заря огромными зорями,/В небе/Прорезалась Назаря...»; «Желтым/Маревом,/Как заревом,/Запрядала разорванная мгла...»; «Из лазоревой окрестности,/В зеленеющие/Местности/Опускалось что-то светового/Атмосферою...» И, наконец: «Прорезывался луч/В Новозаветные лета...».

Безусловно, звукопись, как и все дерзкие лексемы, принадлежат поэту. Но живописует и озвучивает он таким образом евангельские слова о Христе: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (...) Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир...» (Ин. 1, 4, 5, 9). Итак, Христос — Тот, Кто извечно пребывает во Свете. Когда в Гефсиманском саду Его берут под стражу. Он говорит устроителям и исполнителям готовящейся казни: «Теперь ваше время и власть тьмы» (Лк. 22, 53).

Из Евангелия нам известно, как люди поступили со Светом: «...свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его...» (Ин. 3, 19, 20) Бесмертные слова!

В поэме Белого нет постепенного перехода от света к мраку. Только что зарели огромные зори, и вот Он распят, приговорен к смерти. Как это изобразить, Господи, как передать? Поэт не щадит себя, не щадит нас; попрание такой Красоты не есть некрасивость, а страшное, постыдное уродство — укор Неба земле: «Руки/Повисли,/Как жерди,/В густые/Мраки.../Измученное, перекрученное/Тело/Висело/Без мысли./Кровавились/Знаки,/Как красные раны,/На изодранных ладонях/Полутрупа»...

Да полно? Христос ли это? Эрзацы искусства приучили нас к тому, что смерть — это красиво. Завсегда мюнхенской Старой пинакоетки, где распятие Христа выламывается из золоченых рам, предстает перед зрителем во всей своей жестокости, обездушенной телесности, поэт увидел на месте Его смерти угасание, тлен, противоестественную неподвижность: «Деревянное тело/С темными пятнами впадин/Провалившихся странно/Глаз/Деревянного Лица, —/Проволокли, —/Точно желтую палку,/Забинтованную/В шелестящие пелены —/Проволокли/В ей уготованные/Глубины./Без слов/И без веры/В воскресение...»

Вот оно что! Откроем Евангелие: «...если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14) — сколько раз с отчаянием и надеждой повторялись за века и тысячелетия христианства эти слова апостола Павла! Русский поэт, свидетель двух революций, переживает выпавший на долю его поколения космический момент в человеческой истории с первохристианской силой: «Обрушились суши/И горы,/Изгорбились/Бурей озера.../И изгорбились доли.../Разламывались холмы.../А души —/Душа за душою —/Валились в глухие тьмы».

А что же Россия? Ведь это ее распятие видится Андрею Белому за мистерией кончины и похорон Бога. Напомню: идет апрель 18-го года. Ленинские «Апрельские тезисы» годовой давности корректируются жизнью. Еще не расстреляна царская семья, но уже разогнано Учредительное собрание, тюрьмы полны узниками совести и совершенно невинными людьми, уже льется кровь, кровь, кровь... Поэт смотрит далеко вперед:

*Страна моя
Есть
Могилы,
Простершая
Бледный
Крест, —
В суровые своды
Неба
И —
В неизвестности
Мест.
Обвили убогие
Местности
Бедный,
Убогий Крест...*

Я пишу не школьное сравнительное сочинение, которое манило мнимой легкостью жонглирования неглубокими знаниями: Онегин и Ленский, Печорин и Грушницкий, Базаров и Кирсанов, Наташа Ростова и княжна Марья... Но страсть сопоставлять у многих из нас осталась, наверное, с тех ученических времен. «Двенадцать» и «Христос воскрес!», хоть и относятся к одному жанру — поэмы, не имеют между собой ничего общего. Блоковская вещь — трибуная, эстрадная, недаром ее так любили декламировать чтецы самого разного калибра, включая и Любовь Дмитриевну Блок-Менделееву. Поэма Белого — ка-

мерная, книжная, сакральная. Правда, во второй половине появляются в ней и убитый безбожниками железнодорожник, и очкастый расслабленный интеллигент; мелькают трагикомические приметы времени: «злая, лающая тьма», нападающая «из вне-времени» пулеметами, пресловутый «домовый комитет». Но это — только обрамление, та самая галерейная рама, из которой вопиет суть. Автор настойчиво указывал, что «тема поэмы — интимнейшие, индивидуальные переживания, не зависящие от страны, партии, астрономического времени...» Он же саркастически утверждал, что «появись “Нагорная проповедь” в 1918 году (...) и она рассматривалась бы с точки зрения “большевизма” или “антибольшевизма”».

Поэму «Христос воскрес!» можно толковать по-разному. Любители оптимистических развязок скажут, что соль произведения Белого — в следующих строках: «Святые,/Пустое/Место, —/В святыне/Твои сыны!/Россия,/Ты ныне/Невеста.../Приемли/Весть/Весны...» Как ни велико мое уважение к поэту, не могу не назвать эти строки чисто декларативными.

Если при чтении стихов не екает сердце, значит, стихи эти бьют мимо цели. Я откликаюсь душой на другое место поэмы; оно-то и представляется мне кульминационным, самым важным: «Это жалкое, желтое тело/Проволакиваем:/ Мы /- В себя: -/Во тьмы /И в пещеры/Безверия, -/Не понимая,/Что эта мистерия/Совершается нами -/ - в нас».

Современный поэт, как новоявленный апостол Павел, глубоко почитаемый им, ставит над «пещерами безверия» сигнальный фонарь, предупреждая нас о грозящей катастрофе...

Не будем, однако, отбрасывать и конечного вывода поэмы, каким бы поспешным нам, умудренным всем опытом XX столетия, он ни казался:

*Я знаю: огромная атмосфера
Сиянием
Опускается
На каждого из нас, —
Перегорающим страданием
Века
Омалится
Голова
Каждого человека...*

Еще раз вспомним, что символ «неопалимой купины», почти синхронно возникающий у Волошина и Белого в связи с Россией, есть библейский символ вечной жизни.

Для почитателей таланта обоих поэтов небезынтересно, что, вернувшись из Германии в Россию поздней осенью 1923 года, он, вместе со второй женой, Клодей (Клавдией Николаевной Васильевой), не раз посещает волошинский Коктебель. А вот его отзыв о работе Максимилиана Александровича: «...за пять лет революции он удивительно изменился, много и серьезно пережил и теперь естественно перекликается в темах России со мною, в точках любви к современной России мы встречаемся, о чем свидетельствуют его изумительные стихи».

Не только «темы России», не только любовь к России, но и раз и навсегда выбранное место пребывания — Россия — роднят двух поэтов, двух западников, двух антропософов. Волошин как вернулся в Коктебель незадолго до февральской революции, так больше не покидал родную землю. Белый, казалось, окончательно, уехал за рубеж в 21-м году — так думали коллеги по обе стороны границы. За предыдущие годы пребывания в Дорнахе и вокруг он пропитался европейской культурой и философией; огромное количество лекций, прослушанных на немецком, сделали знакомый с детства «хохдойч» едва ли не вторым родным языком. Препятствий к адаптации как будто не было, однако послевоенный Запад разочаровал поэта.

Он много пережил за те два неполных года. Уход любимой жены; его страстное обращение в стихах к Асе Тургеневой: «Последний, верный, вечный друг...» растаяло в безответности. Прощание со Штейнером, теперь уже навсегда, — в 1925 году Учитель умрет. Что они разошлись чуть ли не врагами — обычная недобросовестная пропагандистская натяжка. Вот что пишет об этом сам А. Б.: «Наступило прощанье; и я — мне несколько не стыдно в этом признаться: я поцеловал ему руку. Ведь этот неудержимый жест, произвольный, есть выражение сыновней любви». Вероятно, он чувствовал себя белой вороной среди берлинской литературной братии; для большинства эмигрантов и невозвращенцев вопрос, оставаться на чужбине или ехать в опрокинутую Россию, просто не стоял. А он терзался сомнениями. При этом писал, как трудоголик, — в Берлине его охотно издавали. Отрицательную энергию, не до конца выплеснутую за письменным столом, вкладывал в полубезумные танцы, на потеху окружающим, в какой-нибудь пивнушке, где молодежь танцевала «шибер, яву, джимми — прародители рок-энд-ролла» (Р. Гуль).

«Маленький балаган на маленькой планете “Земля”» — так озаглавил Белый одно из новых стихотворений и в виде эпиграфа обронил авторскую ремарку: «Выкрикивается в берлинскую форточку без перерыва...»

Хорошо известны обстоятельства его отъезда на родину. Литературно знаменитый вокзал Zoo. Конец бабьего лета 1923 года. Белого

провожают друзья. Все довольно чинно, в меру сердечно, в меру церемонно. «*Кто может знать при слове расставанье, / Какая нам разлука предстоит?*» (О. Мандельштам). И вдруг сорокатрехлетний поэт с мальчишеской прытью выскакивает из поезда, бормоча как в забытьи «не сейчас, не сейчас, не сейчас». Кондуктор не растерялся, втащил его обратно... Куда менее известно, что ближайшие три недели «возвращенец» проведет в Ковно, тогдашней столице Литвы, ожидая от властей обратной визы в Германию. И вот тут на сцену выступает уже упомянутая выше Клавдия Николаевна Васильева. Женщина умная, образованная, наделенная талантом любви и отменным литературным вкусом.

Звезда русских антропософских обществ. О ней и об их провиденциальной встрече поэт скажет так: «Она *одна* из всех москвичей с невероятной чуткостью поняла, в какой *мрак* я ушел (я в те дни уже решил ехать за границу); и она нашла слова... И я вернулся в Москву с решением: *мне быть в России*».

В литературе о Белом, пока не очень богатой, в документальном фильме А. Осипова «Охота на ангела, или Четыре любви поэта и прорицателя» (удостоен «Ники») роль Васильевой в судьбе поэта толкуется неоднозначно. В «Охоте» прямо сказано, что Клавдия Николаевна не знала, чью волю выполняла. А государственная воля была такова: новой России, оказывается, нужна «гнилая» старая интеллигенция. Белого надлежит вернуть в страну, рожденную Октябрем, и сделать из него советского Гюголя, а еще лучше красного Пушкина.

На «ангела», достигшего высшей ступени — человека (исхожу из Ангелологии Рудольфа Штейнера), действительно, шла охота. Но быть сомнамбулой или тем более ловчей птицей весьма расторопных охотников из ВЧК ясномыслящая, благородная Клодя не могла. Действовала она, как я думаю, по убеждению и душевному позыву, под диктат любви. Подругой и спутницей поэта оказалась удивительной. Берегла его, высоко ценила, создала ему, в сущности, российскому бомжу, сносный быт в подмосковном Кучино. Перебеляла рукописи не хуже Софьи Андреевны Толстой. И хранила своего гения, а потом и его литературное наследство как зеницу ока. Многие из того, что впервые выходит теперь в свет, переписано ее рукой, а писал Белый, невзирая на тяжелые жизненные условия, очень много: романы, статьи, исследования, мемуары... Посвященное ей стихотворение недаром названо «Сестре».

«Светом окрашено мое пребывание в Москве, в Ленинграде недавней эпохи (...)

Среди голода, холода, тифа (...) я чувствую свет: свет победы сознания, а пребывание в Берлине окрашено тенью...» — писал Андрей

Белый в 1924 году. Раньше из конъюнктурных соображений эти слова цитировались в мажорном ключе, теперь если и приводятся, то чуть ли не стыдливо.

Заподозрить такого поэта в двоедушии — дико. Он *так* писал, потому что *так* чувствовал. «Свет победы сознания», который он прозревал в окружающем, вовсе не означает его слепоты или близорукости, или нежелания трезво видеть послеволюционную действительность.

Поэт-философ мыслит другими категориями. Для него, разгадывателя слов, творца еще не бывших звуковых сочетаний, человек — это ЧЕЛО ВЕКА, «"человечество" есть мировое "чело", разветвленное "вечем" во все, что ни есть». «ИСН» (ихь), «Я» по-немецки, — для него инициалы Иисуса Христа. А вот и указатель на этом трудном для нас пути постижения беловских миров — прозаический фрагмент из «Души самосознающей»: «...восток ныне "ясли", в которых возможен "младенец" — духовное "Я"...» Стихи А. Б. о Ребенке в яслях я приводила раньше. А что такое «духовное "Я"»? И почему именно восток — для него «ясли»?

Свет миру пришел с востока. Да и «компас корабля, Арго», на котором «душа самосознающая», согласно поэту, плывет за «Золотым руном», указывает «с северо-запада на юго-восток». Наше самосознание отталкивается от нарциссического любования своей персоной. Человек способен освободить и исцелить свое «Я» внутренним усилием, вернуть его в мир Духа. Самосовершенствование — это совершенствование в Духе, и возможным оно становится только тогда, когда нам открывается смысл апостольских слов: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).

Если в глубинах человеческого «Я» не происходит прорыва к свету, если СО-ЗНАНИЕ, СО-ЧУВСТВИЕ не обнаруживают себя как живая связь с высшим началом — любви и свободы, мир остается в глубоких сумерках, при всем экономическом и политическом, явном и кажущемся прогрессе. Ни в одной книге, ни в одном высказывании Белого мы не найдем того, что, возможно, искали «охотники на ангела»: вот свершилась революция, или индустриализация, или коллективизация — и Россия вступила в новую светлую эру. Нечто, действительно, свершилось... почти две тысячи лет назад. Свет пришел на землю, и человеческое сознание методом кровавых проб, трагических ошибок стало подтягиваться к этому Свету. В России идет страшная ломка, но это сулит в будущем и творческую метаморфозу. Россия сораспята с Христом, но за распятием неизбежно Воскресение...

Жизнь, однако, проистекала в другом, убийственно трехмерном измерении. Начались гонения на русских антропософов. Вторая волна репрессий подхватила и понесла на современную Юлгофу любви

мую Клодю и их общих друзей. Стихи, написанные Белым в Кучино в 29-31-м годах — крик отчаяния.

*Трещит заискривленным забором
Сухой рождественский мороз...
И где-то ветер вертким вором
Гремит заржавленным запором;
И сад сугробами зарос.
И те же старые туфусы
Под бороною Иеговы...
О, звезды — елочные бусы, —
И ты, Юпитер синеусый,
Когда же оборветесь вы?
Протми сияющие песни,
Уими слезливую игру, —
Вселенная, — погасни, тресни:
Ты злая глыба глупой блесни!
Ты рыба, льющая икру!
Нет, лучше не кричать, не трогать
То бездыханное жерло:
Оно — черно, как кокс, как деготь...
И по нему, как мертвый ноготь, —
Луна переползает зло.*

Неизбывна горечь этих стихов, но еще горше становится от их названия: «Рождество, 1930». Когда весь христианский мир празднует приход Мессии, в нескольких десятках верст от столицы *сорока со-роков* церковью замерзает душой тот, кто верил в Христа как в Спасителя. А теперь, кажется, уже ни во что не верит...

Поздние стихи Белого мало известны широкому читателю. Поэтому остановлюсь на них чуть подробнее. «Старый бард» озаглавил он одно из кучинских стихотворений. Видимо, таким он и чувствовал себя в советской действительности: старым (ему только 50 лет!), инородным. Это теперь имя «бард» вернуло себе права гражданства в русской культуре, а тогда звучало, пожалуй, особенно для словознатца Белого, как древнекельтское, ископаемое... Поэтика стихов по-прежнему богата. Нет, это не «Первое свидание» с его избыточной образностью, идущей от упоения молодостью, любовью, музыкой. Не «Христос воскрес!» с его напряженной библейской лексикой. Всё гораздо строже и обыденнее. Но оскудение жизни не ведет, как это нередко случается со стихотворцами, к обветшанию художественной ткани последних песен А. Б. Символист до мозга

костей, он весь свой век стремился с помощью незатасканного, на глазах читателя творимого слова соединить быт и бытие, время и Вечность, достроить двоимирную вселенную третьим миром, где божественно сливаются материя и дух. Теперь, когда все пошло на слом, разведены и эти брачующиеся понятия. Немилосердно. Беззаконно. Как он и Клодя... Однако остается неисчерпаемым Слово, и Оно дарит своего бескорыстного служителя языковым многоцветьем.

Мне приходилось слышать от коллег и просто читателей весьма сдержанные отзывы о беловских стихах 30-х годов. Головные. Хаотические. Малопонятные. Никто, правда, не отрицал их выстраданности, их необычайно высокого болевого порога. Не знаю, кто как, — я читаю их, сопереживая автору до слез, догадываясь, что он таким образом отгонял сонмы темных сущностей от своего одинокого ложа...

«Как хрусталами/Мне застрекотав,/В луче качаясь,/Стрекоза трепещет;/И суетясь/Из заржавевших трав, —/Перевертвая/Ящерица блещет./Вода, — как пламень;/Небо, — как колпак.../Какой столбняк/В застекленных взорах!/И тот же я/Потерянный дурак/В Твоих, о Боже,/Суетных просторах./Вы — радуги,/ Вы — мраморы аркад!/Ты — водопад/Пустых великолепий!.../Не радуется/Благоуханный сад,/Когда и в нем, —/Как в раскаленном склепе.../Над немотой/Запелененных лет/Заговорив/Сожженными глазами,/Я выкинусь/В непереносный свет/И изойду,/Как молниями, — слезами./Я — чуть живой,/ Стрелой пронзенный бард —/Опламенен/Тоской незаживною,/Как злой, золотоглавый/Леопард,/Оскаленный/Из золотого зноя».

Клодя вернулась. Письмами Сталину, в Совнарком, в прокуратуру Андрей Белый вырвал любимую женщину из лап державного произвола. В стихотворении «Пещерный житель» он еще раз возвращается к теме Христа — теме всей своей жизни, с 1903 по 1934 год, год своей кончины:

*Я — бледен, голоден
И бос:
Живу,
Таясь, как зверь,
В пещере...
Жду:
В ослепленный мир
Христос —*

*Откроет огненные
Двери...*

«Ослепленный мир» — это тот мир, в котором мы живем. Мы, ослепленные каждый — своим: деньгами (чаще чужими), карьерой и ее пиком — славой (тоже чужой), любовью, мало достойной этого имени. Люди сего дня, в отличие от людей вечности, — коварными научными открытиями современности. Как мы помним, почти 90 лет назад Андрей Белый бил тревогу по этому поводу. Некоторые настаивают: предсказал изобретение атомной бомбы. Интересно, что бы он сказал о болезненной овечке Долли и искусственном клонировании гениев, по праву принадлежа к их клану (чуть не написала «клону»). Другие, с врожденной тягой к разрушению и агрессии, — широко открывшись техническими возможностями для политических переворотов, социальных революций, религиозных, националистических и прочих кровавых движений центробежного толка.

Согласно Библии, ослепить может не только мнимый свет, но и откровенная тьма. Так, в Первом послании Иоанна сказано: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (2,11).

Итак, пока не прозреем, пока не осознаем, что в каждом из нас заключен энергетический потенциал Духа, — не увидим света. Пока не вынем предохранительные «беруши», — не услышим, как скрипит огненная дверь, через которую входит Тот, Кто «победил мир» (Ин. 16, 33).

Глава восемнадцатая

«ВО МНЕ ПЕЧАЛЬ, КОТОРОЙ ЦАРЬ ДАВИД/ ПО-ЦАРСКИ ОДАРИЛ ТЫСЯЧЕЛЕТЬЯ...»

(А. Ахматова)

Не дает мне покоя высказывание Блока об Ахматовой: она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом. С этим хочется поспорить. Помимо любви к истине толкает на спор и ущемленное женское самолюбие. Что же получается: как только речь заходит о поэтессе, в данном случае великой, так в ее творческом микрокосме на месте Творца видится тварь противоположного пола. А поэты-мужчины, простите, Александр Александрович, не пишут стихи...добро бы еще как бы перед женщиной, а то перед неодушевленными фетишами — карьерой, деньгами, властью?..

Когда я попыталась уточнить, откуда взялись запавшие мне в память слова, поднятые мной на ноги знакомые стиховеды только разводили руками. Что-то такое Блок действительно говорил, но ни в его статьях, ни в его дневниках и записных книжках этого нет! Наконец, Татьяна Бек разузнала для меня: спорная фраза встречается в воспоминаниях о Блоке Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, матери Марии. Источник надежный, но не безупречный. Известно более чем заинтересованное отношение молодой Е.Ю. К.-К. к Блоку и его сдержанное отношение к ее стихам...

Ахматоведы давно обратили внимание на то, что многие любовные стихи поэтессы пронизаны религиозным чувством. *«Из ребра твоего сотворенная, / Как могу тебя не любить?»*, *«А в Библии красный кленовый лист / Заложен на Песни Песней»*, *«Закрой эту черную рану / Покровом вечерней тьмы / И вели голубому туману / Надо мною читать псалмы»*. Но едва ли можно упрекнуть А. А. в том, что, как утверждалось выше, она ставит своего любимого (имена меняются, но образ избранника достаточно постоянен) на место Всевышнего. Нет, иерархия всегда сохраняется. Любя, страдая, томясь одиночеством вдвоем или одиночеством в одиночку, теряя с таким трудом обретенное счастье и возвращая его себе, пусть на миг пусть с другим, — Анна Андреевна всегда помнит о вечных ценностях. Порой она как будто будит себя от сладкого, но тяжелого сна: *«О, есть неповторимые слова, / Кто их сказал, истратил слишком много, / Неистощима только синева / Небесная и милосердие Бога»*.

Когда я читала «Записки об Анне Ахматовой» ее многолетнего друга Лидии Чуковской, мне все время казалось, что они обращены лично ко мне. Как будто о таких, как я, сказано: в 50-е да и в 60-е каждый

школьник знал про постановление ЦК ВКП(б) 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», ибо оно «на долгие годы было введено в учебные программы». Отроческая память цепкая, ухватчивая. «Взбесившаяся барынька», «полумонахиня, полублудница», которая «мечется между будуаром и молельней» — это звучало необычно, звонко и куда интереснее всякой учебной преснятины. Мой ровесник, тонкий молдавский лирик Григоре Виеру как-то покаялся мне, что получил в школе «пятерку» именно за это постановление. Чем я могла утешить его? Встречным признанием: «И я — тоже», хотя такого, чисто случайно, не было... «Выросло целое поколение, которому Ахматова известна только в трактовке Жданова, теперь они узнают ее от нее самой. Догадуются ли о пропусках?» Это написано Чуковской в августе 1956 года, когда после длительного перерыва новая книга поэта (имя «поэтесса» А. А. отвергала) варилась на задымленной, удушливо-чадной издательской кухне и от нее болезненно отпадали органические части целого: совершенно невинные для непредвзятого взгляда, очень ахматовские стихи — чистая поэзия.

Что идеологически вредного могли узреть наследники Жданова в таких, например, строках: *«И на пышных, парадных снегах/Лыжный след, словно память о том,/Что в каких-то далеких веках/Здесь с тобою прошли мы вдвоем?»*

Анна Андреевна, посмеиваясь над зловерной глупостью человеческой, отвечала на вопрос так: «Идеализм. В стихотворении говорится: мы прошли вместе в далеких веках, а этого на самом деле не бывает. Человек живет в определенном веке и в далеких веках ни вместе, ни не вместе пройти не может. Это идеализм...»

«*Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено?*» — вспоминаются два стиха из «воздушной громады» любимого ей «Евгения Онегина». Ахматовой многого не прощали политиканы от литературы. Оглушительной славой 10-х годов: *«И выходили люди, и кричали: “Она пришла, она пришла сама!”»* — авторское признание из второй «Северной элегии». Не прощали «бурбонского», то есть королевского профиля, запечатленного художниками. Принадлежности к странному течению «акмеизм»; одно из значений слова «акме» — острие (а что она там прячет под своими старомодными одеждами, не клинок ли мысли, разящей пострашнее холодного оружия?). Брака с расстрелянным «монархистом» Николаем Гумилевым. Неустанных хлопот за единственного сына-сидельца Льва. Дружбы с крайним субъективистом Пастернаком, опальным Мандельштамом, внутренним эмигрантом М. Булгаковым, врагом народа Пильняком. Послевоенной встречи с «гостем из Будущего», сомнительным англичанином еврейского происхождения Исаией Берлином... Но более всего не прощали ей идеализма...

Можно сколько угодно рассуждать о вещественном мире, утвержденном в поэзии акмеистами в пику туманному, заумно-метафорическим символам их предшественников. Вспомнить «*Высоко в небе облачко серело, как беличья распластанная шкурка*». Или процитировать: «*Я на правую руку надела/Перчатку с левой руки*». Да, образы выхвачены из повседневности, поэтесса не чурается самого что ни на есть обычного бытового реквизита, не боится будничными словами утишить любовную страсть, «подорожником» (название одной из ее книг) попытаться охладить огненную боль. Но собственная глубина, с которой она никогда не теряет контакта, отрывает ее от сугубо земного. Возносит высоко, в область заново открытую, но не обжитую символами, — в область духа.

Вспомним эпилог одной из любовных миниатюр:

*... И сухими пальцами мяла
Пеструю скатерть стола...
Я тогда уже понимала,
Как эта земля мала.*

О «малости» земли «для двух людей», одержимых страстью, «*раскаленной добела*», писала она и в стихотворении «*И когда друг друга проклинали...*», а было ей в ту пору двадцать лет...

Если *эта* земля мала, то что же по росту женщине, человеку, личности? Может быть, «новое небо и новая земля», увиденные внутренними очами евангелиста Иоанна (Откр. 21, 1). Или то, что за пределами нашего опыта, вне утекающего времени? Кто-то скажет: Высший разум, Мыслящий океан Вселенной. Поэты выражаются по старинке: Бог и Вечность. А это, особенно с точки зрения материалистов, махровый идеализм...

Пятая книга Ахматовой называется «Anno Domini MCMXXI» («В лето Юсподне 1921»). Современному верующему, не зашоренному принадлежностью к православной конфессии, известно другое толкование, давно вошедшее в обиход западной церкви: «От Рождества Христова». Много ли найдется в мировой поэзии стихов, настолько исполненных христианского духа:

*Земной отрадой сердца не томи,
Не пристражайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим крошечным супостатом,*

*И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.*

Несколько строк из этого восьмистишия 1921 года имеют параллели в евангельском тексте. Невозможно представить себе Ахматову листающей Книгу Книг в поисках «сырья» для собственной поэтической работы. Нет, все это жило в ней с ранних лет, насыщало духовную атмосферу, которой она дышала, углублялось и расцветало вместе с ее душой, оставалось центром тяжести во время жизненных бурь и землетрясений.

«Земной отрадой сердца не томи...». Есть в Послании Апостола Павла к Колоссянам нечто похожее: «О горнем помышляйте, а не о земном» (3, 2). Ключ к этим словам — там же, но чуть выше:

«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога...» (3, 1)

У поэтессы о Христе — ни слова. Но книга называется *«Anno Domini»*. Не означает ли это, что после Рождества Христова всё вокруг нее, вокруг нас другое и «земная отрада» — уже не высшая и даже не самая желанная цель существования? Судя по всему, она горькая и обманчивая, раз томит сердце.

Так что же со времен праматери Евы занимает главное место в женской жизни? Девять из десяти читателей и читательниц ответят: любовь. Любовь сексуальная. *«А ты, любовь, всегда была отчаяньем моим!»* — воскликнет уже пожилая Ахматова. Кто наивно считает: «Если родилась красивой, значит, родилась счастливой», — может на ее опыте лишний раз усомниться в правоте народного присловья. Счастье, или «земная отрада», разминулось с Анной Андреевной раз и навсегда. Брак со страстно влюбленным в нее Николаем Степановичем Гумилевым через несколько лет распался. Не скрепили его ни сын, ни общее, одинаково дорогое обоим супругам дело — поэзия. Впрочем, в «Записных книжках» (1958–1966) А. А. приводит слова Гумилева в ответ на ее сожаление по поводу «в общем не состоявшегося брака»: «Нет — я не жалею. Ты научила меня верить в Бога и любить Россию...» Яркие любовные романы Ахматовой (два из них тоже стали браками, один — очень коротким, другой — слишком длинным) на проверку оказались ущербными: кто-то из ее избранников утешился с другой, кто-то уехал за бугор, кто-то просто не понял, кто рядом с ним: *«А, ты думал — я тоже такая, / Что можно забыть меня, / И что бросаешь, / Моля и рыдая, / Под копыта гнедого коня»*.

А слава? А творчество? Разве они не заняли вакантное место?

«Я улыбаться перестала, / Морозный ветер губы студит, / Одной надеждой меньше стало / Одной песней больше будет», — наверное, не я одна под-

бадривала себя в молодости чеканным ахматовским афоризмом. Но и песня, она же поэма, она же стихотворение, рождается у нее в состоянии, скорее схожем с лихорадкой, с болезнью, чем с улюением наконец-то достигнутой гармонией: *«Но это!.. по капельке выпило кровь,/ Как в юности злая девчонка – любовь./И, мне не сказавши ни слова,/ Безмолвием сделалось снова./И я не знавала жесточе беды./Ушло, и его протянулись следы/К какому-то крайнему краю,/А я без него... умираю».*

Что же остается? «О горнем помышляйте, а не о земном...»

Как-то странно звучит следующая строка разбираемого нами стихотворения: *«Не пристращайся ни к жене, ни к дому!..»* Это не себе — это другому сказано. Мужчине. Человеку. Адаму. Но не ветхому, а новому. Тому, кто явился в мир A. D. — Anno Domini. И способен осознать ответственность своего появления на свет.

Поищем аналогий в Новом Завете:

«...хорошо человеку не касаться женщины (...) Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу;

А женатый заботится о мирском, как угодить жене...» (1 Кор. 7, 1, 32–33)

Апостол Павел, которому принадлежат эти широко известные слова, еще не восхищен на небо. Он не мечтатель — реалист. Смотрит вокруг трезвыми глазами. Земля полна брачующихся пар. И разве не сказано в первой главе Библии устами Божьими: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Бытие. 9, 1). Вступление в брак — вовсе не грех, напротив, «в избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа» (1 Кор. 7, 2). Но «время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие(...) покупающие, как не приобретающие; И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7, 29–30; разрядка моя, — Т. Ж.).

Вот что выражено ахматовским глаголом в повелительном наклонении «не пристращайся». Этому повелению свыше следовала и она сама всю свою трудническую жизнь.

«И будь слугой смиреннейшим того,/ Кто был твоим крошечным супостатом» — строки, сразу вызывающие в памяти слишком знакомое, по почти невыполнимо даже теперь, две тыщи лет спустя после того, как явлением Иисуса Христа было разбужено и потрясено земное и околоземное пространство: «...любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...» (Мф. 5, 44).

Полегче, помельше масштабom кажется после этого призыв, выраженный в предпоследней строке стихотворения: *«И назови лесного зверя братом».* Однако с высшей точки зрения в жизни человеческой

нет ничего мелкого, особенно когда речь идет о Творении и тварях земных. Не забудем, что, согласно Библии, перед потопом «все звери по роду их», «по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни», вошли в Ноев ковчег, а по окончании потопа «все звери... вышли из ковчега» и прозвучало обетование Божье: «...не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал» (Бытие, 7,14,15; 8,19, 21). В псалмах, любимых Ахматовой, сочувственно сказано именно о «лесных», т.е. диких зверях (Пс. 49, 103). О том же, что «вся тварь», которая «совокупно стонет и мучится», «освобождена будет от рабства тлению», говорил апостол Павел в «Послании к Римлянам» (8, 22,21). Значит, все живущее ждет единая судьба? Жизнь вечная? Как же после всего этого не назвать «лесного зверя братом»!

«И не проси у Бога ничего» – а вот это не по-христиански, это – гордыня. Евангелие преподносит нам совершенно другое: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам;

Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». (Мф. 7, 7–8)

Ахматова сознавала этот свой грех, разделенный со многими смертными, и спустя годы обратилась к неназванному Адресату со стихотворением-молитвой, которое заканчивалось словами: «*Так спаси же меня от гордыни./В остальном я сама разберусь*» («Ты напрасно мне под ноги мечешь...», 1958).

Далее страница моих личных воспоминаний... Когда в середине пятидесятых я взяла в библиотеке родного Литинститута «Вечер» и «Четки» – ранние, пропахшие почему-то овощехранилищем книги Ахматовой, – нельзя сказать, чтобы они меня ошеломили. Запомнились детали (в писательском вузе бредили «детальями»): «*На рукомыльнице моем /Позеленела медь,/Но так играет луч на нем,/Что весело глядеть...*». Понравился ритм многих стихов (у нас его называли дольником), под стать неровному женскому дыханию. «Образ лирической героини» (еще один тогдашний штамп) был мне далек. Что это она так пресмыкается перед мужчиной: «*Как соломинкой, пьешь мою душу./Знаю, вкус ее горек и хмелен./Но я пытку мальбой не нарушу./О, покой мой многонеделен./Когда кончишь, скажи?..*» И откуда такая пассивность, покорность судьбе, разве не за женщиной последний выбор, ведь она еще молодая, талантливая... Так или примерно так думала я в свои двадцать, читая стихи, написанные сверстницей почти полвека назад...

Лидию Корнеевну Чуковскую волновало, как прочтет великого поэта поколение, знакомое с именем А. А. только в трактовке партийного бонзы, но она недооценила другого фактора: огромной временной дистанции. Без малого пятьдесят лет! И каких! Заклейменных

войнами и революцией, достававших колыбельных младенцев репрессиями и бомбежками, двукратно или трехкратно растянутых на полувековой шкале. Дети «железного века», по терминологии поэтической антологии Евгения Евтушенко, несли тяжелое железное ядро и в глубине лирической души...

Тогда, в пятидесятых, стихи Ахматовой стали чаще, чем прежде, появляться в периодике. В 1958 году вышла ее небольшая книжечка в рыжевато-коричневом ледерине. Мне удалось ее купить. Там были и старые, и новые стихи, всё больше о любви и разлуке. Мне они нравились. Но до потрясения дело не доходило. Вопросом о насильственных «пропусках», так волновавших автора и ее друзей, я не задавалась. По-настоящему оценила Анну Ахматову значительно позже, когда прочла в доступно полном объеме то, что она написала, и постаралась как можно больше узнать о ней, об ее поистине крестном пути в истории русской и мировой культуры. Не последнюю роль, наверное, сыграло и моё внутреннее повзреление.

А теперь должна кое в чем покаяться, ибо летом 1963 года мы с мужем навестили Ахматову. В Комарове под Ленинградом. Свалились как снег на голову, без предварительной договоренности, без чьей-либо рекомендации. Дорогу нам указали. Было неприятно, что еще на пригородной платформе к нам прилепилась совершенно чужая тетка. Говорливая и бестактная. В литературе разбиралась, как свинья в апельсинах, ничего не слышала о Серебряном веке, не знала даже, что Цветаева самовольно ушла из жизни. На ее фоне мы, понятно, казались себе большими эрудитами...

Ахматовская литфондовская «будка» описана многими. Меня она поразила своим убожеством. Что там «Меншиков в Березове»! Вдовствующая императрица в чулане девки-чернавки — вот что пришло бы мне в голову, не будь я так взбудоражена встречей... Хозяйке «будки» шел семьдесят пятый год. Жить ей оставалось меньше трех лет. Она не была в изгнании — напротив, слава, что «лебедью плыла» к ней в молодости, точно вспомнила свою возлюбленную Леду и задалась дерзкой целью в короткий оставшийся срок возместить ей всё утраченное за десятилетия опалы и полуопалы, замалчивания, страха за себя и за сына, бедности, бездомности, бесправия...

Пройдет год с небольшим — она получит литературную премию Этна Таормина, отправится за ней в сопровождении близких людей и пристроившихся коллег на Сицилию, посетит Рим; через несколько месяцев в стране Шекспира, которым она никогда не переставала восторгаться, ее зябкие старые плечи торжественно покроют оксфордской мантией; она побывает в Париже, встретится со старыми друзьями...

Однако обратимся к нашей встрече, случившейся до всего этого... Приход трех незнакомцев — поклонников? любопытствующих? сексотов? — хозяйку не удивил. У нее постоянно гости, невозмутимо заметила она. И все ее легко находят. Недавно был один иностранец, — так ему план расположения в Нью-Йорке нарисовали! Он что-то перепутал, мимо калитки прошел. Но, заметив его из окна, А. А. сказала вслух: «Этот все равно ко мне!» И он вернулся...

Не интересуясь ни нашими именами, ни родом занятий, отмеривая каждому из трех равную толику внимания, А. А. показывает много интересного: свои последние публикации, зарубежные газеты и журналы, где написано о ней как о крупнейшем поэте современности. Но не всё, приходящее с Запада, хмурится она, ее радует. Пишут и чепуху, искажают факты, просто лгут. Начинает горячо возмущаться: «Зачем? Кому это нужно?!» А вот целая россыпь, как видно, дежурных, для публичного показа, фото. На одном — она, такая юная, такая гибкая, в позе сфинкса. На другом — вижу знакомые лица, называю Марию Сергеевну Петровых.

— Так вы знаете Марусю? Откуда? — беседа приобретает легкий личный оттенок.

Моя фамилия, которую наконец называю, известна ей благодаря ее дружбе с Виктором Максимовичем. Но не только.

— Подождите! — она начинает упрямно перебирать бумаги и откуда-то извлекает на свет малого формата газетку. Похожую на заводскую многотиражку. В ней опубликованы стихи нескольких поэтесс разных поколений. Мне в глаза бросается: Ахматова, потом еще кто-то и... не сразу добираюсь до своего стихотворения «Красота», очевидно, откуда-то перепечатанного.

— Вот видите! — она довольна. Настырностью ребят из газеты, обратившихся к ней с просьбой о стихах. Тем, что быстро нашла. Что не потеряла памяти. Что таким образом приветила младшую коллегу.

Читаю ей наизусть ее строки, еще и теперь рвущие сердце:

*За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.*

Мне кажется, она скорее насторожена, чем польщена:

— Откуда вы это знаете?

— Мне Толя Jakobсон читал.

— А всю мою поэму он вам не читал?

И на мой отрицательный ответ — с усмешкой:

— Хоть что-то не читал... У молодых такая хищная память...

Теперь мне ясно, что она говорила о «Поэме без героя», но об этом недавно ею законченном, до сих пор загадочном для меня произведении я тогда ничего не знала.

Еще четверть часа беседы. С восхищением отзывается о Солженицыне: был у нее несколько раз, написал великую книгу («Один день Ивана Денисовича» появился в «Новом мире» в ноябре 1962 года и тут же вышел отдельным изданием. — Т. Ж.). Спокойнее — о Паустовском: тоже был у нее недавно, плохо дышит, человек он, видимо, хороший. Узнав, что у нас с мужем свадебное путешествие в Прибалтику, в повышенном тоне говорит об ее красотах: «Божественная готика!» Смотрит на моего тридцатилетнего мужа с нескрываемым интересом, я даже немного ревную. Ее — к нему, разумеется.

Все заготовленные вопросы вылетели у меня из головы. Приставшая к нам тетка спрашивает о чем-то никчемном — хозяйка ей размеренно отвечает. Какие дуры ходят к знаменитостям!.. И тут я совершаю непоправимый шаг. Внутренне я все время колебалась, дарить или не дарить ей свою первую книгу стихов. Дарить без просьбы — не значит ли навязываться? Не дарить — когда еще ее увижу? Книга вышла полгода назад, о ней были хорошие отзывы в печати. Вдруг и Ахматова найдет в ней что-то для себя интересное?.. Достāju свой сборничек «Район моей любви», делаю поспешную надпись. Хорошо продуманный экспромт, как это часто бывает, мстит мне в последнюю минуту: при Ахматовой искажаю стихи Ахматовой. Хотела перефразировать строки «Холодное, чистое, легкое пламя/Победы моей над судьбой», а сама вывожу на титульном листе: «Благодарю Вас за «холодный, чистый, легкий пламень» победы Вашей над судьбой». Да разве она, дорожившая каждым подлинным звуком родной речи, заменила бы живое «пламя» книжным «пламенем»?!

Спохватываюсь, но поздно. Анна Андреевна уже прочла. Тонкая ирония в ее улыбке. Которую книжку от поэтессы получила она сегодня в подарок? Сто первую?! Тогда я не знала эпизода, абсолютно точно, думаю, переданного Лидией Чуковской в ее воспоминаниях. На Втором съезде писателей в 1954 году к Ахматовой подходили поэтессы «всех народов», и она чувствовала себя «этакой пиковой дамой — сейчас которая-нибудь из них потребует: «три карты, три карты, три карты». Так что я со своей неуклюжестью была наверняка не одинока...

Ахматовское язвительное четверостишие о сестрах по перу широко известно: «Могла ли Биче словно Дант творить, / Или Лаура жаф любви восславить? / Я научила женщин говорить... / Но, Боже, как их замолчать заставить!»

На прощанье она ставит свой аскетический автограф на протянутой мной красной книжке 58-го года: перечеркнутое вензелеподобное «а». Перед нашим уходом — ободряющая фраза хорошо воспитанной дамы: «Если вы знаете Марусю Петровых, мы сможем...». Нет, в Москве живую я ее не видела. Только мертвую — в морге Института Склифосовского, в Грохольском переулке... В марте шестьдесят шестого...

Библия и Ахматова — эта тема проста только на первый взгляд. Стихов-параллелей к ВЗ и НЗ у нее почти нет. Она жила в эпоху антихристианства, когда одно только указание на библейский источник, сюжет или имя, извлеченные *оттуда*, грозили государственной анафемой. Но Книга книг была не столько ее повседневным, сколько насущным чтением. Есть среди ее поэтического хозяйства, образцово восстановленного (благодаря стараниям друзей, да и самой А. А. с ее феноменальной памятью и сознанием своего миссионерства) три стихотворения, прямо отсылающие к Священному Писанию.

Первое, «Рахиль» (1921), имеет эпитафию из Книги Бытия: «И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Стихи как будто стилизованы, но, как всегда у Ахматовой, попытка стилизации прорастает живыми современными словами, живым, а не заемным чувством:

*Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана,
И он согласился за деву служить
Семь лет пастухом у Лавана.
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
Семь лет — словно семь ослепительных дней...*

Напомню, что в 29-й и последующих главах Бытия повествуется о полной драматизма истории двадцатилетнего служения сына Исаака и Ревекки своему дальнему родственнику Лавану за двух его дочерей, слабовидящую Лию и красавицу Рахиль, и еще за скот, бывший тогда единственным признаком достатка. Это рассказ о простительном обмане (отец подсовывает Иакову незавидную старшую дочь вместо желанной младшей), о счастливом чадородии и преодоленном неплотии (победить его может только любовь), о хозяйственной сметке Иакова и позднем прозрении его тестя, по справедливости поделившегося всем, что

имел, с работающим зятем. Иаков — первый «богоборец» в Библии. Это с ним боролся Некто «до появления зари» (Быт. 32, 24–29), и человек оказался равным соперником Богу, и получил его благословение. Правда, остался на всю жизнь хромым... Автора интересует в первую очередь история любви-служения, своего рода мужской подвиг. Но аура рождения стиха, по моему мнению, тоже важна и добавляет к образу А. А. некоторые неожиданные штрихи.

«Лотова жена» — стихи о подвиге женщины. Так, во всяком случае, интерпретирует Ахматова девятнадцатую главу Бытия. Тяжелые ассоциации вызывает в наши дни угроза свыше — покарать Содом и Гоморру, место беззакония и греха, потому что «велик воишь на жителей его к Господу» и Господь хочет истребить его. Праведнику Лоту и семье его обещано спасение при одном условии: бежать из города и не оглядываться... Почему же оглянулась праведная жена Лота? Кто-то предположит: женское любопытство, исконное женское своеволие. По-другому видит это Анна Андреевна:

*...Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где прыла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила...*

Вот что делает настоящая поэзия: она называет Содом «родным», и стихи сразу приобретают некое четвертое измерение, — ведь и по Содому заплачешь, если в нем родилась и прожила весь свой век. А. А. не спорит с установившимся взглядом на супруга Лота как на ослушницу, но вплетает и свой голос в заключение библейской легенды: «*Кто женщину эту оплакивать будет?/Не меньшей ли мнится она из утрат?/Лишь сердце мое никогда не забудет/Отдавшую жизнь за единственный взгляд*»... Написанное в начале двадцатых годов, это произведение кажется мне ностальгическим. Глазами Лотовой жены Ахматова точно озирает всё, что должна покинуть навсегда. Есть сведения, правда, скудные, что и она, особенно после смерти Блока и расстрела Гумилева (в одном и том же 21-м году) собиралась в эмиграцию. Этот соблазн был преодолен. Свою чашу с горчайшей цикуткой по-советски, чье действие замедленно-смертельно, Анна Андреевна предпочла выпить у себя дома.

Она никогда не сомневалась в страшном уроне, нанесенном октябрьским переворотом родной и любимой стране, родной и любимой культуре. Ей принадлежит поразительное пророчество — всего то восемь строк (о, благородная лапидарность стиля!). Когда не

последние в России и за пределами России люди, писатели, ученые, философы, богословы ломались в открытые двери, взвешивали все «за» и «против» Октябрьской революции и нового строя, когда, бесстрашно заглянув в отверстую бездну под ногами, они вдруг «прозревали» (т.е. слепли) и провозглашали эту бездну чуть ли не райским садом, молодая «женщина без высшего образования» (насмешливая самоаттестация А. А.) написала:

*Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве
Но исцелить ее не мог?
Еще на западе земное солнце светит
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит,
И кличет воронов, и вороны летят.*

1919

Ближайшие годы, полные утрат и неслыханных испытаний, прояснили людям, кто она — эта «белая». Воплощенная аннигиляция? Смерть?.. В стихотворении 23-го года вещи названы своими именами: «Тому прошло семь лет...Трагический Октябрь,/Как листья желтые, сметал людские жизни./А друга моего последний мчал корабль/От страшных берегов пылающей отчизны». Как много, оказывается, можно сказать в любовном катрене!..

Третье библейское стихотворение Ахматовой «Мелхола» открывается эпитафией из «Первой книги Царств»: «Но Давида полюбила ... дочь Саула, Мелхола. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сестрой» (18, 21). Оно закончено в 1961 году. Это стихи о пылкой женской любви. Надо ли искать в них другие смыслы?.. Как заразительно и точно переступившая порог семидесятилетия поэтесса передает лихорадочную интонацию своей молодой героини, разделяя с ней предчувствие любовного экстаза: «Наверно, с отравой мне дали питье,/И мой помрачается дух./Бесстыдство мое! Унижение мое!/Бродяга!Разбойник! Пастух!/Зачем же никто из придворных вельмож,/Увы, на него не похож?/А солнца лучи...а звезды в ночи.../А эта холодная дрожь...»

Само собой тут приходит на ум имя Исаяи Берлина, нежданного послевоенного гостя Анны Андреевны, прибывшего в Россию по делам службы из-за рубежа. Ему посвящены отдельные стихотворения и циклы стихов. Горячее чувство к нему поэтесса сохранила на долгие годы, с 1945-го до... Пусть это останется ее последней глубокой тайной. Книга мемуаров выдающегося английского политолога, винов-

ника «всех бед» А. А., как она полагала, не так давно вышла по-русски (Исайя Берлин. История свободы. М.: НЛЮ, 2001).

В «Записных книжках» Ахматовой приводятся строки-разночтения из «Мелхолы»; в них при желании можно найти не один намек на беды, принесенные ее библейской героине любовью-страстью: «*На лестнице нашей, о горе, шаги...*»; «*Тебя я спасла, мой любимый, – беги...*»; «*А в дверь уже громко стучали враги...*». Такое чувство, что Мелхола принимает на себя всё, что случится с женщиной-поэтом через тысячелетия. Всё знает, всё помнит: «*И главное – песню, что пел он тогда, / Когда на пороге стояла беда...*» Кто он? Будущий царь Давид или «гость из Будущего», как А. А. называла Берлина?

Хотелось бы упомянуть, что уже после смерти Ахматовой сообщил автору «Истории свободы» о посвященных ему стихах В.М. Жирмунский, которого И. Б. называет «скругленным и честным ученым, храбрым и мужественным человеком». Чего я всей душой хочу, это не опозорить наше общее родовое имя...

В журнале «Знамя» № 4 (2004) серьезный критик и литературовед Алла Марченко в своем тонком и доказательном эссе *отбирает* у Исайи Берлина часть любовных посвящений, извлекает из полузабытья знакомца Ахматовой по Ташкенту, композитора Алексея Козловского и переадресует ему ряд стихов. Не могу не считаться с мнением Аллы Максимовны, но для моей книги это не так уж существенно. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее» — эти слова из библейской «Песни песней» (8,7) можно отнести и к Ахматовой. Но ей был отпущен талант, любя, не искать судорожно в этом чувстве *своего*, что редкий дар на земле.

Мне приходилось слышать, что Ахматова-де писала только о любви, а не об эротике. Не приемлю такого противопоставления. Эрос — бог любви. Эротическая любовь — могучая сила, поставленная философами-богословами в один ряд с любовью к Богу и любовью к людям (см., например, «Записи» священника А. Ельчанинова). Как говорил в кинофильме М. Калика «Любить» отец А. Мень, любовь — психофизическое таинство, и расчленять два этих понятия, слитых в одно, невозможно. Когда Анна Андреевна утверждала, что стихи должны быть бесстыдными, она, пожалуй, имела в виду это нерасчленение. Но ей принадлежит и волшебное двенадцатистишие «*Есть в близости людей заветная черта...*», где целомудренно сказано о преимущественных правах души, о том ее божественном состоянии, когда она «*свободна и чужда / Медлительной истоке сладострастия*». Не припоминаю мужских стихов такой откровенности и такой чистоты...

Несколько слов о царе Давиде, которого так полюбила Мелхола. Древнееврейский царь, воитель и строитель. Жил за тысячу лет до

Христа. Ему приписывается создание Псалтири, хотя теперь уже доказано, что по крайней мере треть этой великой ветхозаветной книги, близкой христианскому духу, принадлежит другим авторам. Однако исторический Давид, действительно, слагал гимны и песни, «играл рукою своею на струнах» (1Цар. 19,9). В псалмах слышен глас души мятущейся, ранимой, занятой постижением вечных смыслов бытия, с его добром и злом, грехом и покаянием, смертью и надеждой на бессмертие. Когда поэтессе спрашивали, кто ее любимый поэт, она отвечала: царь Давид. «Печаль» царя Давида, внятная Ахматовой и вынесенная мной в название этой главы, есть печаль лучшего творения Божия при виде несовершенства мира сего. Хотя стихотворение «Майский снег», откуда взята цитата, написано в 1916 году и формально относится к так называемым пейзажным стихам, весь его настрой, не побоюсь сказать, эсхатологический (напомню: от греческого *eschatos* — последний, конечный), переносит нас через годы и десятилетия вперед, приближая к пику новейшей российской и мировой истории. Его-то мы сейчас и переживаем.

*Прозрачная ложится пелена
На свежий дерн и незаметно тает.
Жестокая, студеная весна
Налившиеся почки убивает.
И ранней смерти так ужасен вид,
Что не могу на Божий мир глядеть я.
Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одафил тысячелетя.*

«Ранняя смерть», насильственная или естественная, но непоправимо ускоренная жестоким временем, скоро унесет родного брата Анны Андреевны, потом Блока, Гумилева и еще легион ее близких и отдаленных друзей, коллег, знакомых. И чем страшнее будет жить, тем пристальнее будет она вчитываться и вслушиваться в слова, которым нет и не может быть сносу:

«Я в этой церкви слушала Канон/Андрея Критского в день строгий и печальный./И с той поры великостный звон/Все семь недель до полночи пасхальной/Сливался с беспорядочной стрельбой./Процались все друг с другом на минуту,/Чтоб никогда не возвратиться...» (1920-е годы).

Если слова, производные от Слова Божия, и не утешают, ибо слишком окрепло и разгулялось под солнцем зло, все равно в них содержится противоядие; именно они ставят опрокинутый мир с головы

на ноги, напоминают людям забытые истины, дают силы выстоять в безумной вакханалии, не изменить своему призванию и предназначению.

Многие считают вершиной творчества Анны Ахматовой цикл стихов (можно сказать и поэму в стихах) «Реквием» (1935–1940). Его великолепно читала для необъятной телевизионной аудитории актриса Алла Демидова. Он известен каждому, кто не глух к поэтическому слову. Нельзя не запомнить сходку хотя бы эти четыре строчки:

*Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.*

Насчет «вершины» спорить не буду. Перед иными произведениями, оплаченными ценой мук, равнозначной цене жизни, умолкают и заядлые спорщики. Скажу только, что, если творчество поэта во времени изобразить в виде графика, ахматовский пребудет образцово равновысоким с начала до конца...

Когда расстреляли поэта Николая Гумилева, их с Ахматовой сыну Льву не исполнилось и девяти лет. Он рос, выказывал разносторонние способности, удивлял окружающих своей бытовой нетребовательностью: мог спать на полу, привык плохо питаться и т.п. Был привязан к матери. Первый раз его, студента, арестовали в 1935 году, но быстро выпустили благодаря бесстрашным хлопотам друзей А. А. «Первая Юлгофа» началась 10 марта 1938 года; как считал сам арестант, сидел он тогда «за отца» (См. «О новых следственных материалах по делу Л.Н. Гумилева...»: журнал «Звезда» № 8, 2002). Следующая посадка — в 1949-м, «за маму». Всего же Лев Николаевич арестовывался четырежды, безвинно отдал ГУЛАГу лучшие свои годы.

Ахматова, согласно ее предисловию к «Реквиему», «провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде», но это было лишь начало. Дальше — больше. В какие только инквизиторские инстанции она не обращалась, перед кем только из власть имущих, гордая и внутренне независимая, не била челом! В своих мемуарах друг семьи Эмма Йёрштейн упоминает, что в августе сорокового года А. А. «была чуть ли не изгнана из кабинета прокурора». И подобное повторялось множество раз... Не смею судить сына-страдальца, но больно читать его письмо к той же мемуаристке от апреля уже 1955 года! «Мама как натура поэтическая страшно ленива и эгоистична (...) Ей *лень думать* о неприятных вещах и о том, что надо сделать какое-то усилие(...) Но совесть она хочет держать в покое, отсюда посылки,

как обьедки со стола для любимого мопса, и пустые письма, без ответов на заданные вопросы...»

А вот голос несчастной матери, надеюсь, никогда не узнавшей этой характеристики, но, безусловно, лучше всех знавшей своего сына: «Он провалился в себя... он таким не был, это мне его таким сделали».

«Пустыми» ее письма в лагерь были, разумеется, по условиям цензуры. Однако есть область, над которой всевидящая и всеслышающая цензура не властна. «Реквием» не просто творился — заново переживался и составлялся автором много лет. Ахматова его не записывала: не навредить бы еще больше Леве! Стихи заучивали наизусть только самые доверенные друзья. В них такая сила и высота, что кажется возможным посредством этого эфемерного рычага поднять и поддержать склоненные долу головы матерей, чьи дети, с виной или без вины, томятся в застенках, в плену, в глубоких ямах — что там еще придумало для истязания себе подобных дичающее на глазах человечество в третьем тысячелетии от Р. Х?

*Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Всё перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать...*

«Распятие», — называется десятая глава. Эпиграф — на церковнославянском: «Не рыдай, Мене, Мати, во гробе зрящи». На гребне десятого вала «Реквиема» слова эти воспринимаются так естественно, что я трижды себя проверила, прежде чем убедилась: в Евангелии таких слов нет. Когда Иисуса вели на казнь, «плакали и рыдали о Нем» (Лк. 23, 27) женщины из толпы; была ли среди них Мать Мария, евангелист Лука не сообщает. У Иоанна (19, 25-27) говорится определенно:

«При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! Се сын Твой.

Потом говорит ученику: се Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе».

Комментарий к первому тому Собрания сочинений Ахматовой в шести томах (М. Эллис Лак. 1998) мне подсказал, что эпиграф — не-

точная цитата из ирмоса 9-й песни канона службы в Великую субботу. Спасибо составителю — поэту и литературоведу Нине Королевой!..

В ахматовском «Распятии» всего восемь строк:

1.

*Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене...»*

2.

*Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.*

Кто-то, может быть, пожмет плечами: неужели поэтесса уподобляла своего сына Христу, а себя — Деве Марии? Конечно, нет! Только невежественный эгоцентризм способен на такое. Но глубокие мыслители, — а поэт независимо от пола принадлежит к их редющей когорте, — давно отметили, что Христос распинается в нашем жестоким мире еще и еще раз — с каждым гонимым, умученным, казнимым. А что же Мать Его? А Матери столько же раз «оружие пройдет душу», как предсказал некогда старец Симеон (Лк. 2,35).

Молчание Богоматери, более красноречивое, чем все слова, рыдания и стоны, восходит к Библии, к Ветхому Завету. Сам Бог порою безмолвствует, «когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его» (Аввак. 1,13). Для народа Книги и его пророков это — наказание рода людского за грехи. Но общение Творца с человеком неизбежно восстанавливается. Чтобы внять Слову, чтобы выпустить в душу откровение, нужна внутренняя тишина. Без нее не может быть ни творчества, ни молитвы.

Думаю, не ошибусь, предположив, что Ахматова всегда помнила это, умея в трагические и патетические моменты жизни наложить на уста печать, претворить в поэзию тишину: «*И я молчу...Как будто умер брат.*» (концовка предвоенного стихотворения «Ива»); «*Кто знает, как пусто небо/На месте упавшей башни,/Кто знает, как тихо в доме,/Куда не вернулся сын...*» (из цикла «Юность», 1940); «*Так вокруг него несправимо тихо,/Что слышно, как в лесу растет трава,/Как по земле идет с котомкой лихо...*» («Творчество» из цикла «Тайны ремесла», 1936–1960); «*Так вот — над погибшим Парижем/Такая теперь тишина.*» («В сороковом году»); «*Последнюю и высшую награду — /Мое молчанье — отдаю/Великомученику*

Ленинграду» (1944, Ташкент); «А бездна та манит и тянет, /И ввек не дощешься дна, /И ввек говорить не устанет /Пустая ее тишина» («Хвалы эти мне не по чину...» 1959).

У Ахматовой есть несколько стихотворений, которые смело можно назвать молитвами. Обращение или пишется большими буквами, или подразумевается, что Тот, с Кем она горячо и горько беседует, и есть Высшая инстанция и Ему всё можно доверить, выплеснув слова со дна изболевшейся души. О силе молитвы сказано много, но поэсса и тут не знает себе равных, находя как будто без труда, без малейшей натуги единственные нужные слова: «В каждом древе распятый Господь, /В каждом колосе тело Христово, /И молитвы пречистое слово /Исцеляет болящую плоть».

Кто помнит стихотворение тринадцатого года «Все мы бражники здесь, блудницы...» с его шокирующими тогдашнюю публику строками: «Я надела узкую юбку, /Чтоб казаться еще стройней» и рискованным финалом «А та, что сейчас танцует, /Непременно будет в аду», — возможно, удивится, узнав, что тем же тринадцатым годом датированы менее известные стихи без названия:

*Я так молилась: «Утоли
Глухую жажду песнопенья!»
Но нет земному от земли
И не было освобожденья.
Как дым от жертвы, что не мог
Взлететь к престолу Сил и Славы,
А только стелется у ног,
Молитвенно целуя травы, —
Так я, Господь, простерта ниц:
Коснется ли огонь небесный
Моих сомкнувшихся ресниц
И немоты моей чудесной?»*

Замечательное стихотворение! Напомню: автору 24 года. А. А. уже ощутила себя «палуброшенной новобрачной», увидела Венецию и Париж, где ее рисовал безвестный еще Модильяни, выпустила книгу стихов «Вечер» (тираж 300 экземпляров), родила сына... Тверская губерния, Бежецк, Слепнево, где находился скромнейший поместный дом Гумилевых, стали для нее символом глубинной России, малой родиной. Семейный туберкулез донельзя обострил чувство быстротекущей жизни и, наверное, вошел как слагаемое в ее редкостный поэтический дар... Так рано осознать цепкость земных пут, неутолимость врожденной небесной жажды! Понять, что ее немота — живой организм,

семя, из которого может произрасти нечто чудесное! Следующие полвека — исполнение обещанного. Какой бы скудной ни оказалась почва, какие бы нерадивые и злые садовники ни хозяйничали в саду, — Сила и Слава всегда с ней и в конечном счете её облагодетельствуют. Я потому и подняла два «С» (в моей подручной книге буквы строчные), что ни минуты не сомневаюсь в глубине и искренности ее веры. Веры, пронесенной сквозь все года.

В богословии есть такое понятие: свидетельство. Божие свидетельство для нас труднопостижимо. В Исходе (3, 14) Он свидетельствует о Самом Себе, открывая Моисею значение Имени Своего. Свидетельствовать о Нем могут даже небо и земля (Втор. 4, 26). Как мы знаем из Евангелия, Христос пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине (Ин. 18, 37). Всё это — высшие материи. Куда понятнее нам свидетельство людское. В ВЗ это Моисей, пророки, царь Давид, весь израильский народ, который свидетельствует об Едином Боге перед другими народами. В НЗ — в первую голову апостолы. В 40-е годы Анна Ахматова написала необычное для себя стихотворение. Цитирую его целиком:

*Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит — и чье орудье пытки
Согрето теплотой моей груди...
Вкусили смерть свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима — все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес, —
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом бессмертных роз.
Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор — к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное слово.*

Кто еще так сказал о Распятии и нательном крестике, который все мы носим не задумываясь: «...чье орудье пытки/Согрето теплотой моей груди»?.. Стихи, начатые как белые, с восьмой строки вдруг опереются рифмами; словно острый луч, ударяет по глазам каждый зрительный образ; чекаются смысловые глаголы, и финал звучит четко и торжественно — как надгробный псалом всему временному и здравнца вечному Слову. Страшно и удивительно читать о «свидетелях Хри-

стовых» — об апостолах, в подавляющем большинстве убитых, распятых зверским способом, что их «выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой» (для Ахматовой слишком натуралистично и безнадежно), но в то же время они «вкусили» смерть, а ведь «вкусить» можно только что-то прекрасное, близкое к блаженству. Кстати, эпитет «блаженный» в отношении «роз» («и с запахом блаженных роз»), на котором настаивает памятливая Чуковская, — тут очень уместен, и жаль, что современные издания от него отказались...

Я еще застала время, когда в издательстве «Советский писатель», едва ли не самом культурном в России, — так во всяком случае считалось, — требовали от автора убрать из рукописи всё «религиозное». Мне самой в стихотворении «Устала я... Поверь и не кори...» (оно потом вошло в антологию «Строфы века») пришлось под нажимом редактора изменить «Бога» на «век»: «Какую бы отсрочку Бог ни дал, /я не хочу такого долголетия». А было это уже в 80-х годах! Представляю, как раздражали издательских работников ахматовские «литургии», «молитвы», «святцы». Л.К. Чуковская пишет об этом подробно и возмущенно, хотя неколебимой веры своей старшей подруги не разделяет. Одна вынужденная поправка, внесенная А. А. в стихотворение «А вы, мои друзья последнего призыва...», стала, можно сказать, классической. Название цикла: «Ветер войны», время написания: 1942 год, — кажется, тут и придраться не к чему. Ан нет! Два криминальных слова! Приказ по линии идеологического фронта: изъять, переделать. И поэтесса с мировым именем, как школьница, переделывает...

Если вам встретится в старом, да и в сравнительно новом издании (см., например, великолепно изданную Ахматову в серии «Самые мои стихи», Слово/Slovo, 2000) строфа:

*Да что там имена! Ведь все равно вы с нами...
Все на колени, все! Багровый хлынул свет!..
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами,
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет, —*

не верьте глазам своим. Не полнитесь, верните авторское:

*Да что там имена! Захлопываю святцы.
И на колени все. Багряный хлынул свет...
Рядами стройными проходят ленинградцы.
Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет.*

«Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых», — сказано у Марка (12, 27), у Луки же этот стих чуть варьируется: «Бог же не есть Бог мертвых,

но Бог живых, ибо у Него все живы»(20, 38). За этим утверждением открывается глубина, невыгодная плоскоголовым — тиранам, временщикам и иже с ними. А раз невыгодная, то и умонепостигаемая.

Нелегко и нам вместить евангельское откровение. Но прислушаемся к голосу поэта, женщины, современницы. Доверимся ей, ее интуиции, ее выстраданной мудрости...

Все, кто прошел через ее жизнь, были для нее живы. «Живее» прочих, как мне думается, Гумилев и Блок. *«В том доме было очень страшно жить, / И ни камина свет патриархальный, / Ни колыбелька моего ребенка, / Ни то, что оба молоды мы были / И замыслов исполнены, / Не уменьшало это чувство страха...»* — так начинается она третью «Северную элегию», обращенную к мужу. А под конец спрашивает того, кого уже нет на этом свете, точно он находится в соседней комнате: *«Теперь ты там, где знают всё, скажи: / Что в этом доме жило кроме нас?»*

Есть что-то беспардонное в наших попытках разгадать, кому из своих избранников посвятил поэт то или иное любовное стихотворение. Однако ахматовские стихи 1921 года, когда не стало ни Гумилева, ни Блока, сами выдают свои секреты. Где кровь, кровавые раны — там Николай Степанович. Где преждевременная, но естественная кончина — там Блок. В обоих случаях Анна Андреевна испытывает благоговейное отношение к загадке смерти, и, расставаясь с любимыми, касается своими легкими перстами главного для уходящей души: веры.

Прощание с Гумилевым: *«На пороге белом мая, / Оглянувшись, крикнул «Жду!» / Завещал мне, умирая, / Благогостность и нищету. / И когда прозрачно небо. / Видит, крыльями звеня. / Как делюсь я коркой хлеба / С тем, кто просит у меня. / А когда, как после битвы. / Облака плывут в крови, / Слышит он мои молитвы / И слова моей любви.»*

Стихотворение «А Смоленская нынче именинница...», с «ладаном», «панихидным пеньем», — отходная Блоку, принесенному после смерти, как нишет Ахматова, «Смоленской заступнице», «пресвятой Богородице». Неверующих грешников так не хоронят!

Ее «Блокиана» до сих пор вызывает споры.

*И в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный и сладкий.
И ветер с залива. А там, между строк,
Минувя и ахи, и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.*

«Тенора» ей не прощали. Автор «Двенадцати» и «Скифов» — и вдруг тенор?! Льва Адольфовича Озерова А.А. просила объяснить возмущённым читателям, что это не обывательское «душка-тенор», что она имела в виду совсем другое. Велика была ее радость, когда Иосиф Бродский подарил ей пластинку «Страсти по Матфею» Баха, где партию Евангелиста поет тенор. Это был серьезный аргумент в пользу «совсем другого». Но есть и более ранние, более религиозные стихи о Блоке, звучащие как эпитафия:

*Не странно ли, что знали мы его?
Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева,
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта своего.*

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» — отчетливо вспыхивают в памяти слова Христа (Ин. 6, 47).

«Не странно ли, что знали мы ее?» — спрашиваю и я себя, когда думаю об Анне Ахматовой. Сколько лиц и ликов вместил ее образ! И блудницы в узкой юбке из подвального «Бродячая собака», и праведницы с Библией в руке! И матери «врага народа» у окошечка-щели, ведущего в никуда, и Матери у вечного Распятия. Каждый волен выбрать из этих образов свой. Я выбираю еще один: птицы Феникс. И закончить хочу восьмистишием, как и многое другое, не напечатанным при жизни Анны Андреевны. По-моему, оно перекликается с возвращенной из небытия строкой: «Для Бога мертвых нет»:

*Забудут? — вот чем удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла, и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.*

Глава девятнадцатая

♦ВО ВРЕМЕНА ЕВАНГЕЛЬСКИЕ/ БЫЛА В ОДНОЙ ИЗ ТЕХ...♦

(М. Цветаева)

Поэтесса — великая, женщина — молодая, ибо ушла из жизни, когда ей и пятидесяти не было... А была ли хороша собой? Хочется, чтобы такой поэт, такая личность, как будто запрограммированная исключительно на любовь и творчество, в жизни и стихах, была еще и красива...

Вот что пишет сама Марина Ивановна о своей внешности: «Вячеслав Иванов обо мне говорил «красавица», но потому что любил античный и германский мир и узнавал их во мне. В Революцию обо мне говорили: «Диана с маленьким ребенком за-руку» и в ту же Революцию, возглас на вокзале: — «Монах ребенка украл!» — и в ту же Революцию, девчонка на улице, громко: — «Мне жалко эту маму: она страшная». — Видите?

Правилась я («собой») только *женщинам и поэтам*, и здесь исключений не было...» (М. Ц. Письма к Наталье Гайдукевич. М.: Русский путь. 2002. Выделено автором письма. — Т. Ж.)

Иконография Цветаевой бедна. Но из немногочисленных живописных изображений, из явно принуждённых (особенно в юности) и более раскованных в зрелом возрасте фотографий, из чужих пристальных или рассеянных мемуаров, собственных ее писем и стихов вырисовывается по-своему пленительный образ: в молодые годы — румянец и золото волос, спустя два десятилетия — привычная ко всякому труду рука в «цыганских» кольцах, ранняя платина короткой стрижки, во все времена — тонкая, «черкесская» талия, «офицерская» прямота стана, крылатые ноги бывшего пешехода и скалолаза, «зеленые — соленые — крестьянские глаза»...

«Диана с маленьким ребенком за руку» (сначала это обожаемая и обожающая дочь Ариадна, по-домашнему Аля, потом обожаемый, но по-мужски эгоцентричный сын Георгий-Мур) — только одна, но бывшая в глаза ипостась М. Ц. Артемида-Диана — греко-римская богиня охоты, своего рода праматерь суфражисток и всяческих *эмансипе*, изображалась с луком и стрелами, с месяцем на голове, детей не имела. Людей наверняка и поражало это несоответствие: независимый, даже воинственный облик и малое дитя — рука в руке. Сама Марина видела себя другой, неуверенной, растерянной перед жизнью: боялась переходов через улицу, машин, лифтов. Близорукость (очков, как правило, не носила) не раз ставила ее жизнь под угрозу. «Когда меня разда-

вит автомобиль... — так прокомментировала она в письме к Пастернаку одно из стихотворений. И добавила беспомощно: — Смертельно боюсь!»

Но своего рода охотничий азарт, действительно, был ей ведом. Весь свой недолгий век она лихорадочно искала путей к сердцу любимого (любимых). Хотела достать и растворить в своей другую душу. В своей, безмерной, другую — равновеликую. И, не получив желаемого, впадала в «ураганное» отчаяние, превосходящее человеческие силы. «Ураганным» называл ее чувство Сергей Эфрон. Муж, друг, отец трех ее детей, прошедший рядом с женой «*Всю лестницу божественную — от/Дыхание моё — до: не дыши!*». Кто более его знал, понимал и любил Марину?..

Отчаяние — один из язвящих душу грехов. Избавить от него христиане просят в молитвах. Однако не в этом причина того, что Марина Ивановна, внучка сельского попа, стоит особняком в галерее тех моих героев, чья христианская вера проходила тяжкие испытания и все-таки торжествовала. Не легко и не просто мне, впервые прочитавшей стихи Цветаевой в 18 лет, захваченной ими навсегда, произнести в связи с ней это грозное слово «богоборчество». Но взыскающая правды, одной лишь правды, она требует этого...

В «Поэме конца», вершинной, на мой взгляд, в творчестве М. Ц., — не исключаю, что это одна из вершин и всей русской любовной лирики, — человека верующего не может не смутить рискованная параллель из десятой главы: об ужасе расставания двух повязанных на жизнь и смерть сердец.

*Не довспомнивши, не допоявши,
Точно с праздника уведены...
— Наша улица! — Уже не наша... —
— Сколько раз по ней... — Уже не мы... —
— Завтра с западу встанет солнце!
— С Иеговой порвет Давид!
— Что мы делаем? — Расстаемся.
— Ничего мне не говорит
Сверхбессмысленнейшее слово:
Расстаемся. — Одна из ста?
Просто слово в четыре слога,
За которыми пустота...*

О таких строках хочется сказать: раскалённые добела. И в этом ослепительном свете тонут, проходят незамеченными слова, за которые человек отвечает перед тысячелетиями... Кто такой Иегова и кто

такой Давид? Вправе ли поэт или поэтесса вот так, походя, пусть и на высочайшем градусе чувства («зашкаливает!» — говорят в таком случае), приравнять свою разлуку с любимым к будто бы возможному разлучению Бога и одного из Его избранников?

Иегова (Ягве или Яхве) — имя, данное Богом самому себе. В Книге Ветхого Завета Исход (глава 3) будущий пророк Моисей, которому назначено вывести народ свой из египетского рабства, а до поры до времени мирный пастырь не людей — овец, видит на горе Хорив негорающий терновый куст и, любопытный, как все потомки Адама и Евы, идет посмотреть, почему это куст не сгорает. Некто останавливает его: «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3, 5). Происходит диалог Незнакомца с Моисеем. Узнав, Кто с ним говорит, пастух просит назвать имя — для передачи своим соплеменникам. Далее следуют узловые для Библии слова: «Бог сказал Моисею: «Я есмь Сущий (Иегова). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам (...) Вот имя Мое навеки, и памятование о Мне из рода в род» (Исх. 3, 14, 15).

О царе Давиде я рассказала в предыдущей главе. Можно кое-что и добавить. Как и Моисей, он — одна из ключевых фигур Библии. Воин, мудрец, собравший вокруг Сущего свой народ, сделавший Иерусалим святым городом. Об его неразрывной связи с Творцом говорит такая фраза из Второй Книги Царств: «И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил» (8, 14).

Так что представить себе, даже проникшись любовным отчаянием героини «Поэмы конца», что «с *Иеговой повет Давид*», — попросту невозможно. Но, конечно, поэтически это сказано очень сильно, забываемо...

Всю жизнь, начиная с детских лет, в Марине боролись два начала; назовем их привычно-невыразительно: темное и светлое. Художник, оформлявший семитомное собрание сочинений Цветаевой, коим пользуюсь (М.: Терра, 1997), несколько наивно, в лоб, но по существу справедливо рассек ее портрет на обложке пополам — на черную и белую половины. М. Ц. любила конкретику; страшась автомобилей, не боялась называть крайние вещи своими именами. Детский чорт, которому она впоследствии, в эмиграции, посвятила одно из самых бесстрашных в мировой литературе автобиографических эссе, с годами вырос до Князя тьмы. Так называется цикл стихов, созданных поэтом в июле 1917-го. Смердная атмосфера за окном еще не расчищенного дома в Борисоглебском переулке (где теперь цветаяевский музей) тоже участвовала, не могла не участвовать в ее создании. Не случайно первое из четырех стихотворений цикла заканчивается на-

смешливыми строками, словно и не относящимися к предмету разговора: « — Ну, что сказали на денек вчерашний/Российские умы?»

Диалог двух голосов, «пльвучих и певучих», «сударыни» и «Князя», затихает, почти сходит на нет, когда в третьем стихотворении автор выводит на сцену двух непримиримых врагов, Творца и Его антипода; у последнего имён, как у гидры — голов: сатана («шатан» по-древнееврейски и означает противника), дьявол, змей и пр. В детстве Марину, по ее собственному признанию, донимал монстр, названный ей Бог-Чорт. Первый был чужой, холодный, олицетворял страх. Его она не любила. Второй ее понимал и прощал, за что пользовался взаимностью. Хирург-хронос-время рассек это чудище, как сиамских близнецов, рождённых взвинченным воображением ребенка. Но в Князе света что-то осталось от Князя тьмы. И это тоже присутствует в данном стихотворном цикле.

*— Да будет день! — и тусклый день туманный
Как саван пал над мертвою водой.
Взглянув на мир с полуулыбкой странной:
— Да будет ночь! — тогда сказал другой.*

«Да будет день!» сразу вызывает в памяти третий стих Книги Бытие:

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Остальное — на совести автора. И «тусклый день», и «мертвая вода» — полемический выпад поэта против общепринятого. В Библии — картина иная: мир сотворен на радость человеку: «И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы» (1,4). Командных слов «другого», а именно Князя тьмы, — нет в главе о сотворении мира. Мне могут возразить, что стихи молодой М. Ц. — своего рода игра, шалость, романтические бредни. Надо ли относиться к ним столь серьезно? Говоря о творческой личности такого масштаба, как Цветаева, зная ее дальнейшее творчество и судьбу, невозможно пренебречь такими вещами. У «Князя тьмы» есть синоним: «Князь мира сего». И невольно приходит на ум бердяевское: «Бог открывает себя миру, но он не управляет этим миром. Этим миром управляет князь мира сего» («Самопознание»). Поэт-пророчица в сущности предвосхитила это высказывание.

«Князь! Я только ученица/Вашего ученика!» — такой эпиграф перед циклом ко многому обязывает. Без малейшей рисовки, подтверждающая подлинность переживаемого естественной, если не дружеской интонацией, откровенно любясь объектом, М. Ц. далее пишет: «И отвернув задумчивые очи,/Он продолжал заоблачный свой путь./Тебя пою, родоначальник ночи,/Моим ночам и дням сказавший: будь!» «Ночи и дни»,

подаренные ей Князем тьмы? Воспевание «родоначальника» черного зла на земле? Это, как ныне выражаются, слишком *круто!*

Четвертое стихотворение цикла — заключительный спор двух Князей относительно души (хотя слова «душа» нет в тексте) автора: «чья возьмет?».

*И призвал тогда Князь света – Князя тьмы,
И держал он Князю тьмы – такую речь:
Оба княжим мы с тобою. День и ночь
Поделили поровну с тобой.
Так чего ж за нею белым днем
Ходишь-бродишь, речь заводишь под окном?..*

И ответ «родоначальника ночи»:

*То сама она в твой белый Божий день
По пятнам моим гоняет, словно тень...*

Мы не содргаемся, прочитав эти строки, только потому, что не принимаем их всерьез, считаем *чистой литературой*, думаем, страшась, цветаевскими же, полными самоиронии словами: «*Всё мелет – бабье!*...» А надо бы содрогнуться, остаться в большой тревоге за автора, за его очарованных стихами читателей, за самих себя.

Рискованное произведение М. Ц. не на пустом месте выросло. Тремя годами раньше она писала религиозному философу Василию Розанову, знакомому ее отца, профессору Московского университета: «Слушайте, я хочу сказать Вам одну вещь, для Вас, наверное, ужасную: я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда — безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы — молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить...» И далее из того же письма: «...если Вы мне напишете, не старайтесь сделать меня христианкой. Я сейчас живу совсем другим...»

Чем же? Попробую ответить за Марину Ивановну. Жаждой любви, чуда, стремлением объять необъятное. «Ужас старости и смерти» изгоняется сменой впечатлений, всё новых встреч, влюбленностей. Вздохнут стихи. Мир у ее ног. Что касается «судорожной жадности жить», она знакома многим из нас. Не так уж это плохо: судороги предшествуют не только смерти, но и рождению... Да разве отвернуться от Бога — значит обязательно повернуться лицом к дьяволу? Сколько душ существуют ни тут, ни там и даже не догадываются о своем межеумочном положении...

В том же роковом четырнадцатом году, только не весной, а летом, трогательно ухаживая за умирающим братом мужа, Петром Эфроном (т.е. посещая его в лечебнице, засыпая нежными письмами и стихами), Марина вдруг как будто просыпается после светлого, безгрешного сна. Стихи о пробуждении уже написаны чуть раньше, впрямь, — такое с ней случалось:

*Мой дух – не смирен никем он.
Мы – души различных каст.
И мой неподкупный демон
Мне Вас полюбить не даст...*

Да, демона в себе она ощущала с молодых ногтей и, чисто по-девичьи сожалея о другой, тоже несостоявшейся любви, произнесла слова, которые редко найдешь у двадцатилетней: «Какого демона во мне/ Ты в вечность упустил!»

Демоическими чертами наделяла она и своих поэтических героев: мужчин-бунтарей, мужчин-бродяг, женщин-обольстительниц. Даже у Анны Ахматовой, перед которой в юности благоговела, видит она впереди лица «Облачный – темен – лоб/Юного демона...» Принимаю во внимание атмосферу времени, инферпальный настрой возлюбленных сестрами Цветаевыми поэтов, юношескую страсть к эпатированию окружающих. Тем не менее «заклиненность» на образе нечистого, как его ни называй, ни возвышай, золотоволосой, полнокровной Марины, благополучной матери и жены, одаренной свыше меры умом и талантом, наследницы отнюдь не бедных и не скупых родственников, поражает.

Мне не доводилось читать такого ликующего панегирика собственной греховности, как у молодой Цветаевой.

*Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
– Видно, пока надо мной не пропоют литию, –
Буду грешить – как грешу – как грешила: со страстью!
Господом данными мне чувствами – всеми пятью!
Други! – Сообщники! – Вы, чьи наущения – жгучи!
– Вы, сопреступники! – Вы, нежные учителя!
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи –
Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля!*

1915 г.

Немного смущают в языке завязтой греховодницы «лития», «Господом данные чувства», «Страшный суд» — понятия религиозного обихода.

да. Да и само слово «*грех*» – из того же ряда. Но враг человеческий, известно, любит полакомиться со стола своего главного супротивника и верных Его...

«Внецерковная» – в один голос утверждают «веды» о Цветаевой. И сама она так говорила («Я человек вне-церковный, даже физически: если стою – всегда у *входа*, т.е. у *выхода*, чтобы идти дальше»). Стихи же... Стихи сопротивляются этому. «*Чтоб дойти до уст и ложа – / Мимо страшной церкви Божьей / Мне идти... / К двери светлой и певучей / Через ладанную тучу / Тороплюсь, / Как торопится от века / Мимо Бога – к человеку / человек*».

«*Страшно встретиться с Христом...*» – эту строку глубоко религиозного поэта Вячеслава Иванова я вынесла в название главы о нем. Но ведь у Цветаевой – о том же...

И разве совсем недавно не творились Мариной стихи-молитвы? Одно такое стихотворение, написанное в 17 лет, у многих цветаеволюбов в памяти: «*Христос и бог! Я жажду чуда / Теперь, сейчас, в начале дня! / О, дай мне умереть, покуда / Вся жизнь как книга для меня...*»

Автор интересного пособия для преподавателей, старшеклассников и абитуриентов О.А. Клинг «Поэтический мир Марины Цветаевой» (Издательство Московского университета, 2001) обратил внимание на строчное «б» в слове Бог (книга «Волшебный фонарь», 1910 г.). Намеренно или ненамеренно снижает она пафос стихов? По-моему, это получилось чисто случайно. Удивляет другое: странно звучит обращение «Христос и бог»; ведь Христос и есть Бог, зачем же автору союз «и»? Тоже случайность? В стихотворении «Еще молитва» М. Ц. «исправляется»: «*И опять пред Тобой я склоняю колени, / В отдаленье завидев твой звездный венец. / Дай понять мне, Христос, что не все только тени, / Дай не тень мне обнять, наконец!*». Дело, в конце концов, не в орфографии, хотя у автора она всегда своя, сводящая с ума корректоров. Дело в чем-то другом. Библейские, евангельские мотивы пронизывают лирику поэта, – у нас еще будет повод поговорить об этом. Но не только тени дорогих умерших: отца, матери, друзей и родных будут всю жизнь сопровождать автора двух стихотворных молитв. Но и тень того, кто бежит от молитвы. Качается в душе поэта маятник, взлетают, как в стихах Фета, доска-качели: «*Мы стоим и бросаем друг друга*». Чем объемнее душа, тем больше размах, тем опаснее амплитуда раскачки. Если душа великая, размах – космический...

Личные демоны, мелкие бесы и прочая весьма живучая нежить, наверное, потеснились, а то и бежали за ненадобностью прочь с поля боя, когда «их разводящий», «Демон данного часа революции» (цветаевское выражение о конце 1917 – начале 1918 года из статьи «Поэт и время»), овладел душами миллионов людей. В главе о Лермонтове я

подробно говорила о «демонизме» и сдержанном отношении Библии к реальной, персонифицированной силе, противостоящей Создателю. Касалась этого скользкого вопроса и в главе о Блоке. Повторяться не хотелось бы, но...

Про национальную катастрофу, грянувшую в то время, про неисчислимы страдания неисчислимого количества людей, про Царство Антихриста на русской земле написано так много и так страстно, что, только коснувшись этой темы, чувствуешь ступор: что можно добавить к свидетельствам очевидцев, как переосмыслить «разводящий мясо от кости» (цветаевский *лирический* образ) опыт современников?

Еще Тютчев писал в статье «Россия и революция» в сравнительно мягкие и *постные* времена: «Революция — прежде всего враг христианства. Антихристианские настроения есть душа революции, ее особенный, отличительный характер». Напрашивается вывод: откровенное, полудетское «я совсем не верю в существование Бога», вырвавшееся у Марины в письме к Розанову, хоть и составляло малую пробу общественного настоя-настроения, может быть, оказалось той лакмусовой бумажкой, которую некто ждал с огромным нетерпением. Некоторые, как она, открыто признавались в безверии, другие скрытничали, третьи вызывали духов и молились идолам. Пелена багрового тумана нависла над «Богом хранимой страной нашей российской», как по сей день произносится священником в церкви. Царский поезд застрял в тупике. История пошла совершенно по другим путям.

Тут уместно вспомнить стихи недавно умершего поэта Юрия Кузнецова, чья неожиданная, как всегда у него, метафора годится для любых поворотных времен: «*Но колеса всего эшелона/На змеиные спины сошли...*» Ёмко, зримо, выразительно. Цветаева, думаю, не возражала бы. Она любила метафоры, ценила талантливых мужчин, особенно выделяя среди них настоящих поэтов. Разница в возрасте не имела для нее значения. «*К тебе, имеющему быть рожденным/Столетие спустя, как отдышу...*» (т.е., как мы теперь знаем, в 2041 году) — так начиналось одно из ее стихотворений. Чаемый ею читатель, способный всё охватить и всё понять, всё оправдать и всё простить, еще не родился и родится нескоро. А с Юрием Кузнецовым ее разделяют какие-то пятьдесят лет. В сравнении с вечностью — одно мгновение.

Итак, разразилась революция — сначала Февраль, потом Октябрь. Пишу оба месяца 1917 года с прописной буквы. Уж если русский Октябрь, как полагают дотошные исследователи, фигурирует в «Центуриях» Нострадамуса, вышедших в свет в середине XVI века («...в октябре вспыхнет великая революция, которую многие сочтут самой

грозной из всех, когда-либо существовавших...), то можно не сомневаться, что событие это всемирно-историческое.

Далекая от политики, жившая, по собственному признанию, «в отдаленье» от Христа, Цветаева вдруг стремительно приблизилась к Нему. Душой она как будто безраздельно была на стороне белых. Считала их бесстрашными рыцарями, борцами за честь России. Гордилась своим мужем — одним из славных «добровольцев», «белым лебедем». Цикл стихов «Лебединый стан», поэма «Перекоп» и «Поэма о царской семье» (от последней остались только фрагменты) — ее вклад в обреченное историей дело белого движения. Вклад, с которым нельзя не считаться... Но когда речь заходила о жертвах, о «*кровавых костях в колесе*» (О. Мандельштам), ее позиция резко менялась. Не знаю более милосердных стихов о гражданской войне, чем цветаевское, двадцатого года:

*Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаясь причитает в поле — Русь.
Помогите — на ногах не тверда!
Затуманила меня кровь-руда!
И справа, и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
— Мама!
И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева — и в чрево:
— Мама!
Все рядком лежат —
Не развестъ межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?
Белый был — красным стал.
Кровь обазрила.
Красным был — белый стал.
Смерть побелила.
— Кто ты? — белый? — не пойму! — привстань!
Аль у красных пропал? — Рязань.
И справа и слева
И сзади и прямо
И красный и белый:
— Мама!
Без воли — без гнева —*

*Протяжно – упрямо –
До самого неба:
– Мама!*

Именно Цветаевой принадлежит не теряющее новизны, жгуче современное высказывание: поэт должен быть на стороне жертвы, а не палачей; если история жестока и несправедлива, поэт должен ей сопротивляться...

В первые послереволюционные годы муза трагедии, Мельпомена, не оставляла семью Цветаевых-Эфрон. На этот раз подмостками служили не столько сцены и площади, приспособленные для массовых народных зрелищ, сколько жилые комнаты, мансарда, кухня, детская. Тяжелейшие обстоятельства бытования М. Ц. с двумя детьми в Москве хорошо известны. Холод, голод. Печь кормится остатками мебели. Бывшая уютная квартира выглядит как трущоба. В приюте умирает младшая дочь Ирина, отданная туда в наивной надежде на... социальную защиту, сказали бы мы теперешним языком. Марина Ивановна казнит себя, выплакивает своё горе в чисто женском, чисто материнском стихотворении: *«Две руки, легко опущенные/На младенческую голову!/ Были – по одной на каждую – /Две головки мне дарованы (...) Две руки – ласкать/разглаживать/Нежные головки пышные./ Две руки – и вот одна из них/За ночь оказалась лишняя...»*. Это даже не стихи – жалобный стон в 16 строк...Ей кажется, что пропавшему без вести в джунглях Гражданской войны Сергею, если он вдруг отыщется, без Ирины она не нужна. То, что в такой дикой обстановке она остается поэтом, пишет всё больше и всё лучше, – одна из загадок этой необыкновенной женщины.

Меньше мы знаем о прижизненных мытарствах Сергея Яковлевича Эфрона, разделившего с белой армией ее духовный триумф и физическое поражение. Для меня Сергей неотрывен от Цветаевой. Он – ее отрада, ее горе-злосчастие, ее супруг перед Богом и людьми. Ни сравнивать их, разумеется, в ее пользу, ни судить его как политического авантюриста и неудачника я не собираюсь. Да и по какому праву?! Он заплатил невыносимую цену за свои ошибки. Будем же к нему любовно-пристрастны как к Марининому «одноколыбельнику»... Вот несколько строк из его письма времен гражданской смуты, адресованного матери и сыну Волошиным: *«Нам пришлось около семисот верст пройти пешком по такой грязи, о которой не имел до сего времени понятия. Переходы приходилось делать громадные – до 65 верст в сутки... Спать приходилось по 3–4 часа – не раздевались мы три месяца – шли в большевистском кольце под постоянным артиллерийским обстрелом...»*

Между супругами давно нет реальной связи, они даже не знают друг о друге, живы ли, но Марина *накалдовывает* их встречу. Стихами, из которых известнейшее «*Писала я на аспидной доске...*» с инициалами посвящения С. Э. Разбросанными тут и там строками-призывами к нему, пропавшему без вести: «*Хочешь знать, как дни проходят, / Дни мои в стране обид? / Две руки пилою водят, / Сердце имя говорит*». И, наконец, письмом-талисманом, переданным в феврале 1921 года через Илью Эренбурга как бы на тот свет, но... достигшим адресата: «Мой Сереженька! Если Вы живы — я спасена... Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о Вас... Если Богу нужно от меня покорности, — есть, смирения — есть — перед всем и каждым! — но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь...»

«Вот те на! — удивится чрезмерно преданный логике читатель. — Зачем нужна была преамбула о демонизме? Какая же М. Ц. демоническая натура? Как поэт — христианка. Как мать — христианка, как жена — христианка...» Так что же, воистину Цветаева анонимная христианка, преодолевшая демонические настроения юности? Не так всё просто. О цветаевский духовный опыт легко обломать зубы. Мне кажется, Марину Ивановну я знаю всю свою сознательную жизнь. Воспринимаю ее как живого человека. Мне стыдно было бы, говоря о ней, в угоду самым благим целям хоть в чем-то погрешить против истины. Она бы этого не простила...

С рождения живя в центре Москвы, с раннего возраста интересуюсь стихами русских поэтов, зная их наизусть в большом количестве, до 18 лет я ни-когда не слышала о Марине Цветаевой. О, с какой бы готовностью на пути к Палашовскому рынку, где мы покупали овощи и ягоды, свернула бы я в Трехпрудный переулок, эту душу ее души, нашла бы дом № 8, построенный на месте деревянного особнячка, где прошло детство Марины, прочла бы там хоть шопотом про «*домишки старой Москвы*», обратила бы к стоявшему чуть поодаль, на моей дороге в школу, курчавому опекушинскому Пушкину ее, посвященные ему стихи. Если бы мне подсказали, если бы меня надоумили...

В середине 50-х Евгений Евтушенко, тогда студент Литинститута, принес на наш, младший курс тетрадочку рукописных стихов, сказал несколько слов об авторе. Там были «*Красною кистью рябина зажглась...*», «*Вчера еще в глаза глядел...*», «*По дорогам, от мороза звонким...*» и еще дюжина шедевров, в основном любовных. Той же заботливой рукой имярек были выведены имя-фамилия автора: Марина Цветаева.

Я никого еще не любила, и дальше «Письма Татьяны» моя лирическая отвага не простиралась. Стихи едва не отвратили меня своей непривычной откровенностью, никогда не бывшими эпитетами («*Го-*

ворят, что тот голубокий, / Горностаевый ребенок – мой...»), и, главное, образом лирической героини, гордой до надменности, рабски (так мне казалось) зависимой от мужчины и вместе с тем абсолютно своевольной. Впередсмотрящий Евтушенко тогда же сказал мне и моей подруге-поэтессе: «Вот как надо писать, девочки!» С равным успехом он мог бы пожелать нам забраться на шпиль недавно построенного нового здания Московского университета. Поэтическая гениальность – редкий и беспощадный дар небес. Думаю также, что никто в нашем далеко не бездарном институте, идеологическом слепке того времени, не обладал, да и не мог обладать такой внутренней свободой, как Марина Цветаева.

Я почти ничего не знала о ее жизни, только даты рождения и смерти, место появления на свет, место и способ отбытия. Как заполняют контурную карту, год за годом, десятилетие за десятилетием я терпеливо наносила на необозримое пространство чужой судьбы имена и лица, города и годы, стихи и поэмы. Сборник «Литературная Москва» (№ 2, 1956), со стихами М. Ц. и честным, объективным сопровождением Эренбурга, сборник «Тарусские страницы» (Калуга, 1961) нарушили заговор молчания вокруг имени поэта. На вопрос, прозвучавший когда-то в ее стихах: «Чья взяла?» через пятнадцать лет после гибели Цветаевой наконец-то можно было ответить оптимистично...

...В 1922 году Марина Ивановна с девятилетней умненькой Алей, ее Консуэлой (так у Цветаевой, – Т. Ж.), ее утешительницей, на законных основаниях едут в эмиграцию, сначала в Германию, потом в Чехию. За границей их должен был ждать Сергей Эфрон. Сохранилось свидетельство, что, уезжая, они крестились на все московские церкви.

В свой первый берлинский вечер Цветаева встретила в кафе «Прагердиле» (на Пражской площади) Андрея Белого, которому посвятила впоследствии одно из лучших эссе в русской мемуаристике – «Пленный дух». Но на стихи и поэмы такого же исключительного качества подвинул ее в эмиграции другой человек, чье имя упоминаю сейчас впервые: Константин Родзевич.

«Свой» и «чужой», два определения, что преследовали ее с детства, – помните: «свой» чорт и «чужой» Бог, – будут не раз меняться местами. Особенно когда речь пойдет об избранниках ее сердца, героях ее творчества. «Своим», с первой встречи и до последнего расставания в дверях казенной большевской дачи, был Сергей Эфрон. Тогда, в Берлине, он слишком припозднился, но свидетельство дочери об их встрече не разочаровывает хранителей домашнего очага: высокий мужчина бежал к ним по пустынной площади, вспоминает

Ариадна, потом родители долго стояли, обнявшись, вытирали друг другу слезы... «Своим» был и Андрей Белый: «Я все детство слышал о вас, все *ваше* детство, — волнуется он при берлинской встрече. Оба они — москвичи, профессорские дети, а это, по Белому, ближе родства. — Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo...»

Константин Родзевич был чужим, даром что приятель мужа. Встречей с «опасным чужим мальчиком», как называет Марина Ивановна в одном письме Константина Болеславовича Родзевича, зажжены самые пылкие произведения Цветаевой. Вот краткая биография К.Б. Р. из личной его эпистолы, полученной Анной Саакянц, автором основополагающей книги о Цветаевой. Родился в Петербурге в 1895 году, стало быть, в момент их первой встречи ему было 28 лет (далеко не мальчик!). Не закончив университетского курса, из патриотических чувств, пошел служить на флот. Последовательно: мичман, комендант Одесского красного порта, один из командующих Нижнеднепровской красной флотилией. Попал в плен к белым. Дальше в биографии большое белое пятно. И вот он уже в Праге. Проходит курс юридических дисциплин, получает диплом и перспективу научной работы. Дружит с Эфроном. И... встречает Цветаеву.

Я потому не скушлюсь на все эти подробности, что не хочу читателя поистине знаменитой и все-таки загадочной «Магдалины» вводить в заблуждение. Только бунтующее и очарованное сердце женщины-поэта способно сблизить «маленького Казанову», как проговорился на его счет Сергей Яковлевич, с Тем, Кто ясно и строго сказал: «...кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28).

Комментарием к «Магдалине» может служить следующее стихотворение Цветаевой:

*Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу
— Сердцу перебой —
На груди твоей нежной, пустой, горячей,
Гордцу дорогой.
Никогда не узнаешь, каких не-наших
Бурь — следы сцеловал!
Не гофа, не овраг, не стена, не насыпь:
Души перевал.
О, не вслушивайся! Болевого бреда
Ртуть... Ручьевая речь...
Прав, что слепо берешь. От такой победы
Руки могут — от плеч!..*

Это — в стихах. А в письме: «Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, моё счастье, моя страсть...» Вот и прозвучало ключевое слово: страсть. И хотя на исходе своей жизни, уже вернувшись на родину-мачеху, М. Ц. напишет одному из *других* (*других* тоже вместила ее судьба!), что в ее жизни было только две страсти: семья и работа, мы вправе усомниться в этом...

Триптих «Магдалина» писался в два приема. Первое стихотворение помечено 26 августа 1923 года. Второе и третье — вдогон ему — 31 августа.

*Меж нами — десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает,
Ты мне — чужая кровь.
Во времена евангельские
Была б одной из тех...
(Чужая кровь — желаннейшая
И чуждейшая из всех!)*

Иосиф Бродский, написавший о «Магдалине» вдохновенное эссе, считает, что «Цикл... начинается с обращения к конкретному, видимо, лицу и только в третьей строфе перерастает в подобие обращения Магдалины к Христу...»

Не могу согласиться! Слишком мощное начало для лирического признания. Десять заповедей — Декалог Моисеев, данный еврейскому народу и через него всему человечеству за 2 тыщи лет до Христа, настраивает читателя на высочайший лад. Если речь идет о простом смертном, о телесном влечении к нему, достало бы и одной заповеди, седьмой: «Не прелюбодействуй». Смущает и «чужая кровь». Попробуем предположить, что образ Иисуса уже брезжит в воображении автора, то улюотняясь, то вымещаясь земным объектом страсти. Тогда чужая кровь — это еврейская кровь. Наполовину русская (по отцу), с примесью польской и немецкой крови, М. Ц., по ее признанию, унаследовала от матери «страсть к еврейству». Родзевич, насколько я знаю, поляк. Тут «чужая кровь» *не работает*. Магдалина — тоже еврейка, почему же кровь Христа для нее «чужая»? Мой ответ, как и мое предположение, высказанное выше, глубоко субъективны. Лирическая героиня еще не стала Магдалиной, она еще ближе к автору, чем к евангельской грешнице. Метаморфоза происходит в процессе сотворения стиха.

*К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась — светла*

*Мать! – очесами демонскими
Таясь, мила б масла
И на ноги, и под ноги бы,
И вовсе бы так, в пески...
Страсть по купцам распроданная,
Расплеванная, – теки!
Пеною уст и накипами
Очес и путом всех
Нег... В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех.
Некою тканью под ноги
Стелюсь... Не тот ли (та!)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: встань, сестра!*

Мария Магдалина воспета в сотнях стихов, изображена на сотнях полотен... Она упомянута во всех четырех Евангелиях. Очень кратко говорится о ней у Матфея и Луки. У Марка – тоже кратко, но существенно: «Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов» (Мк. 16, 9). Это подтверждается Иоанном (20, 11–18). В Евангелии от Иоанна другая Мария, из Вифании, сестра Марфы и Лазаря, «взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его...» (Ин. 12, 3) Именно о ней Он сказал, что она приготовила Его тело для погребения. «Масло», «масти» – слова библейского обихода.

Не только Цветаева, но и великие художники часто соединяют двух Марий – что ж, это право искусства. В данном случае поэт откровенно поет как из личного своего опыта, так и припадая к полноводной реке: к смежной с лирикой живописи.

Признаемся себе: с христианской, православной точки зрения, кощунственно утверждать, что герой стихотворения М. Ц. – Иисус. Да лирическая героиня и сама в этом сомневается: «не тот ли...»? Зато утверждает «та!», то есть ассоциирует себя с прозревшей и смирившейся перед Христом грешницей. «Демонские очеса» перекликаются и с Евангелием от Марка, и с лирикой молодой Цветаевой.

Второе стихотворение триптиха уложилось в восемь строк:

*Масти, плоченные втрое
Стоимости, страсти пот,
Слезы, волосы – сплошное
Исструение, а тот,*

*В красную сухую глину
Благостный вперяя зрак:
– Магдалина! Магдалина!
Не издаривайся так!*

На мой взгляд, восьмистишие — автологическое, уводящее от библейских прообразов в область собственных чувств и переживаний.

В «Поэме горы», предшествующей «Поэме конца», называется тот же природный материал, что и во втором стихе: глина: «Сухим потоком глиняным... гора неслась лавиною и лавою ползла», «Красной глины гора...», «Гора горевала (а горы глиной/Горькой горюют в часы разлук...)»).

Третье стихотворение, о котором более всего сказано и написано, как бы *его* ответ на два предыдущих, — тоже преимущественно любовное и, если автор щедро черпает из языковой сокровищницы Священного Писания, это может не означать ничего, кроме словесного и поэтического обогащения. Замечательно и то, что оно — самое целомудренное и небесное из трех стихов. Но Христос, как мне кажется, уходит из него, оставляя вымечтанный автором идеал, близкий каждой восприимчивой к поэзии женщине.

*О путях твоих пытаться не буду,
Милая! – ведь всё сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос –
И – слез.
Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены масла.
Я был наг, а ты меня волною
Тела – как стеною
Обнесла.
Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав...
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.
В волосах своих мне яму вырой,
Спеленая меня без льна.
– Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыва
Как волна.*

Прекрасная песнь любви! Как жаль, что в девичестве нам не внушили этой простой истины: женщине назначено Богом учить мужчи-

ну «наклону нежности». А то, что произносит эту признательную речь женщина-поэт от лица мужчины, делает стихи еще более неотразимыми...

Вслед за Иосифом Бродским, посвятившим «Магдалине» Цветаевой и Пастернака виртуозный, остроумный, но далеко не бесспорный обзор, многие исследователи с каким-то даже сладострастием разбирают по отдельности каждую часть триптиха, отмечают «интонационный контраст» между первыми двумя и третьим стихотворением (в пользу финала), обсасывают косточки строк, касаются интимнейших сторон жизни автора. Не спорю, это их право. Дай им Бог сказать несказанное, приблизиться к истине... Тема моей книги, и данной главы — тоже, держит меня в узде. И я благословляю это «легкое бремя», ибо всё, что делается Христа ради, — во благо делателю; ведь Он недаром сказал: «иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Мф. 11, 30).

Со школьных лет нам внушали, наряду с другой галиматьей, что женщина в христианстве унижена, рабски подчинена мужчине («жена да убоятся мужа своего!»), намеренно путали Домострой и Евангелие. «Во времена евангельские/Была б одной из тех...» — что хотела выразить М. Ц. этими словами? Обратим внимание на троесловие «одной из тех». Значит, не только Магдалиной видит она себя. Кем же? Женой-мироносицей, — их было несколько, они поименованы в Новом Завете, но сведения о них скупы. А может быть, той несчастной, взятой в прелюбодеянии, которую «книжники и фарисеи» привели к Учителю, собираясь по закону Моисея побить камнями (Ин. 8, 3–11)? Его загадочная реакция («наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая *на них* внимания»), Его трудно-достижимые, особенно для первохристианских времен, слова у многих в памяти: «...кто из вас без греха, первый брось на нее камень (...) женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? (...) и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». Знаменательно, что Он не только отклонил агрессивные намерения лицемеров, но и вступил с грешницей в разговор на равных...

А разве не могла бы оказаться «одной из тех» женщина-самарянка, у которой было пять мужей, а тот, что есть у нее сейчас, не муж ей вовсе; «это справедливо ты сказала», — без тени осуждения говорит многомужнице Христос (Ин. 4, 18). В утешение Он готов предложить ей воду, текущую «в жизнь вечную» (Ин. 4, 14) и, что удивительнее всего, посвящает ее в богословские тонкости: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе».

Дух не знает различия полов. Апостол Павел логически развивает мысль Христа, когда в Послании к Галатам отвергает деление на два

пола: «Нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (3, 28).

Но вернемся к Цветаевой-женщине, поскольку «в нищей и тесной жизни», которую она прожила, *пол* все-таки существует и в обход ума, интеллекта, даже творческого гения бесцеремонно достает человека. Пол — неугасимый огонь, который всегда алчет. Чего? Сожрать вместилище этого огня со всеми потрохами? Перекинуться на другие огнеопасные объекты и повредить в них всё, что станет его добычей? Отпрянуть от радио, морали, закона — этих пожарных рукавов, заряженных всеми тушительными средствами, какие только смогло изобрести человечество, и найти для себя лазейку. Какую? Например, сброситься «от несчастной любви» с надежно высокого этажа. Или всадить нож в плоть любимого/любимой, чтобы больше не разжигали. И угодить без промаха из огня страсти в геенну огненную...

Страсть — это плохо. Страсти и страдания — однокоренные слова, по существу, одно и то же. Не случайно говорят в народе: «страсти-мордасти». А вот голос интеллектуала XX века. «Страсть — это патологическое состояние души вследствие ее ущербности», — пишет испанский религиозный философ Хосе Ортега-и-Гассет. Но у натур ущербных и страсть ущербная. «Или будь совсем моею, /Или я тебя убью» — выразила тяжелое, как топор, мужское чувство Ахматова. А как быть со сложными натурами? Как укротить страсть женщины, с ее более тонким инстинктом и, как правило, страдательной позицией?

«Я не более чем животное, /Кем-то раненное в живот», — вырвалось у Цветаевой в «Поэме конца». И диву даешься: как преодолевала себя, как шла по бездорожью, всегда в одиночку, от горы, горюющей о любовном горе, к вершинам философской мысли, как своим широким от природы шагом отважно переступала от страсти, затмевающей сердце, к объёмлющей целое мироздание любви.

Судьба М. Ц. в Чехии и Франции сложилась вовсе не так печально, как нам твердили десятилетиями. Ее охотно печатали в эмигрантских изданиях, она выпускала книги, платно и с успехом выступала перед соотечественниками. О ней писали именитые критики. Она долго получала чешское «иждивение» (пособие), друзья помогали ей и ее семье деньгами. Остракизм по отношению к Цветаевой начался позже, когда Сергей Эфрон, давно мечтавший о возвращении на родину, попал на своей секретной работе по указке НКВД в неприглядную историю и вынужден был бежать из Франции. Хорошо еще, что Цветаева не разделила участи великой русской певицы Надежды Плевицкой, сгнившей во французской тюрьме из-за аналогичной деятельности ее мужа, в прошлом белогвардейского генерала.

«Уходит с Запада душа, / Ей нечего там делать», – написал скрыто верноподданническое стихотворение «друг по переписке» Борис Пастернак. А Сергей Есенин, которого М. Ц. не очень-то жаловала при жизни, выразился честнее: «Мне страшно: ведь душа проходит, / Как молодость и как любовь».

Нет, душа Цветаевой не прошла, как ни охладел Запад, как ни остыл Восток, – слишком велик был заряд ума, культуры, таланта, да что там таланта – гения. Никогда не изменяла ей готовность к труду, работала на износ каждый день, каждый свободный от быта час. Добровольная каторжница пера! Рабыня своих черных (по цвету) тетрадей!.. Она просто очень устала. Теперь к ней самой можно было отнестись слова, некогда сказанные в «Стихах о Блоке»: «Такую усталость – / Ее и трубой не поднять!..»

Слово «праведность» вряд ли подходит Марине Ивановне. По правду и совесть как со-ведение с Богом она, внучка сельского священника, понимала очень по-русски и несла как стяг. Потому и не обольщалась политическими химерами. Ужас гражданской войны приняла как ужас, угадала приближение фашизма и, главное, безошибочно идентифицировала его, на Востоке и Западе, какую бы социальную или национальную маску он ни носил.

В тридцатые годы погрузилась в «Поэму о царской семье». Не из любви к эпатажу, а потому что кровавая расправа над этими семерыми была несправедливостью. Великие княжны не виноваты в том, что родились у царя и царицы. Царь не виноват в том, что не создан был для трона. Царица, известная милосердными делами, не виновата в том, что хотела здоровья больному сыну и была верной супругой самодержца всея Руси. По-народному распевны, детски чисты сохранившиеся фрагменты поэмы:

*Есть у меня для твоих Княжен...
Не виноват человек: рожден,
Белые булочки, чернослив –
Не виноват виноград: красив!
...Есть у меня для твоих Княжен
Теплые шубы – и тонкий лён.
И обогрею, и разряжу –
Всем, кроме суженого, ссужу!..*

Примечательно, что еще в 1920 году в Москве, отданная на съедение темным силам распада всего того, что ей было дороже дорогого, Цветаева писала:

*Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеєю в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что – невинна.
Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою – за счастьем.
Пересмотрите всё мое добро,
Скажите – или я ослепла?
Где золото моё, где серебро?
В моей руке – лишь горстка пепла!
И это всё, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это всё, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.*

Прокурорский глас, вещающий, что все перед всеми виноваты, знаком нам давно. Ну, а другой, адвокатский, зовущий к пониманию и оправданию самого существа жизни, ее естественного хода, не искривленного железными гусеницами произвола, чугунными шагами рока, — неужели он менее угоден Создателю?.. «*Не виноват василек – растет!*» — это тоже Цветаева...

О том, какой она поэт, как стремительно менялась ее поэтика, как дерзко и бережно обращалась она со словом и ритмом: холила, лелеяла, а то вдруг гоняла по морозу, запускала в разреженное небесное пространство, но никогда не теряла над ними власти, — можно писать докторские диссертации (и пишут!). Ревнивое ахматовское «Марина ушла в заумь!» побивается, как козырным тузом, фразой, сказанной ей, «музой плача», Исае Берлину: «Марина — поэт лучше меня». Лучше — то есть богаче, разнообразнее, непредсказуемее...

Поэт-новатор формы принимается безусловнее, чем новатор содержания. Да и возможны ли в русской поэзии с ее феноменальным опыгом какие-то смысловые новации? Возможны. Цветаева доказала это. Стихотворение «Новогоднее», написанное сразу после смерти Рильке под Новый, 1927 год, — бросок в стихию неизведанную, в стихию *после жизни*, но еще очень близко к ней.

«Memento mori!», «Помни о смерти!» — это предупреждение никогда не покидало ее... В двадцать лет она писала с изяществом и легкостью о «кладбищенской землянике», «крупнее и слаще» которой нет. И приглашала читателей навредить ее после смерти, и заверяла в мажорном ключе: «*Не думай, что здесь – могила, / Что я появлюсь, грозя.*»

Я слишком сама любила, / Смяться, когда нельзя!..» У нее и «генералы двенадцатого года» *«весело переходили в небытие»*. И неизбежность кончины воспринималась не как трагедия, а как призыв к любви: *«– Послушайте! – Еще меня любите / За то, что я умру»*. Что это? Юношеское легкомыслие?

И в зрелые годы сколько раз она стремилась не умереть, нет, но *не быть*... Даже в минуты страсти, даже в творческом апогее. Так не стремятся в никуда – так стремятся куда-то...

Все цветаевоведы сходятся в одном: смерти как тупика, как конечной остановки после утомительного жизненного пути для поэта не существовало. Кажется, она родилась с уверенностью, что «небытие – условность». К этому сейчас приходят многие, не только поэты и богословы, но и ученые, если только они не зашорены своей ученостью.

С трепетом душевным прочла я в «Новом мире» № 8 за 2002 г. статью Галины Муравник на эту вечно животрепещущую тему. Биолог, генетик, зав. кафедрой экологического просвещения православной гимназии «Пересвет», она назвала свою работу «Ибо прах ты и в прах возвратишься».

Далее цитирую Г. М.: «...учение о бессмертии можно считать универсальным. “Повсеместное распространение веры в то, что смерть не влечет за собой полного уничтожения личности, – факт, заслуживающий внимания, – пишет протоиерей Александр Мень. – ...Мысль о бессмертии – отнюдь не просто биологический феномен. Прежде всего она – проявление духа, интуитивно ощущающего свою неразложимую природу” (История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни. Т. 1. М., 1991, С. 122). Николай Бердяев считал (продолжает Г. М.), что “вера в естественное бессмертие сама по себе бесплодна и безотрадна, для этой веры не может быть никакой задачи жизни, и самое лучшее поскорее умереть, смертью отделить душу от тела, уйти от мира. Теория естественного бессмертия ведет к апологии самоубийства” (Н. Б. Философия свободы. М., 1911, С. 153). Да, мы живем в мире, где царствует смерть. Ей неподвластен лишь человеческий дух, который избегает распада после смерти физического тела и возвращения его в общий круговорот веществ».

Но послушаем Цветаеву.

Смерть Рильке была для нее не только ударом. Начальная строка стихотворения «Новогоднее» – лучезарна и... – как бы точнее выразиться, говоря о невыразимом, – ...произносится человеком, выдохнувшим недавнюю скорбь и набравшим в легкие запредельную субстанцию – ту, что сейчас окружает дорогого ей ушедшего поэта:

С Новым годом – светом – краем – кровом!

.....
С наступающим! (Рождался завтра!) –

Рассказать, что сделала, узнав про...?

Тсс... Оговорила. По привычке.

Жизнь и смерть давно беру в кавычки,

Как заведомо пустые сплётмы.

Ничего не сделала, но что-то

Сделалось, без тени и без эха

Делающее!

Теперь – как ехал?

Как рвалось и не разовалось как –

Сердце? Как на рысаках орловских,

От орлов, сказал, не отстающих,

Дух захватывало – или пуце?

Слаще? Ни высот тому, ни спусков

На орлах летал заправских русских –

Кто. Связь кровная у нас с тем светом:

На Руси бывал – тот свет на этом

Зрел. Налаженная перебежка!

Жизнь и смерть произношу с усмешкой...

Когда-то Цветаева задумывалась о победе «над временем и тяготеньем», предположительно видя ее так: «Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени/ На стенах (...) Перстом Себастиана Баха/ Органного не тронуть эха...». Теперь те же, в сущности, слова встают в иной смысловой ряд. «Прокрасться» по жизни – это своего рода духовное самоубийство. Неразложимый дух надо взращивать! Раз «что-то/Сделалось без тени и без эха/Делающее!», естественная смерть не так страшна, как ее малюют. Это – новое рождение. Все мы рождаемся завтра... Так понимаю (и упрощаю) я эти сложнейшие, даже чисто синтаксически, стихи великого поэта.

...В начале 80-х в московской районной библиотеке близ метро Таганская проходили встречи с «уходящими объектами» – людьми, лично знавшими Марину Ивановну. Благодарна за это Льву Мнухину – их неизменному организатору. До сих пор слышу внутренним слухом спор двух потрясающих стариков-реэмигрантов: Владимира Сосинского и Алексея Эйснера. «Ты потому не любил Родзевича, что сам был очарован Мариной Ивановной!» (Эйснер – Сосинскому). «Я? Ничуть не бывало! Я любил ее стихи, я знал ей цену. А Родзевич... Он не стоил ее мизинца!»

И, произнесенное будничным тоном, но открыто полемическое, если вспомнить всё, что писалось и нагнеталось тогда об Эфроне, слово поэта, воевавшего в Испании, многолетнего сидельца Алексея Эйснера живет во мне. Если бы ему дали возможность воскресить двух лучших людей, которых он узнал за свои 80 лет, сказал этот много страдавший человек, он бы выбрал своего отца и... Сережу Эфрона.

За многие годы, прошедшие после первого моего знакомства с цветаевскими рукописными строчками, слава ее выросла необычайно, без преувеличения она стала одним из наиболее читаемых и изучаемых во всем мире русских поэтов. А личная ее судьба? Елабужский крюк в потолке чужой хибары; утерянная, очевидно, навсегда, давно сравненная с землей могила (обихожена лишь предполагаемая)... Судьба ее близких? Сергей после мучительного дознания в застенках НКВД (Никого не выдал! Не подписал ложных обвинений!) расстрелян осенью 1941 года, и тело его приняла подмосковная «Коммунарка», где лежат легендарные комбриги, комдивы, комиссары, весь цвет Академии Генштаба РККА (ж. «Грани» № 201). Девятнадцатилетний Георгий погиб на фронте, место его захоронения тоже весьма условно. Ясноокая Ариадна, на склоне дней преданная памяти матери, как в раннем детстве, лучшие свои годы провела в тюрьме, этапах, ссылке. В связи со всем сказанным раньше невольно закрадывается мысль: неужели ее и их неутомимо и неумолимо преследовала страшная стихийная сила, о которой чтимый Мариной Ивановной Андре Жид когда-то сказал: «Я не верю в сатану, но сатана именно этого и хочет, чтобы я в него не верил» (Ф. Мориак. «Во что я верю»).

Но душа-то Цветаевой, души всех четверых — разве они не бессмертны? Если отнять у нас эту веру, что же останется? «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть» — и только? Или с нами всегда квинтэссенция христианского Символа веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь»? Давайте стоять на своём крепко. Не всё доступно врагу человеческому, пересмешнику и подлинале; не такто легко разложить и уничтожить род людской, — последнее слово остается за Творцом.

«Господи! Душа сбывлась;/Умысел Твой самый тайный» — заблаговременно подвела сама Цветаева итог своего гостевания на земле.

Глава двадцатая

♦ ЧАШУ ЭТУ МИМО ПРОНЕСИ... ♦

(Б. Пастернак)

Борису Пастернаку я обязана очень многим, отчасти даже тем, что однажды, одиннадцать лет назад, взялась писать эту книгу.

Но сначала — немного не такой уж давней истории...

Шел 1956 год. Я училась на третьем курсе Литературного института имени А.М. Горького. Однажды нас собрали в сравнительно небольшом зале института, чтобы прочитать некое Закрытое правительственное письмо. Ставлю прописную букву, потому что с этого письма, с его жестоких откровений началась новая жизнь моей души, моего заклиненного на мнимых ценностях сознания. Все искусственное в ней и в нем, старательно насаждаемое тогдашней идеологией и педагогикой, было или сметено, или потеряло всякую опору. Никита Сергеевич Хрущев сурово и нелицеприятно говорил о Сталине, — и знакомые с детства портреты-иконы, в обрамлении праздничных лампочек, словно в золоченом окладе, из благостных становились угрожающими; без вести пропавшие в 1937-м родственники из единичных «врагов народа», боли и позора своей семьи, превращались в сонм оскорбленных, ошельмованных жертв беззакония. Мне вдруг открылось, что «культ личности» незримой гибельной громадой нависал над великой русской культурой, которую я так любила...

Как жить дальше? Во что верить? О чем писать? Студент нашего вуза «писать» был обязан, в противном случае подлежал отчислению за «творческую несостоятельность»... Вот тогда-то мой однокурсник, смешной, картавый, но трогательный (никогда не приходил домой к знакомой девчонке без букетика цветов — при студенческой бедной стипендии!) Гена Лисин, принес в нашу аудиторию свои выписки из романа «Доктор Живаго».

В книге прославленного ныне поэта Геннадия Айги «Разговор на расстоянии» (Лимбус Пресс, СПб., 2001) рассказывается с волнением, превосходящим прилежный энтузиазм ученика, о встрече двадцатилетнего юноши, автора необычных русско-чувашишских верлибров, с властителем дум и душ не одного поколения Борисом Пастернаком. Произошла она в мае 1956 года в подмосковном Переделкине. Тою же поздней весной я получила от своего однокурсника выписки из мало кем читанного, еще нигде не напечатанного романа «Доктор Живаго»...

У, какую очистительную бурю вызвали эти поэтические и философские рукописные фрагменты в моей жаждавшей полноты и веры, только что опустошенной, обескрыленной Закрытым письмом душе! Я не знала фабулы «Доктора», не отвлекалась на характеры героев и любовные коллизии. Блестяще поданная, спрессованная до афоризмов мудрость тысячелетий жадно заполняла мой внутренний вакуум. Так вот что называется вечными вопросами: жизнь и смерть, история и природа, иудаизм и христианство, ужас тирании, революция с ее двуличием Януса, сладкая мука творчества, сияние женственности через лик Богоматери... Надо всем этим, как радуга на небе, вставал Христос, о котором к своим двадцати годам я, признаться, имела слабое понятие... «Метафизика!» — скажет кто-нибудь вслед за одним из персонажей романа. Выработав свое, порой далекое от истины мировоззрение, мы забываем, чего алкала душа наша в юности. Именно готовых ответов на вечные вопросы, да поинтересней, поглубже, чтобы, нырнув в неведомую стихию, не стукнуться о дно башкой... Большие творцы помнят об этом и дают на свой страх и риск такие ответы.

Выписки товарища я немедленно перенесла в свою потайную тетрадь. От кого таилась? От институтской казенщины, от недоброго или равнодушного глаза случайного читателя. Таиться научили родительские разговоры полушопотом в нашей коммуналке, чтобы не предназначенное для чужого слуха не проникло через «перегородок тонкоребрость» (знакомая и понятная мне пастернаковская боль). Таиться научила эпоха. На дворе стояла так называемая *оттепель*, но от нее больше было мокрого сора и плавающих щепок, чем истинного тепла.

Полностью «Доктора Живаго» я прочитала гораздо позднее. Но и теперь, когда открываю книгу, неон-аргоном вспыхивают в тексте те незабываемые строки. Много знаю почти наизусть. Как стихи. Вот это, к примеру:

«Я сказал, — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. (...) Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме...»

Примерно в то же самое время были опубликованы и стихи из романа: в журнале «Знамя», в первом московском сборнике «День поэзии». Но и *непубликабельные* тоже каким-то образом доходили до нас: приносились на курс то одним, то другим, напечатанные на машинке или переписанные от руки...

Не так давно перечитала стихотворение «Рассвет», и только тут меня озарило: это же стихи о возвращении к вере, о пробуждении надолго усыпленной души автора. И слово «завет», пусть и с маленькой буквы, не иначе как Новый Завет. А «Ты» — обращение к Тому, кто сам сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12).

*Ты значил всё в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил...*

Почему же стихи называются «Рассвет», а не «Свет»? Зачем такая «светомаскировка»? Слова однокоренные, но означают разное... Вспомним, что это стихи из романа, что они приписаны доктору Живаго, а художественная атмосфера, в которой он формировался (как и Б. П.), предполагала новую эстетику: намеренное и воодушевленное попадание не в глаз, а в бровь. Не исключаю, что отчасти права и Алла Марченко, написавшая с редкой для современных критиков прямоотой: «Ведь Пастернаку для того, чтобы не терять себя, выгодно и даже необходимо не столько быть, сколько слыть непонятым. Непонятое надежно маскировало — прятало от бдительной, но отнюдь не сверхзрячей цензуры опасно понятное». «Рассвет» *проскочил* в печать еще в середине 50-х. Но был ли понят? Или одновременно *проскочил* и мимо читательского сознания?

«Мне к людям хочется, в толпу...» — так начинается следующая строфа стихотворения. Это — полемика с недоброжелателями. Настоящими и будущими. Их у поэта хватало. «Гениальному дачнику» ставили в вину отъединенность от людей, от масс (самое ходовое тогда слово). Неужели, чтобы вернуться «к людям», «в толпу», ему необходимо было перечитать Евангелие? Нет, конечно! Он никогда не отворачивался от народа, даже окружающее простонародье вызывало в нем горячие, кто-нибудь скажет, раздутые чувства. Зато и в тысячной толпе, прово-

жавшей великого поэта к переделкинскому погосту (сама видела!), было немало мужчин с лицами мастеровых и простых теток в подмосковном затрапезе. «Я чувствовал за них за всех, / Как будто побывал в их шкуре...» — предельная искренность пастернаковской лирики делает декларацию объяснением в любви.

Художник и народ, поэт и чернь — эти хрестоматийные пары всегда прихрамывают. Внутренний склад неординарной личности далеко выводит ее из общего ряда. Сложная, причудливая структура стихийного таланта ни под каким видом не укладывается на плоскости массового восприятия. К тому же с трудом налаженный в зрелые пастернаковские годы быт, строго приспособленный для работы, — а тружеником он был величайшим, достаточно вспомнить сотни тысяч переведенных им строк, и все «крепких орешков», великих иноязычных авторов, — не мог не создавать видимости поэта-островитянина. Но интровертом и тем более мизантропом он не выказывал себя никогда. Недостаточность внимания к «малым сим», к их бедам и бедности, а то и нищете, считал своим грехом:

*И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча,
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.
Всем тем, кому я доверял,
Я с давних пор уже не верен.
Я человека потерял
С тех пор, как всеми он потерян.*

Вот чем обязан он был Новому Завету! Он вновь, и, как ему, может быть, представлялось, почти в одиночку, обретал человека, потерянного обществом, лицемерно провозгласившим: всё для человека, всё ради человека!..

Вернусь к стихотворению «Рассвет», к его заглавной строчке: «Ты значил всё в моей судьбе...» Она озадачивает. Мы уже знаем, что речь идет о христианстве, но о юноше Пастернаке в связи с христианской верой известно немного... Мемуаристы упоминают о Евангелии, всегда лежавшем на столе в его крохотной комнатке, когда он, наконец, отделился от родителей, брата и сестер и перебрался в недалекий от них Лебяжий переулочек. Строить свою жизнь по Евангелию, придавать ему судьбинное значение — такое дается не многим... Можно с уверенностью предположить, что в доме академика живописи Леонида Пастернака и блестящей пианистки, его жены, урожденной Райцы (Розы) Кауфман, царил скорее творческая, чем религиозная ат-

мосфера. Близкий к Льву Толстому и Скрябину, знакомый с молодым Рильке, плодовитый художник, чадолюбивый семьянин, отец будущего поэта решительно отвергал крещение, особенно как инструмент карьеры, оставался верен иудаизму — вере предков.

Автор очень интересной книги «Пастернак и другие» (М.: Эксмо, 2003) Наталья Иванова так говорит о детстве своего героя: «Родители временами оставляют детей на полное попечение няни; и именно няня приводит Бориса в церковь. Няня окропила мальчика святой водой — он почувствовал себя на всю жизнь причастным к таинствам православия».

Звучит немного наивно. Разумеется, при выходящей из ряда вон впечатлительности, которой отличался Б.П., и такое могло случиться. И всё же, всё же... как, откуда пришел тот свет, о котором десятилетия спустя сказано: «*Ты значил всё в моей судьбе...*»? Поэты такого масштаба, как Пастернак, слов на ветер не бросают...

Послушаем автора названной выше книги, современников поэта и его самого.

«В одном из ранних стихотворений Пастернак скажет: «Я вишу на бере у творца/Крупной кашлей лилового лоска...» Что означает: Бог пишет мною — и меня самого.

Бог, по Пастернаку, — сочинитель. Сочиняющий жизни и судьбы. Бог — пишущий, (да еще конкретно) — *лиловыми*, именно лиловыми чернилами.

Но и поэт, сочинитель — тоже божественной породы: «...Февраль. Достать чернил...»

Уподобив себя — творцу. Став — творцом.

В том числе — и своей судьбы?

Но «хозяином своей судьбы» Пастернак себя не ощущал, потому что ему не нужно было быть ее хозяином.

Таинственнее и глубже — быть пассивным: по-своему, конечно...» «Ты держишь меня, как изделие./И прячешь, как перстень, в футляр». Это уже конец: лепка завершена, гончарный круг остановился». (Н. И.)

...«Он произвёл впечатление огнём, который шёл как бы изнутри, и сочетанием этого огня с большим умом» (З.Н. Нейгауз/Пастернак).

Крещёная Зинаида Николаевна, в девичестве Еремеева, вторая жена Б.Л., могла и не помнить, что в Ветхом Завете огонь — синоним Бога, что пророку Моисею Ангел Господень «явился в пламени огня из среды тернового куста» (Исх. 3, 2). Псалмопевец смиренно признается: «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих

возгорелся огонь, я стал говорить языком моим» (Пс. 38, 3,4). Да, супруга поэта могла не знать или забыть об этом, но любящее сердце подсказало ей нужное слово: огонь. (Т. Ж.)

...«Горячая взволнованность, прерывание ораторов репликами, стремление донести до аудитории и оппонента понимание содержания своих стихов. Горячая, взволнованная читка стихов...» (А. Тарасенков).

...«Подумалось, что он пишет всем существом, как некоторые певцы поют всем телом, а не только горлом». (М. Гонта)

...«Он не поддался никакому испытанию. Он был таким, каким человек был задуман». (А. Цветаева)

...«Верю в существование высших сил не только на земле, но и на небе». (Из письма Пастернака министру культуры Е. Фурцевой.)

«Разбуженный Богом» — так чрезвычайно точно назвала пастернаковскими же словами Пяталья Иванова первую главу своей книги. Довольно редко даже тщательно подобранные цитаты складываются в столь полную и бесспорную картину. Изначальная пронизанность огнем — небесным, о другом не стоило бы и упоминать. Сотворческий жар всего существа. На церковном языке — печать дара Духа Святого. Плодоносная пассивность, с радостной готовностью оставляющая место высшей воле. Ощущение себя как некоего штучного изделия, ненадолго вышедшего из мастерской Творца с тем, чтобы исполнить Его волю, снова к Нему вернуться.

Вспоминается белая мраморная скульптура, которую я видела в парижском музее Родена. Хрупкая, почти невесомая, несмотря на тяжесть материала, фигурка обнаженной женщины в мощной, великолепно вылепленной длани. Ничего общего с орехом в пасти щипцов — нет, нет, ее не раздавят, ее только бережно подержат, снисходительно оценят, полюбуются совершенными формами. Название скульптуры я перевела для себя как «В Божьей руке»...

Кстати, в Пастернаке, физически сильном, выносливом, приверженном к спартанскому образу жизни, некоторые находили и что-то женственное, «женскую стихию»...

*И так как с малых детских лет
Я франен женской долеи,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле...*

Биографы выстраивают не такой уж длинный ряд избранниц поэта, которым мы в первую очередь и обязаны таким признанием. Почти девочка, Ида Высоцкая, вдохновившая Б. П. на стихотворение «Марбург»; еле справившись с невыносимой мукой от ее отказа стать его женой, он писал отцу про «глупый и незрелый инстинкт той, которая могла стать обладательницей не только личного счастья, но и счастья всей живой природы».

Чужая невеста, а потом и чужая жена Елена Виноград, в отрочестве баловница и хохотунья, в девичестве «народница»: в 17-м году уехала в глубь России строить новую жизнь. Пастернак знал ее с 13 лет, собирался обучать латыни (за деньги). Потом влюбился намертво. Ей вдохновлена книга стихов «Сестра моя — жизнь».

Евгения Лурье, художница с улыбкой Джоконды, первая жена Б. П., мать его сына Евгения. Самолюбивая и обидчивая, чуть что не так в семье — уезжала к матери в Ленинград, забирая с собой сына. Не она его бросила — он ее бросил. Разрыв стоил ему немалых страданий, о ней — и не говорю. Всякий раз, когда вижу на просторной переделкинской могиле, по пути к внушительным надгробным плитам, ее скромный обелиск, чувствую стеснение сердца. Недаром Пастернак так отличал стихи Тютчева о «поэтовой любви»: *«Не верь, не верь поэту, дева; /Его своим ты не зови...»* с вещими строчками: *«Он не змею сердце жалит, /Но, как пчела, его сосет!»* Их общий сын Евгений Борисович совместно со своей женой Еленой Владимировной очень много сделал и делает для литературного бессмертия отца. Спасибо им!

Вторая жена: Зинаида Николаевна.

Последняя любовь: Ольга Ивинская.

Обе написали воспоминания о поэте — к ним и отсылаю читателя.

Несколько особняком стоят в его «донжуанском» списке две талантливые умницы: кузина Ольга Фрейденберг и Марина Цветаева. С обеими длился и длился эпистолярный роман. Приходится со вздохом признать, что для жизни обе ему не были нужны. У него у самого ума и таланта была палата...

Всем этим необыкновенным (раз их выбрал поэт) и другим, вполне заурядным женщинам мы должны поклониться в пояс за его изумительную любовную лирику.

Скажу подробнее о пастернаковском «Марбурге». По нему, как по компасу, ориентировалась я несколько лет назад, попав, наконец, в искомое место, о чем мечтала с юности. Из биографии поэта известно, что любовно-историческое потрясение (иначе не скажешь) он пережил в этом немецком университетском городке четыремя годами раньше, чем охватившая его страсть откристаллизовалась и офор-

милась в поэтические слова. Взвихренные изнутри, но классически завершенные снаружи...

Итак, 22-летний «сын академика живописи» (так он еще недавно называл себя в одном официальном прошении), несостоявшийся композитор, будущий (возможно) философ, на сэкономленные матерью хозяйственные деньги едет в Германию послушать лекции профессора-неокантианца Когена. До Первой мировой еще целых два года. Немцы пока не враги, а друзья. Борис снимает комнату у чопорной немецкой чиновницы. Его быт очень прост, чтобы не сказать беден. Распорядок дня весьма строг: конспекты, рефераты, занятия в университете.

И вот в его монашескую келью врываются тайно приехавшие сюда сестрички Высоцкие. Московские воспоминания, забавные истории, смех, сладострастный запах липы и соблазн, соблазн... Остальное — в стихах: *«Я вздрагивал. Я загорался и гас./Я трясся. Я сделал сейчас предложение, —/Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ./Как жаль ее слез! Я святого блаженней...»*.

«Куда деваются бурные всплески наших чувств? — спрашивала я себя, сойдя с электрички и пожирая глазами желтое, как гоголь-моголь, двухэтажное здание старинного по виду марбургского вокзала с витиеватым фронтоном. Перестраивался или нет, он должен, он обязан помнить прилежного и пылкого юношу из России. «Любовь — это единственное, что тебе нужно», — на разных языках напоминают рекламные щиты, расставленные и развешанные по городам Европы. Не каждый день создаются «марбурги», но ежедневно кто-то влюбляется, надеется, жаждет разделенности и, не дождавшись, сходит с ума или пускается во все тяжкие... Все мы смертны. Может быть, в утешение пам Тейяр де Шарден и Верпадский создали учение о ноосфере — сфере разума, в которую переходят наивысшие достижения интеллекта. А прекрасные безумства, эмоции? Как обстоит дело с ними?..

Я брела по Марбургу, как некогда по Переделкину. Стоял солнечный ноябрьский день. Вода в канале блестела, горбился мостик над ним. Домики, сплошь такие, какой построил себе самый хозяйственный из трех сказочных поросят: теплый и крепко сбитый, — ярусами взбегали на гору, одну, другую, третью; весь ландшафт был гористый. Внизу подо мной, — видимо, незаметно для себя я уже довольно высоко забралась, — лежал роскошный парк, в легком золоте с прозеленью палой листвы и травы (и это в конце ноября!). Магазины меня не занимали. Я зашла в Елизабеткирхе, католический собор XIII века, купила пару открыток. И, о радость, на одной из них были изображены гусята, за ними — широкая зеленая тропа, окаймленная кустарником, еще глубже проступали две башни собора. А у Пастернака в сти-

хе: «копались цыплята в кустах георгин». Гусята, цыплята — какая разница?..

На автобусе доехала до набережной реки. Путеводитель, купленный мной в туристическом центре Марбурга, соврал. На трехэтажном кирпичном здании, с мезонином, указанным как дом, где жил в юности Пастернак, висела мемориальная доска... испанского философа Хосе Ортеги-и-Кассета (1883–1955). Слышала потом, что дом с доской Пастернака — такой же, добротнo-стандартный, и где-то по соседству. Но я его не видела. Зато, гуляя вдоль реки, словно след в след шла за поэтом *«Чрез девственный, непроходимый тростник, / Нагретых деревьев, сирени и страсти»*. «Нагретых» от высокого градуса любви — от чего же еще? Это годилось и для ноября...

Маяковский восхищался одиннадцатой строфой «Марбурга»:

«В тот день всю тебя от гребенок до ног, / Как трагик в провинции драму Шекспирову, / Носил я с собою и знал назубок, / Шатался по городу и репетировал». Это взгляд поэта-мужчины.

Женский взгляд — иной, и, если в любовном стихотворении возможна строфа-квинтэссенция чувства, то вот она: *«Когда я упал перед тобой, охвати / Туман этот, лед этот, эту поверхность / (Как ты хороша!) — этот вихрь духоты — / О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут»*.

Учащенный нульс «Марбурга» чуть выравнивается, когда автор вспоминает об объективной реальности: *«Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм. / Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. / И все это помнит и тянется к ним. / Все живо... И все это — тоже подобья»*. Утешительная попытка с негодными средствами. Когда так влюблен, как двадцатидвухлетний Пастернак, — реальна для тебя только любовь. Всё остальное — обезьянье подражание...

«Мой брат с детства отличался неодолимой страстью овладеть тем, что явно ему было не под силу или что совершенно не соответствовало складу его мыслей и характера», — пишет в своих воспоминаниях Александр Пастернак. Это касалось всего объема жизни, но в первую очередь, думается, ее любовной сферы. Запомним, что в Библии глагол «овладеть» чаще всего относится к «земле» и никогда — к женщине: «Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею доброю землею» (Второзаконие. 9, 6); «И они овладели Самариею» (4 Цар. 17, 24).

О женщине говорится иначе: «познать»: «Адам познал Еву, жену свою» (Быт. 4, 1), «И познал Каин жену свою» (то же 4, 17).

Мне думается, «познать» в нашем герое всегда превалировало над «овладеть». Поэтому его стихи о любви, при всей их чувственной наполненности, обращены к Небу.

Из поздней любовной лирики приведу только одно стихотворение, особенно мне дорогое и памятное навсегда:

*Не плачь, не морщишь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.
Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.
Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной – великий шаг.
Сводить с ума – геройство.
А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговеею.
Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.*

Тут самое время сказать хотя бы коротко о поэтике ранних и поздних вещей Пастернака. Знаю стихолобов, которые без ума от густых, метафорических, посоленных «горячею солью нетленных речей» (слова Фета, ценимые Б. П.) стихов из его первых книг («Близнец в тучах», «Поверх барьеров» и т.д.) Знаю и других, менее продвинутых читателей, которые начали понимать поэта только после сборника «На ранних поездах» (1936–1944). Проникнув в «неписанные законы языка» (см. Н. Вильмонт. О Борисе Пастернаке. М.: СП, 1989), пробившись сквозь почти не потревоженные до него поэзией плодоносные лексические пласты, наш герой пришел к пушкинской сложной простоте. Я больше люблю пастернаковскую лирику последних трех десятилетий. Но, если бы открыла школу поэзии, непременно изучала бы со своими учениками виртуозную, благозвучную, морозно свежую, дерзновенную поэтику Пастернака 1911–1930 гг. Какие образы и рифмы ему спускались с неба, какие ассонансы!..

Приведу два примера. Это всё та же нескончаемая песнь женщины, но между стихами пролегло более сорока лет! Первое стихотворение — из книги «Сестра моя — жизнь» (лето 1917 года): «Любимая, — жуть! Когда любит поэт, / Влюбляется бог неприкаянный. / И хаос опять выползает на свет, / Как во времена ископаемых (...) / Он видит, как свадьбы справляют вокруг. / Как спаивают, просыпаются. / Как общелягушечью эту

икру/Зовут, обрядив ее, – паюсной./Как жизнь, как жемчужную штуку Ватто,/Умеют обнять табакеркою./И мстят ему, может быть, только за то,/Что там, где кривят и коверкают,/Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,/И трутнями трутся и ползают,/Он вашу сестру, как вакханку с амфор,/Подымет с земли и использует...»

Одно из последних объяснений в любви: «Женщины в детстве» (июль 1958 года). Это настоящий панегирик нашей сестре: «...Приходилось, насупившись букой,/Щебет женщин сносить словно бич,/Чтоб впоследствии страсть, как науку,/Обожанье, как подвиг, постичь./Всем им, вскальзь промелькнувшим где-либо/И пропавшим на том берегу,/Всем им, мимо прошедшим, спасибо,/Перед ними я всеми в долгу...»

От пастернаковских женщин во плоти, вообще от женщины как объекта интереса и страсти, не без колебаний (имею ли внутреннее право строить такой логический мост? но поэт как будто опередил меня в своей лирической дерзости!) перехожу к Той, что превыше привычных устремлений, Чей образ не меркнет, потому что к его краскам не добавлено ядовитых земных веществ.

О Христе в XX веке написано много. О Богородице, давшей Ему жизнь, — гораздо меньше. Вероятно, для этой цели нужен был не просто творец с внутренним огнем, не просто убежденный христианин, но тот, кто сызмала и навсегда «ранен женской долей». Целомудренный по самой сути своей. Сам страдавший от сознания несовершенства доступной человеку на этом свете любви. Несущий в себе женскую стихию и подвластный ей.

Той, что подарила Бога грешной земле, в «Докторе Живаго» посвящены неумирающие строки. Кому-то может показаться кощунственной сама эта параллель: Богородица и бесчисленные матери рода людского. Но под пером поэта неортодоксальная, возможно, мысль становится прекрасным стихотворением в прозе:

«Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богородицы, выражена общая идея материнства. На всякой рождающей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, предоставленности себе самой. Мужчина до такой степени не у дел сейчас, в это существеннейшее из мгновений, что точно его и в заводе не было и все как с неба свалилось (...)

Богородица просит: «Молися прилежно Сыну и Богу Твоему». Ей вкладывают в уста отрывки псалма: «И возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем. Яко воззри на смирение рабы своя, се бо отныне ублажат мя вси роди». Это она говорит о своем младенце, он возвеличит ее («Яко сотвори мне величие сильный»), он — ее слава. Так может сказать каждая женщина. Ее бог в ребен-

ке. Матерям великих людей должно быть знакомо это ощущение. Но все решительно матери – матери великих людей, и не их вина, что жизнь потом обманывает их...»

Рождество Иисуса Христа для Пастернака – событие вневременное. Оно произошло «прежде всех век» (как сказано в «Символе веры»), продолжается сейчас и будет длиться, пока жив род людской. В стихотворении «Рождественская звезда» есть строки, особо отмеченные современным философом как подтверждение пастернаковского тезиса: «всё, чему назначено быть, уже смутно присутствует в мире наряду с тем, что есть». (См.: С. Вайман *Метаморфозы художественной мысли XX века*. Континент, № 108).

Волшебное-необременительное подтверждение, добавим от себя.

*И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы...*

И мистерия Распятия – две тысячи без малого лет спустя – воспринимается им как не имеющая конца на земной шкале времени, не имеющая аналога в человеческой истории.

В Евангелии: «И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу; и земля потряслась; и камни расселись...» (Мф. 27,51). У Пастернака: «Сады выходят из оград, / Колеблется земли уклад, / Они хоронят Бога». Разодранная на две части завеса, как увидим чуть ниже, перешла в стихи о Магдалине.

С какой бы раннехристианской остротой ни переживал поэт акт Распятия, чудо Воскресения потрясает его еще сильнее.

Вот тут и возникает образ Магдалины.

Известно, что именно Мария из Магдалы, раскаявшаяся грешница, вместе с другими женщинами из окружения Христа, первая приняла весть о Воскресении (Мф. 28; Мк. 16; Лк. 24; Ин. 20). Потому богословы нередко называют жен-мироносиц «апостолами прежде самих апостолов».

О пастернаковском двустишии (диптихе) «Магдалина» написано не меньше, чем о цветаевском одноименном триптихе. Удивительно, как по-разному воспринимаются эти стихи разными читателями. Не упустим из виду, что есть гениальные читатели, а есть и посредствен-

ные, к которым отношу себя двадцатилетнюю. Созданный в 1949 году, пастернаковский диптих в середине пятидесятых влетел с черного хода в чинные стены Герценовского дома...

Первое стихотворение прошло тогда мимо моего внимания, зато второе... Хотела писать его тут по памяти, но открыла синенькую книжечку Александра Меня «Библия и литература» (М. Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. 2002) — вот же оно, вот, включено целиком. Остается только повторить, не рискуя ошибиться, что я и делаю:

*У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из веде́рка
Я стопы пречистые Твои.
Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.
Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Иисус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.
Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.
Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, от жалости ко мне.
Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерти, над головою
Будет к небу рваться этот крест.
Брошусь на землю у ног распятого,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц?*

*Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.*

В роковом сентябре 1990 года, узнав об убийстве отца Меня, с пугающей точностью я испытала то самое, что содержится в пятой строфе (начиная со строки об упавшей завесе). Да разве я одна! Все мы, сотни, если не тысячи его духовных чад, вовсе не творя из него кумира, к всеобъемлющей тайне Христа приблизились через него, через его проповеди, книги, отеческие наставления; он был и остается для нас главным свидетелем Христовым. И когда его у нас насильственно, зверски жестоко отняли, земля, и в самом деле, качнулась под ногами. Если кто-нибудь начнет меня убеждать, что казнь праведника путем распятия или любым другим диким путем — дело далекого прошлого, я замкну свой слух и своё сердце.

Но это несчастье случилось много лет спустя после моего первого знакомства с «Магдалиной»...

В свои двадцать я прочла ее так, как будто она написана обо мне. Эти, с ног каждой девушки со стуком спадающие сандалии, эти пряди распустившихся волос — всё, всё было таким родным, знакомым. Великие эрудиты, каждый в своей области, Александр Мень и Иосиф Бродский, выражают сомнение по поводу «ведерка» Магдалины. Первый пишет о более уместном «старинном кувшине», но тут же оговаривается, что «у нее в руках ведро, как у женщины сегодня». Второй вспоминает об «алавастровом сосуде», проводит соблазнительные параллели с «Пиетой» Рильке, с «Магдалиной» Цветаевой. Я не была эрудитом, скорее была невеждой. Я не заподозрила первую строфу «в перифразе цветаевского быта», как пишет И. Б., а «ведро» и «уборку» — в лексической непригодности. Наоборот, они помогли мне безусловнее поверить поэту.

Значит, две тыщи лет назад всё было, как теперь: шла такая же жизнь, с праздниками и буднями, любовью и слезами. Значит, Христос — не сказка, не выдумка «идеалистов», потому что того, кого не было, нельзя оплакивать так безутешно и горько, как эта Магдалина... Но, главное, меня полонил сам стих! Он доходил до глубины души, убеждал, поднимал куда-то по небесной лестнице, о которой я еще не ведала, что она зовется «духовной». Не прочитав Библии, не будучи крещеной, я о многом уже догадывалась. Стихи утвердили мои догадки. Западал в память «крест», что будет рваться к небу, протягивалась ниточка между стихами и религиозными картинами, которые

«позволяли себе» показывать народу Третьяковку, Эрмитаж, выставка полотен Дрезденской галереи...

Заразить верой может только тот, кто сам верует. С безверием дело обстоит сложнее; частенько тут срабатывает принцип «от обратного»: человеку говорят, что Его нет, — значит, Он есть...

К слову, меня издавна интересовал вопрос: а таким ли приверженцем атеизма, какой предписывался его подданным, был «вождь всех времен и народов», Иосиф Виссарионович Сталин? Все-таки он был крещен при рождении, закончил духовное училище, несколько лет учился в Тифлисской духовной семинарии. Сейчас об отношениях поэта и «государя советского», христианина истинного и христианина формального (Даниил Андреев считает: антихриста) пишут много, даже слишком много. Но о религии в этой связи вспоминают редко. Хотя давно стало аксиомой: то место в душе, что предназначено для Творца неба и земли, для высших ценностей духовных, в случае их отсутствия неизбежно занимают неодушевленные и одушевленные фетиши: деревянные и глиняные божки, ксерксы и навуходоносоры, короли и президенты, крупные и мелкие бесы. Кто занял место Господа в сердце Сталина? Неужели он сам? Или...

Встретились они еще в середине двадцатых, когда, согласно мемуарам «*недотроги, тихони в быту*» Ольги Ивинской, на Бориса Леонидовича «из полумрака выдвинулся человек, похожий на краба»; приглашенный на встречу поэт увидел в нем «по росту двенадцатилетнего мальчика, но с большим старообразным лицом».

Но, прежде чем говорить о Б. П. и Сталине, надо сказать о Пастернаке и революции, — той, что чаялась художнику, и той, что разразилась в октябре 1917 года.

Вспомним, что Блок любил революцию «в мечте», называл ее своей невестой. Нечто подобное испытывали и в кругу Бориса Леонидовича. Однако, вероломный нрав этой «невесты» Пастернак, на десять лет моложе Блока, разгадал раньше его, — в том же 18-м году, когда была написана поэма «Двенадцать».

Стихотворение «Русская революция», как и следовало ожидать, начинается с элегической ноты:

*Как было хорошо дышать тобою в марте
И слышать на дворе со снегом и хвоей,
На солнце, поутру, вне лиц, имен и партий,
Ломающее лед дыхание твоё!*

«Как было хорошо...» Девяносто лет спустя нам даже странно читать, какие ребячески-наивные надежды связывали с революцией не

ее участники, а молодые интеллигенты вроде нашего героя, европейски образованные россияне, совершенно свои что в античной, что в христианской культуре, много знавшие, много путешествовавшие, но естественно предпочитавшие чужому своё, «всосанное с молоком», как потом выразится поэт. О чем же они грезили?

*...Что эта, изо всех великих революций
Светлейшая, не станет крови лить, что ей
И Кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюда.
Как было хорошо дышать красой твоей!
Казалось, ночь свята, как копоть в катакомбах
В глубокой тишине последних дней поста,
Был слышен дерн и дром, но не был слышен Зомбарт.
И грудью всей дышал Социализм Христа.*

(Вернер Зомбарт — немецкий экономист и философ, сначала сторонник марксизма, потом его противник, выступавший за «организованный капитализм».)

Следующие пять строф вряд ли понравятся авторам востребованных ныне школьных учебников истории. У нас ведь учат детей не по стихам каких-то там нобелевских лауреатов, а по цензурированным главам и параграфам придворных идеологов; но, и не напечатанные десятилетиями, стихи-откровения все равно восстают, как Лазарь из гроба, и таинственными путями доходят до людей.

*Смеркалось тут...Меж тем свинец к вагонным дверцам
(Сиял апрельский день) – вдали, в чужих краях
Навешивался вспех ганноверцем, ландверцем.
Дышал локомотив. День пел, пчелой роясь.
А здесь стояла тишь, как в сердце катакомбы.
Был слышен бой сердец. И в этой тишине
Почудилось: вдали курьерский неся, пломбы
Тряслись, и взвод куржов мерещился стране.
Он – «С Богом, – кинул, сев; и стал горланить: – К черту! –
Отчизну увидав: – Черт с ней, чего глядеть!
Мы у себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта!
Еще не всё сплылось; лей рельсы из людей!
Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!
Покуда целы мы, покуда держит ось.
Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.
Здесь так знакомо всё, дави, стесненья брось!»
Теперь ты – бунт. Теперь ты – топки палыханье.*

*И чад в котельной, где на головы котлов
Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью
Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блёв.*

Грозные стихи! Когда наши русские (непреренно «чисто русские») патриоты спустя век без малого, кипя ненавистью к Октябрю, открывают нам «тайные страницы истории XX века», им не приходит в голову, что всё это давным-давно открыто и описано по огненным следам событий. Соплеменников Бориса Пастернака, всех чохом, они давно записали если не в поджигателей, то в слепо-восторженных свидетелей третьей русской революции. Не об их ли выучениках написала Римма Казакова:

*...А на указателе к могиле
Пастернака выведено: «жид»...*

При таком почти мистическом проникновении в суть явлений, беспощадно трезвом взгляде на вещи выход, кажется, один: эмиграция. Но Борис Леонидович сознательно и мужественно остается на родине. Грубое приспособленчество, двурушничество — не в его натуре. Его природа жаждет идеала, его стереоскопический ум видит все грани любого исторического события, даже кровавой революции.

В стихотворении «Высокая болезнь» (1923, 1928) поэт пишет о главном двигателе Октябрьской революции в другом ключе. Принято считать, что Девятый съезд Советов, где он однажды побывал, способствовал его политическому прозрению. Любое прозрение предполагает предварительную слепоту. Б. П. никогда не был слеп, что доказывает весь его сложный, благородный, полный злоключений жизненный и творческий путь. Но порой, не без внутренней борьбы, позволял себя ослепить. «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой» — покаяется он в момент истины. «Высокая болезнь» — тому примером.

Вот он, «взволнованный донельзя», идёт на Девятый съезд Советов и... Далее предоставляю слово поэту: «Я трезво шел по трезвым рельсам, / Глядел кругом, и всё окрест / Смотрело палным погорельцем, / Отказываясь наотрез / Когда-нибудь подняться с рельс...» Разруха, безнадежность. Не столько в самих строках, сколько между строк высказанная надежда, что автора на мякине не проведешь: «Уже мне не прописан фарс / В лекарство ото всех мытарств. / Уж я не помню основанья / Для гладкого голосованья». Скорбный экскурс в историю: от «арктических петровых выюг» до падения двуглавого орла. Что же противостоит всему этому, по замыслу поэта? Появление на трибуне съезда Ленина. Вождь не

назван (как и в «Русской революции»), но портрет, растасканный на цитаты, великолепно узнаваем. Пафосна и трагична концовка стиха:

*Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только – потому страной.
Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнѣтом мстит за свой уход.*

У пятой и шестой строк есть вариант: «Из ряда многих поколений/ Выходит кто-нибудь вперед». Это — существенно. Потому что, по Пастернаку, вождь — воплощение коллективного бессознательного, чего-то такого, что уже висит в воздухе.

Не так давно цензоры решали за поэта исход его внутренних борений просто: под предлогом «иначе не напечатают» откусывали от стиха последнее четверостишие — и готово!..

Ревность и зависть творца пролетарской революции к столетиям борьбы за свободу — не проходное утверждение поэта. Ревность и зависть, два распространеннейших греха, — они-то и двигают колесо истории, часто в обратную сторону, они-то и бросают в массы призывный клич «Грабь награбленное!»

Но не будем столь категоричны. Разве мало было среди революционеров бескорыстных жертвенных душ, из высших соображений жаждавших полного переустройства несовершенного (как всякое другое) русского общества?

В двадцатые годы Пастернак пишет две историко-революционные поэмы: «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

Когда-то я была влюблена в начало первой поэмы — просто ходила по безлюдным загородным улочкам и бубнила себе под нос:

*В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.
Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть.
В неземной новизне этих суток
Революция, вся ты как есть.
Жанна д'Арк из сибирских колодниц,*

*Каторжанка в вожжах, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.
Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груди огнив,
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.
...И в блуждании хлопьев кутёжных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.
Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Всё ничтожное мерзко тебе.*

Какие стихи, Боже мой! Какая обжигающая свежесть, какая сила! Из-под палки таких стихов не напишешь! Пусть революция в ее «неземной новизне» не блоковская невеста, — она тоже женщина, страдающая, бегущая всего ничтожного. Пастернаковский тип. Автор так добр, что преноручает ей свои эмоции, уподобляет разрушительный труд по «хирургии» России созидательному труду поэта... Но, признаемся себе, она страшноватая, эта «социалистка». У нее «лицо василиска» — не оригинальной же рифмы ради! Это что-то потустороннее, мертвенное. Понятно, что «озарив», оно и «оледенит» тут же. Снежная королева на отечественной почве...

Кого он видел перед собой, ушоенно (иначе не умел) работая над поэмой? Может быть, младшую сестру народоволки, свою знакомую Ларису Рейснер? Ее памяти посвящено написанное вскоре стихотворение. Женщина-комиссар, прототип героини «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского — это помнят о ней все. А что была необыкновенно хороша собой, знала себе цену как женщине, писала стихи, упивалась книгами Рильке, как-то подзабылось. И что погибла в тридцать лет от ерунды какой-то: трубочек с кремом, — она, взбравшаяся, все равно реально или мысленно, на баррикады революционного Гамбурга! Пастернак не забывал таких встреч.

Тревожно начинается реквием по этой новой «героине» (так он ее и называет в стихах): «Лариса, вот когда посожалело, / Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней...» Опять смерть рядом с жертвенной красотой! И грозные, как на картине Делакура «Свобода на баррикадах», краски: «Ты точно бурей грации дымилась...» В поэме — василиск, тут — валькирия. Женщины революции...

Не она ли, в другой своей ипостаси («*Вся сжатым залом прелести рвалась*»), подарила своё имя возлюбленной доктора Живаго? Не отзвук ли фамилии ее мужа, Федора Раскольников, в псевдониме мужа Лары — Стрельников?..

Подходят к концу двадцатые годы. Ужасы переворота как будто позади. Всё внешне улеглось. Надолго ли?..

В журнале «Знамя» №11 (2002) Евгений Борисович Пастернак опубликовал переписку Пастернака и Ромена Роллана. Она относится к 30-му году. Б.П. как политически неблагонадежному отказано в поездке за границу с семьей. Совсем недавно в Ирпене, на отдыхе, он осознал, что любит другую женщину. Ну, хорошо, его не пускают, но разрешат ли поездку за границу, в Мюнхен, к его родителям, их невестке с внуком, маленьким Женей?

Евгения Лурье — его законная супруга, объясняет Роллану Борис Леонидович, она — «частное лицо, как и всякое другое. Ее присутствие не увеличивает общественного благополучия, ее отсутствие его не уменьшает». Но пустят ли?! Дадут ли ему возможность в одиночестве разобраться в чувствах... дальше цитирую: «которые я должен буду углубить и распутать будущей зимой, зимой, как предполагают — гибельной»?.. Прямых политических выпадов осторожный корреспондент не допускает и все-таки в переписке с французским коллегой так и сквозит его негативное отношение к существующим порядкам. О своей унижительной зависимости от властей предержащих он отзывается так: «Это косвенный способ указать вам (т.е. советским гражданам, — Т. Ж.), что вы забыли, что вы раб и не можете ни на что рассчитывать, кроме того, что вам причтут, и что (не спрашивая вас) вам припишут в области официальных мифов».

Однако главный официальный миф своего времени великий поэт, судя по всему, разделял. Или заставлял себя разделять с 90% окружающих (за цифру не ручаюсь — статистики не велось). Миф о Сталине как мудром вожде и учителе. Кто без греха — пусть бросит в него камень. Застав последнего российского генералиссимуса уже на излете, по-детски неосознанно участвуя в коллективных здравицах в его честь, по вполне осознанно оплакав его в неполные 17 лет, свой камень бросать в Пастернака я не собираюсь. Да, он напряженно думал о Сталине, посвящал ему стихи. Известны его шаги навстречу вождю: отдельное обращение в связи со смертью Аллилуевой (32-й год); заступничество — не за себя, а за мужа и сына Ахматовой, которые были освобождены из заточения на другой же день; письменная благодарность за сталинский отзыв о Маяковском. Признав того «лучшим талантливейшим поэтом эпохи», вождь как бы дал Б. П. возможность «жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с

неожиданностями и таинственностями» без которых поэт не любил жизни.

Сталин отвечал взаимностью. Весьма своеобразной — другой тираны не знают. Сгноив Мандельштама, сгноив мужа Цветаевой, гноя в тюрьмах и ссылках сына Ахматовой, он повелел своим опричникам «не трогать этого небожителя». И Пастернака не тронули. Но кругом продолжался настоящий обвал. Большой Террор уничтожил близких поэту людей: Мейерхольда, Пильняка, Тициана Табидзе, Бухарина.

И если в случае с Мандельштамом еще просматривался некий жуткий смысл, то остальные погибли абсолютно безвинно.

Пятьдесят шестым годом датировано стихотворение «Душа». Это — эпитафия всем, насильственно вырванным из жизни: *«Душа моя, печальница/О всех в кругу моем./Ты стала усыпальницей/Замученных живьем./Тела их бальзамируя,/Им посвящая стих,/Рыдающую лирою/Оплакивая их,/Ты в наше время шкурное/За совесть и за страх/Стоишь могильной урной,/Покаящей их прах...»*

Духовный скачок Пастернака в сороковые-пятидесятые годы поражает. Он расставался со всеми общественными оболещениями, дерзал и дерзил временщикам — хозяевам жизни по мере того, как додумывался, одевался художественной плотью его роман. Увенчанный Нобелевской премией (парадокс истории: сам-то автор получил впридачу к ней терновый венец), «Доктор Живаго» оказался беззащитен перед снобизмом ревнивых коллег. Достаточно отзыва Владимира Набокова: «Меня интересует только художественная сторона романа. И с этой точки зрения «Доктор Живаго» — произведение удручающее, тяжеловесное и мелодраматичное, с шаблонными ситуациями, бродячими разбойниками и тривиальными совпадениями. Кое-где встречаются отзвуки талантливого поэта Пастернака, но этого мало, чтобы спасти роман от провинциальной пошлости, столь типичной для советской литературы. Воссозданный в нем исторический фон замутнен и совершенно не соответствует фактам» (журнал «Иностранная литература» № 7, 2003 г).

Возражать Набокову бессмысленно, но не могу не высказать и своего мнения. «Доктор Живаго» — сакральное произведение. Не думаю, что его можно мерить общими мерками: вот это, мол, автору удалось, а тут он чего-то не дотянул. Не он вытягивал сеть, полную улова. Его вытягивал роман — из безвременья в вечность... «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего» — слова молодого Пастернака, когда-то восхитившие девятнадцатилетнего Николая Вильмонта. Не о своём ли будущем романе он это сказал — заблаговременно, впрок?..

Для меня «Доктор Живаго» — самая религиозная из написанных уже в нашу бытность русских книг. Пастернаковские стихи последнего пятнадцатилетия его жизни — самые религиозные стихи в русской поэзии XX века, во всяком случае по эту сторону железного занавеса, где мы обитали. Христианская вера, изгнанная с земли, где поэт родился, где, дважды поборов соблазн эмиграции, остался до самой смерти, пребывала, росла в его сердце до конца. Именно ей обязан он великим даром внутренней свободы. И невозможно не поверить ему, когда в 47-м году он пишет Константину Симонову: «Я ничего не боюсь. Моя жизнь так пряма, что любой ее поворот приемлем». В то время он уже вовсю работал над романом, и «пряма» означает не прямолинейность без поворотов, а нечто другое. «Путь от человека к Богу прям!» — вспоминаются мне слова моего духовного отца Александра Меня при первой нашей встрече...

А вот признание из более позднего пастернаковского письма, датированного 1949-м, когда шла война с «космополитами», читай — отечественными евреями, и над каждым, даже вконец обрусевшим, даже крещеным потомком Давидовым, висел дамоклов меч: «...страх быть слопанным никогда не заменял мне логики и не управлял моими мозгами». В памяти выстраивается словесный ряд: логика — Логос — Слово — Бог. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1,1).

На смерть Пастернака пережившая его на шесть лет Ахматова написала два стихотворения. Перечитаем наиболее загадочное из них: *«Словно дочка слепого Эдипа,/Муза к смерти провидца вела,/А одна сумасшедшая липа/В этом траурном мае цвела/Прямо против окна, где когда-то/Он поведал мне, что перед ним/Вьется путь золотой и крылатый,/Где от Вышнего волей храним».*

Современная критикесса, глубоко чтимая мной за ум и нешуточную эрудицию, по-моему, чрезмерно мудрит, когда в эссе «Бой бабочек» пишет, что, согласно стихам Ахматовой, Пастернак не был провидцем, что ассоциация со слепым царем Фив не случайна и что у него «не получилось легкости пути — «золотого и крылатого»», а был он перед гибелью выставлен как безумец, как городской сумасшедший. «Сумасшедшая липа», по Н.Ивановой, — символ «расцвета вопреки». Спору нет, поэтические образы многозначны и кто-то увидит в ахматовской липе одно, а кто-то — другое. К тому же «безумие» в библейском смысле не всегда порок; вспомним апостола Павла: «если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым» (Кор. 3, 18). Согласна: свистошляска вокруг имени великого поэта ускорила конец, и смерть его может быть приравнена к гибели. Но не «городским сумасшедшим» — я вижу его провидцем и победителем. Пусть не в быто-

вом — в евангельском смысле. Будто о нем сказано Христом: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16,33).

Уподобление Бориса Пастернака Христу может показаться дерзостью. Сколько было за две тыщи лет больших и даже великих поэтов, а Тот, Кто победил мир, один. Но Б. П. в своем «Гамлете» не стыдится — вслед за Библией — произнести моление о чаше. В трех синоптических Евангелиях Христос просит Бога пронести мимо него «чашу сию». Ночь. Гефсимания. В этом селении под Иерусалимом, действительно, был сад, гефсиманский сад. Ученики, которых он взял с собой, уснули, а Он, продолжая «скорбеть и тосковать», произносит: «Отче мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф.26, 37,39). У Марка, чье Евангелие считается первым по времени написания, о том же самом сказано чуть иначе: «Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк.14, 36).

Поэт почти слово в слово повторяет евангелиста Марка.

Гамлет

*Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отгалоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я — один. Все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.*

Судя по всему, нам, перекочевавшим из достопамятного двадцатого века в начало следующего тысячелетия, предстоят не меньшие испытания, чем поколениям отцов, дедов и прадедов. Только характер их изменился. Если раньше зло прикидывалось добром и на эту наживку клевали даже мудрецы, даже гении, то теперь зло настолько

обнаглело, что и не думает натягивать обманную личину. Оно требует, чтобы его приняли безоговорочно, потому что оно — азартный игрок без правил; современное казино — весь мир; ставка — человеческая жизнь...Люди так устроены, что могут пережить почти всё, но не обуглится ли в прижизненной геенне их душа, не покинет ли ее вера? Что ж, заострим сердце мужеством, как советует отечественное «Слово» и, прирав к живой воде пастернаковской поэзии, будем по-прежнему вершить подвиг сестры нашей — жизни.

Глава двадцать первая

«ЗА ВСЕХ РАСПЛАЧУСЬ, ЗА ВСЕХ РАСПЛАЧУСЬ...»

(В. Маяковский)

Собрались недавно в одном уютном московском доме по случаю 1 Мая поэты и поэтессы. А если точнее, поэт был один — Александр Михайлович Ревич, участник Великой Отечественной, лауреат госпремии по литературе за переводы француза XVII века д'Обинье, гугенота, живописателя религиозных войн. Из трех пишущих дам одна я помнила Отечественную войну 1941–1945 годов, хоть и видела ее глазами детской памяти. Ну, раз симпровизировалось такое неожиданное общество, раз за праздничным столом дружески сошлись старший товарищ и младшие подруги, я возьми да и пожалуйся: надо писать для моей книги главу о Библии и Маяковском, а я в растерянности; слишком навязли в зубах его зарифмованные агитки; да и вообще как ввести в христианский контекст «агитатора, горлана-главаря», что делать с его богоборчеством?..

О, как разгневался Александр Михайлович! Как он, при всей своей незлобивости, стал рьяно спорить со мной, явной недоучкой в области религии и поэзии!

— Богоборчество — не атеизм! — восклицал наш горячо верующий ветеран. — Атеисту не с кем бороться, потому что вокруг него пустота. Богоборец же уверен: Он есмь и человек — недаром его образ и подобие... Вспомни библейского Иакова! Он схватился с Всевышним как с реальной противостоящей силой, но Священное Писание считает его одним из патриархов...

И полились на нас ползабывтые или никогда ранее не читанные, полные пламенного религиозного духа маяковские строки.

Поделом мне! Грех судить о великом поэте, оставаясь в школьных или даже институтских рамках...

В главе о Тютчеве¹ я цитировала то место из Книги Бытия, где речь идет о Иакове, о том, как «боролся Некто с ним, до появления зари» (32, 24). Классик XIX века уподобил Иакову Ломоносова, завоевавшего для России просвещение. Такой подвиг, по Тютчеву, не проходит безнаказанно. Иаков остался «с поврежденным бедром», Ломоносов умирал, «зловещей думою томим». Но оба могли сказать о себе библейскими словами: «...я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя» (Быт. 32, 30).

¹ См. страницу 100.

Во имя чего же боролся с Высшей силой Маяковский? Противник жестких схем, Александр Михайлович просто читал и читал наизусть большие куски из «Облака в штанах», «Флейты-позвоночника». И, как это обычно бывает, стихи если и не ответили на мой вопрос, то перевели разговор совершенно в другое поле. Поле не ненависти, а любви. К людям, человеку, женщине. Уже придя домой и взяв с полки первую книжку трехтомника из малой серии Библиотеки поэта, я точно погрузилась в лирический поток моей юности.

Как поверхностно воспринимала я поэзию в свои 17–20 лет! Читала, но вычитывала совершенно не то, что вкладывал в свои стихотворные крики «архангел-тяжелоступ», как провидчески сказала о нем Цветаева. Она же, потрясенная самоубийством того, кто, согласно своему имени, должен был «володеть миром», раньше многих поставила правильный диагноз: он умер от любви. По ее мнению, величайший поэт революции (слова из советской газеты) и влюбленный самоубийца — два взаимоисключающих начала. Столкнувшись друг с другом, они дали «короткое замыкание».

«Любовная лодка разбилась о быт» — эти слова берет М. Ц. эпиграфом к одному из семи стихотворений своего реквиема Владимиру Владимировичу. Горько иронизирует: *«И полушки не поставишь/На такого главаря./Лодка-то твоя, товарищ,/Из какого словаря?»* Находит для выражения своих чувств к поэту смысловой перевертыш: *«враг ты мой родной»*. Возвращается к эпиграфу из его предсмертного письма: *«Никаких любовных лодок/Новых нету под луной...»* Но даже Цветаева не могла угадать всей правды, прячущейся за необозримым словом «любовь».

...Когда уходящая — от него и со сцены истории, а может быть, и от самой себя — Вероника Полонская закрыла снаружи дверь его рабочей комнаты на Лубянке, раздался выстрел.

Рок сыграл в русскую рулетку: револьвер с единственным патроном в барабане выстрелил. И сделал своё черное дело, материализовал стихотворные строки: *«Все чаще думаю —/не поставит ли лучше/точку пули в своем конце./Сегодня я/на всякий случай/даю прощальный концерт»*. Написано в 1915 году! За 15 лет до гибели.

Теперь ему, вечно тридцатилетнему, было бы почти втрое больше лет. Так стоит ли гадать, сам он это сделал или ему помогли, попутно сняв с души грех самоубийства? Он уже не слишком был нужен партийным верхам. Засвидетельствовал «оптимистическую трагедию» построения социализма в одной отдельно взятой стране — и хватит с него! Чрезмерно рьяных свидетелей убирают. Соображение серьезное, приходило кое-кому на ум и в тридцатом году, а в наше время идейного брожения сверху донизу — тем более. Вот ведь даже бле-

стящий «профи» Лев Аннинский в телевизионной версии «Серебра и черни», говоря о Маяковском, допустил, что убийца сидел и ждал. Ждал ухода женщины. Но, любя парадоксы не меньше истины, объективный Лев Александрович тут же дал слово (если можно так сказать о покойнице) В. Полонской: «Никого постороннего не могло быть никак...Надо было знать его кабинет...»

А что если нечистый подсовывает нам разночтения поэтовой судьбы, чтобы отвлечь от главных вопросов: так ли велик Маяковский, как мы привыкли думать, прозорливее он или слепец, имеет ли он право на наш пристальный интерес, когда рухнуло виртуальное здание Дворца Советов, на верхних этажах коего он занимал не последнее место?..

Спешу покаяться: я никогда не любила Маяковского. И не потому, что не разделяла его политических взглядов. Четких политических взглядов в жадной до поэзии юной поре у меня вообще не было. А вот веру в светлые идеалы, которыми до сих пор потрясают на демонстрациях упрямые несчастные старики, мне успели привить, как прививают к дичку мичуринский сорт наливных яблок (увы, половина плодов оказалась из воска). Какой же дурак станет отрицать, что мир лучше войны, что посадить сад на месте помойки — благое дело, что приятнее въехать в новую отдельную квартиру, чем прозябать в коммуналке и т.п. Такой вот прикладной характер пропаганды за советскую власть.

Не любила я автора канонических стихов и поэм из-за рубленого, грубого, как мне казалось, стиха. Из-за нагромождения метафор, каких-то чужих, топорных, взятых из незнакомого обихода. Он, видимо, был слишком мужчиной, а я, видимо, слишком женщиной. Освященная Пушкиным любовь, томительная и горькая, была для меня предпочтительнее той, «пограндиознее онегинской» (что за чушь!), которую с энтузиазмом сулил в будущем Маяковский.

Что бестрепетные составители школьных, институтских, концертных и прочих меню заставляли всех без изъятия *любить* выгодного для агитпропа сочинителя «партийных книжек», — общеизвестно. Но тут срабатывал инстинкт самосохранения: вы мне — Маяковского, а я себе — Бальмонта (или Есенина, или Гумилева, или еще кого-нибудь *неугодного*).

Думаю, дурную услугу оказали поэту и его многочисленные чтецы-интерпретаторы. Победители всесоюзных конкурсов и абитуриенты театральных вузов, с пеньельным или воронным крылом наискосок лба, с ногами, расставленными на ширину плеч, с ладонями, судорожно сжатыми в кулак, вольно или невольно штамповали некую чугунную фигуру. В ней так мало оставалось человеческого.

Но были же и серьезные исследователи, порядочные «веды», которые извлекали на свет загнанного в угол поэта и демонстрировали:

смотрите, как он хорош, какие невиданные доселе в поэзии образы и ритмы, какие ассонансы, как он любил лошадей, родину и Лилю Брик! Этих глотали и конспектировали в духоте читального зала, чтобы прилично сдать экзамен и никогда больше к ним не возвращаться.

Какая утонченная пытка для поэта! Какое многократное погребение!..

Где-то с середины восьмидесятых уже прошлого века посыпались столетние юбилеи крупных русских поэтов: Кюев, Хлебников, Ходасевич, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Есенин... вплоть до Заболоцкого. Похоже, особенно жарко пригревало сто с лишним лет назад солнышко, особенно грозно проступали на нем темные пятна, потому и родилась блестящая поэтическая плеяда с такими судьбами, что не привидятся и в страшном сне...

И Маяковскому пробило сто, и его судьба завершилась крестом. Но юбилей что-то прошел тихо, как-то стыдливо прошел юбилей. Даже чуткий Владимир Корнилов, несомненно, знавший, кто из поэтов сколько стоит, посетовал, что нельзя его пропустить, «замотать, как день рождения, когда нету денег или никого не хочешь видеть...» (Покуда над стихами плачут. М. Academia, 1997).

И мне стало больно за Владимира Владимировича и ... за своих товарищей. Если с любимцем Пастернака и Цветаевой так быстро расправились, что же будет с моими дорогими «поэтами-шестидесятниками»?..

После «накачки» Александром Ревичем села я за работу, обложилась книгами и распечатками, чтобы не изобретать велосипеда, когда на велодорожках нет пустого места от следов шин... И вот тут мне стало по-настоящему плохо. Маяковского не просто не любили — его изничтожали, смеялись над ним. Ему, кумиру других поэтов-кумиров, отказывали в самом малом: желании читать и понимать его стихи.

Скандално известная книга о Владимире Маяковском принадлежит перу Юрия Карабчиевского. Ей можно было бы дать подзаголовок: *роман без вранья*. Читателям старшего поколения, должно быть, памятна шумевшая в своё время, а с теперешней точки зрения почти невинная одноименная книга о Сергее Есенине его друга Анатолия Мариенгофа. Но ту писал современник, приятель. Между автором «Воскресения Маяковского» и его героем пролегла эпоха. Без особой натяжки ее можно назвать *маяковской* эпохой. Чуть ли не с ясель миллионы людей, в том числе и совершенно глухие к поэтическому слову, слышали стихи В. М., читали стихи В. М., зубрили их, писали по ним сочинения, оспрашивали ими свои доклады и повседневную жизнь.

Карабчиевский не щадит своего героя. «Поэт обиды и жалобы» — это самое мягкое, что о нем сказано в книге «Воскресение Маяков-

ского». Обвинения автора растут, как снежный ком: «От обиды — к ненависти, от жалобы — к мести, от боли — к насилию»; «Отрицательные ужасы» «Войны и мира», положительные ужасы «Облака в штанах» и «Ста пятидесяти миллионов», отрицательные, а также положительные ужасы внутри чуть не каждого стиха и поэмы... Ужасы, ужасы...»; «Революция явилась для Маяковского благом, прежде всего, в том оздоровительном смысле, что дала его ненависти направление и тем спасла его от вечной истерики»; «А еще Революция дала ему в руки оружие. Раньше это были только нож и кастет, теперь же — самые различные виды, от «пальцев пролетариата у мира на горле» до маузера и пулемета. Он и пользовался ими отныне по мере надобности, но всем другим предпочитал — штык...»

А вот о другом, но и об этом — тоже. В наш бесстыдный век уже, не смущаясь, пишут, что неудовлетворенная сексуальность, подавленная сексуальность, разумеется, при слабом духовном противовесе, — частая причина агрессии и ее наивысшей, наиболее отвратительной формы: неуправляемого желания всё крушить и губить с поистине сатанинской злобой. А Маяковский, оказывается, не был уверен в себе как мужчина. Не исключено, что Лиля Брик — первая женщина, с кем он смог преодолеть свой подростковый ступор.

Всё это утверждается не голословно. Подбираются убедительные цитаты. Автор «Воскресения» — и сам поэт, пишет горячо и искренне, несомненно, владеет словом. Книга выношена, выстрадаана. Хотя при чтении мне не раз казалось, что через комплексующего героя Ю. К. пытается излить и что-то собственное, затаенное.

Не буду больше травить свою и чужую душу. Ниспровергателя Маяковского нет в живых. Он ушел из жизни самовольно, может быть, неосознанно желая *попасть туда*, где волею судеб оказался его герой. Слышала, что он всё дальше и дальше отходил от своей книги, что ему милее были те, кто с ней не согласен, чем читатели-почитатели. Мир праху его!..

Бенедикт Сарнов, многознающий и многоуважаемый друзьями и недругами мастер вскрывать гнойные нарывы литературы, не так давно издал эксклюзивную книгу: Владимир Маяковский. Люблю. М.: Книжная палата, 1998. Это выбранные места из океана сочинений В.М.: стихи, отрывки из поэм, писем, воспоминаний. Очень личное «сарновское» объяснение в любви, выдержавшей испытание временем. По мнению автора, Ю. К. цитировал «то, что ему было нужно по смыслу (...) самые плоские, самые натужные, самые бездарные строки». Настоящий же Маяковский — «гениальный лирик, с огромной силой выразивший трагедию человеческого существования, неприкаянность, одиночество человека, затерянного в необъятных просто-

рах холодной, необжитой Вселенной». Сильно сказано! Однако многие ли прочитали эту книгу, смогла ли она сдвинуть стрелки общественного мнения на сто восемьдесят градусов?

Не один Карабчиевский так круто обошелся с Владимиром Владимировичем.

Листая книжные страницы, ловя по телевизору то действительно интересное, что иногда передают, понуждая распускаться, как цветок, компьютерные сайты, я узнала также, что богоборчество В. М. — «нервная игра не находящей себе место души», что поэт переживал «трагедию безлюбного существования». А что взять с того, кто «утопист, попавший в лапы собственной утопии»?.. Дальше — больше. «Все попытки превратить Маяковского в один из ярких символов русской литературы и водрузить на постамент одесную Пушкина не просто тщетны, но и неправомерны, — тоном, не терпящим возражений, как на генеральной ренетиции Страшного Суда, произносит автор еженедельной газеты интеллигенции «Культура» (женщина между прочим!). — Маяковского можно любить как гениального поэта и ненавидеть как певца большевистского террора». Ну, насчет «гениального» погорячились, мадам! Ибо «гений и злодейство...» — сами знаете...» «Упрощенный подход к теме и нарочито сниженный тон сочетаются в поэзии Маяковского с высоким техническим мастерством», — снисходит к отечественному корифею русскоязычный «Вечерний Нью-Йорк». Я, признаться, всегда считала, что формы без содержания не существует; стих, как человеческий эмбрион: пошло деление клеток — зародилась душа (или наоборот)... Когда-то Евгений Евтушенко написал прелестное стихотворение «Мать Маяковского». Но о нем, понятно, никто не вспоминает. Зато в связи с 40-летием поэмы «Братская ГЭС» критика волнует вопрос, «что Маяковский делал бы, доживи он до 1937 года? Евтушенко «не знает». Вернее, он знает, что любой разумный ответ упрется в стенку. Так что оставлена лучшему и талаптливейшему чисто поэтическая перспектива «скрежетать зубами», слушая, как «в черных воронках» «большевики большевиков везут».

Тут много суровой, неопровержимой правды. Правды-истины и правды народной, исторической. Но уж очень коробит с одной стороны прокурорский, с другой — ернический, издевательский тон. Зубоскалить по поводу Маяковского стало легко и почетно. Коли начали вспоминать классиков, то продолжим: «Чему смеетесь!.. — Над собою смеетесь!..»

Неудивительно, что и пынешние недоросли («На юбилей Маяковского, сайт Тинейджер.ру») пыжятся от самоуважения, выдувая из губ мыльные пузыри саркастического глубокомыслия: «Вот вы не знае-

те, а в 2004 году исполнится ровно 111 (...) лет с рождения Владимира Маяковского. Да-да, того самого здорового мужика, памятник которому стоит на одной из станций метро на зеленой ветке. Того самого, который написал нежно любимые нами “Стихи о советском паспорте”. Того самого, который разбивал свои стихотворения на лесенки, после чего ни один нормальный человек читать это не может, глаза разбегаются, и вообще, как Маяковского можно понимать?! (...) “Тебе нравится Маяковский? — удивленно вскидывали брови все мои знакомые. — Как, тебе, нежной, хрупкой, романтической девушке, нравятся “слова — судороги, слившиеся комом?” “На что я показывала знакомым язык и с выражением читала: “Эй! Господа! Любители святотатств, преступлений, боен!” (...) Как-то, начитавшись “Облака в штанах”, так прониклась духом советской эпохи, что долго не могла прийти в себя, обнаружив в ближайшем ларьке мандарины...”

«Не поздоровится от этаких похвал...» — ненароком вступает в нашу беседу третий классик. Романтическая барышня или вовсе не читала «Облако в штанах», или смотрела в книгу, а видела... неизвестно что. Поленилась даже взглянуть на даты написания поэмы: 1914 — 1915. При чем же тут «советская эпоха»?!

Татьяна Бек со смехом сквозь слезы цитирует в «Независимой газете» школьное сочинение: «Знакомясь с творчеством Маяковского, понимаешь, что он сумасшедший. Потому что только больной человек может замаскировать свой бред под творчество» («Ex Libris» № 30, 2004).

Пафос отторжения столь велик, что трудно его перешибить. И думаешь: не начать ли с азов, чтобы растопить чужое сердце, — с той Володиной колыбельки, которую видела я когда-то в его музее, в грузинском Багдади (Маяковском). Не знаю, носит ли по-прежнему этот город имя свергнутого с пьедестала поэта... После потока патки в адрес В.М. льется и льется едкий яд. И хочется вместе с наследником чемпиона по книжным тиражам Евгением Александровичем воскликнуть: *«Граждане, послушайте меня!»*

Ведь совсем недавно что-то такое не банальное, очеловечивающее о Маяковском пошло мне на глаза... Вспомнила! Книга брата Пастернака Александра Леонидовича. Он учился в одном классе с Владимиром и сумел написать о нем с искренней симпатией. После ранней и нелепой смерти отца-лесничего семья Володи переехала из Грузии в Москву. В пятой мужской классической гимназии странноватого новенького, державшегося от всех в стороне, прозвали Одноглазым Полифемом, — в классе как раз проходили «Одиссею» Гомера. И вот однажды...

«Оглянувшись и убедясь, что никто в класс не вошел и что никто за нами не наблюдает, он, заговорщически, заторопясь и понизив го-

лос, стал что-то говорить, одновременно расстегивая борт куртки; затем — быстрым движением — вытащил из внутреннего бокового кармана маленькие черные часики на черной же цепочке, сплетенной из конского волоса (...) “Эту цепочку, — прошептал он, — сплел мне на память отец! Своими руками!” (...) по всему — как любовно ее отстегивал, как бережно держал ее, мне передавая, как глядел на нее — и на меня, ожидая моего ответа, своими большими, темными и грустно-ласковыми глазами; как говорил он об умершем отце — по всему этому явственно проступало особое, нежное, ему дорогое, чувство и отношение к этому дару на память (...) Секунду — не дольше — длилось его преобразование. Я увидел душу — Полифема! В нелюдимом, мрачном обычно бирюке, в отщепенце, этом поистине Полифеме — вдруг на миг чудесно раскрылась мне тщательно скрываема, добрая, ласковая и глубокая нежность (...) Нежность, почти девичья!..» (А. Пастернак. Воспоминания.)

Гимназии Маяковский не закончил. Ушел в революцию. А оказался... в центре новой поэзии, нового литературного движения. Многие исследователи уверены, что без него не было бы футуризма. Сам он так не считал. Известно его братски-любовное отношение к Велимиру Хлебникову. Да и других футуристов и близких к ним авторов (Д. Бурлюк, В. Каменский, А. Крученых, Б. Лившиц и пр.) он признавал и поддерживал, рыцарски пренебрегая разностью в количестве и качестве отпущенного природой дара.

«Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», «Война и мир» (последнее слово через «и» с точкой, т.е. Вселенная) — в предреволюционную эпоху прозвучали ошеломляюще. Ничего подобного не знала великая русская поэзия. Действительно, «архангелом-тяжелоступом» мог казаться Марине Ивановне автор этих как будто с неба свалившихся поэм. С обезбоженного Неба на грешную, залитую кровью землю.

Представьте себе: вам 22–25 лет. Вы — недоучка, по чувствуете в себе, как герой Лермонтова, «силы необъятные». Вы любите женщин(у), но одна вас не любит, а другая любит не так, как вы заслуживаете. К матери вы уже воззвали: *«Мама!/Ваши сын прекрасно болен! Мама!/У него пожар сердца!»* Мать и сестры сострадают вам, но языки внутреннего пожара уже лижут небо. Есть ли там кто-нибудь, кто способен слушать?.. «Бог умер» — провозгласил Ницше, и вы с этим готовы согласиться, но что-то в вас протестует. Когда вы творите — пером ли, кистью ли, карандашом ли, когда громогласно читаете на публику свои стихи, — в вас вселяется некая частица Бога, вы сами становитесь богом, хотя бы на миг заполняя нестерпимую брешь в Небе.

И вот у вас вырываются на свет строки об адекватности человека и Господа, как будто невинные, бесспорные — не о том ли толковали высоколобые мужи, вроде французских энциклопедистов и иже с ними? Только потом станет ясно, что из этого проистекает...

Человекообожествление, оно же человекобожество, просачивается во всё, что есть вы.

В личную жизнь:

«Мария!/Поэт сонеты поет Тиане,/а я — /весь из мяса,/человек весь — /тело твоё просто прошу,/как просят христиане/”хлеб наш насущный/даждь нам днесь”».

В публичные чтения предреволюционной поры:

«Это взвело на Голгофы аудитории/Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,/и не было ни одного,/который/не кричал бы:/”Распни,/распни его!”/Но мне —/люди,/и те, что обидели,—/вы мне всего дороже и ближе./Видели,/как собака бьющую руку лижет?!»

В самовосприятие и самоощущение:

«Я, воспеваящий машину и Англию,/может быть, просто,/в самом обыкновенном евангелии,/тринадцатый апостол./И когда мой голос/похабно ухает —/от часа к часу,/целые сутки,/может быть, Иисус Христос нюхает/моей души забвудки».

Это далеко не самые хлесткие строки раннего Маяковского. Каждый непредвзятый читатель легко обнаружит в названных поэмах и эпатаж, и хулиганство, и самовосхваление, и вызов, брошенный небесам, и чудовищную смесь молитвы и анафемы, и горькую издевку над Создателем. Всё доступно и всё дозволено богоподобному человеку!

Но есть там и другое:

«Если правда, что есть ты,/боже,/боже мой¹,/если звезд ковер тобою выткан,/если этой боли,/ежедневно множимой,/тобой ниспослана, господи, пытка,/судейскую цепь надень./Жди моего визита./Я аккуратный,/не замедлю ни на день./Слушай,/всевышний инквизитор!/... Или вот что:/когда душа моя выселится,/выйдет на суд твой,/выжмурясь тупенько,/ты,/Млечный Путь перекинув виселицей,/возьми и вздерни меня, преступника...»

¹ Придерживаюсь написания советских изданий. — Т. Ж.

Какие развернутые во всю ширь мироздания метафоры рождаются в его необъятном сердце! Какие космические образы!

Премудрые богословы пытались понять, откуда в человеке-твари вспыхивающая по временам, испепеляющая всё и вся ненависть к Творцу. Возвращались к Адаму и Еве, пожелавшим по наущению Сатаны «быть как боги, знающие добро и зло» (в этом в сущности и состоит первоначальное грехопадение). Вместо вожаемой свободы потомки первой пары, — а что всё человечество произошло от одной супружеской пары, уже признано наукой, — получили рабство у греха. И потомственный грешник, если только он не упорствует в своем отъединении от источника жизни, чувствует беспокойство, тревогу, а то и ощущает себя преступником. «Если ты грешешь, что делаешь ты Ему? — рассуждает один из друзей библейского Иова. — И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты Ему?» (Иов. 35, 6). Не судья и тем более не «инквизитор», Господь неуязвим для человеческих стрел, но они, подобно бумерангу, возвращаются к стрелцу, неся ему гибель.

Пастернак пронизательно увидел в Маяковском, которого высоко ценил как поэта, памяти которого посвятил великолепное стихотворение, натуру, родственную герою Достоевского Родиону Раскольникову. Я бы продолжила эту мысль. В. М. открыл в самом себе тип человека, как будто меченного с рождения, страшного своей искренностью и требованием справедливости, без руля и без ветрил в привычном понимании этих слов, но «упертого» в одну идею: полного переоборудования этого обветшавшего и кровожадного мира. Под эгидой любви, разумеется. Любви ко всему человечеству, *вынужденной* пройти через ненависть. Именно люди этого типа стали двигателями истории в XX столетии.

О цене, которую придется заплатить за эксперимент, думали немногие.

А Маяковский — думал ли?..

С началом Первой мировой войны богоборческие настроения В. М. как будто получают мощный противовес. Весь пафос его антивоенных стихов и поэм — христианский. Неизжитое чувство греховности — тоже христианское. Он готов взять на себя всю вину за совершаемое воюющими сторонами зло:

*«Люди!/Дорогие!/Христа ради,/ради Христа/простите меня!..»,
«Кровь! Выцеди из твоей реки/хоть каплю,/в которой невинен я...», «Встаньте,
/ложью верженные ниц/оборванные войнами/калеки лет!/Радуйтесь!/Сам казнится/единственный людоед...»*

Видно, и сама я была во время оно чрезмерно романтической девушкой, а может, и «кисейной барышней», если в зацитированном стихотворении «Вам!» не увидела ничего, кроме грубости и точек вместо нецензурного слова. Надо было однажды вспомнить и закрепить в памяти, как пятилетней, цепляясь за мать, скользила я в противобомбную щель-убежище, надо было жизнь прожить в ареале «атомного чемоданчика», завершать ее под убийственную скороговорку и варварские картинки «теленостей», чтобы понять всю гневную правоту поэта: *«Знаете ли вы, бездарные многие, / думающие, нажраться лучше как, — / может быть, сейчас бомбой ноги / выдрало у Петрова поручика?»*

Но... В той же поэме «Война и мир», из которой взяты мной строки покаяния за многих бездарных, слепых, равнодушных, есть некий контрапункт; с него начинается старый-новый Маяковский: *«Вытеку, срубленный, / и никто не будет, / некому будет человека мучить. / Люди родятся, / настоящие люди, / бога самого милосердней и лучше»*...

Раз люди, настоящие или грядущие, «милосердней и лучше» Бога, создадим на месте дыры новую религию! Со своим всевышним, со своими ангелами, со своими ритуалами, со своей... библией.

Богоборчество никуда не делось. Оно лишь перетекло в другую форму.

Поэт не скрывал своей антицерковности — скорее бравировал ею: *«Я двадцать лет не ходил в церковь. / И впредь бывать не буду ни в каких церквях»*.

Еще в трагедии «В. Маяковский» двадцатилетний автор писал: *«Придите все ко мне кто рвал молчание / Кто выл оттого, что петли полдней туш / Я вам открою словами простыми как мычание / Наши новые души гудящие как фонарные дуги»* (так в первом и репринтном издании, — Т. Ж.). Бросается в глаза словесное и интонационное совпадение со словами Христа: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...» (Мф. 11, 28)

Там же ключевые понятия евангельского обихода переосмыслены и введены в довольно темный, по смыслу и цвету, контекст: *«Зачем мудрецам позремушек потеха / Я тысячелетний старик / И вижу в тебе на кресте из смеха / Распят замученный крик»*.

Если бы Маяковский задал себе вопрос, подобно братьям Стругацким, «Легко ли быть богом?», полагаю, он ответил бы на него отрицательно.

Не могу с точностью указать, когда на место «Я» поэт поставил «Мы»; но факт, что Октябрьский переворот должен был снять с его плеч давящую тяжесть. Новую религию не надо было придумывать — она уже давно существовала: марксизм. Она требовала не доказательств — только уверенности в своей правоте и одушевления. У нее был свой «ягве» —

Карл Маркс. Свой человекобог — Владимир Ильич Ленин. У нее были тьмы приверженцев. Она победила в одной отдельно взятой стране, но должна была победить в масштабах всего мира.

Листая хрестоматийного Маяковского, нередко натыкаешься и на другие откровенные или приглушенные отголоски Книги книг.

«Конечно, почтенная вещь — рыбачить./Вытащить сеть./В сетях осетры б!/Но труд поэтов — почтенней паче —/людей живых ловить, а не рыб...»

«Сеть», «лов» не рыб, а людских душ — всё это вызывает четкие ассоциации. Христос говорит Симону после неожиданно удачного улова, испугавшего рыбаков обилием рыбы: «...не бойся; отныне будешь ловить человеков» (Лк. 5,10).

Еще пример... *«Двери в славу—/двери узкие,/но как бы ни были они узки,/навсегда войдете/вы,/кто в Курске/добывал железные куски».*

К словам «Курске», «куски» не так уж много созвучий, но автор, поистине эквилибрист высокого класса по части рифм, видимо, их и не ищет. Сходу берет «узкие», «узки» — и сразу возникает реминисценция из Евангелия от Матфея: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не многие находят их» (7, 13,14). Согласитесь: узкие «двери в славу» звучит довольно странно. На чеканный маяковский стиль непохоже. Видимо, он не замечает несамостоятельности и снижения образа. А если и замечает? Переосмысленное для курских пролетариев евангельское выражение есть что-то конкретное, общественно полезное, и оно вытесняет в сознании В. М. весьма туманное обещание узкого пути, ведущего человека в христианскую жизнь.

В произведениях, посвященных Ленину, библейских отголосков особенно много. Да и как могло быть иначе, если поэт еще в 1920 году объявил: *«Я/в Ленине/мира веру/славлю/и веру мою»?* Раз вера мира и вера автора окончательно переместилась с Творца неба и земли на творца Октября, а тот возьми да и умри, вечность ему обеспечена: *«Залили горем./Свезли в Мавзолей/частицу Ленина—/тело./Но тленью не взять—/ни земле,/ни золе—/первейшее в Ленине—/дело./Смерть,/косу положи!/Приговор жив./С таким/небесам/не блажить./Ленин — жил,/Ленин — жив,/Ленин будет жить».* Забурывая эти строки в школе, мы, разумеется, не подозревали, что обетование вечной жизни дано еще в Ветхом Завете (Ис. 25, 8; Ос.13,13–14), подтверждено Христом: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6, 47). Что о тленном и нетленном, смертном и бессмертном две тыщи лет назад без малого поведал миру апостол Павел:

«Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну:

не все мы умрем, но все изменимся(...) Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему — облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: "Поглощена смерть победою"» (1Кор.15,50–51,53–54).

Мне возразят: у Маяковского это — поэтические образы. Согласно. Но церковные образы у антицерковника вносят смуту в читательскую душу. Всё время чувствуешь подмену.

Отдадим должное поэту: он стоял за иллюзию Царства Небесного на земле насмерть. И добровольно принял гибель, когда, согласно предсмертному письму, оказалось, что он «с жизнью в расчете». Именно с жизнью, а не женщиной, ибо в первом, рожденном еще летом 1929 года варианте стиха значилось: «с тобой мы в расчете». Что автор вкладывал в понятие «жизнь», с которой он рассчитался таким непоправимым образом, осталось как-то в тени. Но одно дело — «перечень/взаимных болей, бед и обид», причиненных ему возлюбленной, и совершенно другое, если речь идет о жизни.

Стихи-агитки, стихи-плакаты Маяковского (а таких у него слишком много) не прошли контрольного пункта времени. Правда, КПРФ у нас в стране всё еще существует. Недавно она раскололась, и молодая бойкая партийная дама объявила во всеуслышание, что создается новая партия марксистско-ленинского типа. Не исключаю, что ее правоверным членам позарез нужен будет весь Маяковский, в полном объеме. Ну и пусть себе читают и шагают «левой, левой, левой». Или теперь им предписано сменить ногу?..

А если *без предписаний* — что в тринадцатитомном собрании сочинений Владимира Владимировича пережило автора и вошло, надеюсь, в золотой фонд русской поэзии? Прежде всего стихи и поэмы о любви. Они составляют один, но увесистый том. Это — немало! Вспомним, что от иных талантливых стихотворцев остается тонкая книжница или всего несколько строк...

В ранней любовной поэме «Флейта-позвоночник», привычно впав в непопозволяемый, с ортодоксально-религиозной точки зрения, раж, молодой Маяковский как-то внезапно и почти по-детски, когда накажут за дело, приходит в себя, будто очухивается от глубокого обморока:

«Вот я богохулил./Орал, что бога нет,/а бог такую из пекловых глубин,/что перед ней гора заволнуется и дрогнет,/вывел и велел: люби!»

«Такая», что «перед ней гора заволнуется и дрогнет», — это, конечно, Лиля Брик. В 1915 году, когда поэма написана, поэт с ней впервые встретился и полюбил любовью, о которой судить не берусь. Не наше

дело распутывать клубки из серебряных и золотых нитей, режущих до крови. Наше дело — как можно бережнее касаться того, что называется сердцем поэта и состоит из вещества как будто земного, однако и небесного тоже, присущего очень тонкой материи. Феномен, доступный одной лишь поэзии, — это когда нервно-сосудистый, с бляшками от всего пережитого, жизненный клубок становится шаровой молнией стиха.

Удивляет не то, что «*красивый, двадцатидвухлетний*» поэт встретил и полюбил женщину своей судьбы — удивляют амплитуда и неизменность его чувства. От почти брезгливости («*Тебя пою, /накрашенную, /рыжую*»), почти ненависти («*Какому небесному Гофману /Выдумалась ты, проклятая!*»), горькой жалобы на «*обокравшую*» его сердце, «*вымучившую*» душу «*в бреду*» — до обожания, обожения, присягания в верности навсегда (все цитаты — из «Флейты-позвоночник»). Налицо два преображения: ее — его любовью и его — возможностью этого чувства, колдовской силой любви. Так что, когда В. М. пишет: «*Может быть, от дней этих, /жутких, как штыков острия, /когда столетия выбелят бороду, /останемся только /ты /и я, /бросающийся за тобой от города к городу*», — он дает верный прогноз...

Пожалуй, ни о ком из воплощенных муз русской поэзии XX века столько не говорили и не спорили, сколько о Лиле Юрьевне Брик. А много ли мы о ней знаем? Справедливы ли мы к ней?.. В девичестве Лили Каган (названа так начитанными родителями по имени одной из возлюбленных Гете). Из обрусевшей еврейской семьи. Родилась в Москве, окончила одну из лучших частных гимназий. Так преуспела в математике, что для аттестата зрелости специально сдавала ее в Лазаревском институте для мальчиков. Училась на Высших женских курсах, потом в архитектурном институте. Поехала в Мюнхен постигать искусство скульптуры. Занималась балетом, сыграла балерину в картине Маяковского «Закованная фильмой». Работала в кино, оставила живые мемуары...

С Осипом Максимовичем Бриком познакомилась в отрочестве; он вел в ее гимназии кружок политэкономии. Полудетская любовь вылилась в брак. Всесторонне одаренная Лили изначально имела особо редкий талант — любить и быть любимой. Очарованный Осип писал родителям о своей невесте: «...она меня любит так, как, кажется, еще ни одна женщина на свете не любила». Впрочем, заботливая и знающая жизнь мать Лили, чтобы подсластить первую брачную ночь, поставила на столик около постели новобрачных лакомства и фрукты... Узнав об этом через годы, непреклонный Маяковский разразился яростными обвинениями: «*В грубом убийстве не пачкала рук ты. /Ты /уронила только: /"В мягкой постели /он, /фрукты, /вино на ладони ночного*

столика». И отсюда максималистский вывод: «Любовь!/Только в моем/воспаленном/мозгу была ты!/Глупой комедии остановите ход!/Смотрите/срываю игрушки-латы/я,/величайший Дон-Кихот!» («Ко всему», 1916)

Да, характер у него был не сахар, и отвечать ему полной взаимностью было трудно.

Влюбленность в Маяковского-поэта постигла супругов Брик, когда они услышали в его исполнении «Облако в штанах». Никто не хотел печатать эту поэму. Она вышла на средства Осипа Брика в сентябре 1915 года тиражом 1050 экземпляров с печатным посвящением: «Тебе, Лиля». Автор русифицировал имя своей прекрасной дамы. Под этим именем она и осталась.

«Володя не просто влюбился в меня — он напал на меня, это было нападение, — писала впоследствии Л. Б. — Два с половиной года не было у меня спокойной минуты — буквально».

Скрывать свое чувство Маяковский не мог — не в его натуре было скрываться. Его любовь к замужней женщине стала обрастать махровыми сиренями. С годами они превратились в дремучий лес...

Беру превосходно изданный однотомный словарь «Кто есть кто в России и бывшем СССР» (М.: Терра—Тегга, 1994). Смотрю: Брик Лиля. «Летом 1915 встретила Маяковского и вскоре стала его близкой подругой». Л. Б. пишет другое: «Только в 1918 году я могла с уверенностью сказать О.М. (мужу, — Т.Ж.) о нашей любви». Снова обращаюсь к словарю: «В 1926–30 в квартире в Гендриковском переулке у них был любовный треугольник». Не правда! «С 1915 года, — сообщает Л. Б., — мои отношения с О. М. перешли в чисто дружеские, и эта любовь не могла омрачить ни мою с ним дружбу, ни дружбу Маяковского и Брика». Настаивает: «Мы с Осей больше никогда не были близки физически, так что все сирени о «треугольнике», «любви втроем» и т.п. — совершенно непохоже на то, что было». К тому же, замечу от себя, переулок Гендриков, а не Гендриковский, — Т. Ж. Далее по словарю: «Осенью 1928, после встречи Маяковского с Татьяной Яковлевой в Париже, отношения между ними прекратились». Нет, они прекратились гораздо раньше. Дотошный составитель, автор вступления и комментариев к книге «Любовь — это сердце всего», впервые вышедшей на русском языке в Стокгольме в 1982 году, а теперь и в Москве, Бенгт Янгфельдт говорит о семи годах их интимной близости, и у нас нет оснований ему не верить. Всё это как будто мелочи, и касаются они двоих. Но если в маленькой энциклопедической заметке столько неточностей, каким же грузом ошибок отягощено представление обычных читателей!

Названная выше книга вмещает 115 писем и телеграмм от Маяковского к Брикам, а также письма и телеграммы к нему от Бриков. Чи-

тать их и сладко, и жутко, и больно. Не потому, что адресатом этих посланий была какая-то Мессалина или, ближе к советскому говорку, вертихвостка, как, возможно, думают люди плохо осведомленные. А потому, что яснее ясного становится: земной любви поставлены на этом свете жесткие пределы. Она всегда натывается на стенку в груди другого человека. Ее пачкают, ее не щадят окружающие. Любовь — это самое труднодоступное чувство на свете и наименее ценимое, как это ни странно. Она всегда в дефиците.

Есть в письмах Маяковского то серьезное, мужественное, сокровенное, что добавляет вполне определенные, редкостные и трогательные взрослые штрихи к увиденному когда-то в «Одноглазом Полифеме» его одноклассником.

«Любовь — это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все пр. Любовь это жизнь, это сердце всего (...) Без тебя (не без тебя «в отъезде», внутренне без тебя) я прекращаюсь» (письмо 113; сохранены орфография и пунктуация автора).

«Делай как хочешь ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит». (143)

«Каждому надо что б у него был человек — а у меня такой человек ты. Правда». (221)

Есть в письмах узнаваемые детали литературно-командировочного характера, — за десятки лет мало что изменилось на этом фронте! Нельзя сказать, чтобы «первый поэт масс» катался как сыр по просторам родины чудесной:

«Надоело — масса бестолковщины. Устроители молодые. Между чтениями огромные интервалы и ни одна лекция не согласована с удобными поездами. Поэтому вместо международных ездю положив под голову шаблонное с клещами звезд огромное ухо». (221)

Но в целом беспощадно ясно: поэт рано лег на дно, закрылся ото всех, годами таился даже от «своего человека». Чтобы не напороться на ответную душевную черствость? Не обидеть, не встревожить, не причинить ей боль? И то, и другое, и третье, и десятое. Последней правды мы никогда не узнаем.

Как будто преданные ему Брики проглядели своего Володю. А кто из нас не проглядел кого-то из дорогих и близких?.. Особенно тяжело читать его телеграммы из Москвы и их открытки из Европы в последние дни жизни В. М. Укоренившийся в переписке шутовской тон, все эти «Володик», «Волосик», «щенятки», рисунки собак и кошек в конце письма оскорбляют скорбь. На открытке, посланной Л. Б. и О. Б. из Амстердама 14 апреля 1930 года, поля цветущих гиацинтов. Как будто заготовка для посмертного венка...

Только поэзия сохраняет любовь в первозданном виде. Только поэзии дано это хрупкое и неуловимое чувство увековечить.

Одно из лучших любовных стихотворений XX века «Лиличка! Вместо письма» написано в 1916, а напечатано лишь в 1934 году. Лет двадцать назад его принесла домой и прочла мне «с выражением» моя юная дочь. Умная учительница нашла способ приобщить старшеклассников к поэзии Маяковского, не вызвав у них отвращения, наоборот — пробудив интерес к поэту. Хочу привести тут это стихотворение целиком.

*Дым табачный воздух выел./Комната—глава в крученыховском аде./
Вспомни—за этим окном/впервые/руки твои, иступленный, гладил./Сего-
дня сидишь вот,/сердце в железе./День еще—выгонишь,/может быть, изру-
гав./В мутной передней долго не влезет/сломанная дрожью рука в рукав./
Выбегу,/тело в улицу брошу я./Дикий,/обезумлюсь,/отчаяньем иссежусь./Не
надо этого,/дорогая,/хорошая,/дай простимся сейчас./Все равно/любовь моя—
тяжкая гиря ведь—висит на тебе,/куда ни бежала б./Дай в последнем кри-
ке вырветь/горечь обиженных жалоб./Если быка трудом уморят—он уй-
дет,/разляжется в холодных водах./Кроме любви твоей,/мне/нету моря,/а у
любви твоей и плачем не вымолишь/отдых./Захочет покоя уставший
слон—царственный ляжет в опожаренном песке./Кроме любви твоей,/мне
нету солнца,/а я и не знаю, где ты и с кем./Если б так поэта измучила,/он/
любимую на деньги б и славу выменял,/а мне/ни один не радостен звон,/кро-
ме звона твоего любимого имени./И в пролет не брошусь,/и не вытью яда,/и
курюк не смогу над виском нажать./Надо мною,/кроме твоего взгляда,/не
властно лезвие ни одного ножа./Завтра забудешь,/что тебя короновал,/что
душу цветущую любовью выжиг,/и суетных дней взметенный карнавал/рас-
трепет страницы моих книжек.../Слов моих сухие листья ли/заставят
остановиться,/жадно дыша?//Дай хоть/последней нежностью выставить/
твой уходящий шаг.*

26 мая 1916, Петроград

В сравнительно недавние времена в официальной печати явно поощрялась и раздувалась тенденция: притушить роль Бриков в жизни и творчестве Маяковского, а то и свести ее на нет. Доходило до курьезов: на одной из известных фотографий путем плутовской ретуши Лилю отсекали от Владимира, от нее остался только...каблук. Кому-то было выгодно навесить на них всех собак — за его неортодоксальные выходки, его вызывающие связи, потрясшее многих самоубийство. Только бы не бросить тени на власти предержавшие. Не запачкать белоснежных риз советской идеологии, советской печати. Объективный маяковсковед, Б. Янгфельд, пишет: «Нет оснований идеализировать их жизнь, но еще меньше оснований соз-

нательно умалять роль Л. Ю. и О. М. в жизни Маяковского и любовь Маяковского к Л. Ю.»

Недавно один уважаемый историк и телеведущий, анализируя с голубого экрана события 1930 года, много внимания уделил Маяковскому и его окружению, за что, конечно, спасибо. Лилю Брик он разоблачил как сотрудника ОГПУ и даже сообщил номер ее удостоверения. Пусть так! Образ возлюбленной В. М. не стал от этого тусклее — только сложнее, драматичнее. Рискну предположить, что Евангелие от Иоанна годится и на этот чрезвычайный случай: «...кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (8,7).

Лиля Брик немало сделала для Маяковского при его жизни и своим письмом к Сталину обеспечила его посмертную литературную судьбу...

А теперь картинка из литературного быта недавних десятилетий... Середина 70-х. Иду по садовой дорожке от дома творчества «Перedelкино» и встречаю Бориса Абрамовича Слуцкого (Замечу, что в письме к сестре, Эльзе Триоле, Лиля Юрьевна отозвалась о нем так: «Человек он удивительный, лучший из всех, кого знаю»). Б. А. говорит мне, что привез «на показ» Лиле Брик поэтессу Людмилу Олзеву. И добавляет (чтобы меня не обидеть?), что Лиля Юрьевна падка на всякую экзотику. Да, у Люси Олзевой при явно выраженной бурятской внешности (режиссер Сергей Герасимов недаром снял ее в фильме «У озера») русская культура, русские стихи, прекрасная русская речь. Экзотично!

— Где она? — спрашиваю нетерпеливо, имея в виду не Люсю, которую хорошо знаю, а ту, про кого «Лиля, люби меня!» выкрикнутое на всю страну и шире — на весь европейско-американский мир.

Б. А. машет рукой в сторону боковой аллеи.

Иду туда нарочито медленно, будто прогуливаясь. Увидев на скамейке сухую нарядную старушку (ей было уже за восемьдесят), здороваюсь и хочу пройти мимо. Не зная меня, не подозревая, что я проделала этот короткий путь ради нее, Лиля Юрьевна вскидывает на меня глаза, полные такой заинтересованности, такой неподдельной радости от встречи, что я невольно останавливаюсь. Нет, нет! Это — не мне! Она всех так приветчает. Она всех готова любить, что сводило с ума Маяковского.

«Яркие жаркие глаза» — эти слова Николая Асеева абсолютно точны. Лучше не скажешь.

Больше я ее не видела. Увезли ли ее из дома творчества, сама ли я уехала — теперь уже не припомнить. А если бы каждый день сидела она на той скамейке? Подошла бы я к ней, заговорила бы первая? Едва ли. Ибо могу повторить за Беллой Ахмадулиной: «*Но я чужда привычке современной/Налаживать контакт несообразный*».

В 1978 году Лили Брик не стало... В книге Аркадия Ваксберга, «Лили Брик», по моему мнению, захватывающе интересной (М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998) героиня предстает как женщина-миф на фоне тоже уже мифологического времени.

Поэмы «Флейта-позвоночник», «Люблю», «Про это», стихотворение «Лилечка! Вместо письма...», — это, действительно «Песнь торжествующей любви», не по Тургеневу, с его мечтательно-меланхолическим XIX веком за плечами, а по Маяковскому, с его — глаза в глаза, брови в брови — двадцатым веком, крутым, жестоким, скудным на чувства, но если уж расчувствуется, даст себе волю, то хоть святых выноси...

Так вот что он имел в виду под словами «пограндиознее онегинской любви»? А я не поняла...

Меня всегда трогала наивная и чистая фраза из поэмы «Про это»: «*Она красивая—/ее, наверно, воскресят...*» Но воспринимала я ее как поэтическую фигуру, не больше. И только познакомившись с трудами Николая Федорова, поняла, что якобы материалист, якобы безбожник, поэт вкладывал в нее вполне реальную, хоть и безумную для здравого смысла надежду. Еще конкретнее и потому безнадежнее звучит строфа с просьбой о собственном воскрешении: «*Воскреси/хотя б за то,/что я/позтом/ждал тебя,/откинул будничную чушь!/Воскреси меня/хотя б за это!/Воскреси—/свое дожить хочу!*»

Но к кому зывает поэт, не к любимой же! Она сама стоит «в очереди» на воскрешение, и еще неизвестно, воскресят ли даже ее, красивую... К Создателю? Нет, это было бы не по-маяковски... Возвращаюсь к нужному фрагменту поэмы, внимательно перечитываю. Оказывается, адресат — товарищ химик ХХХ века: «*Вот он,/большелобый,/тихий химик,/перед опытом наморщил лоб./Книга—/«Вся земля»— /выискивает имя./Век двадцатый./Воскресить кого б?»*

Считая себя человеком верующим, православным, не могу уверовать в искусственное механическое воскрешение умерших — лишь робко уповаю на него и отношу его к Божьему соизволению в конце времен. Но в нашей, человеческой власти воскресить в творчестве Владимира Владимировича то нетленное, что из чувства ли противоречия, из желания ли возвыситься за счет чужого унижения, напрочь зачеркивается чрезмерно приткими гробовщиками от поэзии ...

Итальянский филолог и священник Э. Гуидубальди, автор апологетической книги «От Маяковского к Дантовскому Интернационалу» (двуязычное издание вышло в Москве, в «Прогресс-Академии» в 1993 году), не в пример российским хулителям, поднимает нашего героя выше всех поэтов последних столетий, находит убедительные параллели между ним и великим творцом Возрождения, автором «Божествен-

ной комедии» Данте Алигьери. Догадываюсь, что само слово «Интернационал» давно скомпрометировано в глазах моих читателей. Спешу их успокоить: имеются в виду не Первый лондонский Интернационал (К. Маркса), не Второй, парижский, не Третий, ленинский, коминтерновский, а Интернационал *революции духа*. Причем *революционной женственности*, воплощенной для Маяковского в Лиле Брик, его путеводительнице, его Беатриче, отводится в нем чуть ли не главенствующее место.

Всё это труднодостижимо для нас, живущих совершенно в другой системе философских и нравственных координат, но, наезжая на *вышедшего из моды* поэта, не худо все-таки знать, что думают о нем добросовестные и непредвзятые исследователи за рубежом.

А вот что писал о Владимире Владимировиче известный польский поэт, критик, эссеист Виктор Ворошильский: «...он умер из-за любви (...) Он не сумел помешать торжеству нелюбви в мире и убедить общество коммунистической России в том, чтобы оно приняло и распространило по всему земному шару утопию всемирной любви, о которой он мечтал. Те же источники, которые питали его поэзию, которые питали то, что было в ней большого и неповторимого, содержали в себе ростки его трагической судьбы, его поражение и самоуничтожение».

Кому-то может показаться странным название главы: «*За всех расплачусь, за всех расплачусь*». По-моему, Маяковский, действительно, расплатился за всех соблазненных современников, угрожав большую часть своего непомерного творческого дара (бывает же «непомерная тяжесть») на филигранную выделку тех вещей, что еще при жизни первых поколений его читателей оказались на свалке истории.

Можно сказать, что с первым глаголом все ясно. Ну, а со вторым?

Лиля Брик писала, что, когда после вынужденного (это была ее инициатива) двухмесячного разлучения душ и тел они встретились в купе поезда Москва-Петроград и В. М. начал читать ей только что законченную поэму «Про это», он заплакал. Нет, он не был похож на Горького, пускавшего слезу так часто, что редкий мемуарист не вспоминает об этом. Уверена, что в случае Маяковского можно говорить о «скупой мужской слезе».

Откуда же это «расплачусь?.. Оплакивать дореволюционную жизнь ему не приходило в голову, потому что по отношению к ней он был настроен резко отрицательно с самого начала. Оплакивать любовь к женщине? Но в стихах и поэмах двадцатых годов любовь, как правило, дается в мажорном ключе, даже если ускользает, баррикадируется от него, не оправдывает надежд, вынуждает делиться с другим или другими. Оплакивать безвременно ушедшего вождя революции и про-

летариата? Нет причины: ведь он «*живее всех живых*»; он был, есть и будет. Может быть, товарища Нетте? Тоже нет: умирая, тот воплотился в пароход, заслужил у народа и правительства посильное бессмертие. Тогда Есенина? Но собрату по поэзии там едва ли не лучше, чем здесь: «*Летите, в звезды врезываясь...*»

Предвижу возражения, но рискую предположить, что В. М., в конечном счете, оплакивал... Христа, двухтысячелетний отход мира от Христа. Человек нецерковный, богохульник в открытую, когда был молод, равнодушный к вере, когда стал тем, кем стал, — Владимир Маяковский, как мало кто из поэтов, страдал от катастрофического несовершенства быта и бытия, от извращенности человеческих отношений, от забвения основных Христовых заповедей. На его глазах, при его активнейшем участии окружающий мир был потрясен до основания глашатаями и делателями неслыханной новизны. Но по-прежнему не было ни вокруг, ни в нем самом ни чистоты, ни милости, ни миротворчества. Не было Любви. А жгучая, гиперболизированная тоска по ним была.

Не потому ли: «*Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень/взаимных болей, бед и обид*»?..

И последнее, о чем хочется сказать. Многим памятна посмертная фотография Маяковского в виде мирно спящего, по-своему прекрасного человека. Даже Пастернак, видимо, попался на эту удочку, раз написал в «Смерти поэта»: «*Ты спал, постлав постель на сплетне,/Спал и, оттрепетав, был тих...*» Но была еще одна фотография, где поэт запечатлен в подлинной посмертной позе. Ее успел убрать тот или те, кому было поручено привести тело великого певца социализма в надлежащий порядок.

Автор «Дантовского Интернационала», писатель и священник Э. Гуидубальди пишет: «То была фотография мертвого поэта в позе Христа: раздвинутые под распятие руки и ноги, лицо с отчетливым выражением ужаса, губами, застывшими в крике, схожем с последними словами умирающего Иисуса: «Господи, для чего ты оставил меня!»

Нынче, безусловно, не юбилей, да Маяковский, как известно, презирал юбилей.

Но никогда не поздно испросить прощение за злые передержки у одного из самых своеобразных и страстно жаждавших Преображения всего сущего русских поэтов, которого подвергли при жизни голгофе бездумного славословия, а после смерти — голгофе словесного линчевания.

Так, может быть, его посмертная поза распятого Христа была не случайна?..

Глава двадцать вторая

♦ «ГОСПОДИ!» — СКАЗАЛ Я ПО ОШИБКЕ... ♦

(О. Мандельштам)

Позвонили по телефону или от кого-то услышала, что вышел, наконец, в большой серии «Библиотеки поэта» долго скрываемый гений. Элемент случайности был несомненно. Потому что подхватила, побежала в ближайший к дому книжный магазин, где, конечно, ничего. От людей узнала: ждут завтра утром. И раненько, еще в промозглой мгле, стояла, как штык, у запертых дверей. В толпе таких же, как сама: нечиновных, неблатных, кому рассчитывать можно только на быстроту реакции и собственные ноги.

Моего отца к тому времени уже не было в живых. Он-то, завзятый книжник, всё ведал наперед, загодя знакомился с планами издательств (выходили такие брошюры для широкого пользования). Всю жизнь занимался грузовыми перевозками, а за хорошими книгами охотился. Вкус к чтению, видимо, привила дореволюционная классическая гимназия. И обо мне заботился: все-таки дочка — литератор. Поздняя дочка — значит, и волнений больше, и заботы больше. Выйдя на пенсию, дежурил перед открытием то одного, то другого книжного. На Гурького, на Пушкина, на Моховой, на Кировской. Если «выбрасывали» новую новинку, немедля становился в очередь, ревниво следил за порядком. Книг пускали в продажу всегда меньше, чем число желающих их купить. Стоили они дешево. Тогда, в конце 50-х — начале 60-х, спекуляция на этом фронте еще стыдливо пряталась. Да и не было в семье таких денег, чтобы покупать по взвинченным ценам даже шедевры. Книжники всегда были начеку: перезванивались, передавали по цепочке, что где ожидается. Писали от руки списки. Выставляли часовых. Получить два экземпляра было невозможно. В одни руки — только одну книгу!

Дочь своего отца, я терпеливо ждала открытия магазина. Хлынули к прилавку, теснясь и волнуясь: где же он, где? У продавщицы — неприступный вид. От нее — ни словечка. Шум за спиной, разнотолки. Со склада привезли всего десять, нет, тридцать, а может, и все пятьдесят «мандельштамов». А хвост очередюги уже на улице. Достанется ли?... Достался, достался! Прижимаю взятый с бою том к груди, не очень толстый, — половину, небось, выкинули. Скорей, скорей домой — и погрузиться в синий однотомник, как в синий океан. Как был бы счастлив папа. Он ждал книги О. М. с 59-го года! А на дворе — 1973-й...

Мои сведения о Мандельштаме были отрывочны. Знала, что поэт первого ряда, вровень с моими любимыми. Что петербуржец, учился в Тенишевском училище вместе с моим дядей, и Виктор Максимович первый написал о нем. Однажды, ночуя на даче в Комарово, попросила у В.М. Ж. разрешения взять в свою комнату первый том американского издания и читала полночи. «Там много ошибок! — предупредил меня хозяин. И поморщился, словно от зубной боли. Хотя, чуждый любой необъективности, тотчас отдал издателям должное: — Но это пока единственный полно изданный Мандельштам...

Мне ошибки не были видны. Легкая привилегия невежды. Только теперь, сравнивая то издание с последующими, вижу, какой невольный урон в ряде случаев был нанесен поэту. Издатели-эмигранты Глеб Струве и Борис Филиппов это сознавали. Им же пришлось иметь дело с неканоническими редакциями стихов, с машинописными и самиздатовскими копиями. Сличая их, они стремились установить наиболее «мандельштамовский» текст. И, как правило, это удавалось. Спасибо им от всех тех, кто тогда же прочел и стихи, и прозу О. М., постарался вникнуть в серьезный литературоведческий комментарий! Такого поэта надо читать многократно. Издатели— эмигранты проторили к нему дорогу.

Трудный поэт. Непривычный. И внешне не очень располагающий. Это тебе не венецианец эпохи Возрождения — Блок, не златокудрый Лель — Есенин, не вычеканенный, точно на коллекционной монете, Пастернак.

А как его прославляла в стихах Цветаева: *«Чьи губы бережные трогали/Твои ресницы, красота?/Когда, и как, и кем, и много ли/Целованы твои уста —/Не спрашиваю. Дух мой алчущий/Переборол сию мечту./В тебе божественного мальчика/Десятилетнего я чту...»* Цитирую так, как издавна помню наизусть. В Интернете и одном авторитетном издании — другой вариант, но его пусть запомнят новые поколения. ВВ текстологам: не всегда последующая авторская редакция совершеннее предыдущей; тут надо думать и думать... Та же Марина Ивановна — в прозе: *«У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда...»*

Одно из стихотворений О. М., посвященных Марине, начинается эпатажной строкой, как будто по нашей теме: *«Не веря воскресенья чуду,/На кладбище гуляли мы./ — Ты знаешь, мне земля повсюду/Напоминает те холмы...»* Написано в 16-м году, после того, как уже известный поэт, «молодой Державин», по словам щедрой Цветаевой, гостил у нее в *«темной, деревянной и юродивой слободе»*.

Мне не раз случалось бывать в бывшей Александровой слободе, теперешнем городе Александрове, Владимирской области, где ежегодно проходили летние цветаевские праздники. Посетителей вели в скромный музей, показывали любовно сделанную местными ревнителями экспозицию. Веточка искусственной глицинии переносила в Коктебель, где летом 1915 года Марина познакомилась с Осипом. Плохие по качеству, но бесценные по содержанию фото шестнадцатого года передавали сугубую домашность загородного быта сестер Цветаевых, впечатывали в память их молодые образы, до *всего*, что потом случилось с ними и их близкими, лица их мужей и детей: девочки Али и мальчика Андрюши.

Как-то в начале 90-х поехал с нами и сын Анастасии Ивановны Цветаевой, Андрей Борисович Трухачев, было ему тогда под восемьдесят. Странно было совмещать оба его лица, детское, на музейной фотографии, и стариковское, слышать его всё еще бодрый голос, толковавший о том, что где-то здесь схоронена библиотека Ивана Грозного. В гулком коридоре переходивших из одного в другое исторических времен эхом звучал для меня его вопрос, когда-то обращенный к Мандельштаму: «Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?»

Давно известно: «от двух до пяти» все дети талантливы. Все охотно пробуют на вкус слова материнского языка, без всяких понуканий становятся языкознатцами и языкотворцами. Но сохраняют эту способность и проносят ее через жизнь единицы. «Дядя Ося» — из их числа.

«Только детские книги читать, / Только детские думы лелеять, / Все большое далеко развеять, / Из глубокой печали восстать...» — эти строки семнадцатилетнего Осипа я воспринимаю как необременительное, человеческое и поэтическое, кредо, как золотой шов, соединяющий детство и то неумолимое, что наступит потом. Замедлить шаг, задержаться взглядом на этой чудной вазе («Цветочная проснулась ваза / И выплеснула свой хрусталь»), на этой фарфоровой тарелке с «отточеным и мелким» узором. Именно «мелким», потому что первой поре жизни присущи эта здоровая близорукость, эта неутолимая любознательность: разглядывать микромир как ошеломляющее открытие.

Помню, как еще в школьные годы меня поразило четверостишие:

*Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тепелький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.*

Это тоже было сказано по-детски — грамматически неправильно, но ярко и точно.

Четыре строки про бисквит приводились, сколько мне помнится, как пример художественной вольности в старом «Словаре поэтических терминов». Фамилию поэта, не входившего в школьную программу, я не запомнила, а строки запомнила. С четырнадцати лет они живут во мне...

Кто склонен влюбляться в стихи, едва ли найдет у других авторов столько подходящих объектов, как у Манделштама. Я особо не выбирала, но почти все строфы, на которых открылась книга, как марки с водяными знаками: на просвет видно больше, чем миолетному взгляду. А достоинство такой «марки» как раз в водяных знаках.

*Душный сумрак кроет ложе,
Напряжённно дышит грудь.
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.*

*... Упасть на древние плиты
И к страстному Богу воззвать,
И знать, что молитвой слиты
Все чувства в одну благодать...*

*Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Лёгкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу...*

*О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!*

*Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.*

Третью строку последнего восьмистишия я сочла возможным вынести в название этой главы. «Как же так? — пожмет плечами ортодоксальный читатель. — Неужели будущий великий поэт, воспитанный в традициях великой русской литературы, таким изящным способом утверждает своё безверие или, во всяком случае, свою неспособность к вере в Бога — основному вопросу человеческой жизни?».

Не нахожу ни того, ни другого в этих волшебных стихах. Давно замечено: между безверием и верой лежит туманное, зыбкое пространство. Немногие его минуют или преодолевают в один-два перехода; некоторые застревают посередине навсегда. Поэтом уловлен тот несказанный миг, когда жажда веры, врожденная потребность в вере опережают волевой шаг к вере. Сделать его или не сделать, быть или не быть? Неужели воззвать к Господу — значит, совершить ошибку? Божье имя не просто вылетело из груди автора — оно оставило позади себя пустоту. «Пустая клетка» тут воспринимается и как вместилище «большой птицы» — имени Божьего, и как «грудная клетка» — вместилище сердца, души.

Есть у раннего О.М. и другие строки о «пустоте» — антипode веры: «Я вижу месяц бездыханный/И небо мертвенней холста;/Твой мир болезненный и странный/Я принимаю, пустота!»; «Кружевом, камень, будь,/И паутинной стань:/Неба пустую грудь/Тонкой иглою рань.»/»Паденье — неизменный спутник страха,/И самый страх есть чувство пустоты...»

Завороженные звучанием стихов, мы не всегда глядываемся в даль и глубь содержания.

«Чтоб тебе пусто было!» — говорим мы в сердцах, не задумываясь об ужасе такого состояния. Пусто в душе — пусто вокруг; пустота притягивает подобное; всякий вакуум охотно заполняется чернотой. Библия недаром многократно говорит о «пустоте»...

«Земля же была безвидна и пуста» (Быт. 1, 2) — до начала всех начал, до сотворения. Вышней волей она стала обитаема, и залита светом, и заполнена людьми и другими тварями. За непослушание, за «гордое упорство» Творец грозит человеку карой: «Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши (...) Опустошу землю *вашу*, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней (Лев. 26, 31, 32). Изливая ветхозаветную ярость на врагов своих, псалмопевец обращается к Богу с гневной мольбой: «Жилище их да будет пусто» (68,26)... Потом эти суровые пожелания отзовутся в Новом Завете: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 38; Лк.13, 35). Последние слова обращены Христом к Иерусалиму, побивающему пророков камнями.

Не хочу логически спрямлять сложный и мучительный, судя по всему, процесс обретения Осипом Мандельштамом христианской веры. В еврейской среде, откуда он вышел, такой шаг считался конформистским, если не предательским. Для нас важно, что это произошло, и сделано было... На сей счет существуют разные мнения, но мне думается, больше по внутренней потребности, чем из карьерных или любых других внешних побуждений. Иногда О. М. сближают с Генрихом Гейне, тоже принявшим в сознательном возрасте лютеранскую веру. Недавно я слышала такой пассаж: «Вот дедушка Генриха Гейне не крестился, однако ему всё в жизни удалось: путь наверх, уважение окружающих. А внук крестился, но тому даже профессуру в Мюнхенском университете не дали!»

Как там было с Гейне, пусть разбираются немецкие литературоведы. У нас же относительно О. М. есть личное свидетельство его жены Надежды Яковлевны Мандельштам, урожденной Хазиной. Отвечая на вопросы Элизабет де Мони (журнал «Континент» № 3), она коснулась и животрепещущей темы христианства.

Н. М.: — Он был христианин, он верил в Христа. Э. М.: — Когда он крестился: в детстве или уже взрослым? Н. М.: — Взрослым. Ему было около 22 лет. Всегда пишут: «для того, чтобы поступить в университет», но это чепуха, блата хватило бы. Он просто верил, и это, конечно, на меня тоже оказало влияние. Э. М.: — Вы верующая? Н. М.: — Да. Хожу в церковь..

Судить о религиозных чувствах ближнего, пытаться проследить его путь к вере и утверждение на этом пути — большой риск и заведомо нецеломудренное действие. У меня не вызывает сомнений, что христианин Мандельштам свое еврейство нес достойно; однажды на полном серьезе вызвал на дуэль Велимира Хлебникова, задевшего его национальные чувства. Есть стихи разных лет, которые варьируют иудейские, ветхозаветные мотивы: «*Мне стало страшно жизнь отжить...*», «*Эта ночь непоправима...*», «*Среди священников левитом молодым...*».

А разве ранние христиане отрекались от своего происхождения?..

Если разговор идет о вере поэта, естественно обратиться к его стихам, — так, пытаясь заглянуть внутрь помещения, приникают снаружи к окошку, не обязательно доверчиво распахнутому навстречу нашему любопытству. Мандельштамовские «окна» почти всегда затенены, почти всегда, чтобы увидеть, что там, в глубине, в святая святых, требуется немалое усилие со стороны читателя...

Предвоенными годами датированы вещи, которые только условно можно назвать религиозными: «Лютеранин», «Айя-София», «Notre Dame», «Епископа», «Посох», «Аббат». Выбор поэтом объектов «культурного назначения», та заинтересованность, с какой он пишет об «архитектуре духа» и его служителях, безусловно, говорит о многом. Но за торжественностью слога, за великолепием образов почти сходит на нет живое чувство веры. Перед нами, безусловно, алчущий все новых эстетических потрясений паломник, молодой человек с восприимчивой до болезненности душой и прекрасным художественным вкусом. Однако ради чего отправился он в это как будто нескончаемое паломничество? Слишком редко прорывается сквозь торжественный и мерный рокот строк нервный голос его души:

*И думал я: витийствовать не надо,
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рай, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.*

«Лютеранин», 1912 год

Все поименованные выше стихи — скорее гимн во славу культуры, «вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре», как писал О.М. в своем докладе «Скрябин и христианство» (другое название «Пушкин и Скрябин»). Доклад был прочитан в Санкт-Петербургском религиозно-философском обществе скорее всего в 1915 году. Рукопись сохранилась не полностью, но мыслей в ней непочатый край. Главная: искусство — «свободное и радостное подражание Христу», перед искусством не стоит задача искупления, ибо мир уже искуплен Христом. Художник — не раб и не проповедник. Божество играет с ним, как с ребенком, «позволяя блуждать по тропинкам мистерии», «чтобы мы (художники, — Т. Ж.) как бы сами от себя напали на искупление».

Говоря более привычным для нас языком, художник свободно и радостно повторяет в малом масштабе все этапы земной жизни и страстей Христовых: от Рождества через Распятие к Воскресению.

Осип Эмильевич не ошибся в отношении себя самого и еще многих, слишком многих выдающихся и рядовых современников. Выказанное в мажорном ключе прорицание обернулось для него жизненной трагедией. «Легкий крест», «тонкий крест» (повторяю эпитеты из ранней лирики Мандельштама) вырос в символ распятия, в орудие казни...

Молодой Осип Эмильевич, восходящее светило новой русской поэзии, искрометный собеседник, античник, западник, впитавший глубже, чем кто-либо из поэтов-современников мировую культуру и давший ей свободный доступ в свои стихи, до революционных потрясений 17-го года успел побывать в нескольких европейских странах. Полгода прожил в Париже, увлеченный французскими символистами. Недолго учился в Германии, в Гейдельбергском университете. Юрод теснил обилием камня: горные гряды, полуразрушенные крепостные стены, каменные дома, камнем мощенные мостовые. Не потому ли первая книга Мандельштама называется «Камень»? Университет славился своими преподавателями; учебные аудитории кишели студентами из России, в основном евреями, не уместившимися в прокрустово ложе процентной нормы. Публичные лекции по философии и истории собирали полные залы.

В первые же каникулы гейдельбергский студент отправился в Италию.

До сих пор точно неизвестно, был или не был он в Риме. Судя по чужим мемуарам — не был. Судя по стихам — был. Латинский дух, — назвать его католическим было бы неправомерно, — вольно дышит в его стихах 10-х годов.

*Поговорим о Риме – дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль и радуги висят.
На Авентине вечно ждут царя –
Двунадесятых праздников кануны –
И строго-канонические луны
Не могут изменить календаря.
На дальний мир бросает пепел бурый
Над форумом огромная луна,
И голова моя обнажена –
О холод католической тонзуры!*

Не забудем, что в Откровении апостола Иоанна *радуга* видится вокруг престола, стоящего на небе (4,3), что другого апостола, Павла, спасло от бичевания римское гражданство, а до того его гонители «метали одежды и бросали *пыль* на воздух» (Деян. 22, 23). С другой стороны, римские воины были среди главных отрицательных персонажей при Юлгофе, а теперь вот, распяв Царя Иудейского, «на Авентине вечно ждут царя»...те же римляне, может быть, их потомки... «Двунадесятые праздники» — это 12 важнейших православных

праздников, включающих в себя и Вход в Иерусалим, и Вознесение, и Троицу...

Как всегда, стих Мандельштама написан так густо, несет столько информации, что любое толкование остается личным риском толкователя. Впрочем, сам автор не любил субъективных интерпретаций стихов и писал в статье «Выпад»: «Критики как произвольного истолкования поэзии не должно существовать, она должна уступить объективному научному исследованию, науке о поэзии». Кажется фантазией, но факт: с годами стихи О. М. под пристальным взглядом становятся всё *галографичнее*, открываются, как бутон розы. Не потому ли растёт число мандельштамоведов, выходят всё более пухлые книги о нем, проводятся посвященные ему симпозиумы и конференции? Сейчас, по словам Павла Нерлера, одного из авторитетных специалистов, создается Мандельштамовская энциклопедия (типа Лермонтовской), — над ней работают влюбленные в материал исследователи, не менее пятидесяти человек.

Для меня было сюрпризом, что и школа занялась «разгадкой» его стихов — значит, востребован юными, ничем еще не замутненными мозгами. Газета для учителей и учеников «Литература» (главный редактор Геннадий Красухин) под рубрикой «Готовимся к сочинению» предлагала старшеклассникам разобрать с поэтической точки зрения восьмистишие 1914 года:

«Есть иволги в лесах, и гласных долгота/В тонических стихах единственная мера./Но только раз в году бывает разлита/В природе длительность, как в метрике Гомера./Как бы цезурой зияет этот день./Уже с утра покой и трудные длинноты;/Валы на пастбище, и золотая лень/Из тростника увлечь богатство целой ноты».

Подросткам задавалось десять вопросов, например такой: как можно объяснить строку *«Уже с утра покой и трудные длинноты»*? Хочу ученицей в такую школу! Хочу с ранних лет приучиться к художественной гимнастике ума, чтобы уже никогда не отходить от балетного станка интеллекта...

Но мы отвлеклись от латинского, читай староевропейского, духа мандельштамовских стихов...В римском цикле самым пророческим и ёмким представляется мне стихотворение «*Природа – тот же Рим...*» Отдаленная переключка с Тютчевым («*Не то, что мните вы, природа...*» и «*Природа – сфинкс...*») — только первый слой этого, точно сбитого из одних поэтических электронов восьмистишия. Девяносто лет прошло с момента его написания, но не стареет его смысл, не ветшает форма. Это, действительно, вечные стихи. Вечные стихи о Вечном городе:

*Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде фригии.
Природа – тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить:
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!*

У меня лично вызывают содрогание эти «внутренности жертв». Да, был в древности такой способ гадания, но у Мандельштама ударные слова всегда многозначны и многогранны. Развороченные взрывами трупы, то, что сейчас стыдливо именуется «фрагментами человеческих тел», предстают перед взором современного читателя. Не потому ли поэт так ненавидел, по свидетельству жены, всяческие кулинарные потроха? Его преследовали ассоциации...

Под стихотворением стоит 1914 год. С него-то всё и началось. Точно разверзлись врата ада и сбылось предсказанное евангелистом Матфеем: «...восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Мф. 24,7).

Сам Осип Эмильевич в Первой мировой войне не участвовал. Был освобожден от мобилизации в связи с «сердечной астенией». Царские законы оказались на стороне человека, а не государства. Больше в России таких милосердных времен не будет.

Рассуждая со знаком плюс или со знаком минус о главной русской революции в октябре 1917 года, мы все-таки не умеем встать на место ее современников. Не говорю — организаторов, активных участников, они-то ведали, что творят, или думали, что ведают. Но ведь и остальные люди, миллионы людей, живших на бывшей территории России, кроме разве каких-нибудь старообрядцев в избушке на курьих ножках, посреди непроходимой тайги («повернись, избушка, ко мне передом, к лесу — задом!»), вольно или невольно оказались ее участниками, быстро обнаружили себя втянутыми в ее воронку или мясорубку, — этот «кухонный» образ кажется мне точнее. Как встретили судный час своей судьбы?

Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминает, что само слово «революция» гипнотизировало культурных людей. «Такие стихии не совершают ошибок!» — уверенно писала Лариса Рейснер; в молодости О. М. дружил с красавицей Ларисой, печатался в ее журнальчике «Рудин»... Октябрь — третья вершина исторического похода к звездам, самая высокая и неприступная, — был обречен на победу.

Тональность стихов Мандельштама меняется. Он больше не паломник по святым местам. Он — свидетель затмения солнца и попятного движения как будто изменившей наклон своей оси планеты Земля.

*Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенёт.
Восходишь ты в глухие годы —
О солнце, судия, народ!
Прославим роковое время,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное время,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть — тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.
Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца и земля плывет.
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.*

1919

Стихи, известные многим, но от этого не менее загадочные. Сам автор указывал, что в процессе создания «Сумерек свободы» у него были «какие-то ассоциации с «Варягом». Что можно понять так: «корабль времени», государство, не сдается, хотя идет ко дну. Или поменяем порядок слов: идет ко дну, но не сдается.

А что это за «народный вождь», который «в слезах» берет на себя «роковое время»? Очень много сделавший для бессмертия Мандельштама в русской и мировой литературе Никита Струве склонен был считать, что это — Ленин. Но для меня, как, думаю, и для многих других российских читателей, Ленин и «слезы» не сочетаются. Убедительнее мне кажется комментарий А.Г. Меца (О. Мандельштам Полное собрание

стихотворений. СПб., 1995). К тому же он — прямо по теме нашей книги: «...образ исчерпывает мотивы двух библейских цитат из краткой речи патриарха Тихона, сказанной им 5(18) нояб. 1917 г.: «Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано: «Плач и стон и горе» (Иез. 2, 10)...Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в настоящую тяжелую годину! Подобно древнему вождю еврейского народа — пророку Моисею, и мне придется говорить ко Господу: «И почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего?..» (Чис. 11, 11)».

Знал ли поэт, что бремя народного вождя придется в той или иной степени разделить всем гражданам России, всем мужам и женам, в том числе и ему самому? Знал, не сомневаюсь. Еще в ноябре 1917-го он твердым пером, точно обмакнув его не в чернила, а в собственную кровь, писал:

*Кто знает, может быть, не хватит мне свечи,
И среди бела дня останусь я в ночи,
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову надену митру мрака.
Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове,
Чреватый слепотой и муками раздора,
Как Тихон — ставленник последнего собора!*

Тремя годами позже у него рождается откровенно библейское, а значит, противное новому режиму стихотворение, которое, однако, некоторые исследователи считают нацеленным на... Белое движение. В прижизненные сборники не входило.

*Где ночь бросает якоря
В глухих созвездьях Зодиака,
Сухие листья октября,
Глухие вскормленники мрака,
Куда летите вы? Зачем
От древа жизни вы отпали?
Вам чужд и странен Вифлеем,
И яслей вы не увидали.
Для вас потомства нет — увь,
Бесполоя владеет вами злоба,
Бездетными сойдете вы
В свои повапленные гробы.*

*И на пороге тишины,
Среди беспам'ятства природы,
Не вам, не вам обречены,
А звездам вечные народы.*

Справки требуют лишь «повапленные гробы». Согласно Словарю Даля, «вапить» — «красить». В Евангелии находим слова Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23, 27, 28).

В остальном «Где ночь бросает якоря...» — даже слишком понятное для Мандельштама стихотворение! По-моему, нападками на белое движение тут и не пахнет. За такие стихи можно было принять пулю в лоб на год раньше Гумилева. Расстрел Николая Степановича, единомышленника и друга, Осип Эмильевич переживал тяжело. Роковым двадцать первым годом помечено как будто *невинное* стихотворение О. М. «Умывался ночью на дворе...» Присоединяюсь к тем в корень смотрящим исследователям, кто связывает его с насильственным уходом Гумилева:

*Умывался ночью на дворе –
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч – как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.
На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова,
Чище правды свежее холста
Вряд ли где отыщется основа.
Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.*

Это двенадцатистишие, конечно же, выламывается из лирической зарисовки. И «грубые» звезды, и «соль на топоре», и соль-звезда, и беда, что «солёнее» предыдущих, и, наконец, суровая итоговая строка передают авторское потрясение от чего-то недавно пережитого. Какой нюх был у цензоров эпохи военного коммунизма! Один такой, просматривая гранки харьковского журнала с мандельштамовскими стихами, возопил: «Какая соль? При чем здесь топор? Ничего не пони-

маю! Что Ленин скажет?». Но тогда отвергнутое в одном месте стихотворение, могло еще быть напечатано в другом — например, в Берлине, в русском «Накануне». Вскоре и это кончилось...

В двадцать первом году пишется и стихотворение «Люблю под сводами седья тишины...» Сокровенно-религиозное по сути, почти державинское по форме. Необычна предыстория этих стихов. В феврале 1921 года петроградцы отмечали годовщину смерти Пушкина. Как известно, отпевать его в Исаакиевском соборе Петербурга было в свое время запрещено. Выражаясь словами Мандельштама, «Мраморный Исакий — великолепный саркофаг — так и не дождался солнечного тела поэта». Мандельштам захотел исправить эту несправедливость. Заказал панихиду, собрал в Исаакиевском соборе друзей и знакомых, раздал свечки. Он благоговел перед Пушкиным. Гюрдился некоторым внешним сходством с поэтом. Так что за кимвальным державинско-боратынским, но более всего мандельштамовским стихом стоит многое (подробнее см. в статье Ирины Сурат: «Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин», «Новый мир» № 3 (2003).

*Люблю под сводами седья тишины
Молельнов, панихид блужданье
И трогательный чин — ему же все должны —
У Исаака отпеванье.
Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе генисаретский фрак
Великопостный седмицы.
Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея голос сирый,
Смиренник царственный — снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.
Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И ризи Нового завета.
Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопasmурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим.
Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.*

Я целиком привела это стихотворение не только потому, что оно — по нашей теме, но и потому, что считаю его одним из лучших у поэта. Горькое пророчество о «*волчьем следе*», которому «*вовеки не изменим*», и теперь остается в силе. У О. М. со временем появился целый «волчий цикл» стихов, и «*век-волкодав*» в конце концов нашел на него управу. Как будто не нужно доказывать, что такие стихи могли родиться только у горячо верующего христианина (Никита Струве называет его иудеохристианином). Но, представьте себе, приходится.

— Что-что? Мандельштам был верующим? Никогда не поверю! Он же поэт. Говорят, великий. А вера — это шторы на глазах. Поэтам противопоказана.

— Вы говорите, он был христианин? Бросьте! Он же — еврей! А что крестился, это, знаете, ни о чем не говорит. Сколько иудея святой водичкой ни поливай, еврейства с него не смоешь...

Это только две реплики из услышанных мной после лекции.

Бог с ними, с оппонентами! Я о другом думаю. Какой опыт надо произвести над человеком, каким жестким излучением воздействовать на него, чтобы он неуклонно отходил и однажды отошел от живой веры? Не отрекся, нет, не изменил явно своим прежним убеждениям. А вот так: продолжал жить, отброшенный «отборной собачиной» нелюдей на обочину, видел себя околицованным волчьими следами и вдруг осознал, что веры больше нет, а если и осталось что-то на дне души, то это не помогает. Может быть, я ошибаюсь. Но так, похоже, случилось с Мандельштамом.

Он отнюдь не был завзятым диссидентом и тем, что уже в мое время одни — с презрением, другие — с пугливым придыханием называли «антисоветчик». Он был не выше этого, он был вне этого. Его поэтический гений взлетал над липучей паутиной границ, политических, национальных, профессиональных, где застревают даже сильные умы, вязнут свободные по духу натуры. Он любил жизнь, людей, Россию. Он хотел, а временами жаждал вписаться в новую действительность: «*Пора вам знать: я тоже современник, / Я человек эпохи Москвошвея, / Смотрите, как на мне топорщится пиджак, / Как я ступать и говорить умею! / Попробуйте меня от века оторвать, / Ручаюсь вам — себе свернете шею!*» Сначала вроде бы получалось. Переводил прозу и стихи с иностранных языков, ходил на службу, работал в «Московском комсомольце» с литературной молодежью. Меня тронули воспоминания полузабытых ныне литераторов «от сохи»: Н. Кочина, автора романов «Девки» и «Парни», тоже будущего *сидельца*, менее известного А. Глухова-Щурина. «Оказывать молодым людям добро, благодетельствовать им он считал как бы своим кровным делом», — пишет последний. «У вас на трамвай есть? Вы обедали сегодня? Вот возьмите — осталась мелочь...» Такое людьми не забывается.

А сам-то?.. Глубокое разочарование во всем, булыжник на сердце: *«Все думаешь: к чему бы приохотиться/Посреди хлопучек и шутих;/Перекипишь – а там, гляди, останется/Одна сумятица и безработица –/Пожалуйста, прикуривай у них!»*

Безнадежный жест рукой: в такой-то строфе нет рифмы? И не надо! Разве дело в рифме?! Пусть так и остается: *«Нет, не спрятаться мне от великой муры/За извозчицью спину Москвы./Я – трамвайная вишенка страшной поры/И не знаю, зачем я живу...»*

И обращенное к жене (так она считала), но и к себе тоже – исповедническое: *«Куда как страшно нам с тобой,/Товарищ большепотый мой!/Ох, как крошится наш табак,/Щелкунчик, дружок, дурак!/А мог бы жизнь просвистать скворцом,/Заест ореховым пирогом–/Да, видно, нельзя никак...»*

Если был у него перед замедленной и оттого еще более отвратительной государственной расправой глубокий вдох, освободивший от кислородного голодания кору больших полушарий, больное сердце, никогда не дремлющий дух, то это вдох протяженностью в двести дней, проведенных вместе с женой в Армении. Армения – страна древнего христианства, но, видимо, само это слово – христианство, без низвергающего эпитета, как и другие крамольные слова такого рода, сделали бы стихи непроходимыми. И появляется, возможно, подсознательно, *«звериное и басенное» христианство* (см. стихотворение № 7). А удачный зачин цикла (*«В год тридцать первый от рожденья века/Я возвратился, нет – читай: насильно/был возвращен в буддийскую Москву./*

А перед тем я все-таки увидел/Библейской скатертью богатый Арарат...») оказывается среди «Отрывков уничтоженных стихов».

Но все равно цикл стихов об Армении прекрасен. Спасибо кавказской земле, последней «загранице», приютившей поэта. После стихов и прозы об Армении его перестают печатать.

Из буддийской Москвы он теперь вырывался только стихами. Германия, Италия снова возникают в его работе начала тридцатых годов.

Как всё лучшее у поэта, стихотворение «К немецкой речи» писано страстно, безоглядно, – есть в нем что-то от последнего слова осужденного на смертную казнь. В автографе первоначально стояло четверостишие немецкого поэта XVIII века Эвальда-Христиана фон Клейста (не путать с Генрихом Клейстом, автором комедии «Разбитый кувшин!»), но потом автор убрал его сам. В переводе эпитафия звучит так: *«Друг! Не упусти в свете самое жизнь!/Ибо годы летят/И сок винограда/Недолго еще будет нас горячить»*. Э.-Х. фон Клейст погиб в Семилетней войне в бою с русскими войсками. Судьба немецкого собрата-офи-

цера ранила Мандельштама. Это ему, вернее, его романтизированному образу, отдана третья, может быть, самая вдохновенная строфа:

*Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера¹.*

Думаю, правы авторы книги «Миры и столкновения Осипа Мандельштама», когда убедительно и остроумно доказывают, что еще один поэт-офицер стоит за сценой этого стихотворения: Николай Гумилев (Г.Г. Амелин и В.Я. Мордерер. «Языки русской культуры». М.–СПб., 2000). В то время отец акмеизма был персоной нон грата, но ученики и сподвижники хранили ему благодарную верность.

*... Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?
Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.
Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык – он мне не нужен.*

«Бог Нахтигаль» — не какой-то языческий бог. По-немецки Нахтигаль — соловей. Образ вызывает из небытия еще одного поэта — Гейне, чье стихотворение «В начале был соловей...» повествует о соловье — искупителе лесных птиц. Итак, автор присягает на верность сразу трем поэтам: одному русскому и двум немецким. Присягает на верность дружбе (стихи посвящены биологу Б.С. Кузину; Пилад в греческой мифологии — верный друг). Присягает на верность «чужой речи»: поднятая иноязычными братьями до поэзии, она становится всемирной. И, как тот офицер, павший на поле сражения, как Николай Гумилев, расстрелянный по обвинению в контрреволюционной деятельности, Мандельштам готов принести себя в жертву неизбежному. Об этом — последняя строфа:

¹Церера — античная богиня плодородия.

*Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился. Слова шипят, бунтуют.
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.*

Не буду настаивать на своём, но тончайший намек на соловья-искупителя делает для меня это стихотворение религиозным. По-мандельштамовски причудливое, многослойное, оно несет в себе согласие на крест. Именно на свободное и радостное принятие креста, о чем поэт писал когда-то...

Он изучает итальянский язык, пишет стихи о русских и итальянских поэтах, воскрешает в прозе Данте, в стихах — Ариоста, переводит сонеты Петрарки. О Риме напишет позже, в воронежской ссылке, но это будет уже другой Рим, где правят бал «*италийские чернорубашечники-Мертвых цезарей злые щенки*».

Выше, говоря о Риме мандельштамовской молодости, я дважды упомянула прилагательное «вечный». Кто-то назовет его эпитетом и будет прав. «Вечные стихи», «вечный город», «вечное перо»... На этом свете нет ничего вечного; так что, в самом деле, это — *трон*, скрытый образ, выдающий желаемое за действительное.

Философское понятие «вечность» волновало поэта всегда.

*На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло, —*

написал он в девятнадцать лет (стихотворение «*Дано мне тело...*»)

Автор любопытного эссе о раннем Мандельштаме Сергей Стратановский («Творчество и болезнь», журнал «Звезда» № 2, 2004) считает, что его слабому здоровьем герою «очень важно уверить себя и других, что нечто важное им уже сделано». Мол, неровен час, он покинет этот свет, не реализовав и малой доли своих творческих сил. Так пусть останутся хотя бы юношеские стихи!

Я по-другому воспринимаю такие вещи.

Есть два несхожих взгляда на мир и на всё, что под ним подразумевается: взгляд с высоты птичьего полета и взгляд с точки зрения вечности. Окинуть панораму мироздания, ни во что особенно не вглядываясь, но получив верное представление в целом, — это пространственный взгляд. Считать, что время — деньги вечности, что, проживая кусок своей жизни, мы успешно или не очень стяжаем для неизвестной нам цели толику внежизненного, вневременного, но объективно существующего, — это временной взгляд.

Осипу Мандельштаму он был присущ изначально, может быть, даже до рождения. А «стекла вечности» — не только оксюморон, как утверждает Стратановский (они — хрупкие, недолгие, она — наоборот), но и символ прозрачности. Для вечности нет тайн, «нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано (Мф.10,26).

Именно в связи с «вечностью» хочется пригласить к нашему разговору поэта Константина Батюшкова. Необыкновенная тяга О. М. к старшему собрату отмечена многими. Общение с ним он когда-то начал и как задира, и как равный — тоже избранник муз.

*Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» — его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».*

Стихотворение 1912 года.

Кто как прочтет эти строки; я долгое время читала их от обратного. Подобная «спесь», казалось мне, едва ли могла быть противна Мандельштаму. Он и сам рвался вовне из земной клетки пространства-времени и вполне вещественное стихотворение «Адмиралтейство» («В столице северной томится пыльный топаль...») закончил десантом в бесконечность: «Сердито лепятся капризные медузы, / Как плуги брошены, ржавеют якоря — / И вот разорваны трех измерений узы / И открываются всемирные моря». В конце концов в спеси упресли и самого Осипа Эмильевича. Вспомним гордо «отвернутую» голову! Да и что такое в сумме заносчивость и упрямство, мимо которых не прошли мемуаристы, как не спесь?

Интересна жизненная подоснова шестистипия. Рассказ-анекдот доктора Антона Дитриха, пользовавшего Батюшкова, известен по-немецки. Поэта спросили «Was zeigt die Uhr?» («Сколько на часах?») И получили ответ: «Die Ewigkeit», то есть «Вечность». Тут, как видим, отсутствует слово «здесь». Неужели оно понадобилось только для рифмы?

Или «здесь» — означает, на земле, в этом эоне, в здешнем временном измерении?..

Сейчас некоторые поэты, чтобы прослыть «смысловиками», легкомысленно играют словом «вечность», забывая, что некоторые слова нельзя произносить всуе. Не к ним ли, не к нам ли относится слишком поспешно реабилитированное мною слово «спесь»?

Среди юношеских стихов О. М., не вошедших в основное собрание, есть и такой, что начинается с выпада... против самого себя: «*Не говорите мне о вечности—/Я не могу ее вместить...*» Там же и предостережение неудавшимся «смысловикам», в том числе автору этой главы. Напоминаю: оно касается «вечности»:

*Я слышу, как она растет
И полуночным валом катится,
Но слишком дорого заплатится,
Кто слишком близко подойдет.*

Батюшков заплатился. Мандельштам заплатился. Кто следующий?..

Двух поэтов из разных столетий, из золотого и серебряного веков русской поэзии, роднит единственное в своем роде отношение к стиху, каждой его строчке, какое я назвала бы благоговейно-религиозным — не так ли в духовном экстазе, без малейшей натуги творились молитвы? Наполненность, плавность и величавость каждой смысловой единицы таковы, что отдельные строки и двустрочия звучат как законченный стих, врываются в память, чтобы в ней остаться... Проще, пожалуй, передать впечатление зрительным образом: словно целая флотилия, из малых суденышек, великолепно оснащенная, при попутном ветре, под всеми парусами, скользит по выгнутой водяной сфере, стремясь к одной цели: запечатлеть совершенство богоданной речи.

Не случайно строки как Батюшкова, так и Мандельштама разбираются на эпитафии. Афоризмы обоих поэтов подчас цитируются без ссылок на авторов как частица общего достояния.

«*Я берег покидал туманный Альбиона...*», «*Я видел красоту, достойную венца...*», «*И гордый ум не победит/Любви холодными словами...*» — это Батюшков.

«*Бессонница. Гомер. Тугие паруса...*», «*В Петербурге мы сойдемся снова...*», «*Останься пеной, Афродита,/И слово в музыку вернись...*», «*Я не увижу знаменитой "Федры"...*», «*Всё перепуталось и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея*», «*Твой брат, Петрополь, умирает...*», «*Кто может знать при слове — расставаньё,/Какая нам разлука предстоит...*», «*Нет, никогда ничей я не был современник...*», «*Век мой, зверь мой...*», «*Не сравнивай: живущий несравним...*», «*Заблудился я в небе... Что делать?..*», «*Я должен жить, хотя я дважды умер...*» — это Мандельштам.

Константин Батюшков еще не раз возникнет в воображении Мандельштама и воплотится в удивительно-вещественные строки. Между двумя стихами, обращенными к К. Б., проляжет двадцатилетие, рав-

ное которому трудно сыскать в истории России. Уже проявил, хотя и не до конца, «век-властелин» свой волчий нрав, уже стало яснее ясно-го, что от него «некуда бежать» и со стороны О. М. несколько лет поэтической немоты и человеческой муки были ему ответом. Но мыслитель не может не мыслить, поэт не может не писать. И вот, разбуженный «уроками Армении», создав очищающий, широкого дыхания поэтический цикл «Армения» и «Путешествие в Армению» в прозе, Осип Эмильевич вызывает на рандеву держателя вечности и носителя «колокола братства».

*Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.
Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.
Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого – этих звуков изгибы...
И никогда – этот говор валов...
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.
И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаниям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...*

«Лихорадочная зависть» сорокалетнего О. М. к счастливо праздному коллеге, кто пишет что и как захочет, кто сам себе хозяин во всем: в выборе образа жизни, образа мыслей, свободе лить слезы (грех, не прощаемый идеологическими надсмотрщиками), оправдана и в 1932 году. Каждый же последующий год только усугублял тяжесть положения опального поэта.

«Опальным» назвала его Ахматова, навестив в Воронеже, в ссылке, четырьмя годами позже. Но в сущности таковым он был всегда. Чрезвычайно целомудренный в проявлении веры, в самом начале тридцатых годов еще не узник, не «враг народа», он не написал, а точно пробормотал или простонал свою, мандельштамовскую, молитву:

*Помоги, Господь, эту ночь прожить.
Я за жизнь боюсь, за твою рабу..
В Петербурге жить – словно спать в гробу.*

Надежда Яковлевна относила это стихотворение к разряду «гибельных». При жизни Осипа Эмильевича она его не знала, бесконечно доверявший ей и ее поэтическому вкусу муж никогда ей его не читал. Но ведь и молиться на глазах другого человека вне церкви у верующих христиан не очень принято.

В Нагорной проповеди о молитве сказано так просто, что проще как будто не бывает. Не эта ли простота причиной, что мы забываем Христов завет: «...когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно...» (Мф. 6, 6).

К тому времени О. М. был, по существу, изгнан из литературы, униженно тяжел был быт, донимали безденежье и бесславие. Ценили его только старые друзья-поэты, немногочисленные критики и некоторые молодые литераторы – среди них С. Лишкин, А. Тарковский, М. Петровых, А. Штейнберг.

Представляю, какое мстительное наслаждение испытывал тосковававший по мировой культуре бывший акмеист, выводя на «дорожку» (его слово) в «лапчатой», «буддийской» Москве времен первой пятилетки Ариосто и Тассо, Державина и Языкова, Христиана Клейста и Гёте. Это и были его подлинные собеседники, творцы в ветхом мире нетленного языка. Высокому косноязычию, на котором переговариваются поэты через века и земные рубежи, посвящено мандельштамовское четверостишие (в слегка измененном виде оно вошло в стихотворение «Ариост»):

*Друг Ариосто, друг Петrarки, Тасса друг–
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий.
И звуков стakнутых прелестные двойчатки –
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.*

Туда, где царствовали газетная тягомотина, советский *новояз* и испорченный беспорядочными окраинными вливаниями русский, он запуская такие ослепительные фейерверки многозначных слов, такие раздражающие обывательское ухо *тенгшевские* латинизмы и германизмы, такие небывалые метафоры, что до сих пор не утихают упреки в зашифрованности и труднодоступности Мандельштама. А ведь именно через метафору «возможно подлинное прозрение в таинственную сущность жизни» (В.М. Жирмунский).

Я не собираюсь заниматься дешифровкой таких загадочных стихов О. М., как, например, «Телефон» — это мне, как и большинству читателей, не по зубам. Стихотворению «*Может быть, это точка безумия*» посвящено немало литературы, но, и прочитав всю доступную мне, я в него по-настоящему не проникаю. Одно из двух: или стиховеды не умеют донести до нас осмысленное ими. Или сами не...неудобно даже высказывать второе предположение. Да почти в каждом стихотворении позднего Мандельштама есть так называемые герметичные строки. Многажды прославленные «Стихи о неизвестном солдате» тоже трудны для восприятия, хотя антивоенный пафос стихотворения каждому внятен и особенно важен сейчас, в милитаристском уга-ре начала двадцать первого века.

*Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?..*

Восхищаюсь попыткой разьяснительного анализа, которую приняла в связи с этим и другими поэтическими загадками О. М. безвременно ушедшая Ирина Михайловна Семенко (см. ее книгу «Поэтика позднего Мандельштама». М., 1997). Благополучно здравствующий ныне Вячеслав Всеволодович Иванов, рассматривая эти стихи в контексте мировой поэзии, вынужден привлекать такие научные и философские понятия, как теория относительности, бергсоновское понимание времени, скорость света и т.п.

Как все обыкновенные смертные, любящие стихи, такой всеобъемлющей эрудицией я не обладаю. Но верю, что все «шарады» великого поэта будут когда-нибудь прочитаны адекватно вложенному в них автором. Ибо шифровальщик — не столько он сам, сколько то огромное и пока не познанное, что через него прорывалось и прорвалось на бумагу, да только наши органы восприятия слабоваты для этой лавины информации из будущего.

Недавно в Баварской библиотеке я листала книгу Лады Пановой — толстенный изумрудного цвета том: «Мир, пространство, время в поэзии Осипа Мандельштама» (М.: Языки славянской культуры. 2003). Мастерница структурного анализа, Л. П., в частности, разбирает по косточкам стихотворение 1923 года «Нашедший подкову». Раньше оно не останавливало внимания ученых мужей и дам. И вот, наконец, эти стихи дождалось своего второго рождения... Дождутся и другие — дайте срок...

Обстоятельства последних лет жизни Мандельштама слишком известны. В ноябре 1933 года он пишет злую эпиграмму на Сталина («*Мы живем, под собою не чуя страны...*») и с безоглядностью, свойственной только подросткам и поэтам, читает ее в узком кругу, своим знакомым. На него доносят. Он вызван к следователю, допрошен с пристрастием, своего авторства не отрицает. В тюрьме близок к помешательству. Внутреннее состояние — ужасное. Приговор — неожиданно «мягкий»: высылка в Чердынь на Каму. Запертый в глухом углу, куда с ним, больным и беспомощным, слава Богу, разрешили поехать жене, ведет себя, с точки зрения здравого смысла, как умалишенный. Его мучают галлюцинации. Граница между явью и видениями стирается. Он в постоянном страхе. Уверен: грядет палаческая расправа. В одну из таких минут выбрасывается из окна больницы, ломает руку. «Ося психически болен», — пишет родным Надежда Яковлевна. В Москве за него хлопочут Ахматова, Пастернак, в дело неожиданно вмешивается Бухарин, не слишком любивший стихи О. М. И ссыльного вдруг переводят в Воронеж, наугад выбранный супругами Мандельштам.

О трех годах, прожитых О. М. и Н. Я. в Воронеже, обычно говорят как о времени благословенном, плодотворном. Да, там написано много стихов, среди которых есть настоящие шедевры. Да, к семье Мандельштамов, кочующих с квартиры на квартиру (а точнее, из комнатенки в комнатенку), бесправных, подозрительных для окружающих, доброй волной бытия были прибиты достойные читатели и собеседники: воронежцы Наташа Штемпель и ее мать, ссыльный филолог и текстолог Сергей Рудаков (погиб на фронте), ссыльный библиограф, редактор, литературовед Павел Калецкий (погиб в ленинградскую блокаду). Их навещали самые отважные из оставшихся на свободе друзей и родных: Анна Ахматова, Эмма Герштейн, брат Осипа Александр Эмильевич, брат Надежды Яковлевны. Можно было, особенно вначале, получать кое-какие литературные заказы, что-то зарабатывать, как-то жить...

Но читать письма Мандельштама из воронежской ссылки — боль и стыд за окружающих трусов и равнодушных. Градус душевной муки в них даже выше, чем в таких горчайших стихах, как «*Я около Кольцова/ Как сокол закальцован...*», «*Я молю, как жалости и милости...*», «*Куда мне деться в этом январе...*», «*Еще не умер ты...*» Это последнее, особенно любимое Ахматовой, само просится в мандельштамовскую главу:

*Еще не умер ты. Еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.*

*В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.
Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.*

Среди немногих книг, захваченных с собой или привезенных близкими, чтобы скрасить существование воронежского ссыльного, были и стихи Константина Батюшкова. Только ли осознанное поэтическое родство влекло Мандельштама к певцу Дафны и Тасса? Полагаю, что нет. Было и еще что-то, очень важное для Осипа Эмильевича.

В главе о Библии и Батюшкове я рассказала, как боролась в нем «белый» и «черный» человек, трезвость ума и безумие, как неразрывно это было связано с верой и безверием.

У нас нет реальных доказательств, что вера как-то поддержала в несчастье Осипа Эмильевича. Мне даже кажется, что согрешил поэт не тогда, когда в печально известных стихах во славу Сталина как бы испрашивал прощения и снисхождения к себе, а когда совершил бессознательную подмену. Нарушил Моисеевы заповеди: «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим» и «Не делай себе кумира...» (Исх. 20, 3–4). Тираны не знают пощады. Всемиловит один Бог.

А как он корпел над этими стихами! В каких творческих муках их созидал! Подхалиму сочинить верноподданнический стишок – просто. Поэту, почему-либо увидевшему во всесильном временщике самого Господа, – ох, как нелегко! «Это была болезнь», – скажет он потом Ахматовой.

Вера отступилась от него. Зато оставалась надежда – Надежда с большой буквы, его жена. Наверное, она была ему послана высшими силами. Не красавица, но умница. Не смиренница, а воительница. Разумеется, не с ним, а за него. Охраняла, сопровождала, берегла. Не боялась ради спасения мужа выйти без забрала на бой с монстром государственного насилия. Была первым слушателем его стихов. Переписчицей. Редактором. Стала их главным собирателем. Знала наизусть всего неопубликованного Мандельштама. Как это помогло через десятилетия при подготовке к изданию его книг! Написала прогневшие на весь мир «Воспоминания». В них не только воскресила его страдальческий облик, но и резко высветила такие грани бесчеловечного времени, о которых предпочтительнее было молчать. Создала

без лести, пусть и с перехлестами, коллективный портрет современной ей творческой среды, где были и благородные, милосердные души. Но все жили в страхе, боялись протянуть гонимому руку помощи, боялись творить добро. Исключений — немного. Одно из них — Ахматова. Ее верность и преданность чете Мандельштамов не имеют себе равных.

Я присутствовала на похоронах Надежды Яковлевны. Второго января 1981 года в церкви у Речного вокзала отпел спутницу великого поэта ее духовный отец Александр Мень.

Его проповедь о безумии слышала я однажды в Новодеревенской церкви. Еще раз повторю то, что писала в главе о Батюшкове. Все мы без исключения, говорил о. А., подвержены затмению разума. Грань между психическим здоровьем и болезнью так тонка! Только созидание в душе высших духовных ценностей, перенесение центра тяжести с себя любимого на Всевидящее Око дают опору психике.

Был ли изначально предрасположен к психической болезни Мандельштам — вопрос сложный. Исследователи обычно педалируют его физическое нездоровье (астму, слабое сердце), обходя уязвимейшую у больших художников область души. Любой серьезный психиатр подтвердит, что, когда речь идет о художественном таланте, а тем более о гении, границы его душевного здоровья сильно раздвигаются по сравнению с так называемой среднестатистической особью (не уверена, что такая водится в природе, — Т. Ж.). Религиозные метания молодого Мандельштама, как и метания во все годы жизни чисто человеческие, поэтические, гражданские, — свидетельство внутренней неустойчивости, ранимости, болезненной впечатлительности, но без них не было бы поэта. Это еще не болезнь!

Его, действительно, сводили с ума. Жестоко и планомерно. Темные силы поднебесные и их клеветы в пыточных камерах и следовательских кабинетах играли с ним, как кошка с мышью. То «брали на прикус» (это ощущение опережающе передано в одном из образов О. М.), то как будто ослабляли хватку, то душили, то распускали петлю, для того только, чтобы вконец истерзанного поэта безвозвратно свергнуть в прижизненную преисподнюю.

Ссылка в Чердынь и ссылка в Воронеж напоминают мне хорошо продуманное чередование злого и «доброе» следователя на допросах заключенных — отработанную в чекистских застенках дьявольскую систему. Первый заставлял узника сжиматься в комок, внутренне ошתיниваться, страдать в открытую. Вышибал из несчастных самооговоры и компромат на невинных людей. Второй способствовал расслаблению, дарил ложные несбыточные надежды, вел к душевному краху. Я не сбрасываю со счетов созданные в Воронеже стихи. Но не

сомневаюсь, что творились они не благодаря, а вопреки обстоятельствам жизни.

О воронежском периоде жизни Мандельштама написано много. Горячо рекомендую читателям выпущенные в Воронеже, с чувством любви и покаяния написанные и составленные книги: «Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания, материалы к биографии, «новые стихи», комментарии, исследования» (Издательство Воронежского университета, 1990) и «Воронежские тетради» (Издательство им. Е.А. Болховитинова, Воронеж: 1999).

Зная, что я занимаюсь Мандельштамом, ныне живущий в Чехии русский писатель Виктор Казаков припас для меня газету «Известия» за 25 июня 2004 года, где целую полосу занимает исследование (оно же комментарий, оно же реквием поэту) заместителя председателя Мандельштамовского общества Павла Нерлера: «Пусти меня, отдай меня, Воронеж...» Повторять здесь читанное ранее и читанное впервые о садистски растянутой на четыре с половиной года смертной казни поэта слишком тяжело. Поэтому воспользуюсь газетной публикацией.

«16 мая 1937 года Воронеж его отпустил: срок ссылки истек. Вернулись в Москву. Но жить здесь они права не имели. 101-й километр — прописка не ближе, чем за сто верст от Москвы (...) Месяц Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна ищут, где поселиться, — Малоярославец, Таруса, Савелово, наконец — Калинин. Он по-прежнему пишет. По-прежнему сидит без денег — живут с женой на то, что подкидывают друзья. А в марте неожиданное благодеяние — Литфонд выделяет Мандельштаму путевку в дом отдыха «Саматиха» (...) Ранним утром 2 мая Мандельштама в Саматихе арестовывают (...) Ему дали пять лет, везли в Магадан, но Мандельштам быстро стал полным доходагой, оставили в пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком. Здесь и умер от сердечного приступа и общего истощения. Зарыли вместе с другими покойниками в траншее неподалеку. В молодости друзья звали Мандельштама «златозубом» — что ж, урки выбили у мертвого поэта изо рта золотые коронки».

Как не позабывать мирно почившему в Бозе Константину Батюшкову, за здоровье которого и в сумасшедшем доме служились молебны (в одном из них принимал участие Пушкин).

*...Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!*

Девятого мая 2005 года, на празднике в честь 60-летия Победы над фашизмом, в Москве, на Красной площади, среди других патриоти-

ческих песен прозвучала и песня Аллы Пугачевой в ее исполнении на стихи Осипа Мандельштама:

*Ленинград! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Ленинград! у меня еще есть адреса,
По которым найду ...голоса...*

Не важно, что Петербург превратился в Ленинград. «Ленинград» звучит даже лучше. «Ра»- «ра»- «ра» — три «ра» в первых строках рефрена — это как ур-р-ра! Или намек на древнеегипетского царя Солнца... Не так уж важно, что из текста выпало слово «мертвецов» («мертвецов голоса»). Гражданская песня должна быть жизнелюбивой. И разве у живых нет голосов?..

Красную площадь транслировали на весь мир.

Что ж, история иногда откалывает и такие коленца...

Глава двадцать третья

«НЕ РАССТРЕЛИВАЛ НЕСЧАСТНЫХ ПО ТЕМНИЦАМ...»

(С. Есенин)

Как-то раз вызвал меня к себе главный редактор литературного еженедельника:

– Есенина любите?

– Люблю.

– Хотите съездить на его родину? Причем дважды?

– Почему дважды?

– Сначала на пароходе «Сергей Есенин». Ходит такой по Москве-реке и Оке. А потом обычным путем: поездом до Рязани. Оттуда – автобусом до Константинова.

Литературные путешествия – моя страсть. Я согласилась. Немного удивило, что выбор редактора пал на меня. Тогда, в начале семидесятых, Есениным занимались в основном те, кто мог сказать о себе словами революционной песни: «Вышли мы все из народа». Правда, эта крылатая фраза уже была поставлена под сомнение одним остроумцем, присоединившим к ней всего пять слов:

Вышли мы все из народа.

Как нам вернуться в него? –

смысл получался другой, едва ли не противоположный. Я же своим половинчатым народным происхождением никогда не похвлялась, в «почвенниках» не числилась, ходила в средних российских интеллектуалках. Вроде бы мне светило другое поэтическое созвездие: Блок, Пастернак и кто-нибудь такой, что «*Пастернака перепастерначит*» (Ахматова), – еще сложнее, еще заковыристее, с точки зрения здравого смысла. А меня вдруг призвал к себе Сергей Есенин...

Знала я его стихи давно, лет с девяти. Хотелось бы снова взять в руки свою первую «Родную речь», проверить память. Точно ли там среди испытанных временем хрестоматийных рассказов и стихов цветным стеклышком вспыхнуло то ли детское, то ли взрослое, совершенно понятное, но и немного волшебное, видимое, как в стереоскоп, ласково-колыбельное, странно связанное с маминым шарфом на больном горле, похожее на любимые сказки Андерсена стихотворение, под которым стояло звучное имя: Сергей Есенин?..

«Поет зима – аукает, / Мохнатый лес баюкает / Стозвоном сосняка. / Кругом с тоской глубокою / Плывут в страну далекую / Седые облака. / А по двору

*метелица/Ковром шелковым стелется,/Но больно холодна./Воробышки иг-
ривые,/Как детки сиротливые,/прижались у окна./Озябли пташки малые,/Голодные, усталые,/И жмутся поплотней./А вьюга с ревом бешеным/Сту-
чит по ставням свешенным/И злится все сильнее./И дремлют пташки неж-
ные/Под эти вихри снежные/У мерзлого окна./И снится им прекрасная,/В улыбках солнца ясная/Красавица весна».*

Я ничего не слышала про сентиментальность, про то, что это — плохо, что советских детей надо воспитывать в боевом патриотическом духе, а всякое умиление перед «малыми пташками» и страх перед естественными явлениями природы — наследие темного прошлого. Я просто прочла есенинские стихи, шевеля губами, потому что читать иначе долго не умела. Потом повторила вслух. Потом... «Скажи стихи с выражением!» — вызывала меня в классе учительница. И я сказала их, хотя была дома, и одна...

...Белоснежный двухпалубный пароход «Сергей Есенин» из Южного речного порта вышел летним вечером. Хотя у меня как у командированной от газеты была отдельная каюта, сосредоточиться на книге, взятой с собой, не было никакой возможности. Дорвавшись до свободы, до свежего речного воздуха, подзаправившись в буфете, пассажиры на палубах тошали и хлопали, орали песни, перекрикивали вкрадчивый женский голос из каютного радиорепродуктора, сообщавший не мне же одной подробности о поэте, чье имя носил пароход. Всё это тоже была есенинская Россия, и я, рассудив, что книга от меня не уйдет, а что-то неповторимое может испариться навсегда, стала слушать под дикий аккомпанемент невидимую экскурсоводку.

Что русские одержимы манией ликбеза — известно давно. Чуть просветившись сами, мы уже готовы стать просветителями, сеять налево и направо разумное, доброе, вечное. Жаль, что безмерными пространствами нашей родины эти щедрые веера семян поглощаются почти без остатка. Спихватишься: сколько о чем-то важном писали, толковали, спорили — глядь: ничего нет! «*Одна долина ровная/без края и конца*», как сказано в одном неесенинском стихотворении.

Но у Есенина как будто другая судьба. Шумел при жизни. Шумит и после смерти. Может, потому и шумел, что знал эту повсеместную отечественную ватно-изоляционную поглощаемость звука. Так легко этот звук затопать, затоптать, а можно и вообще не услышать: «мели, Емеля!..»

К середине ночи народ уgomонился. Я вышла на палубу. Редкие береговые огоньки сквозь редящую тьму сурово подмигивали мне: ты куда это отправилась? Спроси вон ту возлюбленную пару, что при виде тебя шархнула с носа на корму, вон того мужичка, что в подозри-

тельно неустойчивой позе свесился к реке, что знают они о Есенине. Скажут: поэт что надо, но выпивоха, хулиган. Бабу какую-то откопал, иностранку, вдвое старше себя. А для чего? Чтобы возила его бесплатно по заграницам. Что ему, наших было мало? Может быть, кто-нибудь пробормочет: «*Сыть, гармоника! Скука... Скука...*» Или, если в разнеженном настроении: «*Ты жива еще, моя старушка...*» Так это и есть хваленая народная слава?..

Всё не то! Есть слава — лужица. Есть слава — бассейн, замкнутая со всех сторон. Есть слава — ручеек. А есть... Когда пароход из Москвы-реки выплыл и в Оку вплыл, какой простор открылся глазу! Какая безмерность водной стихии и уже утреннего неба! Такова и есенинская слава! И не кончается этим. Выходит из берегов. Стремится к морю-океану.

В «застойные» годы прошлого века выпало мне покататься и побродить по разным поэтическим памятным местам: пушкинскому Михайловскому, Маре Боратынского, Красному Рогу, где жил некогда А.К. Толстой и куда наезжал влюбленный в племянницу хозяйки Владимир Соловьев, некрасовской Карабихе. Но есенинское Константиново осталось в памяти наименее повреждённым временем. Широкая Ока и обрывистый правый берег. Настоящий крутояр. Половодье ему не страшно. Вон там, на высоте крымского Ласточкиного гнезда, есенинский «*низкий дом с голубыми ставнями*», и церковь прямо напротив дома, и почти рядом помещичья усадьба Кашиной-Снежной.

Не раздумывая, откликнулась на зов, плыву в гости к поэту, к брату. Всё ещё взволнована недавней стычкой с одним шибко эрудированным литератором. Узнав, что буду писать о Есенине, искренно удивился:

— Что вы в нем нашли?

— Как что! Открытое настежь сердце. Лиризм потрясающей силы.

— Я подустал от всех этих охов и вздохов наших лириков. Поэзия должна венчать собою пирамиду философских поисков человечества.

— Пирамида — это что-то мертвое. А есть вечно живое: природа, красота, Бог.

— Как раз Бог от вашего Есенина отвернулся. И верующие предки, хоть и воровали на свой грубый мужицкий лад, отмежевались бы от такого отпрыска родовым проклятием...

Я не находчива. То есть обычно нахожу убедительные аргументы в споре, когда моего оппонента и след простыл.

Как он сказал? «Вашего Есенина»? Ну раз он *мой*, я его в обиду не дам!

...Поездка на родину поэта завершилась для меня новым стихотворением: «Ответ эрудиту». Но сначала я пережила жгучее очарование-разочарование. Хорошо было стоять над рекой на захватывающей дух высоте и читать наизусть есенинские строки ему самому, приокским далям, мещерским лесам на том берегу, большой воде, удвоенному ей небу в кучевых и перистых облаках.

*Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.
Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо...*

Гораздо позже я прочту слова Александра Исаевича Солженицына о Константинове: «Я иду по деревне этой, каких много и много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, — и волнуюсь: небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь...»

Но какая печаль охватывала душу при виде запущенной сельской церкви, бедных строений, скудных палисадников! Из воспоминаний сестры Сергея Александровича Шуры я знала, что когда-то Константиново утопало в зелени, а главным его украшением и была та самая церковь, памятник русской архитектуры, в окружении многолетних берез, бузины, акации.

Недавно созданный музей поэта не блистал экспонатами, но за каждой сохраненной бумажкой, за каждым фото с чрезмерной ретушью угадывались кропотливые старания дорвавшихся до благородного дела лучших людей России: музейщиков, библиотекарей, педагогов. Было время — из Есенина делали пугало: обзывали то кулацким, то ушадническим поэтом, вменяли ему в вину асоциальную, антисоветскую «есенинщину», издавали редко и мало — в масштабах такой огромной, как наша, страны. Выгравить его из памяти народной все равно не получалось. Любовь людей оставалась с ним всегда. И прильвшие со мной экскурсанты, протрезвев от ночной гульбы, чинно и благоговейно ступали по чистым половицам скромного музейного помещения, бывшего барского дома. По три-четыре человека, чтобы не создавать тесноты, заходили в домик Есенина, откуда еще не выветрился жилой дух. Татьяна Федоровна, мать Сергея, хозяйствовала в нем до 1955 года, пережив своего прославленного сына на 30 лет!

«Рязань дала миру...» — прочла я через несколько дней на щите при сухопутном въезде в областной центр. Среди других знаменитых рязанцев стояла там и фамилия Сергея Есенина. Двусмысленность названия дошла до меня позже, когда я уже перенесла его в заголовок своего газетного очерка. Возражений со стороны редакции не последовало. Со страниц популярного еженедельника я ратовала за то, чтобы народному поэту на его родине воздали, наконец, по заслугам: восстановили Казанскую церковь, уникальное творение XVIII века, насадили сад, устраивали праздники поэзии.

Неожиданно став *есениноведом*, я стала получать устные и письменные отклики. В одних меня благодарили за «свежий взгляд» на проблему, в других корили: творю кумира из пьяницы и дебошира, что с того, что он звучные стихи писал? Удивляться нечему: действие происходило в тысяча девятьсот семидесятом году. Первых все-таки было больше. Пришла ко мне внучатая племянница Есенина, дочь Екатерины Александровны, подарила на память книги и фотооткрытки памятных мест.

Профессионально Есениным у нас занимались достаточно объективные исследователи: Д. Благой, П. Чагин, А. Воронский, Б. Розенфельд, Ю. Прокушев, П. Юшин, А. Марченко и многие, многие другие. К 100-летию поэта начало выходить Академическое собрание сочинений, освобожденное от *подчисток* былых времен, и несколько книг и публикаций на интересующую нас тему (Есенин и религия), из которых назову «*Шел Господь пытать людей в любви*» (СПб.: Глаголь, 1995). Пестра и порой полярна мемуарная литература о поэте. И все же за десятилетия без Есенина выработались некоторые не преодоленные до сих пор клише в подходе к его личности и творчеству.

Так, заголовок одной из книжек известного в истории литературы А. Кручёных, вышедшей еще в середине двадцатых, порадовал бы современных «черных пиарщиков»: «Лики Есенина от херувима до хулигана». Это привилось, варьировалось на все лады.

Нет, «вербочным херувимом» он никогда не был. Внутренне отталкивался от этого женственного образа, навязанного поверхностными наблюдателями. Можно доверять Петру Орешину, оставившему словесный портрет двадцатидвухлетнего Сергея: «...от всей его стройной фигуры веяло уверенностью и физической силой, и по его лицу нежно светилась его розовая молодость».

Второе клише гораздо серьезнее. Речь идет об идеологической эволюции: от религиозного крестьянского поэта, через страшную ломку, сомнения и кризис, якобы к полному приятию социалистической нови.

«Новь» действительно брала Есенина за горло. Кому же, как не ему, вышедшему из недр народных, рожденному в избе, при керосиновом

свете, а то и при свече, при лучине, распахнуть свои объятия революции народной, радоваться, как диву дивному, забрезжившей в многовековых потемках «лампочке Ильича»?

«Крестьянский», как определение к поэту, — тоже некий штамп. Слово «поэт» не нуждается в определениях! Кольцов, Никитин, Дрожжин, кого С. Е. числил в своей поэтической родословной, может быть, и были *крестьянскими*, хотя тоже сомнительно. Есенин начал так ярко, самостоятельно, как ни поэты-дворяне, ни поэты-разночинцы (следующей традиции) не начинали.

Стихи, как известно, складываются из строк. Свежая, дерзкая и точная строка — показатель таланта. У молодого Есенина их не счесть! Собирай, как грибы в лукошко, коли попал на грибное место...Какие метафоры! Какая точность видения, слышания, обоняния и еще чего-то сверх, точно у него не пять органов чувств, а много больше: «*Изба-старуха челюстью порога/Жует пахучий мякиш тишины*»; «*Солнца струганые дранки/Загораживают синь*»; «*Укропом вялым пахнет огород*»; «*Отелившееся небо/Лижет красного телка*», «*В сердце ландыши вспыхнувших сил...*» Начнешь выписывать — не остановишься...

Но есть еще распев — у Есенина звонкий, залиvistый, заразительный. Есть жар души, согревающий, раскаляющий тело стиха—есенинский стих пышет зноем, обволакивает теплом—можно им лечиться от простудной хвори.

Не могу не привести целиком одно из самых мной любимых стихотворений двадцатилетнего Есенина.

*Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.
С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.
Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шапки
Запах меда от невинных рук.
В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных, поющих с ветром сот.
Пусть порой мне шепчет синий вечер,*

*Что была ты песня и мечта,
Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи,
К светлой тайне приложил уста.
Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.*

(Цитирую по весьма авторитетному изданию: ОГИЗ, М., 1946. Сборник составлен С.А. Толстой. Тексты и датировка произведений сверены составителем с рукописями поэта. Некоторые орфографические авторские выпадения из нормы тоже беру отсюда).

Есенин — преображенец. Красоту, разлитую кругом, людям привычную, мало кем замечаемую, любовно и без натуги он собирает, высвечивает, силой своего дара делает всечеловеческим достоянием. Снимает с наших глаз шоры. Протирает запотевшие окуляры. Стихи С.Е. часто имеют кольцевую композицию: конец повторяет начало. Утрата красоты непоправима. Ничего не остается, как только вернуться туда, где она еще цвела полным цветом. Пусть ее больше нет — она пребудет в стихах, а это более надежное хранилище, чем наши эфемерные чувства.

Его позиция дореволюционного периода чрезвычайно привлекательна. В мире, где многое берется нахрапом, он никому не соперник, а только «гость». «*Счастливы, кто жизнь свою украсил/Бродяжной палкой и сумой...*», — по своему ведет он знакомый русской литературе мотив скитальчества и очарованного странничества. «*Всё принявшему с улыбкой/Ничего от вас не надо*», — заверяет он неведомых собеседников.

Самые рассоветские исследователи не могли Есенина пролетаризовать надлежащим образом. Соглашались: тяжелым крестьянским трудом почти не занимался. Ютовился в сельские учителя. Рано покинул деревню, чтобы жить поэтом.

Частенько теперь повторяются слова Николая Лескова, которые раньше не произносились вовсе: христианство на Руси еще не проповедано. Лескова, как и Юголя, Есенин любил и читал, но с этим утверждением мог бы, наверное, поспорить. Семья его была по-настоящему религиозна. Что дед, что бабушка с материнской стороны горячо веровали во Всевышнего и сумели передать Сергею истовость своей веры. Ходили в церковь исправно — благо была рядом. Принимали в доме странствующих по селам слепцов и калик переходящих. Дед читал мальчику Священное Писание. Бабушка брала его на богомолье. Не хочется впадать в чувствительность, но в автобиографии поэта черным по белому написано, как идут они вдвоем с бабушкой в далекий,

за 40 верст, Радовецкий монастырь и он, ребенок, ухватившись за ее палку, еле волочит ноги от усталости, а та всё приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастья даст».

В недавние атеистические времена, если и приводился этот эпизод, акцент делали на изнеможении маленького паломника. Вот, мол, какая плохая старуха: в силу своей темноты волочит дитя, куда не следует. А меня волнует описанная сцена. И трогают бабушкины слова. Эта «ягодка» отзовется потом в самых нежных стихах С. Е.

Что же касается счастья... Ведь было оно дадено Сергею Александровичу свыше, было. Разве огромный поэтический дар — не счастье? Другое дело, что он — не оберег от мирового зла, да и вообще, как писал поэт поэтов, *«На свете счастья нет...»* Зрелый Есенин присоединится к Пушкину: *«Глупое сердце, не бойся./Все мы обмануты счастьем...»* Но бабушка в этом решительно не виновата...

Старуха! Ей, поди, и пятидесяти не было...

Неудивительно, что ранняя лирика Есенина пронизана религиозными токами. Церковные, библейские образы и ассоциации из нее не вытравишь. *«Пойду в скуфье смиренным иноком...»*, *«Пахнет яблоком и медом/По церквам твой кроткий Спас...»*, *«Я мажусь на алы зорь, /Причащаюсь у ручья...»*, *«Но даже с тайной Бога/Веду я тайно спор...»*, *«Литии медовый ладан...»*, *«И мыслил и читал я/По библии ветров,/И пас со мной Исайя/Моих золотых коров...»*

Разумеется, он не схимник, не книжник в библейском смысле слова. Всё пенится, движется, сверкает полными красками, всё одухотворено в стихах необыкновенного юноши. И языческие мотивы на равных присутствуют в его стихах. А в народных верованиях разве их не было? Вспомним фильм Тарковского «Андрей Рублев»! Над иконописцем простерта небесная длань, а кругом — скоморошьи игры, волхование...

Итак, христианство на Руси проповедано было. Имеющий уши слышал. Храмы и церковки вознесли вверх свои кресты по всей немеченой российской территории. Иконы хотя бы своими окладами побеждали северный сумрак. Родники духовности били из подзола, суглинка, камня, орошая духовную пустыню. Кое-где зацвели оазисы, — иные до сих пор цветут. Но многое ушло в песок. По какой-то роковой, эсхатологической причине. Возможно, из-за той же затрудненной проницаемости пространства. И когда началась великая революционная заваруха, легкое Христово бремя было поспешно сброшено народными массами с плеч. Что миру, то и бабушкиному сыну, — есть такая поговорка. Есенин не устоял. Мучился, метался, сочинял то боголюбивые, то богопротивные стихи и поэмы, чтобы под конец жизни выкрикнуть:

*Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь...*

Какого стыда и какой горечи было больше, мы никогда не узнаем. Есенинские стихи 1917 года — безутешное (другого слова не подберу) прощание со всем, что его питало с колыбели (вернее, люльки), что теперь у него отнимают и что сам он как будто добровольно, но протестуя каждой своей воспаленной строкой, отнимает у себя.

Это своего рода история болезни души, прозрачной до такой степени, что, если бы и хотел скрыть, спрятать что-то от переменчивых и требовательных взглядов людских, — не скроет, не спрячет, всё обязательно выступит наружу. Семнадцатилетний Есенин писал в стихотворении «Больные думы»: «Нет сил ни петь и ни рыдать, / Минуты горькие бывают, / Готов все чувства излить, / И звуки сами набегают». Себя он знал очень хорошо и узнал очень рано.

Целый год — это сколько минут? Или, может быть, длится и длится одна нескончаемая минута? «О родина, счастливый / И неисходный час!» — определяет поэт роковую двойственность времени.

Маленькая поэма «Товарищ» (писана на февральскую революцию) о бедном убогом ребенке, у которого только и было богатства, что «Христос да кошка», заканчивается «железным словом»: «Рре-ес-пуублика» (так у С. Е.). Убит отец мальчика, скоро будет убита вера. Уже в марте 17-го, как явствует из поэмы, для Есенина «пал, сраженный пулей, младенец Иисус».

Но не может быть, чтобы всё, дорогое поэту с детства, было сметено с лица земли! Господь не отвернулся от России! Вслед за пушкинским «Пророком» Есенин повторяет:

*Встань, прорфи и вижди!
Неосказем рок.
Кто все живет и жидет —
Тот знает час и срок.*

«Октоих»¹

Начавшийся повсюду хозяйственный разор, еще не повсеместный, еще, кажется, поправимый («незапаханный мой край», «непасенные рощи» — сельские его приметы) тоже, по Есенину, не на век. Есть высшая сила, ему противостоящая:

¹ Книга с церковными песнопениями.

*Гляну в поле, гляну в небо –
И в полях, и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.
Снова в рощах непасенных
Неизбывные стада,
И струится с гор зеленых
Златоструйная вода.
О, я верю – знать, за муки
Над пропащим мужиком
Кто-то ласковые руки
Проливает молоком.*

Этот *кто-то* мнится,, как устроитель крестьянского рая... Разоряют ниву жизни люди по велению своего безумия. А собирать должен *кто-то*... «по щучьему велению, по моему прошению...»

В шестидесятые годы мы, молодая поэтическая поросль, с удивлением прочли стихотворение тоже молодого Олега Чухонцева на тему Востока и Запада, едва ли не первый в ту пору шутливо-серьезный выпад такого рода: «У них указ – не *иначе*,/Указ везет гонцу./А мы, на печке сидючи,/Прибудем во дворец...» В корень смотрел Олег Григорьевич! Есенин пожал бы его мужественную руку...

Между Февралем и Октябрем С. Е. пишет и другие сугубо религиозные вещи: «Певущий зов», «Пришествие», «Преображение».

В «Пришествии», посвященном Андрею Белому, строки, которые не вытравил из творчества Есенина (хотя охотники находились!):

*За горой нехоженой,
В синеве долин,
Снова мне, о Боже мой,
Предстает твой Сын.
По тебе молюся я
Из мужичьих мест;
Из прозревшей России
Он несет свой крест.
Но пред тайной острова
Безначальных слов
Нет за ним апостолов,
Нет учеников.*

Через несколько месяцев Блок увидит их – этих апостолов в поэме «Двенадцать». Что же, златоглавый *крестьянский сын* из-под Рязи-

ни оказался прозорливей невенчаного короля поэзии? Выходит, что так. Хотя многие оспорят это...

Известно, что впоследствии Есенин просил относиться к библейским персонажам и религиозным атрибутам в его стихах как к сказочному. Но в сказках не бывает столько боли:

*Возри же на нивы,
На сжатый овес, –
Под снежною ивой
Упал твой Христос!
Опять его вои
Стегают плетью
И бьют головою
О выступы тьмы.*

У нас еще будет повод вернуться к «Пришествию», где сказано без обиняков: «*Эй, Господи, /Царю мой! /Дьяволы на руках /Укачали землю...*», где прямое обращение к Творцу Неба и Земли: «*О Саваофе! /Покровом твоим рек и озер /Прикрой Сына!*» И чисто есенинский неологизм *голгофят* («*голгофят снега Твои*») вбирает в себя всё его отчаяние, побеждающее надежду.

Прошло совсем немного времени, и совершенно новый Есенин пишет «Инонию» (январь 1918 года). Поэма посвящена древнееврейскому пророку Иеремии. Должно быть, не случайно... Я перечитала Книгу Иеремии и Плач Иеремии, входящие в Ветхий Завет. Трудное чтение. Как-никак более двух с половиной тысяч лет минуло. Всё должно было, по мнению прогрессистов, измениться коренным образом в лучшую сторону. Многие на поверхности человеческого бытия изменилось. Но не всё! Диалог Бога и человека напряжен по-прежнему. Если не стал еще напряженней.

Начальная глава Книги Иеремии вызывает сочувствие к пророку. Он скромнен, не хочет пророчествовать: «Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод... – Но от него это и не требуется;—через него будет говорить сам Создатель. – ...Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь...» (1, 6–7)

Пламенные речи Иеремии обращены к его народу. Это призыв к покаянию, к возвращению в родное лоно. Не только обыкновенные смертные, но и цари, князья, священники покинули Бога, источник живой воды, и «высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (1, 13). Они совершают возлияния чужим богам, забыли о милости, верят лжепророчествам, не желают знать правды, твер-

дят «мир, мир!», а мира нет» (8,11). Подводится печальный итог: «...ждем времени исцеления — и вот, ужасы» (14,19).

Если люди не одумаются, их ждет еще худшее: «...на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина» (51,46). Но есть и надежда неразумному роду людскому: «Ибо не навек оставляет Господь. Но послал горе, и помилует по великой благодати своей (...) Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои» (Плач Иеремии, 3, 31–32; 38–39).

Как перечитывал в 1918 году Сергей Есенин хорошо знакомые ему страницы Книги Иеремии? Одному будущему своему мемуаристу С. Е. говорил: «Школу я кончал церковно-приходскую, и нас там этой Библией, как кашей, кормили. И какая прекрасная книжища, если ее глазами поэта прочесть! Мне понравилось, что там все так громадно и ни на что другое в жизни не похоже. Было мне лет двенадцать — и я все думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было и страшно, и непонятно, и за душу брало. Я из Исаяи целые страницы наизусть знал...» Ну, а в Ветхом Завете оба пророка, Исаяя и Иеремия, — рядом...

Задержался ли С. Е. взглядом на 18-м стихе 13-й главы: «Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей»? Царская фамилия перед самой войной и революцией приоткрыла для него двери. Побывал он у царицы Александры Федоровны, читал свои стихи, удостоился отклика: стихи, сказала, красивые, но очень грустные. Не ступешался, нашелся с ответом: вся Россия — такова... Великая княгиня Елизавета Федоровна, причисленная ныне к лику святых, подарила самородку икону его святого, 25 сентября, по-старому, — Преставление при. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, а Сергей родился 21 сентября...

Но вот уже более полугодом, как царская семья сослана; еще через полгода будет изничтожена и похоронена незнамо где.

Проклиная в «Инонии» русские святыни: Китеж, Радонеж, — поэт посягает и на своего святого. С точки зрения человека верующего, это — духовное самоубийство.

А огненные строки из Плача Иеремии заставили ли содрогнуться его сердце в предчувствии неизбежных катастроф: «Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды; дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаевают (так в синодальном переводе, — *Т. Ж.*) на улицах; воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Князья (...) были телом краше коралла, вид их был, как сапфир; А теперь темнее всего черного лице их; не узнают их на улицах; кожа

их прилипла к костям их, стала суха, как дерево (...) Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их» (4, 4–5, 7–8; 5, 8)?..

Нет, не сочувственный воиль вырывается у Есенина. Поэма «Июния» — совсем о другом.

Цитировать ее тяжело. Но процитирую:

*Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплываю изо рта.*

(Речь идет о кусочке хлеба, пропитанного вином, — «Тела и Крови Христовой», которыми причащаются верующие. Но от этого не легче! — Т. Ж.)

*Не хочу воспрять спасения
Через муки его и крест.
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь...*

Июния — потому что в ней всё иное. Даже Иисус — иной, не темный, как на старых иконах, а светлый: «Слава в вышних богу, / И на земле мир! / Месяц синим рогом / Тучи прободил. / Кто-то вывел гуся / Из яйца звезды — / Светлого Иисуса / Проклевать следы. / Кто-то с новой верой, / Без креста и мук, / Натянул на небе / Радугу, как лук. / Радуйся, Сионе, / Пропливай свой свет. / Новый в небосклоне / Вызрел Назарет. / Новый на кобыле / Едет к миру Спас. / Наша вера — в силе, / Наша правда — в нас!»

Справедливости ради стоит сказать, что поэты с безупречным вкусом — Георгий Иванов и Вячеслав Ходасевич высоко оценили поэму как художественное произведение. В. Х., правда, писал, что в нее можно «погрузиться, обладая чем-то вроде прочного водолазного снаряда». Очевидно, чтобы не задохнуться и не пойти ко дну...

Среди грехов Серебряного века был и такой: эстетика отрывалась от этики. Мы, живущие в XXI веке, знаем, к чему это привело...

Вникая в послереволюционные вещи Есенина, часто встаешь в тупик. Как же так? Мечтать о даре пророка, получить его от утробы матери — и с ненаигранным ликованием написать «Инонию», «Иорданскую голубицу», «Небесный барабанщик» (все — 1918 года). Властной рукой насадить на поля, политые кровью братоубийственной войны, тех, кто еще вчера был для тебя далеко не только поэтическим образом: *«Вижу вас, златные нивы,/С стадом бултых коней./С дудкой пастушеской в ивах/Бродит апостол Андрей...»*

Строфа, я бы сказала, нейтральная. Но предыдущие строки «Иорданской голубицы»: (*«Небо — как колокол,/Месяц — язык,/Мать моя — родина,/Я — большевик...»*) делают и апостола Андрея соучастником сомнительного действия. Дальше — то звонко-колокольно, на всю округу, поэт возвещает: *«Ради вселенского/Братства людей/Радуюсь песней я/Смерти твоей...»* Чьей смерти радуется автор? Вернемся чуть назад — речь идет об *«отчалившей Руси»*, которая его родила и вскормила.

Призвав в попутчики Андрея Первозванного, Есенин как будто спохватывается: *«И, полная боли и гнева,/Там, на окраине села,/Мати пречистая дева/Розгой стегает осла...»* Все-таки «полная боли и гнева» — и на том спасибо!..

Идеологи крепнущего строя и их последователи упрекали автора «Инонии» в том, что на место старого Бога он поставил нового: «божество живых» — крестьянского Коровьего бога. Нет, чтобы поставить Ленина и партию большевиков. Последнее если и не писалось, то подразумевалось.

Ленину Есенин тоже отдаст дань. В 1924 году, в поэме «Гуляй-поле».

*Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.
Россия! Сердцу мильей край!
Душа сжимается от боли—
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.
Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и доли.
Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копытами со всех сторон
Нас окружают печенеги?..*

Читаю и физически чувствую, где Есенин пишет «от себя», а где по прописям отвердевающего закона и стихам великих предшественников. «*Страна ждала кого-нибудь.../И он пришел...*» — сказано о Ленине, но это же парафраз из «Евгения Онегина»: «*Душа ждала кого-нибудь./И дождалась...*»

Строки о спасителе России очень похожи на те, по которым все мы потом учились десятки лет: «*И мы пошли под визг метели,/Куда глаза его глядели:/Пошли туда, где видел он/Освобожденье всех племен...*» Есенину подражали, его копировали авторы куда менее значительные, куда менее искренние. Не оттого ли родилось мнение, что «Есениным быть очень легко», — его разделяла даже Цветаева. И вдруг...Именно вдруг! В той же поэме Есенин снова становится Есениным — поэтом без страха и упрёка. А то разве закончил бы стихи о судьбе родины так, как ни один современный ему поэт не то что не решился бы написать, — подумать, и то остерегся бы...

*Его уж нет!
А те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
«Л е н и н у м е р!»
Их смерть к тоске не привела.*

.....
*Еще суровой и угрюмой
Они творят его дела...*

Он ведь был еще и очень умен. Когда в «Письме от матери» (1924) читаем: «*Теперь сплошная грусть,/Живем мы, как во тьме./У нас нет лошади./Но если б был ты в доме,/То было б все,/И при твоём уме —/Пост председателя/В волисполкоме*», — можем не сомневаться: строгая Татьяна Федоровна не льстит сыну. Он себе тем более никогда не льстил, и в данном случае, как мне кажется, зарифмовал подлинное письмо матери... В «Председатели земного шара», как Хлебников, Сергей Александрович не метил, но мог бы претендовать в государстве трудящихся на пост повыше «председателя волисполкома». Так как смотрел на жизнь трезво, просчитывал, как дальнзоркий шахматист, много ходов наперед.

Насчет «суровых и угрюмых» правителей России он не ошибся. «*Творить дела*» — сия фразеологическая единица родного языка тоже ничего хорошего не сулит...

Это кем же надо быть, чтобы десятилетиями цитировать приведенные выше строки (я — о некоторых чрезмерно *популярных* исследователях есенинского творчества) как здравницу новому строю, хотя стихи звучат скорее за упокой...

Шесть лет между «Инонией», «Иорданской голубицей» и «Гуляй-полем» прошли для Есенина мучительно. Его бросало из крайности в крайность. Он менял убеждения, страны, женщин. Певец Святой Руси, как пишет А.И. Михайлов во вступительной статье к названной выше книге «*Шел Господь...*», «прекраснейший из сынов крещеного царства», как утверждал поэт, друг и новомученик Николай Клюев, он высказывал публично поистине страшные вещи о Боге, религии, православии. Он не просто «*сжег всё, чему поклонялся*», — он запалил высокий костер на полсвета, явно намереваясь не перепрыгнуть через него, как делается во время языческих игрищ, а сгореть в нем без остатка.

Не ведал, что творил? Ведал, ведал! В «Метели» (дек. 1924 года) писал без малейшего снисхождения к себе, исповедовался, как перед Страшным Судом, ничего не тая, никого не виня, кроме себя. Если и сгущал краски, то не художественного эффекта ради, а чтобы выплеснуть на бумагу изболевшуюся душу:

«И первого/Меня повесить нужно,/Скрестив мне руки за спиной:/За то, что песней/Хриплой и ненужной/Мешал я спать стране родной. (...) Но я забыл,/Что сам я петухом/Орал вовсю/Перед рассветом края,/Отцовские заветы попирая,/Волнуясь сердцем/И стихом./ Себя усопшего/В гробу я вижу/Под аллилуйные/Стенания дьячка./Я веки мертвому себе/Спускаю ниже,/Кладя на них два медных пяточка./На эти деньги,/С мертвых глаз,/Могильщику теплее станет,—/Меня зарыв,/Он в тот же час/Себя сивухой ошканил./И скажет громко:/«Вот чудак!/Он в жизни буйствовал немало./Но одолеть не мог никак/Пяти страниц/Из “Капитала”».

Вспоминается образ гоголевского Вия, и он тут не случаен. Гоголя Сергей Александрович великолепно знал и, если в стихах не просил поднять себе веки, а желал опустить их еще ниже, значит, не хотел больше видеть этот обрыдлый свет, столь любимый им когда-то...

«Русь советскую» печатали гораздо чаще, чем «Русь бесприютную», есенинские стихи-мажор тиражировались охотнее, чем стихи безысходные. Но не понять нам поэмы-реквиема по самому себе («Черный человек»), не понять и произвольного ухода поэта из жизни, если не знаем его крайних кризисных произведений.

Справка для любителей траурных сенсаций. Специально созданная в 1993 году комиссия, изучавшая обстоятельства гибели великого лирика России, других версий, кроме самоубийства, не подтвердила...

К 100-летию Есенина «Литературная газета» под рубрикой «Поэты о поэте» провела опрос среди его собратьев и сестер по поэзии. Ответили Новелла Матвеева, Евгений Блажеевский, Анатолий Жигулин, Юрий Кублановский и еще несколько человек. Среди вопросов был и такой: «...если бы нужно было назвать только одну его строку (строфу, стихотворение), что бы вы выбрали?»

Я назвала две строки, которые ранят и обескураживают меня до сих пор:

*Мне страшно – ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь...*

Даже маловерующий читатель тут, возможно, воскликнет: «Как так? Ведь душа бессмертна!» Да, бессмертна, но...

В стихотворении 17-го года «Пришествие», о котором я уже говорила, Есенин обращается к Высшему началу:

*Лестница к саду Твоему
Без приступок.
Как взойду, как поднимусь по ней
С кровью на отцах и братьях?*

Тут самое время вспомнить слова поэта *из другого лагеря*, но глубже, всеохватнее понявшего Есенина, чем многие другие, внешне средние.

«Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские синие ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату: “...не расстреливал несчастных по темницам...”» (О. Мандельштам)

Великие слова — и автора строки, вынесенной мной в заголовок, и автора комментария к этой строке...

В статье упомянутого выше А.И. Михайлова меня насторожил вот какой пассаж: «Есенина может любить и жить его поэзией любой русский человек». А не русский — не может? Украинец, грузин, татарин — не может? Сергей Александрович в квасных патриотах не ходил. Любил, дружил, общался с людьми не по национальному признаку. Случалось, и не раз, что самые душевные стихи свои посвящал инородцам.

Роман Гуль в своих воспоминаниях передает эпизод, свидетелем которого оказался в Берлине.

Собралось общество эмигрантов и полуэмигрантов. Есенин не был ни тем ни другим, а тут заупрямился:

« — Не поеду в Москву... не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн (т.е. Троцкий, — Т. Ж.).

— Да что ты, Сережа? Ты что—антисемит? — проговорил Алексеев.

И вдруг Есенин остановился и с какой-то невероятной злобой, просто яростью закричал на Алексеева:

— Я — антисемит?! Дурак ты, вот что! (...) А Лейба Бронштейн, это совсем другое, он правит Россией, а не он должен ею править!..»

До Льва Троцкого вряд ли дошли эти или подобные запальчивые слова. А если и дошли, он не озлобился. Оказывал поэту содействие. Писал о нем с пронизательностью и симпатией, хотя, конечно, со своей колокольши. Есенин и Троцкий — в истории революционной России две несовместные величины! Даже мученические кончины не приблизили их друг к другу.

Но вернемся к «душе», которая «проходит»... У Есенина и его героев — страшные отношения с душой. Так, Пугачов, главное лицо одноименной драмы в стихах, откликнувшийся на стон «*придавленной черни*» и проливший из благих побуждений много человеческой крови, в эпилоге по-есенински сокрушается: «*Неужели под душой так же падаешь, как под ношей?*» Сам Сергей Александрович, не в силах противостоять мощному агитпропу новых времен, готов пойти на компромисс: «*Принимаю все./Как есть все принимаю./Готов идти по выбитым следам./Отдам всю душу октябрю и маю,/Но только лиры милой не отдам...*» Выходит, лира, муза, поэзия для него превыше души?..

В «Пришествии», посвященном Андрею Белому, написанном до всего, что потрясло и вывернуло наизнанку его душу, поэт просил... Не Белого., а Того, Кто стоит над нами:

*И дай дочерпуть волю
Медведицей и сном,
Чтоб вытекшей душой
Удобрить чернозем...*

В статье о романе А. Б. «Котик Летаев» Есенин писал, что «слово изначально было тем ковшом, которым из ничего черпают живую воду». «Медведица» тут, скорее всего, — звёздный ковш, а чем еще может дочерпуть волю поэт, с двенадцати лет восхищённый тем, что в Библии «все так громоздно»?!

Дочерпал... Досбирал «*на дороге колосья/В обнищалую душу-суму*». Оставил свидетельство в стихах, отчего и как душа *вытекает*. Но, заплатив неслыханную цену за то, «*чтобы ярче гореть*», поднялся на одну из высших ступеней русской поэзии.

Память смертная никогда не покидала С. Е. Была ли она для него тем, что, по просвещенной интуиции богословов, действует в душе

как сила творческая, созидательная? Или, поэт до мозга костей, он сразу видел мир внешний и внутренний обостренным, всепроникающим и потому прощальным взглядом?

В легком, пейзажном, как будто совсем *не о том* стихотворении, юноша Есенин писал:

*Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.*

А через год, в 1915-м, уже с надрывом:

*И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь...*

Но не так он прост, этот рязанский паренек, чтобы вообразить, что со смертью всё для нас кончается. Наше исчезновение с лика земли столь же непостижимо, как и рождение.

*Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.
...Не тобой я поцелован,
Не с тобой мой связан рок.
Новый путь мне уготован
От захода на восток.
Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.
Но за миф твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.*

Стихи 1916 года. Помимо заключительного космического образа они поражают бесстрашием предвидения собственной судьбы. Он уже

слышит ее позывные: «рок», «новый путь». И что-то вроде антизавещания: *«Ничего я в час прощальный/Не оставлю никому».*

Оставил. Не пожитки. Не дом или там дачу, ибо до конца своих дней прожил бомжем. Многотомное собрание сочинений, золотую книгу лирики и правду-легенду о своей жизни.

Где правда, где легенда, — вопрос *на засыпку*... Явление Есенина естественно и бесспорно, как естественно и бесспорно мироздание. «Эк куда ее занесло!» — усмехнутся мои оппоненты. А я просто открыла Библию на первой странице и как будто впервые прочла:

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (...)

И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам *сие* будет в пищу;

А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, *дал* Я всю зелень травную в пищу...» (Быт. 1, 27, 29–30)

Оказывается, всё человеку уже дано. Чего же он рыщет, как дикий зверь, в непостижимом стремлении урвать побольше? Не пора ли остановиться?...В той же главе Создатель призывает людей *владычествовать* над всем данным, *обладать* землею (1,26,28).

Пусть мудрецы бьются над вопросом, кто кого создал: Бог — землю или земля — Бога, пусть спорят до хрипоты, что первично, что вторично: душа или тело. Для Библии нет таких вопросов. Нет их и для поэта. «Слишком я любил на этом свете/Всё, что душу облакает в плоть», — обезоруживающе прямо отвечает мудрецам Есенин. И продолжает своими стихами: «Счастливы тем, что целовал я женщины,/Мял цветы, вялялся на траве/И зверье как братьев наших меньших/Никогда не бил по голове». Всё шло его поэзии в *пищу*: и деревья, и звери, и птицы небесные. И над всем этим он *владычествовал*, *обладал* землею, а не любовался ею, как заурядные лирики.

Веровал... Не веровал...Для меня такой вопрос не стоит. Разве не молитвенная интонация слышится в конце стихотворения «*Мне осталась одна забава...*»:

*Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,
Чтоб за все грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать...*

Кем-то верно подмечено: ведь знал, не мог не знать, что, если под-
дастся искушению самоубийства, «под иконами» его не положат.

Но не мрачные суицидные настроения вдохновляли его на лирику
последних лет жизни. Как будто со всем, что он любил, наступил раз-
рыв. Сам разорвал, сам, и с друзьями, и с дорогими женщинами, и с
упорядоченным бытом, который могла ему дать терпеливая, заботли-
вая последняя жена, внучка самого Льва Толстого! Было в него вло-
жено от рождения, что ли, это убийственное начало самоизнурения,
саморазрушения. Когда личность идет в разнос, теряет значение и
всё окружающее. Но не для такого поэта, как Есенин. Он точно раз-
двоился. Его плоть, не знавшая пощады, сгорала на глазах у людей.
Но душа его не «прошла», как он предрекал себе. Она ушла в затвор,
не монашеский, а поэтический, очистилась от земной скверны и во-
истину коснулась небес.

Вот откуда эта избыточная жизненная сила, великолепиие образов,
драгоценная россыпь слов — и все на месте, все — как впаянные, ни
одного не вынешь, не заменишь. Перечитайте все подряд стихи Есе-
нина 1924–1925 гг. — гимн любви!. К земле и ко всему, что на ней, к ее
людям, к ее нивам, «златящимся во мгле», к жизни, еще и за то, что она
конечна. Феномен бытия художника: чем горше протекали его зем-
ные дни, тем совершеннее становились его творения. Можно ли по-
сле этого сомневаться в божественном происхождении поэзии?..

Напомню читателям стихотворение, которое *на вскидку* назвала
другу-поэту, задумавшему антологию «Золотая дюжина XX века»
(12 лучших стихов разных поэтов, которые тебе сразу вспомнились):

*Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя, поле безбрежное,
Дышит запахом меда и роз.
Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляню.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.
Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.
Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Все спокойно впивает грудь.
Стой, душа, мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.*

*Разберёмся во всём, что видели,
Что случилось, что стало в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.
Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году
Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.
Но ведь дуб молодой, не разжалудясь,
Так же гнётся, как в поле трава.
Эх, ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!*

Тут что ни слово, то образ. По классификации С. Е., как ее передает Анатолий Мариенгоф, образ движущийся, «корабельный». Динамические образы он ставил выше статических, называя последние «заставками».

А есенинские афоризмы? Их произносят, вставляют в речь, обыкновенно напроць забывая о его авторстве.

«Лицом к лицу/Лица не увидать./Большое видится на расстояньи...»;
«Если б не было ада и рая,/Их бы выдумал сам человек»; *«Каждый труд благослови, удача...»;*
«Так мало пройдено дорог,/Так много сделано ошибок...»;
«Всё пройдет, как с белых яблонь дым...»; *«Кто любил, уж тот любить не может,/Кто сгорел, того не подожжешь...»;* *«Но коль черти в душе гнездились—/Значит, ангелы жили в ней...»*

Не грех присоединить к ним ещё один, из набросков 1925 года, последнего года жизни поэта: *«Ты прости, что я в Бога не верую./Я молюсь ему по ночам...»*

Политический бунт поэта (не столько, впрочем, политический, сколько душевно-духовный) оставим нынешним бунтарям и бузотерам,—их число на земном шаре растет в геометрической прогрессии. И возьмем с собой на остаток пути есенинскую очарованность природным лоном, из которого все мы вышли, есенинское смирение перед скрытой от нашего слишком земного взгляда тайной всего сущего. Если уж посягать на загадку мироздания, то по-есенински:

*Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески – в дым.*

*Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.*

Под конец хочется повторить вполголоса его просьбу, а вернее его пожелание себе, пусть оно не полностью сбудется, как не сбывается или сбывается шиворот-навыворот большинство наших желаний, ограниченных земным опытом:

*Дайте мне на родине любимой,
Всё любя, спокойно умереть.*

Думаю, эта просьба поэта внятна многим верным чадам России, особенно теперь, в пору нового глобального рассеяния.

Литературно-художественное издание

Т. Жирмунская

«Я – сын эфира, Человек»

Ответственный за издание *Е. Аболенцева*
Корректор *А. Конькова*
Художественное оформление *Т. Сорокина*
Компьютерная верстка *А. Забозлаев*

Сдано в набор 10.09.08
Подписано в печать 22.09.08
Тираж 3000 экз. Заказ № 1075
Гарнитура NBC
Формат 60x90/16
Объем 28 усл. печ. л.
1 печ. л. вклейка

ООО «Русский импульс»
[http:// www.rus-impulse.ru](http://www.rus-impulse.ru)

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Чебоксарская типография №1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

ISBN 978-5-90252-532-5



9 785902 525325 >



Жизнь – это пёстрый том,
Где сказка, стих, новелла,
Трагедия, притом
Поставленная смело.

В конце же предпочту
Простую песню или...
Или молитву ту,
Какую все забыли.

Тамара Жирмунская – современная писательница, автор десяти книг, вышедших в Москве, среди которых сборники лирических стихов («Район моей любви», «Забота», «Нрав», «Праздник» и др.) Её избранные стихи, мемуарная проза и повесть «Вместе со светом» вошли в книгу «Короткая пробежка» (2001). Последняя работа писательницы – беседы о Библии и русской поэзии за три века: «Ум ищет Божества» (2006).

Тамара Жирмунская – член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра, член редколлегии журналов «Истина и Жизнь» и «Грани», лауреат премии СПМ «Венец» в номинации поэзия.